

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

5

1989

5

НОВЫЙ МИР

5



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1925 г.

№ 5

Май, 1989 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ГЕННАДИЙ РУСАКОВ — Родные имена, стихи	3
ФЕДОР АБРАМОВ — Поездка в прошлое, повесть. Подготовка текста, публикация и статья-послесловие Л. Крутиковой-Абрамовой	5
ВЛАДИМИР ТИХОМИРОВ — Ночь в сугробе, стихи	39
АНАТОЛИЙ КИМ — Отец-Лес, роман-притча. Продолжение	42
ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД — Возвращение, стихи	156
НИКОЛАЙ СТРУЗДЮМОВ — Пропавшая неделя, рассказ	159
ЕВГЕНИЯ ПЕРЕПЕЛКА — Современные ямбы, стихи	173

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ГЕОРГИЙ ШЕНГЕЛИ — Шесть стихотворений. Публикация М. Шаповалова	176
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

АРАЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА:

ГРИГОРИЙ РЕЗНИЧЕНКО — «Мы знаем, что ныне лежит на весах...»	182
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ЖУРНАЛОВ «НОВЫЙ МИР» И «ПАМИР» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕДИЦИИ «АРАЛ-88»	194
ВАСИЛИЙ СЕЛЮНИН — Бремя действий	213

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. СЕРБИМЕНКО — Три века скитаний в мире утопии. Читая братьев Стругацких	242
---	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Андрей Зорин. Пригородный поезд дальнего следования. Г. Померанц. Человек без маски на маскараде истории.	256
<i>Политика и наука</i>	
Петр Черкасов. Три цвета времени.	262
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Андрей Василевский.— Николай Олейников. Перемена фамилии. Лидия Гинзбург. Николай Олейников. ✦	
Ксения Бродер.— Юрий Поройков. «Ехали медведи на велосипеде...». Повесть. ✦	
Георгий Кубатьян.— Леонид Григорьян. Вечернее чудо. Стихи разных лет. ✦	
И. Мочалов.— Историко-астрономические исследования. Выпуск XX. ✦	
Л. Каманин.— О. А. Дубовик, А. Э. Жалинский. Причины экологических преступлений. ✦	
Виктор Бердинских.— А. А. Формозов. Следопыты земли московской	266
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ГЕННАДИЙ РУСАКОВ



РОДНЫЕ ИМЕНА

* * *

Чем утешу я ровней моих —
современников глады и мора,
Аввакума, неистовых книг,
половецкой хулы и разора?
Каждый век отряжает гонца,
по реестрам собрав свои слезы.
Кто осилит — прочтет до конца?
У меня сто томов этой прозы.
Кто — тягаться с похмельным Петром
и варягов заманивать в гости?
Эх, история! Вечный погром...
Не хватает ни боли, ни злости.
Той же кровью вода солона,
тот же запах ганзейского мыла...
Хорошо, молодая страна,
хорошо, что так быстро забыла!
Я в такое столетье живу
и такие увижу сказанья!
...Печенеги прошли на Москву.
Самозванец стоит под Рязанью.

* * *

Ну что, освободилась? Полегчало?
Стряхнула с плеч осточертелый груз?
Ты погоди, забудь меня сначала...
Ты в дверь меня, а я в окно вернусь!

Вон как гардины колоколом вздуты!
Как я лечу к тебе крылами штор!
Опять к тебе — на век, на полминуты...
Закрой окно. И двери — на запор.

А я уже враскачку — сизарями!
Хлестаньем кленов! Хлопаньем белья!
Я вслед тебе мотаю фонарями!
Ты слышишь ветер? Это снова я.

Забить меня? Ну что ж, давай попробуй!
Не привыкать, тебе не в первый раз:
пусть ходит мимо этот крутолобий,
шатая липы для отвода глаз.

Забудь меня — и усмирится ветер.
Взмахнешь полкой — отпряну и уйду.
И станет тихо у тебя на свете.
Лишь кто-то ноги гладит на ходу...

* * *

Я вырос в стране, где ломали, построив,
 меняли историю, даты, героев,
 названия отчин, течения рек...
 Я был заурядный ее имярек.
 Когда-то, признаться, мне нравилось это:
 литавры, и лавры, и пыль на полсвета.
 И все по-иному, не как у людей,
 поскольку во имя высоких идей.
 Но все подводили какие-то сроки,
 и вечно с Америкой куча мороки,
 потом недороды, реформы, падеж...
 И те же портреты, куда ни пойдешь.
 Да это-то ладно, не в лирике дело...
 Но как-то загадочно время глядело.
 И шли косяком кукуруза, Китай,
 ракеты, портреты и рыба минтай.
 Я сам полстраны рассовал по карманам,
 на сутки продравшись к копеечным маннам,
 я сам «выполнял», «догонял», «укрупнял»...
 Но крупно не лгал. И друзей не менял.
 ...Родные, да что ж нас так страшно швыряет,
 как будто нас кто-то на крепь проверяет?
 То вправо, то влево и вечно — в галоп...
 Я вырос в стране неоконченных проб.
 И сам я — такая же грубая проба.
 На что моя горечь, всезнание и злоба?
 На что этот стих, закусивший губу?
 И жизнь, что недовоплотилась в судьбу...

В дороге

Мы, право, невеселая страна —
 наверно, виноваты расстоянья.
 Поминки-свадьбы, слезы допьяна,
 похмелье, тяжесть, скука покаянья.

Сухой снежок порхает над судьбой.
 Стога, пролески, галки да вороны.
 Семь тысяч верст, чечетка вразнойбой.
 Затапанные намертво перроны.

И кубовые с диким кипятком.
 Ларьки, буфеты, наледь водокачки.
 (Но для чего я это и о ком?)
 И сигареты из подмокшей пачки.

Кривая тень сигает к полотну.
 Не помню, смерклось или рассветает.
 Заголошу, закличу, прокляну!
 Э, пустяки — на крик нас не хватает.

Такая одинокая страна,
 так низко небо, так душа томима.
 И горькие, родные имена:
 Терновка, Грязи... Только мимо, мимо.



ФЕДОР АБРАМОВ

★

ПОЕЗДКА В ПРОШЛОЕ

Повесть

1

Снегопад застал их на середине реки. Вмиг стало слепо, бело, за-лепило глаза — неизвестно, куда и ехать.

Выручили пролетавшие где-то над головой гуси: закричали, за-спорили суматошно — видать, и они растерялись в этой заварухе. Вот тогда-то Власик, прислушиваясь к их удаляющемуся гомону, и сообразил, в какой стороне юг, ибо куда же сейчас лететь птице как не в теплые края.

Снежная липуха немного успокоилась, когда от перевоза подня-лись в крутой берег. Впереди проглянуло Сосино с жердяной изго-родью по задворью, черная часовня замаячила в полях слева.

Вытирая рукой мокрое лицо, Власик начал было объяснять свое-му неразговорчивому спутнику, как пройти в деревню и разыскать бригадира, но тот, похоже, в этом не нуждался: загвоздил сукова-той палкой побелевшую дорогу, как будто всю жизнь по ней ходил. Из тутошних, видно, чей? — подумал Власик.

Однако раздумывать над этим ему было некогда. Он замерз, про-дрог насквозь — от стужи, от сырости, — и все мысли его сейчас бы-ли сосредоточены на том, чтобы поскорее добраться до Микши да отогреться в тепле.

В доме у Микши, несмотря на то, что перевалило за девятый час, все еще было утро. Хозяйка с худым, разругавшимся от жа-ра лицом хлопотала возле печи, а хозяин, мрачный, опухший, весь заросший дремучей щетиной, сидел за столом и пил чай. Пил в оди-ночестве, под обстрелом угрюмых взглядов с своих отпрысков, таких же крепколобых и грудастых, как их отец, сбившихся в тесную кучу на широкой родительской кровати справа от порога.

Власик поздоровался.

Ни слова, ни кивка в ответ. Как будто они и не кореша, не прия-тели давние.

Но он и не подумал обижаться на Микшу — всегда так, когда переберет накануне, — а потому спокойно занялся своим делом: снял с себя широкий пояс связиста-линейщика с металлической цепью, снял мокрую, стоявшую колом парусиновую куртку и к печке, на скамейку — тепло так и обняло его худую, продрогшую спину.

Хозяин — в полном молчании домашних — выпил еще два ста-кана чая, черного, как болотная вода, и только после этого повел своим страховидным горбылем — нос у него раздавлен с детства:

— Чего куришь?

Власик с готовностью достал из парусиновых штанов помятую пачку «Севера», перекочевал к столу — карантин кончился.

Закурили.

— Новости? — опять коротко пропитым голосом гаркнул Микша.

— Да что новости, Никифор Иванович. Известны мои новости. Ребятишки сейчас в школу ходят, все изоляторы посбивали. Вот и загораю кажинный день на линии. Ну а ежели районные дела... (Власик жил в райцентре.) Экспедиция тут из сузёма¹ вернулась, крепко, говорят, пошуровали. Все ручьи, все речки на замок взяли.

— Ерунда, — поморщился Микша.

— Да нет, не ерунда, Никифор Иванович. Теперь лишний раз за рыбкой в сузём не сходишь.

— Ерунда, говорю, — повторил Микша. — Будут они наш сузём на замок запираить. Какая рыба в сузёмных речках? Мусор один. Они шуровали, да весь вопрос — чего. Не ту ли самую рыбку, которая под землей?..

У Власика отвалилась нижняя челюсть, два желтых, прокуренных клыка проглянули в беззубом рту.

— Балда! Насчет урана, говорю, але еще какой взрывной хре-новины. А рыба эта для отвода глаз. Понял?

— А ведь это подходяще, Никифор Иванович, — живо согласился Власик, и сухое, бескровное лицо его разом просияло. — Я тут с одним переезжал за реку, не больно-то он на воду глядел.

— С кем с одним?

— Да с одним, с экспедиции с этой. Здоровый боров, а сам хро-мает. С палкой.

Микша удивленно повел своей черной шерстистой бровью:

— Зачем бы это ему сюда? Чего он не видал в нашей дыре?

— А вот уж в части этого не докладывал. — Власик поглядел в окошко, поглядел на Оксю, гремевшую железной кочергой у печки, хитровато прищурил глаз. — А что, Никифор Иванович, может, сообразим сегодня к вечеру? Поскоблим² маленько донышко, пока реко-став не начался?

— Браконьерничать? — прямо поставил вопрос Микша. — Давно тебя зашучили — хочешь снова на острогу?

— Да что, Никифор Иванович, захочешь рыбки — и на острогу полезешь...

— Нельзя, — отрубил Микша. — Рыбнадзор ноне днюет и ночует на реке.

— Ничего, ничего. Можно, ежели аккуратненько да с оглядом. — И тут Власик двинул в ход, так сказать, материальный стимул (любили они с Микшей всякие заковыристые словечки) — хлоп на стол бутылку.

Оксю этот номер, конечно, не понравился, да что обращать на нее внимание? Какая баба в ладоши бьет, когда мужик с бутылкой обнимается?

После опохмелки разговор пошел как по маслу, и они принялись разрабатывать план предстоящей вылазки: как лучше сделать, чтобы не напороться на рыбнадзор? в какое время выехать? куда? вниз спуститься, к перекатам, или, наоборот, податься вверх, к Красной щелье, где не так заметен луч?

Однако не успели они обговорить и половины — нешуточное дело затевают! — как под окошком вырос высокий человек в черном плаще.

— Он! — живо воскликнул Власик и даже привстал. — Тот самый, с рыбной экспедиции.

Некоторое время незнакомец разглядывал Микшин дом, затем, припадая на больную ногу, вдруг двинулся в заулок.

¹ Северная тайга.

Власик и Микша переглянулись: не наклепал ли кто на них? по какому еще делу может пожаловать рыбный человек?

Дело, слава богу, касалось не их. Но, как говорится, хрен редьки не слаще: незнакомец, подав Микше записку от директора совхоза, просил свозить его на Курзию.

— На Курзию? — страшно удивился Власик. — Сейчас? Да вы, дорогой товарищ, слышали, нет, что такое эта самая Курзия? Сорок верст сузёмом да глубокой осенью... Зря, что ли, ее у нас зовут Грузией!.. Да там после лишенцев, этих самых кулаченных, никто и не бывал.

Никакого впечатления! Глазами железными в Микшу вцепился, будто заморозить, загниотизировать того решил, а что пищат остальные — Окся тоже подала голос от печки, — наплевать.

Микша с ответом не спешил. Сидел, поглядывал на улицу, где снова, похоже, запосвистывал ветер, катал на лбу кожу, как волны на реке, и Власик уже не сомневался: сейчас задаст от ворот поворот этому высокомерному начальничку, — а Микша возьми да и скажи:

— Можно, пожалуй, прокатиться.

2

Выехали уже не рано, в первом часу, потому что не к теще в гости ехали — в сузём. Пришлось менять передние колеса у телеги, подгонять коню хомут, подрубать копыта, да мало ли чего. А кроме того, заставил себя ждать Кудасов, командированный, который, как все приезжие, потащился поглядеть на ихнюю знаменитость — старую часовню.

Пьяненький, основательно поднакачавшийся Власик увязался их провожать. Ему страсть как не хотелось расставаться с двумя бутылками, уплывшими от него в берестяной корзине, накрепко привязанной к задку телеги, и он, позвякивая своей цепью, ковылял сбоку, канючил:

— Зря вы, товарищ Кудасов, ей-богу, зря. У нас на эту Курзию-Грузию забыли когда и ездили. А вы вздумали на вечер глядя. Давайте хоть из-за утра...

Микша в душе был согласен с приятелем. Конечно, лучше бы сейчас сидеть в теплой избе, чем полоскаться на осеннем ветру, да раз уж слово дадено — терпи. И он, настраивая себя на долгую дорожную маету, заговорил, как только въехали в поле, — тут Власик от них отстал:

— Ну что, рыбку в морях да в океанах вычерпали — за сузёмы взялись?

Кудасов не ответил. Он, как и следовало ожидать, смотрел на часовню, мимо которой они проезжали, — угрюмую, черную постройку наподобие высокого бревенчатого амбара, без креста, с развороченной крышей, с подпорами по бокам.

— Памятник старины, — не без ехидства объявил Микша. — Под охраной государства. Дощечка имеется. Ни одного гвоздика железного — все дерево. Топором одним рублена. В одна тысяча шестьсот шестьдесят семом году. При Иване Грозном.

— Иван Грозный на сто лет раньше жил, — заметил Кудасов.

— Ну хрен с ним, с Иваном Грозным. Не все едино. А вот про крышу могу сказать точно. — Микша захохотал. — Нашего, советского производства. Одна тысяча девятьсот тридцатого года. Со всех деревней тогда народ согнали. На ура крест стаскивали, чтобы наглядная агитация насчет бога была. Я тоже, даром что пацан был, за веревку маленько подержался.

Вдали плеснулся тоненький плаксивый голосишко — это Власик, должно быть, с песней входил в деревню, — и тотчас же протяжный гул покрыл его: они подъезжали к лесу. Черная, подпертая слегами

часовня, как какое-то допотопное чудовище, смотрела им вслед из полей.

— Да...— Микша закурил.— Повидала эта часовня кое-чего на своем веку. В старину тут, сказывают, верующие заперлись, живьем спалить себя хотели — понимаешь, какой народец был! — да царские солдаты помешали, двери вышибли. А в этом самом тридцатом году что тут делалось... По два, по три мертвяка за утро вытаскивали. Из раскулаченных. С южных районов которые к нам, на Север, были высланы. Жуть сколько их в нашей деревне было! Все лето баржамы возили. Все гумна, все сараи были забиты, а уж в часовне этой... В четыре яруса нары стояли!..

Седок оказался не из тех, с кем не соскучишься. Сидел — глаза в землю, руки в замок (язва, что ли, точит?) и ни оха, ни вздоха.

Некоторое время Микша вглядывался в реденький сосновый жердняк справа — тут где-то должны быть его дрова, рубленные нынешней весной. Потом внимание его привлекли свежие заячьи петли, раскиданные по снежной пороше вдоль дороги, и он с живостью воскликнул:

— Смотри-ко, смотри, косой-то что надумал! В такую непогоду по лесу разгуливать.

И опять молчание. Опять натужный скрип телеги да всхрап коня на вземах.

За Летовкой — это ручей в двух километрах от деревни — стали попадаться ели, сперва поодиночке, вперемишку с березой, а потом все гуще, гуще — заложмили небо, намертво сдавили дорогу. Сразу из белого дня въехали в сумерки.

— Ну вот, — сказал Микша, прислушиваясь к таежному гулу, идущему поверху. — Теперь до самой Курзии эта краса пойдет.

Он поднял куколь дождевика, покачал головой.

— Нет, ни черта не пойму, как все это делалось. Ну выслали людей из своих краев, кого правдами, кого неправдами — не будем говорить. Горячее времечко было, щепка летела направо и налево. Да зачем в сузём-то загонять? Разве мало пустой земли в России? А ведь тут, в этом сузёме, хоть лопни — хлеба не вырастишь. Середь лета утренники гремят. Мы, бывало, на этой Курзии сено ставим. В деревне лето как лето, а тут, тридцать пять — сорок верст в сторону, — вода по утрам в котелке мерзнет. Эх, да что говорить! — Микша круто махнул рукой. — Я сам тогда ужасно идейный был.

— А теперь не идейный? — вдруг подал голос Кудасов. Он, оказывается, слушал.

— Не имай, не имай на слове! Теперь народ грамотный, на испуг не возьмешь. Я ведь к чему это? А к тому, что дядья мои родные всем тогда у нас заправляли. Кобылины. Как же мне-то, племяннику, от них отставать? Да, вот революционеры были! Кремневые! Теперь таких и нету. В девятнадцатом году дядю Александра за языком послали. В Сосино, в нашу деревню, значит. А в Сосине — ой-ой! Только одни старики да малые ребятишки. Всех поголовно беляки на дороги угнали: и мужиков, и баб, и девок. И вот дядя Александр думал-думал да и говорит своему отцу — тот больной на кровати лежал: «Вставай, со мной пойдешь». Мати услышала: «Что ты, Олекса, дьявол!.. Опомнись! Старик третий день не встает, помрет еще в дороге». Никаких гвоздей! Раз для революции надо, ни отца, ни матери не знаю. Ну а дядя Мефодий, тот еще потверже орешек был. У дяди Александра хоть одна слабость была — в части женского вопроса, а этот... Я в жизни не видал на евонном лице улыбки. «Я, говорит, тогда улыбаться буду, когда социализм сполна построим да когда последнего врага в гроб вколотим». Понимаешь?

— Нет! — сказал Кудасов.

— Чего — нет? Не понимаешь, что можно всю жизнь прожить и ни разу не улыбнуться?

— Не понимаю, когда убийством восхищаются! — Кудасов не сказал, выпалил это — с яростью, с ненавистью — и резко откинулся назад, в задок телеги.

— Это кто восхищается убийством? Я? — Микшу тоже заколотило. Не первый раз прокатываются вот так насчет его дядьев. — А дядю Александра не убили?.. Сам себя на тот свет отправил? Теперь на дядьев можно собак вешать. Мертвые. Вали все, чего было и чего не было. Стерпят. Из могилы не встанут. А я бы хотел посмотреть, как нынешние умники с ними, с живыми, поговорили бы. Я-то помню те времена, помню, на каком языке тогда разговаривали. В тридцатом году дядю Александра вот в это же самое время убили на Курзии — комендантом там был, — дак знаешь что было? Со всего района, со всех деревень красные партизаны на похороны прибыли. С ружьями. Всех перебить готовы! А дядя Мефодий — начальником милиции был — стоял-стоял у гроба белый, как сейчас помню, только желтые оспины на щеках, как картечины, отсвечивают, а потом берет из мертвых дядиных рук наган (дескать, большевик и мертвый стреляет) да и говорит: «Ну, Александр, за каждую каплю твоей священной крови ведро выпустим вражьей». Понял, как тогда разговаривали?

Наскочило переднее колесо на корень, у Кудасова съехала с головы кепка, открылся белый покаты́й лоб с глубокими залысинами, с твердыми зарубами морщин-поперечин. Потом еловая лапа проехала по его лицу. Не пошевелился, бровью не двинул.

3

Кто только придумал этот сузём? За что такое наказание людям? Кажется, он не из тех, кого ласкала да гладила жизнь, на ухабах и кодобинах вырос, а и у него вытрясло всю душу. Коренья, гнилые мостовины, ручьи, болота... А темень, которая, как одеялом, накрыла их после полустанка, где они кормили коня!

И он уж не пытался больше править. Вожжи из рук выпустил: вывози, воронко!

О том, что они выехали наконец на Курзию, Микша догадался по ветру. Всю дорогу ветер гудел где-то вверху, над головой, а тут вдруг яростно хлестнул в лицо, забарабанил по холодной парусине дождевика.

Конь упирался, не хотел на ледяной сквозняк, потом затащил их в какой-то кустарник и стал.

Кудасов чиркнул спичку, ее сразу же задуло.

— А знаешь что, друг, — сообразил наконец Микша, — нам ведь сейчас по этой темени в поселок не попасть. За эти тридцать лет тут все кустом затянуло. Видишь, даже лошадь запуталась.

Думать долго, что делать, не приходилось. На той стороне речонки, которая точила сузём неподалеку от дороги, был издавна обжитый охотниками угор, и Микша, пристроив коня к кустам, в затишье, и захватив с собой пожитки, повел своего спутника туда, на угор.

Кудасов оказался везучим: они перешли в темноте речку, не зачерпнув в сапоги, а дальше и того лучше — на охотничью тропу угодили. Так что когда поднялись в угор, даже насчет дров промышлять не пришлось: сразу, как только осветились, увидели под деревом березовые полешки.

Скоро под суковатыми елями с черными, опаленными комлями затрещал костер.

Микша сходил за водой, повесил чайник, нарубил елового лапника, застлал вокруг огня. Теперь никакая сырость снизу не пробрет. Лежи да поворачивай то один, то другой бок.

В запасе у них оставалась еще одна бутылка водки — другую Микша оформил, когда отдыхали на полустанке.

Кудасов и на этот раз не стал пить. Похрустел вяло сухариком, выпил кружку горячего чая — и все. Ни к рыбникам, ни к шаньгам не притронулся — как будто он исполнял какой-то обет.

— Ты вот дядьев моих даве в оборот взял, товарищ Кудасов... — Захмелевшего Микшу опять потянуло на разговор. — А знаешь, я тебе что скажу. Бессеребренники. Ничего не нажили, ничем не поживились. Дядю Александра хоронить стали — гимнастерки переодеть нету. Так в той самой гимнастерке, в которой убили — тут его, в этом поселке, стукнули, — и в гроб положили.

Микша посмотрел через огонь на неподвижно сидящего Кудасова, смущенно крякнул.

— А я тоже тогда, даром что сопляк был, на месть поднялся. Нож наточил. Чтобы, значит, со своим заклятым врагом рассчитаться. А этому заклятому врагу, знаешь, сколько было? Двенадцать лет. Как мне же, а то и меньше. И этого заклятого врага ветром от голдухи качает... Да, — Микша покачал головой, — вот какие времена были. Малых ребятшек до ненависти раскачивали. Я, как себя помню, только и слышишь крутом: кулаки, контра, враги советской власти... А какие они в натуре-то, на ощупь? У нас в деревне стали колхоз делать — караул кричи. Три хозяйства по плану распотрошить надо, а где их взять? Только одного дьячка и закручили, да и то за культ — в часовне службу правил. Ну и когда к нам этих кулаков с Украины привезли, мы с ребятами просто воспрянули: вот они, враги-то, живые, тепленькие! И такие классовые бои развернули, что сейчас вспомнить страшно. В деревню прохода этим кулачонкам из часовни нет — это уж само собой, — да мы и лес на запор взяли. Бывало, эти кулацкие дети сунутся в лес за ягодами, а мы уж тут как тут. Войной на них... У них один парнишка был — ух волчонок! Все остальные, как трава, валяются — что же, голодный человек, какой из него вояка? А этот — нет. Ребра вылезают, да не сдаюсь. Вот это, руль-то, — Микша указал на свой нос, — он мне маленько подправил... Камнем...

Над костром вдруг огромным красным снопом взметнулись искры — Кудасов с размаху бросил в огонь сушину.

Что все это значит? Огонь решил сделать пожарче? Или разговор опять не в масть?

— Как будем устраиваться на ночлег? — спросил немного погодя Микша. — Может, для тепла под дождевик мой оба заберемся?

Ответа не было.

4

Микша проснулся от холода. Костерок дымил еле-еле, белея изморозь, как соль, со всех сторон подбирается к костерку...

А где Кудасов? Куда девался его спутник? Два раза просыпался он ночью и два раза видел Кудасова сидящим у огня. Неподвижно. Все на одном и том же месте. С поднятым кверху воротником плаща.

Гремя задеревеневшим дождевиком, Микша вскочил на ноги и сразу успокоился: Кудасов ушел по своим рыбным делам, и доказательством тому были ребристые следы на заиндевелой траве.

Светало. Холодный ветер-утренник раскачивал лохматые ели над головой, а там, на том берегу, всплывала бесформенная куча развалившихся барачков. Все, что осталось от здешнего поселка.

Он поискал глазами поля. И не нашел. Березняк. Сплошной березняк. По всей долине речонки. И справа, и слева, и меж барачков, и за бараками, вплоть до самой кромки черневшего вдали ельника. И он вспомнил, как тут корчевали тайгу. Люди, мокрые, потные, задыхаются от жары, от дыма — огнем, дымом отгоняли гнус. Но разве отгонишь чем эту нечисть? И вот придумали: взрослые размахи-

вают топорами, крушат проклятый ельник, а сзади дети — шлеп, шлеп березовым прутьем по мокрым спинам...

Он вспомнил все это и теперь уже с каким-то суеверным страхом смотрел на этот белый, такой красивый издали березняк, равнодушно растоптавший здешние поля.

Между березками то тут, то там чернели малюсенькие елочки, те самые елочки, с какими счастливые люди встречают Новый год. Но он-то знал, что это за твари! Пройдет десятка два-три годов, и эти такие безобидные малютки елочки задушат березняк, под полой которого они выросли. А потом пройдет еще лет тридцать — и тут будет сплошной ельник. Тайга. Сузём. Комарье со своими всхлипами да беспамятный зверь. И кто, по каким приметам догадается, что творилось тут, на Курзии, в былые годы?

Кудасов не возвращался.

Микша сходил к коню, напоил его, задал остатки сена, потом подживил костер, навесил чайник.

Кудасова все не было.

И вдруг, когда он уже собирался было двинуть по его следам, явился. Явился с неожиданной стороны, прямо из-за спины, из леса. Весь черный, как обугленный пень, и ветер шевелил его белые редкие волосы — кепку он зачем-то держал в руке.

— А ты, я вижу, разбираешься в здешних местах, — сказал Микша. — По карте? Видел в косогоре кладбище? Интересно, что от него осталось? Много туда народушку поклали. Я, бывало, у дяди жил — каждый день кого-нибудь волокут.

Кудасов молча выпил чашку горячего чая. Потом встал, коротко бросил:

— У бараков буду. — И нырнул под угор к реке — только камешник посыпался в воду.

5

Повидал он кое-чего на своем веку. Был на войне, был в лагерях, Берлин в сорок пятом году брал с Жуковым, а вот такого в его жизни не было. Не было, чтобы он брел по улице поселка и чтобы руками, как в лесу, раздвигал кусты.

Нужно отдать должное дяде Александру: крепкие построил бараки. Крыши провалились, рамы выгнили, а стены еще стоят. И в свое время куда как могли пойти в дело. Да разве по нашим сузёмным дорогам постройки перевозить? Вот так и остался гнить поселок. Всеми брошенный и всеми позабытый.

Возле одного обгорелого домика Микша задержался.

Место ему показалось знакомым. Во всяком случае комендантский дом, как и этот, стоял вот на таком же угорышке, неподалеку от шумливой речонки.

Потрескивая сучьями, он медленно обогнул домик, вышел к развалившемуся крылечку и тут увидел вдруг два покосившихся столбика с железной перекладной, сплошь покрытой ржавчиной.

Слезы вскипели у него на глазах.

На этой перекладной любил, бывало, поутру размяться дядя Александр, красиво это у него получалось, а днем опять у столбиков стоял серый заседланный жеребец Жиган — дядя шагу пешком не ступал. И Микша так и запомнил его на всю жизнь: верхом на жеребце, в лихо заломленной черной чапаевке, с плеткой в руке.

Тридцать пять лет собирался он побывать на Курзии, посмотреть место, где убили дядю, и вот наконец он тут, возле того самого крыльца, где оборвалась дядина жизнь.

В памяти воскрес рассказ, который годами, изо дня в день рассказывают в областном музее: «Была глухая осенняя ночь. Александр Данилович возвращался домой. Он устал, утомился за день. К тому же давали о себе знать старые раны, полученные в жарких

боях гражданской войны. Но день был прожит не зря. Сделан еще один шаг навстречу светлому будущему. А в это время по пятам его, прикрываясь черным плащом осенней ночи и сжимая в руке холодную сталь кинжала, крался коварный враг. Забыл, забыл опытный революционер-большевик, что он находится в осином гнезде, что классовый враг никогда не дремлет...»

Больше всех на свете любил Микша дядю Александра. И вот на другой день после его похорон встал рано утром, наточил нож и на Курзию: мстить за дядю.

Отец, отец ему тогда службу испортил. Все утро не было дома, еще с вечера в райцентр утонул, а тут только Микша вышел на крыльцо — он. И ведь ничего, ни единого слова не было сказано меж ними, а все понял, обо всем догадался.

— Что ты, что ты, Микша, задумал! Тебе ли в твои ли годы за нож хвататься... Да ты ведь еще ребенок... Да нам кровь дядьев твоих мыть — не отмыть.

И вот добил, доконал его своими причитаниями. И он так и не пошел на Курзию.

6

Кого он везет? Что за человек сзади него? Рыбой тут не пахнет — это теперь ему было ясно как божий день. Приехал, шаг какой-то ступил по речке, в поселок заглянул — и обратно. А самое главное — что ответил ему, когда он, Микша, спросил насчет рыбных запасов в Курзии? Просто заорал: «Да какая тут, к дьяволу, рыба? Ее сроду никогда не было в этой проклятой речонке!»

А может, он из тех самых, из бывших? — вдруг пришло ему на ум.

Мотаясь в передке телеги (все тот же пересчет коренья), он искося пучил глаз назад. Кудасов бревном лежал на телеге. Воротник плаща поднят, козырек кепки надвинут до самого рта так, что видна только нижняя челюсть, крепкая, костистая, с надвое разваленным подбородком.

Проще всего, конечно, было бы спросить: так и так, мол, приятель, хватит тебе маскировку-то наводить. Давай начистоту. Но что-то удерживало его от расспросов. И не потому чтобы он робел перед этим человеком. Сроду ни перед каким начальством не гнул, а кто ему этот человек? Но вот поди ж ты. Молчит всю дорогу — и вроде так и надо. Вроде у него какое-то особое право власть свою над тобой показывать.

За монастырским холмом, километрах в пяти от Курзии, проглянуло солнышко. Проглянуло, посмотрело с косматых вершин на подводу, ковыляющую по сузёмной дороге, и отвернулось. А потом как закружило, завьюжило — снег, слякоть, прямо светопреставленье. Дорога сразу раскисла. Лошаденка качалась как пьяная. Приходилось постоянно слезать с телеги, шлепать по колену в грязи — и так день-деньской...

Был вечер, когда они подъехали к деревне. У Микши в окошке горел свет — ждали.

Он предложил заехать к нему — обогреться, попить чаю.

— Нет. Давай на перевоз.

Ну нет так нет — было бы предложено.

За полевыми воротами слезли с телеги, ощупью прошли к перевозной избушке. Темень. Ветер. Река внизу ревет.

— Сколько с меня?

— А чего там, — вяло махнул рукой Микша. Ему осточертела эта поездка, начисто вымотавшая и тело и душу, осточертел этот непонятный человек, который всю дорогу, как больной зуб, точил его воображение, и сейчас у него было одно-единственное желание — поскорее распрощаться с ним.

В темноте хрустнула бумажка.

Микша озябшими пальцами скомкал ее, сунул в карман дождевика.

Кудасов не уходил. Шальной сиверко плясал вокруг них — опять менялась погода, — прощупывал до костей. Чего же он ждет? Может, думает, за реку его повезут? Нет уж, спасибо...

— Ну, прощай, Кобылин, — разжал наконец зубы Кудасов.

— Прощай. Все-таки фамилию мою запомнил.

— За-пом-нил, — медленно, по складам сказал Кудасов и вдруг рывком точно клещами стиснул его руку.

Микша поморщился от боли, усмехнулся:

— Ничего, силенка есть.

В темноте железным блеском сверкнули глаза.

— А ты, я думал, подогадливей, Кобылин. Жидковата у тебя память...

Микшу как ударило.

— Постой, постой... Так это?.. — Голос изменил ему. — Не может быть...

Кудасов выпустил руку...

...Вот и все. Вся жизнь вдребезги, один чад кругом...

Складно, очень складно рассказывает ученая барышня в областном музее. Глухая осенняя ночь, злобный враг, крадущийся по пятнам... А на самом деле?

А на самом деле пьяный дядя изнасиловал беззащитную пятнадцатилетнюю девчонку, которая убираала комендатуру, а брат этой девчонки — четырнадцатилетний пацан — убил дядю...

— А ты заявлял, нет, куда надо?.. — зачем-то спросил Микша.

— Насчет убийства? — сказал прямо Кудасов. — Нет, не заявлял. — И в темноте криво усмехнулся. — Все жду, когда пример покажут. Те, кто убивал людей сотнями, тысячами, миллионами...

7

Ветер выл и метался на реке, тяжелая волна билась внизу о берег, а он все сидел и сидел возле перевозной избушки и всматривался в ночной мрак, в черную осеннюю темень, которая заглотила Кудасова.

Все, все рухнуло, вся жизнь вдребезги...

Он давно уже махнул на себя рукой. Пьянчуга. Лагерник. Грамотешки пять классов — что по нынешним временам? Но было, было одно утешение в его жизни — дядя. Знаменитый дядя, герой гражданской войны, человек, который, как красное солнце, согревал ему душу. И когда лет десять назад с легкой руки Хрущева кое-кто у них начал кидать грязью в его дядьев, он готов был глотку перегрызть каждому. А теперь что?

На деревне, в верхнем конце, истошно залаяла собачонка. Потом кто-то знакомым, петушиным голосом запел:

Вы не вейтесь, черные кудри...

Неужели все еще Власик колобродит?

Микша поднялся, подошел к коню. Надо отвести беднягу на конюшню. Хозяин весь вечер себя мытарит, на части рвет, а чем виновата бессловесная животина? Почему она должна коченеть на ветру?

Окся его ждала. Ни одного огня не было в ихнем конце деревни, когда он вышел с конюшни, и стоило ему обогнуть колхозный склад, и вот она, родная изба, — как желанная звездочка в ночной глуши. И тут он всем своим изыбшим существом, всей своей занемевшей кожей ощутил радость близкого тепла, радость горячего чая

и, конечно же, водки, которую наверняка припасла для него сердобольная Окся.

Он свернул с дороги, зашагал промерзшими огородами — ближе, скорее будет дома. Скорее ввалится в теплую избу, стащит с себя закоченевший дождевик.

И вдруг, когда уж он вышел на свой огород, когда уж избяной свет заиграл в его оживших глазах, в памяти всплыли предсмертные слова отца, которые передала ему соседка-старуха: «Скажи Никифору, что у отца нету зла на него. Не он виноват. Дядья его таким сделали».

Микша схватился за сердце — его так и качнуло в сторону, а потом под руки попалась обледенелая изгородь, и он всей грудью навалился на нее.

Отдышавшись, он с тоской посмотрел на освещенные окна своего дома. Близко, близко тепло, близко Окся, но эх...

Всю жизнь он презирал и стыдился своего отца. Презирал за мягкость, за тихость, даже за внешний вид презирал. Бороденка, как у старика, нарасчес, поясок шерстяной, домотканый... Да разве сравнишь его с дядьями? Те куда ступят, там и праздник: красные знамена, песни революционные, речи, от которых дух захватывает.

В тридцать седьмом году отца у Микши посадили. Посадили как пособника международной буржуазии, и надо правду говорить: он не очень сокрушался. А когда дядя Мефодий заговорил с ним: нужно показать революционный пример — отречься от отца, — он отрекся. И не просто отрекся, а с объявлением в областной газете, с отказом от отцовской фамилии...

8

Поздновато, поздновато спохватился. Ничего не расскажет теперь соседка: второй год на кладбище лежит. Он сам отволоч ее туда. А сколько лет жили окошко в окошко, сколько раз можно было расспросить старуху про отца!

Микша пошагал в верхний конец деревни. К бабке Матрене. Бабка Матрена хоть и давно из ума выжила, а любила вспоминать старое, а если ей еще поднесешь рюмашку, наплетет с три короба. Зина-тунеядка, бабкина квартирантка, опять гуляла — свет на всю улицу. И с кем гуляла? С Власиком.

— А, Никифор Иванович! Давай, давай к нашему шалашу. А мы вот с Зиночкой — ха-ха! — бюджет государственной укрепляем... — И Власик, посмеиваясь, похихикивая (рад, что застали в компании с такой молодой и крашеной стервой), начал выливать в стакан остатки из бутылки. Для него.

Микша вспомнил вдруг про бумажку, которую сунул ему Куда-сов, нащупал ее в кармане дождевика, бросил на стол.

— Берите да чешите куда-нибудь. Живо!

— Да ты что, Никифор Иванович... — опешил Власик.

— Не имеешь права! — взвизгнула распянувшая Зина, но бумажку сцапала моментально.

Микша не стал много разговаривать — не та публика, чтобы прения открывать, — двери настежь, ворота настежь: вон, пока деньги не забрал обратно!

Бабка проснулась от холода. Никакой шум, никакой крик не могли вывести ее из дремучего сна, а вот опахнуло холодным воздухом — и ожила: голову стриженую с подушки приподняла, очумелым взглядом вонзилась в него.

— Матрена, знаешь, нет, я кто? — прокричал Микша.

— Бывает, какой служашой.

— Нет, здешний. Из Сосина. — Микша взял со стола стакан с водкой, которую налил ему Власик. — Ну-ко выпей немножко, прочисти мозги.

Бабка отпила глотков пять и мало-помалу начала соображать.

— Ивана Варзумова помнишь с нижнего конца?

— Помню.

— Хороший был человек?

— Хороший. Как не хороший. Все бумаги людям писал.

— И тебе писал?

— Писал. У нас лошадь белые забрали, парень, Петруха, ко красным ушел. Хороший был карько. Заплатили деньгами.

— Кто заплатил?

— Власти. Иван Никифорович бумагу написал. По евонной бумаге заплатили.

Да, это так, так, подумал Микша. Правильно говорит бабка: ходили к отцу люди насчет всяких бумажных дел. Он и сам теперь припоминает. И, помнится, дядя крепко выдавали отцу за это: дескать, в подрыв советской власти действуешь. Да и мать не очень одобряла отца.

— Матрена, а мать мою помнишь? Жену Ивана Никифоровича?

— О, ты вот про кого. Про Анюшку кобылинскую. Дурна баба. Кровь-та у ей, сам знаешь, кобылинская. У трезвой, бывало, Иван Никифорович слова не добьется: все не так, все не эдак. А в праздник выпьет — опять прощенья просит у Ивана Никифоровича, в ногах со слезьми ползает.

И это тоже правильно говорит старуха. Выпивала мать. И каждый раз каялась перед отцом, плакала, называла его святым, а себя — ведьмой, сукой. И тут не выдерживал отец и тоже начинал плакать и просить прощения у матери. А как плакал и убивался отец, когда умерла мать! Он, Микша, первый раз в жизни видел, чтобы у человека была мокрой от слез борода. Первый и, наверно, последний.

— Матрена,— Микша хлюпнул носом,— а меня отец вспоминал перед смертью?

— Да ты чей будешь-то?

— Сын Ивана Никифоровича. Микша. В прошлом году хлев у тебя на дрова пилил.

— Нету, нету хлева-то. И овечек нету. Я все с овечками жила, шерсть пряла. Хорошая у меня шерсть была...

Микша слегка потряс старуху за костлявые плечи.

— Да ты не про овечек мне, не про шерсть. Ты вспомни, как умирал Иван Никифорович. Перед самой войной, когда из заключения пришел. Вспоминал он своего сына?

— Да разве у его сын был? Дочи, кабыть, Анюшка.

— Нет, не дочи! — закричал Микша.— Сын! Я. Никифор. Понимаешь?

Старуха не понимала. У нее, видно, кончились те немногие минуты просветления, которые ей еще отпускала на день природа, и сколько он ни кричал, сколько ни объяснял, кто он, пробиться к ее памяти не мог.

Между тем вернулись Власик и Зина — забарабанили в окошко и в ворота. И пришлось идти открывать, пришлось впускать в избу.

— Никифор Иванович! Живем! — Власик еле держался на ногах, но на стол выкинул две бутылки. Зина тоже бутылку поставила.

Наверно, четвертной дал, подумал Микша про Кудасова и хлопнул дверью: разве до выпивки ему было сейчас?

Вот и опять его ноги вынесли к реке, к перевозу.

Бродил, бродил по деревне, думал-думал, к кому бы еще толкнуться,— ничего не придумал. Петруша Лысохин, к примеру, под-

ходящих бы годов, да всю жизнь прожил в городе — что знает про отца? От Настасьи Тюлевой тоже толк небольшой: напрочь глуха. А Маремьяна Максимовна и на порядке бы старуха, с умом, да к ней нет ходу из-за дяди Александра. Чуть ли не сорок лет прошло с той поры, как дядя совратил ее дочь Татьяну, сама Татьяна стала старухой, а не забыла обиду Маремьяна: встретишь — глазами прожигает тебя.

Волна на реке не стихала. С гулом, с грохотом била в лодки у берега, и те в темноте натужно скрипели, ворочались, как невидимые тюлени.

Эх, да что он раздумывает! Райцентр рядом, четыре версты не будет. Отец годами, до тех пор, пока служил в райпотребсоюзе, шлепал. Каждый день — и утром и вечером, а он стоит, к реке прислушивается.

Через час Микша входил в райцентр. К его немалому удивлению, тут еще кое-где были огни, дощатые тротуары трещали под ногами буйного молодняка, возвращающегося с танцев.

Скоро он свернул с главной улицы, темными переулками вышел к коммунальной бане — тут, за два дома, возле колодца под навесом, жил Василий Семенович.

Василий Семенович частенько попадался ему на глаза, когда он бывал в райцентре. Веселый старик, всегда в людных местах трется. И всегда зовет его в гости: «Зайдем, зайдем ко мне, Иванович. Вспомняем отца. Ведь у тебя отец-то — книжки надо писать».

Ему долго не открывали. Стучал кулаком, дубасил сапогами — все бесполезно. И только после того, как догадался брякнуть палкой в раму, в сенях зашаркали старческие шаги.

— Кто там по ночам безобразит? Милиция у нас рядом, можно и позвать как.

— Открывай, Федосеевна. — Он все-таки вспомнил имя старухи. — Свои.

— Да чьи свои-то? Свои-то в свой час и ходят.

— Свои, говорю. Никифор из Сосина. Ивана Варзумова сын.

— Кого-кого сын? Ивана Никифоровича? Да что же ты, родимой, сразу-то не сказал?

И тут вмиг, как в сказке, пали железные запоры, и Микша, громяхая дождевиком, ввалился в кухню.

— Заходи, заходи, Никифор Иванович, — опять запела старуха. — Завсегда, и ночью и днем, открыт наш дом для сына Ивана Никифоровича. А я ведь думала, пьяница какой ломится. Какие-то времена пошли — мужики ночи без вина прожить не могут. Все только одно вино и ищут. — И вдруг заохала, заахала: — Да откуда ты, родимой? На тебе ведь лица нету. Весь забелел, застудел...

— Ладно про лицо. Ты лучше старика своего разбуди.

Федосеевна печально покачала старой головой.

— Нет, не разбудишь Василья Семеновича. Крепко спит Василий Семенович. Беспробудным сном...

— Чего? Помер?

— Помер, помер Василий Семенович. На той неделе два годика будет как схоронили.

Микша тяжело опустился на заскрипевшую табуретку, обеими руками схватился за голову: вот и поговорил с веселым стариком про отца.

— Слушай, Федосеевна, а ты не знаешь, за что твой старик все добром вспоминал моего отца?

— Знаю, как не знаю. Твой-то отец, Иван-то Никифорович, моего старика от смерти спас.

— От смерти? Мой отец?

— Да, от смерти. В ту еще, в гражданскую. Мы с Васильем, не знаю, жили, нет с неделю-то вместе — только-только поженились,

И вот как сейчас помню, вечером из гостей приходим, у моих родителей были, раздеваемся, и вдруг твой отец: «Василий Семенович, спасайся! Сейчас за тобой придут». А Василий Семенович — ха-ха, на смех. Знаешь, какой зубоскал был: мне за день до смерти кукиш показывал. А уж крыльцо-то трещит. Идут. Ну, меня бог вразумил, закладку в сенях задвинула. Василий — на поветь. Понял, чем пахнет. А поветь-та уж тоже в окружение взята. Застреляли, забახали — я думаю, и мужику моему конец. Ну да темень была — ушел невредимой. А твой-то отец, Иван Никифорович, не ушел. Куда уйдешь? Мефодий, дядя твой, в избу влетел: «А-а, дак это ты его предупредил? Ну раз контру спасаешь — становись сам к стенке!» И прямо револьвер на него. Да хорошо тут Александр заступился, тоже дядя твой. «Что ты, говорит, Мефодий, опомнись! Это ведь зять наш, муж нашей сестры». А то бы крышка Ивану Никифоровичу. Мефодий Кобылин, хоть и дядя тебе родной, а собака был человек. Сколько его на свете нету? Двадцать лет, а может, больше, а люди и топерь еще из-за него плачут. Что он наделал-натворил в том году со своими головорезами — страсть. В кажинной деревне безвинных людей казнил, а в нашей волости зараз десять мужиков. Один одного лучше да крепче. Мой-то у него тоже был приговорен, да спасибо Ивану Никифоровичу...

Тут Микша решил внести ясность, ибо кто только в последние годы не пинает его дядьев за расстрелы в восемнадцатом году.

— Ты слыхала про то, что в Ленина белые стреляли? В Москве, на одном заводе? Ну дак за Ленина, за вождя революции тогда мстили. Красный террор. Чтобы впредь неповадно белякам было. Понимаешь?

— Да ведь Ленина в Москве стреляли, с Москвы и спрашивайте. А наши-то мужики чем виноваты? За тысячу верст от Москвы живем... — Тут Федосеевна по старой привычке перешла на шепот. — Да мы, Никифор Иваныч, в те поры и про Ленина-то не слыхивали. Это потом все — Ленин да Ленин, а тогда чего мы знали...

— М-да... — сказал Микша. — Вон оно как... — Он обеими руками схватился за голову, потер лоб. — А отец, значит, не сробел, прямо под наган стал? А я ведь думал, по части смелости он слабак.

— Кто, Иван-то Никифорович слабак? Что ты, что ты, господь с тобой. В крестьянском пароходстве служил казначеем — знаешь, какие деньги имел. И в город и из города один ездил. А нервов-то, угроз-то ему сколько было, когда с ссыльными они это опчество стали делать! Парамон Усынин, наш-то богач, сама слыхала, как возле казенки кричал: «Ну, Ванька, ты еще восплачешь у меня красными слезами!»

Микше доводилось слышать, что отец служил казначеем в каком-то пароходном обществе, но что это за общество, почему о нем до сих пор вспоминают люди, он не знал, а потому попросил рассказать старуху.

— Ну, милой, — вздохнула Федосеевна, — это тебе, кто грамотный, надо спрашивать, а чего я расскажу? Было у нас в уезде пароходное опчество, на паях мужики два парохода купили, чтобы товары из города возить, а то Парамоха Усынин втридорога за все драл — и за проезд и за товары. А в те поры у нас ссыльные жили, вот они и стали подбивать твоего отца на киперацию. А он, Иван-то Никифорович, у Парамона Усынина служил, в доверенных был.

— И отец против самого Усынина пошел? — От волнения у Микши перехватило горло.

— У, милой! Что тогда было, и не пересказать. Шутишь, нет, у Парамона такой кус вырвали. Раньше сколько хочу, столько и дери — мои пароходы, я хозяин. А тут дери, да оглядывайся: еще два пароходика на реке посвистывают. В больших, в больших людях ходил Иван Никифорович. Это теперь-то его попрizaбыли, а тогда что

ты — первый человек. Да ты чем меня, темноту, спрашивать про отца, к Павлину Федоровичу сходи. Они вместиах тогда это опчество ставили. Уж он тебе все как надо разложит...

10

Если кто и был загадкой для Микши на этом свете, так это Павлин Федорович Усольцев, районный учитель.

Человек в двадцать пять лет все кинул в городе — квартиру, хорошее место (говорили, в профессора мог выйти), — поехал в ихнюю глушь, Добровольно. Без всякого понюжалника. Чтобы учить крестьянских сопленосых ребятишек, нести свет людям.

И вот двадцать пять лет, как говорили в старину, сеял разумное, доброе, вечное, все отдал людям, всем пожертвовал: молодостью, семьей (так холостяком и остался), здоровьем. А люди? Чем отплатили ему за это люди?

В тридцать восьмом году Павлина Федоровича арестовали, и никто, ни один сукин сын не заступился за старика...

Он, Микша, на всю жизнь запомнил, как Павлина Федоровича отправляли под конвоем в город. Было это ранним июньским утром. Он откуда-то возвращался с гулянья под парами (страшно он пил тогда, после отреченья от отца. По пьянке, между прочим, и в тюрьму угодил — грузовиком на районную трибуну налетел), и вдруг в утренней тишине завыкало, заскрипело железом. Глянул — а из ворот энкэвэдэ выводят арестованных. Все на один манер. Все грязные, бородатые, серые. А Павлина Федоровича он все же узнал. По выходке. Горделиво, с поднятой головой шел. И еще ему кинулась в глаза белая-белая лысина...

Семнадцать лет отстукал Павлин Федорович. Освободили по хрущевской амнистии в пятьдесят пятом году. И вот как бы поступил на его месте другой человек? Потачился снова в эту проклятую глушь, к этим оглоодам, которые его предали? Да пропадите вы пропадом! Хоть подохните, хоть на корню заживо сгнивайте. Что — места другого мне не найдется? Хоть в том же в городе, куда все теперь рвутся?

А Павлин Федорович опять вернулся к ним. И мало того что вернулся — весь район в зелень одел.

С тридцатых годов у них озеленяют райцентр. Сил и денег ухлопано — не сосчитать. А все попусту: то сами посохнут эти зеленые саженцы, то козы объедаят, то кто-нибудь из озорства выдернет. А вот взялся за это дело Павлин Федорович, и по всему району, по всем деревням загулял зеленый огонь. И забыли люди вековечную пословицу: у дома куст — настоится дом пуст. Нет, теперь без красной рябинки да белой черемушки и дом не в дом.

11

Микша не раздумывал, будить или не будить старика. Это часа два назад, когда у него еще не было в голове паров (отца с Федосеевной помянули), он бы ломал голову, как быть. А сейчас все просто. На крыльце грязь с сапог обил и прямо в коридор, к двери, где крупно, как в букваре, было написано — «П. Ф. Усольцев»: давай, Павлин Федорович, открывай, объясни, как жизнь надо понимать, поставь мне, дураку, мозги на место.

Старик, должно быть, еще не спал: он быстро, не по-стариковски, открыл дверь.

— Павлин Федорович, это я, Кобылин...

— Кобылин?

— Ну да, Никифор Кобылин... в пятом классе у вас учились... Старик покачал головой.

— Кобылины у меня не учились.

— Ну вот еще, автобиографию я свою забыл. Да я тогда не Кобылин, Варзумов был. Ивана Никифоровича сын. В райпотребсоюзе который работал... Бухгалтером...

— Так это ты... ты от отца отрекся?

— Да будет вам, Павлин Федорович! Старое-то вспоминать... Когда это было-то!

Павлин Федорович спокойно и твердо, совсем как, бывало, на уроке, сказал:

— Нет, Кобылин, не все, что старое, забывается.— И вслед за тем так же спокойно закрыл дверь.

Микша оторопел. Он хотел крикнуть: «Да погодите же, Павлин Федорович! Да я не ради себя пришел, ради отца...»

И не крикнул. Не хватило духу.

12

Сколько времени он бродит? Где был? Что ищет?

Темнь, темнь кромешная, мрак кругом...

Какой-то забор вдруг преградил ему дорогу. Он ощупал его руками — похоже на острые штакетины, приподнял сверху лицо — что за шум над головой? Сосны, сосны шумят...

А-а, так вот куда его занесло — к братскому кладбищу, к дядьям на могилу.

Ну здравствуйте, здравствуйте, дядюшки!

Микша не тыкался, не вихлял больше в темноте: тут, на кладбище, он был как у себя в избе. Знал каждый поворот.

Уже давно перестали колонны демонстрантов ходить на братское кладбище в красные праздники, уже давно не говорят над могилами зажигательных, до самого сердца пробирающих речей, не поют «Интернационал», не палят из ружей, а он ходит. Из Сосина ходит. С красным флагом. В любую погоду, в лежуху попадает за реку...

— Ну, спасибо, дорогие дядюшки,— сказал в темноту Микша.— Устроили вы мне жизнь...

Ледяной ветер с воем, с визгом, как стая злющих собак, налетел на него, едва он ступил ногой на открытый большак. Он остановился. Может, обратно двинуть, в райцентр, переночевать у знакомых? Но он вспомнил вдруг Оксю, представил себе, как она, вся измучившись, ждет его дома,— и к черту, к дьяволу ночлеги. Даешь Сосино!

Ах дура, дура Окся! Прибежала к нему, вдовцу, семнадцатилетней девчонкой. Сама. Не могу видеть, как мучаются осиротелые детишки,— а про то подумала, как с Кобылиным жить? Только и свету, только и радости она у него видела, что в первый год их совместной жизни он свозил ее в город да показал в областном музее уголок своих дядьев...

На лугу ведьмы справляли шабаш. Он сбился с дороги, залез в какую-то топкую озерину, в темноте потерял шапку. Хана! Не выбраться из этой проклятой ночи...

Ну нет, не для того он вывернул наизнанку всю свою жизнь, чтобы, как собака, подохнуть на открытом лугу. И он, зажав рукой сердце (оно, как загнанный заяц, торкалось под парусиной дождевика), опять начал утаптывать в темноте луг. И опять какая-то топь, болотина, опять какие-то кочки под ногами. Откуда? С каких пор на их ровнехоньком, как блюдо, лугу позавелась вся эта пакость?

Окся, Окся вывела его к реке. Ее дымок он вдруг учуял в ночной темени. Знала: любит муж тепло после похмелья. Любит босиком походить по избе. Вот и затопила печь ни свет ни заря. Вот и донесло до него ветром запах родного дыма...

Светало, когда Микша, опираясь на жердь, поднялся в сосинский берег. Волосы на голове у него смерзлись, обледенелый дождевик гремел, как железо...

Близко, близко уже дом... Уже видно, как огни светятся в окнах. Много огней... Но что это? Откуда колокольный звон?

Он повернул голову на восток и увидел там черную громадину часовни, освещенную заревом свечей.

Нет, нет, дудки! Это старухам постоянно мерещатся свечи на рассвете, а я безбожник. Я с малых лет не верю ни в бога, ни в черта.

Но свет на востоке не гас, и оттуда уже доносилось какое-то знакомое-знакомое пение. Где, где он слышал его?

Вспомнил. Лишенцы, раскулаченные пели в тридцатом году.

По вечерам, на закате, из часовни выползали все, кто мог двигаться, усаживались прямо на землю и заводили песни. Мягкие, нездешние, налитые безнадежной тоской и мукой. И сосинские бабы, слушая эти песни, навзрыд плакали, и плакал его отец... И он ненавидел его тогда до слез, до исступления. Ненавидел за то, что отец был человеком...

Иду, иду, отец!

Никогда в жизни не был он на могиле своего отца, никогда в жизни не ронял слезы на погосте возле часовни, а почему? Разве он не сын своего отца?

Звонили колокола... Песня то умолкала, то вновь томила тоской и болью...

Он шел к отцу...

13

Неделю спустя в районной газете в разделе «Пьянству — бой!» появилась заметка:

«К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДРУЖБА С ЗЕЛЕНЫМ ЗМИЕМ

Н. Кобылин, конюх из Сосина, давно уже снискал печальную известность своей многолетней дружбой с зеленым змием. А ведь не теперь известно: там, где вино, алкоголь, там моральные срывы, безрассудные выходы. Ну кто, к примеру, в здравом уме и трезвой памяти поедет сейчас по бездорожью в глухой сузём, чтобы навести, так сказать, свой порядок в рыбном хозяйстве? А Н. Кобылин поехал, а вернувшись из поездки, предпринял дерзкое форсирование реки — посреди ночи, в условиях ледяной шуги.

Кончилось все это, как и следовало ожидать, весьма печально. В ночь на 15 октября Н. Кобылин до того напился, что на ночлег решил перебраться на могильники, к старой часовне, где его и нашли замерзшим.

Н. Кобылину теперь уже ничем не поможешь, но кое-кому еще можно и должно помочь, ибо, увы, в нашем районе еще не перевелись любители водить дружбу с зеленым змием.

Долг общественных организаций — ни на минуту не выпускать из своего поля зрения дебоширов и злостных пьяниц.

Пьянству — бой!»

1974 г.

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

Повесть «Поездка в прошлое» была закончена в 1974 году. 9 ноября 1974 года Федор Александрович прочитал повесть мне и другу-художнику Е. Мальцеву. Об этом сохранилась запись в дневнике:

«Однако самый интересный разговор у нас с Женей (и с Люсей) завязался после чая, после того как я прочитал «Поездку в прошлое». Повесть оглушила Мальцева. «Отец все сокрушался: неужели о всех муках и бедах наших так и не узнают потомки? Так вот теперь узнают. Михаил Варзумов,— сказал Женя,— это образ современной

русской нации. Мы все так или иначе расплачиваемся за кровь, столь обильно пролитую на нашей земле. И это одна из причин нашей повальной пьянки». И тут у нас начался большой философский разговор о России, о русском народе, о его прошлом и настоящем и о том, что ждет его впереди».

За прошедшие тринадцать лет повесть побывала во многих журналах и при жизни Федора Абрамова, и после кончины его. Все высоко отзывались о повести, но не печатали.

В личном архиве писателя сохранились первоначальные машинописные и рукописные варианты повести, а также сотни черновых набросков и заметок к ней, сделанные в 1967—1969 годах.

В наше трудное перестроечное время многие спешат рассказать о событиях прошлого, о том, что скрывалось десятилетиями, читатели торопятся узнать все новые и новые факты, критики поспешно пересказывают опубликованное в печати. Словом, все торопятся узнать, пересказать, высказаться, а то и перекричать друг друга. Печально, что даже писатели порой забывают, что крик еще не искусство. В погоне за сенсационными фактами зачастую не остается времени и душевных сил на самое главное — на осмысление причин происшедших трагедий, на постижение сил, которые не дали погибнуть стране и народу.

В этом плане особенно примечательны творческие искания Федора Абрамова, который десятилетиями обдумывал то, что мучило и требовало разгадки. Так произошло и с повестью «Поездка в прошлое». Он не спешил с выводами-оценками, не нагнетал устрашающих деталей и фактов. Законченное повествование сжато. Но оно таит в себе энергию мысли и чувства писателя, энергию слова, обращенного не к спешащему, а вдумчивому, серьезному читателю, готовому вместе с автором разгадывать трудные проблемы времени.

Абрамов сосредоточил внимание в повести не на событиях, а на сознании и психологии героев, на тех, может быть, самых губительных последствиях культа личности, которые проникли в души людей, в характеры, жизненные ориентации.

В повести затронуты сложнейшие политические, социально-исторические и философские проблемы, о которых в полный голос заговорили совсем недавно: трагедия коллективизации и раскулачивания, противостояние фанатиков-революционеров и подлинных хранителей общечеловеческих ценностей, прозрение и истоки трагедии людей разных социально-нравственных ориентаций, причины пьянства, которое Абрамов наряду с пассивностью и равнодушием называл национальным бедствием страны.

Многочисленные черновые наброски и заметки дают представление не только о творческой истории повести, но и свидетельствуют о направленности мысли писателя, о масштабе мучительных вопросов, которые он задавал себе и читателю.

Авторские рассуждения о сюжете, о судьбах и характерах героев, их поведении и поступках широко раздвигают границы повести. В них — думы-сомнения, думы-предположения, думы-разгадки самого писателя. Изю дня в день, из года в год он настойчиво вопрошал нашу историю, распутывал ее трагические узлы, улавливал связь прошлого с настоящим, взаимосвязь характеров и эпохи. Черновые рукописи приоткрывают глубинные смысловые пласты повести. Приведу несколько таких особо значимых записей.

«3.VII.71.

Что было за время. Друг друга душили. Детей. Убивали людей. Своих, русских. Кого? Лучших хозяев».

«7.VI.73.

По самым приблизительным подсчетам, через сталинские лагеря прошло до 20 млн. человек. Из них погибло не менее 9/10.

Короче, число жертв сталинского режима примерно равно нашим потерям в войне с Германией.

Эту цифру Микше называет Мазуров (первоначальная фамилия Кудасова.— Л. К.), и Микша совершенно потрясен. Именно в свете ее осмыслиется им подвиг дядей, ликвидация кулачества как класса.

...20 млн. Это неточно. Людей в России не считают. Свиной, конское поголовье считают, сколько кубов леса заготавливают — считают, а людей не считают.

20 млн. И какие 20 млн. Отборные.

20 + 20 = 40 млн. Как выстояла Россия. С двух сторон рубили Россию. И выстояла. Какая же сила».

«28.VI.73.

Преступление, к которому были причастны большие массы людей, опустошило их души, сделало их несчастными.

Микша становится человеком только в пьяном виде. И Окся по этому поводу, возможно, говаривала:

— Тебя жалко, да и денег нет, а то бы поила с утра до ночи. Потому что ты только и человек, когда выпьешь».

«3.VII.73.

Были ли кулаки в советское время? Не было! Как они могли быть? Что же, какие-то мироеды грабили, пили кровь из бедняков, батраков, а советская власть со стороны смотрела на это? Как бы не так.

Чуть кто начинал кровью наливать — хлоп твердым заданием. А потом, закон о земле. Ты думаешь, у кулака земли в десять раз больше, чем у бедняка? Как бы не так. По душам делили.

И вся разница в том, что так называемый кулак обрабатывал свой надел, все выжимал из него, а бедняк цветки, то есть сорняки, выращивал. Конечно, арендовали кулаки землю. Но опять же кому от этого урон? Государству? У бедняка земля годами лежит необработанная, а у кулака так называемого она хоть родит. Вот тебе и вся политграмота о кулаках <...>».

«8.X.73.

Раскулачивали наиболее расторопных, хозяйственно инициативных мужиков.

Построил мельницу, завел смолочурню, маслобойку выписал — враг. Враг каждый, кто проявлял хоть какую-нибудь инициативу.

В хозяйстве, в мыслях (сколько за язык было взято).

Желанный, идеальный гражданин — лодырь, бездельник.

И вот хозяйственных мужиков под корень, а люмпен-пролетариев поставили руководить сельским хозяйством.

Вышел конфуз. Страна осталась без хлеба. Миллионы людей погибли с голоду».

«8.X.73.

Коллективизацию связать с сегодняшним днем.

В коллективизацию разрушили сельское хозяйство. А теперь продолжается этот бардак. Ибо за 40 лет из мужика выбили всякую инициативу, всякую активность. Земля стала ничейной, безразличной мужику, а сам крестьянин стал работягой.

Вернее, на место крестьянина пришли работяги. Дело дядей продолжается и сегодня.

Вот чем закончилась для Микши поездка в прошлое, воспоминания о коллективизации.

В коллективизации была сделана установка на батрака, на бедняка, а хозяина под ногу.

И сегодня подряд все батраки... Безынициативные работяги.

Вот конечный результат работы, начатой дядями».

А теперь обратимся к собственно творческой истории повести. В 1963 году Федор Александрович написал рассказ под названием «Поездка в прошлое». В 1965 и 1967 годах вносил значительные добавления и поправки.

В первоначальных вариантах более подробно излагалось поведение раскулаченных, вывезенных с юга, и отношение к ним деревенского населения и фанатиков-революционеров — Артемия и Ивана (так были названы дяди Микши). Об этом рассказывал Микша Мазурову (Кудасову) во время поездки на Курзию:

«— Что, пугаю, думаешь? Сказки сказываю? Нет, брат, жизнь, она любую сказку перешибет. Так-то.

Микша закурил, распуская искры по ветру, опять посмотрел через плечо на седока — рассказывать ли? Решил: лес в свидетели не вызовешь. Какого хрена молчать?

— Коллективизацию пережил — нет? Зацепила каким-нибудь боком? Ну а я, хоть пацаном в те годы был, кипел на всех парах. Веселое времечко было! Собрались это у нас на собрание вот в эту самую часовню. Старухи сзади в один голос, плачут — не хотят в колхоз. А мой дядя — знатные у меня дядя были, красные партизаны — как закатят «Интернационал», аж потолок трещит. Так вот вступали в новую-то жизнь. А в поле-то всей деревней вышли — праздник! Бывало, каждый чертит, ползает по своей полоске, а тут всем скопом как на игрище вышли. С песнями. Ну, тем летом еще у нас был праздник — пароходы пришли. Раньше под нашей деревней ни один пароходишко не останавливался, все мимо да мимо — тридцать домов деревушка. А тут как-то купаемся с ребятами: на, пароход с двумя баржами прямо под наш берег катит. Понимаешь?

Микша покачал головой.

— Ну, этот праздник мне запомнился. Мы-то думали черт те что к нам везут. Вся деревня высыпала. Тогда ведь эта пятилетка началась, строительство по всей стране. Чем черт не шутит, думаем, и у нас чего задумали строить. Радуемся, одним словом: вот и в нашу дыру свет пришел. А потом глядим, открыли эти баржи, а там народушку — как сельдей в бочке. И вонища такая оттуда прет — не поверишь: лето, на открытом воздухе, а я как вспомню — у меня и сейчас кишки выворачивает. И пошло, и пошло. Кто с юком, кто с сундуком, кто босиком. Старики, старухи. Ребятишки плачут, говорят не по-нашему: чай, ай, май. Ну, начальство наших баб успокоило: кулаки. Враги советской власти. Из южных краев высланы. Ладно. Советская власть знает, что делает. Мужчин да парней на Курзину — бараки строить, а всех остальных — кого по домам распахали, кого в эту самую часовню. В четыре этажа нары поставили. Утром, бывало, встанешь, пробежишься туда для интереса, а они — и старые и малые — выползают из часовни. Мокрые, ртом открытым, как рыбы, воздух хватают.

Мазуров ни «да», ни «нет». Зимние глаза в прижмуре. Дремлет? На заметку берет? Но раз уж он, Микша, настроился на воспоминания — сама дорога раскручивает их, — как тут молчать?

— Да, этих лишенцев у нас шерстили. Прижимали все кому не лень. Уж на что наши бабы попервости раскисли: «Ох, бедные! Ох, страдальцы!» — а потом как взяли в работу этих страдальцев — пух пошел. В тридцатые годы, знаешь, в какой цене ситцевый лоскут был. Это теперь-то в магазин зайдешь, полки от мануфактуры ломятся, а тогда ни за какие деньги не купишь. Ну а у лишенцев все кака-никака одежонка. У баб глаза разгорелись — давай тряпье на хлеб выменивать. Ну, раздели — голодный человек последнюю рубаху с себя снимет, а потом и сами зубы на полку. В тридцать втором — тридцать третьем у нас покосило народушку. В нашей деревне человек десять отдало концы, а велика ли наша деревня? Тут, видно, по пословице: не рой яму другому, сам упадешь. А яму рыли — нечего скрывать. И особенно мы, пацаны, старались. Боже ж ты мой, какими волкодавами были! А как же — кулаки! Контра. Враги советской власти. <...> Бывало, эти кулацкие дети сунутся за ягодами, за черницей, за голубелью — все кака-никака еда, а мы уж тут как тут. Войной на них. А что они? Еле на ногах держатся. Теперь-то я понимаю: такие же дети были, как мы. Чем виноваты? А тогда — нет. Тогда я ужасно идейный был.

— А теперь не идейный?

Микша хитровато посмотрел на Мазурова, улыбнулся:

— Я воробей стреляный. Меня на слове не словишь. Я ведь к чему все это? А к тому, что заводилой-то у ребят был я. Дядя у меня дубы — самые распроеидейные по тем временам были. Один начальник милиции в районе, другой комендант этой самой Грузии. Как же мне-то, племяннику, от таких дядьев отставать! Вот как было-то. <...>

Мазуров молчал. И Микша уже растерянным взглядом скользнул по его лицу. Что за человек сидит рядом с ним? Кажется, он не байки рассказывает. Дерево и то в непогодь стонет. А этот руки в замок (язва, что ли, его точит), глаза в землю (укачало, может, с непривычки) — и ни вдоха, ни оха!

И если, немного погодя, Микша заговорил снова, то уж, конечно, не для своего седока (пошел он к такой матери), а заговорил просто так, вслух, для себя, потому что больно разбидала его эта дорога и ему надо было выговориться.

— Да,— сказал Микша,— скверно все было. Скверно!

— Что скверно? — Мазуров все-таки слушал.

— Да война наша ребячья. Бои наши классовые. Они, эти лишенцы, никакого сопротивления нам не давали. Какое же сопротивление, когда их ветром от голодухи шатает! А нам это неинтересно. Не по правилам. Ежели ты классовый враг, дерись как положено. Налетим это на них всей оравой, а они сами ложатся. Какая же тут классовая борьба?

— Нет, зарпортовался немного,— подумал Микша и ухмыльнулся.— Был у них один зверюга, был. Этот дрался, прямо насмерть, скажу, дрался. Сам весь в крови, дышит — аж ребра вылезают, а нипочем не уступит. Ни за что! Видишь, у меня руль-то? — Микша указал на свой нос со светлым горбылем ниже переносья. — Это он маленько подправил. Правда, я и сам тогда сплеховал. Свалил его наземь, руку кручу, а он другой изворотился, камень, значит, пригреб и прямо меня камнем — чистый зверь — вот какие мы классовые бои заворачивали. Да,— вздохнул Микша,— я тогда ужасно идейный был. — И захохотал, сам не зная почему.

Помолчал, заговорил серьезно:

— У меня и дядя на этих лишенцах голову сломал. Ох, боявшийся мужик был! Теперь уж таких нету. Ну, вроде Нагульнова из «Поднятой целины». Читал? Идет по улице — ветер за ним вприпрыжку скачет. Легкий на ногу был. А когда комендантом на Курзии стал, тут уж он крылышки расправил. До любимой работки дорвался. «Я, говорит, устрою вам, гады, Грузию»,— от него это прозвание пошло. «Вы говорит, запомните у меня и внукам своим закажете, как советской власти оглоблю в колеса совать». Так и погиб на боевом посту. Кто-то его из этих лишенцев ножом полоснул. Ночью. А утром нашли, у крыльца комендатуры. Лежит, весь кровью подтек, а в руке наган — выгашил все-таки из кобуры, ну а выстрелить не смог.

Микша шумно выдохнул из себя воздух.

— Я этот наган запомнил. Когда дядю в районе хоронили, этот наган в головах у него висел. Рукоятка до железа стерта — порботано было из оружия, с гражданской войны дядя принес. И вот на этом железе бурая ржавчина — кровь запекалась. Это, надо быть, сперва он рукой за рану схватился, а потом за наган. И вот дядя Иван — начальником-то милиции который был — берет в руки этот наган. «Ну, Артемий, говорит, не водой — кровью смывать будем твое боевое оружие». Вот как в те годы разговаривали! Сдержал слово дядя — пошерстили тогда лишенцев на поселке».

В 1963—1965 годах рассказ оканчивался на шестой главе: возвращение Микши домой и разговор с женой о пережитом на Курзии и о Мазурове. В последующих редакциях повести эта глава была исключена. Думается, однако, что она тоже представляет интерес.

«6

Окся не спала. Она лежала на кровати и во все глаза смотрела на ввалившегося в избу мужа.

Микша постоял у порога, словно раздумывая, что делать, глянул на нее какими-то пустыми глазами и прошел к печи.

Она подождала, пока он, громыхая закоченелым дождевиком, не сел на скамейку.

— Чай пить или исть сперва?

Молчание.

— В шкапу стопка с вином стоит,— начала с другого конца Окся. — Сидел тут даве Власик, звенел цепями — второй день гуляет.

И на это молчок.

У Окся нехорошо заекало сердце. Что еще у него на уме? Какие фокусы будет показывать сегодня? Соседка ей говорила: на перевоз проехал твой муженек. И, поджидая мужа, она уже знала: пьет где-нибудь. Ведь какую копейку зашибет, ту и пропьет. Но сейчас, присматриваясь к мужу, она и этого не могла с уверенностью сказать. Пьяный Микша был скор и на язык и на руку. Только с похмелья на него находил столбняк. Случилось что-нибудь? В тяжком ожидании она перевела дыхание.

— Окся,— сказал глухим голосом Микша, и она аж похолодела: случилось! Ежели не пьянка, то беда. Середины в этом доме не бывает. — Окся,— сказал Микша,— помнишь, я тебе рассказывал про парнишку, который мне нос свернул?

— Это лишенец-то?

— Да. — Микша зашумел дождевиком, поднял голову. — Это его я возил на Курзю.

— Господи...

— И дядю Артемя... он убил...

— О господи, господи... — Окся отдышалась, потеряла ладонями живот. — Как он тебя-то еще не убил. С таким человеком в сузём. Я еще вчерась подумала: глазница на взводе — не жди хорошего от этого человека.

— Дура ты, дура, Окся...

Микша закурил. Жадно, несколько раз подряд затянулся.

— Да, вот так встреча. Через тридцать лет. Ну и жизнь...

Окся, напряженно округлив глаза, ждала.

— Мы это всю ночь на Курзии под елями мерзнем. Что, думаю, глаз не смыкает. Сидит — иней на плаще. А у него, оказывается, на том угоре, под елью, сестра повесилась. Дядя, гад, изнасиловал...

— Дядя? Артемий?

— Да, евонной сестренке пятнадцать годков было. Комендатуру убирала. Старшую сестру на лесозаготовках еще до этого бревном в лесу размяло. Отец да мать с голодухи загнулись. А он парнишка... один... четырнадцать лет...

— Много их тогда умирало, — со вздохом сказала Окся.

Микша докурил папиросу, начал было расстегивать дождевик и опять задумался.

Долго молчали. В изынной тишине постукивали ходики. Постукивали — и ровно, не спеша отсчитывали минуты.

Окся спросила:

— А где он сейчас?

— Уехал. — По вопрошающему взгляду жены Микша понял, о чем она думает, и добавил: — Приглашал. Некогда, говорит. Экспедиция рано утром выезжает.

— Да и с чего он пойдет, — вздохнула Окся. — Сердце-то у него, поди, как камень, затвердело.

— Нет, Окся, нет... — Микша вдруг весь подался вперед, зашептал: — Знаешь, что он мне сказал? Крест, говорит, на прошлом, Вахрамеев. Местью, говорит, жить нельзя. Да мне, говорит, и жизни не хватило бы, чтобы всем отомстить. Понимаешь?

Микша заправил рукой назад волосы, принял прежнее положение. Окся качнула головой.

— А мстить-то он начал. Дядю нашего кокнул — раз, а потом, говорит, к себе на родину, на Орловщину, подался. Дядя там у него родной оставался, отцовский брат. Из-за этого-то дяди все и началось. Почему у него крыша деревянная, а у евонного брата железная? Ну и вписал своего братца в кулаки — секретарем в сельсовете работал. Ну да недолго под железной крышей пожил. Против огня и железо не стоит...

— Поджег? — охнула Окся.

— Ну а как же! Ему, Мазурову-то, четырнадцать лет было. Он только тем и жил, тем и дышал, как бы до дяди добраться. Еще тогда, говорит, когда сестру из петли вынимал, клятву дал... А потом как увидел, говорит, ребятишки голые среди ночи из огня завьскакивали — шабаш. Сам, говорит, едва в огонь не бросился.

Дрогнуло стекло в раме — от ветра. Потом все стихло, и Окся услышала детское посапывание с полу. Она смотрела-смотрела на мужа, смотрела долго на его опущенную лохматую голову, которую он обхватил суковатыми руками, и вдруг расплакалась.

— Вишь вот, чужих детей человек пожалел, а ты на своих зверем смотришь. Вечер разыгрались, мальи и говорит: «Пущай, говорит, папа дольше не приезжает. Мы, говорит, хоть поиграем без него».

— Эх... — вырвалось у Микши.

И зачем все это он рассказывает? Чего ждать от бабы? У него все напрочь в груди рвется, душа криком кричит, а она знай крутит свое мотовило...

Он встал, вышел на крыльцо.

Погода менялась на глазах. В небе проступили звезды — далекие миры смотрели на землю, на маленькую деревушку с замороженными крышами, льдисто отсвечивающими в ночи.

Микша долго стоял на крыльце, навалившись грудью на перила, и всматривался туда, за изгородь, где билась в осенней стуже река. Потом вышел на дорогу, напередки своей избы.

Да не приснилось ли ему все это? Не спяна ли он придумал и эту поездку на Курзию, и этого железного человека, с треском сорвавшего проржавелые засовы с прошлого?

В избе горела лампа — не спала Окся. А в поле свистел ветер, и там чернела часовня, и над часовней, в зеленом чаду неба, показалось Микше, горят свечи...

На другой день, под вечер, два милиционера, вызванных из райцентра, сняли пьяного Микшу и пьяного Власика с часовни. Милиционеры запоздали. К их приходу Микша и Власик уже срыли с часовни крышу и разворотили верхние венцы.

1963—1965».

В дальнейшие годы картины из жизни прошлого постепенно отходили на второй план.

Еще 5 января 1967 года Абрамов записал: «Всю вещь через Микшу. Не о событиях, а о преломлении событий в Микшиной душе». А в декабре 1967 года появляются одна за другой записи-размышления, углубляющие замысел рассказа.

«7.XII.67.

Чтобы получился этот рассказ, надо уяснить для себя несколько вопросов.

1. Что такое Микша в гражданском отношении? Думает ли он о прошлом? Как? Критически? С одобрением? Что дало толчок к раздумьям? Доклад Хрущева о Сталине читал?

2. Как Микша относится к своим дядьям, в частности, к тому, который был комендантом? С восхищением? Критически?

3. А что произошло с Микшей после поездки? Ведь он взбалмошная и напористая фигура? Может быть, в поисках ответа обращается к районным властям! И как те с ним поговорили?

4. Надо сделать человечнее Мазурова. Снять с него налет детектива. Но в то же время читатель не должен догадаться сразу, что это тот мальчишка, с которым когда-то дрался Микша.

И Микша должен подумать. Он сразу догадывается, что это за человек. Из былых. И может быть, спрашивает: тут был? Иначе откуда ему известно местонахождение кладбища?

5. Концовка. Микша, не получив ответа в районе, запивает. Вместе с Власиком. А потом их снимают с часовни, а еще позднее в районной газете появляется статья „За хулиганское отношение к памятникам старины к ответственности“.

8 декабря сделана запись на четырех листах, привожу только начало: «Рассказ — на столкновении характеров, на поисках истины Микшей (а не на показе картинок из прошлого). Для этого надо еще раз продумать характер Микши. Кто он по мировоззрению?»

«9.XII.67.

Микша думает. К кому пойти? Кто просветит его, темного? Грамотным считается. Газеты читает, книги. А где он вычитает о том, что его мучит?

Нет, видно, другая грамота нужна <...>».

Возвращаясь мыслью к рассказу, Абрамов с каждым годом все больше делал заметок о Микше, о его мучительном прозрении.

«24.X.69.

К р а х в с е г о . Ч е м ж и т ь ?

Главное — просыпающееся сознание Микши. Выходит, он 30 лет эти жил во сне? Приснилось ему эта жизнь? И были ли у него дядья? А если были, то кто они? Раньше он гордился ими, опора, себя казнил, что не в них, — да ему об этом и напминали часто...

Микша всю жизнь казнил: не похож на дядьев, не продолжатель их революционного дела. Крови боялся. Мутит от крови. Теленка или барана не зарезать. <...>

О дядях. С восхищением говорит: им отправить человека на тот свет ничего не стоит. Ух, идейные.

Он ходил на поселок. Распался себя.. Но, конечно, не смог бы зарезать ножом.

Беда Микши — не мог жить в той упряжке, в которую запрягали жизнь его дяди. Он всегда выламывался, всегда заносило. <...>

Я наплюсь. То наган стащу. То кого-нибудь изобью. То на вечер явлюсь... Ну и захомутали наконец. Война, а я в тюряге. <...>

Жизни во мне много, что ли?

Вот с конями да с лесом только и могу. Не запрешь меня».

«6.VIII.71.

Микша

Обличьем в дядьев. Крупный. Богатырь. Угрюмый. А натурой — в отца. Отсюда — страдания, переживания.

Вся жизнь на то, чтобы переломить себя, переломить свою натуру. Выжать из себя отца. Стать достойным дядьев.

Отсюда: хулиганство. Пьянство. Дикие выходы. А потом — раскаяние.

Жить трезвым трудно. Постоянное сознание неполноценности. А вот выпьешь — и человеком себя чувствуешь. Все могу. Могу показать твердость духа. Могу скомандовать. Могу посмеяться. Могу поговорить. А трезвый — мрачен. Неразговорчив. И особенно мрачен после пьянки назавтра, когда начнешь все припоминать, что натворил под пьяную руку.

Вино давало крылья, смелость. Пьяным мог разойтись. А потом — падение. Летаешь — и брысь на землю.

Всю жизнь толкали на должности. Дорогу открывали. А он не мог. Кишка слаба...

Знал за собой грех. К примеру, председатель колхоза. Ставили. И после войны. И до войны. Но разве мог он бабу за колосок захомутать. На трудодни не выдать...»

«31.VII.71.

Биография Микши

Все бы есть, толкают на новую жизнь, а его заносит. В тюрьму попал.

Человек протестует в Микше. Против дядей, против жизни, сделанной ими».

Размышляя о биографии Микши, Абрамов составляет хронологическую канву его жизни:

«1918 — родился.

1930 — Кудасов изуродовал нос.

1935 — Смерть матери. Переживания отца.

1936 — Шофер.

1937 — Арест отца. Как агента международной буржуазии. Отказ от отца по настоянию дяди Мефодия.

1938 — Смерть (самоубийство) дяди Мефодия.

1938—39 — Своротил избушку. Суд.

1940—43 — В лагерях. Переживания.

1943—45 — В армии.

1946—48 — Председатель с/Совета. Не выдержал. Налоги. Не по душе. Председатель колхоза.

— Рядовой. Конюх...»

В другой заметке уточнялось время действия в повести: «1963 год. Кукуруза. Две партии. Две сов. власти...»

Много сохранилось набросков к портрету Микши.

«18.VIII.68.

Доброе крупное лицо с синими глазами и толстыми добродушными губами. На мясистых щеках глубокие вертикальные складки, а лоб как стиральная доска — весь в поперечных складках.

Уши лопухие (большие), тоже признак доброты.

Но когда перепьет и после похмелья — страшен. Волосы на развал. На губах (в углах) сбившаяся пеной слюна. Свиреп — если бы не большие лопухие уши.

Затылок — прямой, будто стесан. Сила и тело богатырские. Особенно когда в майке.

Свирепый вид (когда пьян) и добрая, нерешительная душа. Плачет».

«23.VIII.72.

Микша всем обликом — в дядьев. Крупный, красный, с решительным видом..
Только душой в отца.

И насчет этого часто обманывались люди.

В лагере уркачи за командира могли почитать. Начальство всю жизнь двигало в начальники... А он не мог...»

«23.VIII.72.

Микша

Внести изменения.

Голубоглазый. Крупная голова. Волосы черные, надвое распаханы белым пробормом. С проседью. Крепкие уши. Руки.

Но душа — мягкая. За чья.

Трезвый — молчит. Когда выпьет — ласковый, овечушка. Человек. Глаза от таяли. А перепьет — зверь.

С перепоя, с похмелья тоже злой.

Да, внешняя крепость и мягкая, кроткая душа.

Потому-то и пошла за него Окся, хотя ее всячески отговаривали. Разве не знаешь их, зверей».

14 сентября 1971 года появился развернутый план повести на тринадцати рукописных листах. Впервые появляются наброски последних глав, где Микша вспоминает отца, размышляет о нем, пытается найти у людей ответ на вопрос, кем же был его отец. Не найдя ответа у соседки-старухи, сам восстанавливает образ отца. «Прекрасный отец. Зря стыдился. Жизнь — не всё дяди... Вернее, вспоминает, что рассказывал Ив. Никифорович, когда заходил к нему, чтобы выпить:

— В старое-то время он вон какой был. Первый у нас... Ума великого человек...»

Дальше конспективно изложены мысли Микши: «Отец... Отец... А может, он-то и был настоящим человеком. Захотелось на могилу. Ни разу не бывал на могиле у родителя. Ну так в темноте... Ради отца...»

Социально-философская проблематика повести углублялась и в последующие годы. Историю жизни и прозрения Микши Абрамов все больше и больше соотносил с трагическими событиями 20—50-х годов.

4 июля 1973 года он записал: «Шире и глубже захват событий. В основных фигурах — вся эпоха». И дальше шли заметки о раскулачивании, о варварских методах коллективизации.

Еще 29 ноября 1971 года Абрамов сделал запись о раскулачивании в Сибири:

«<...> В г. Камень раскулаченных, приехавших на своих лошадях, согнали к пристани. «Все бросать в кучу». И стали бросать — все, что захватили второпях (веле-но было собраться за два часа)... Накидали курган. И этот курган раскулаченные видели за десять километров от города — до того он был велик.

А самих раскулаченных загнали в баржи. И повезли по Оби, по Иртышу на Васюган, а с Васюгана еще по притоку... Выгрузили в тайге. Через полгода от 1000 осталось 40. Остальные умерли.

За что? Чем провинились русские крестьяне?

Но что примечательно. Ни один из детей раскулаченных не изменил в войну — об этом рассказывал секретарь РК.

В одной деревне — из раскулаченных — насчитывалось 60 домов. Из 60 ушло на войну 65. Вернулось 7 увечных.

Вот что такое сибиряки. Вот что такое русский крестьянин! Чем измерить его подвиг? Как понять? (Прав Тютчев.)

Русского крестьянина за человека не считают. Собственник. Приговорен к переделке.

А разве интеллигенция может сравниться по бескорыстию с крестьянством? Хоть на 1/10?»

Много было сделано записей со слов земляков-пинежан.

«28 VIII.69.

Комендант. Всегда с плеткой, с наганом. Людей бил жестоко. Один раз среди зимы приказал спецпереселенцу ехать на поселок с беременной женой — та родила по дороге и замерзла.

Спецпереселенцы захотели зарубить его топорами, но потом передумали: много будет жертв невинных.

В конце концов решили убить на лесозаготовках.

Возле дороги, по которой ходили в делянку, заранее подпилили пять бревен и стали ждать коменданта. Наконец комендант с плеткой появился.

— Гражданин комендант, берегитесь!

А куда уберешься, когда все рассчитано? Комендант ступил в сторону, и тут его придавила ель.

Следствие не установило нападения — все было учтено. И были свидетели — десятник и пр., которые слышали, как переселенцы кричали коменданту. Несчастный случай. <...>

Самое страшное у переселенцев проблема детей. Дети согласны — родители кулаки. Их надо наказать. Но их-то, безвинных детей, за что наказывают?

Дети умирали как мухи. Огромное кладбище. Дети объедались мухоморами, сладким корнем».

«7.X.73.

Переселенцев истязали сверх меры. Пускать на ночлег, подавать милостыню — строго запрещалось. Враги.

Дорога от Ширяева до Явзоры выстлана трупами. Шли выменять кусок хлеба. Их имали, били, они умирали в избушках, под елью. <...>

Вне закона. За реку гнали плетками (верхом)».

«8.X.73.

Как выселяли Ивана Немирова (второе раскулачивание) Красный партизан. Всю жизнь клал печи. В колхозе почти не работал. И вот райком назначил к выселению. Собрали собрание.

— Кто за?

По привычке подняли руки. А потом спрашивают друг у друга:

— Куда его?

— В Сибирь. На высылку.

— О, господи! Да как же так?

Сам Иван сказал:

— Как увезете, так и привезете.

И верно, через неделю привезли.

Было это при Комарове».

«8.V.74.

Как Александр-комендант бесчинствовал на поселке

А. Н. издал приказ: после 9 часов не топить.

Раз идет по поселку — дым. Кто нарушил? А это поп — из лесу приехал. Похлебки решил сварить. И приказа-то не знал. Закрыв печь, Заходит комендант:

— Печь топится?

— Нет.

Открыл.

— Раз не топится — полезай.

Обгорел. Умер».

«8.X.73.

Почему выселяли в тайгу, где всё убивает? Это — не вредительство?

Почему у нас всех к ногтю, а в других странах не раскулачивали (в Польше)? Значит — не обязательно?

Деревня Микшина всех меньше, а раскулаченных всех больше. Дяди постарались.

В Микшиной деревне побывали уже несколько сыновей раскулаченных. И все — к Микше. Могилы родителей искали. Да разве их найдешь?

Как могло случиться? Почему вся страна одичала? Почему вся страна участвовала в этом преступлении? Да, вся. В том числе и он и старухи (не пускали ночевать). Взрослые — ну куда ни шло. А дети?»

«8.X.73.

Микша задумывается над несправедливостью коллективизации. Раскулаченных. Задумывается. Но оправдывает это тем, что такая установка была.

— А если тебе скажут головой в стенку — тоже сделаешь? Убиваешь человека и ищешь оправдания. На других сваливаешь. Нет, сам сволочь.

И Микша после этого задумывается. Микша после этого своих дядей „разбирает“.

Очень много заметок было сделано к фигурам братьев Кобылиных, фанатиков-революционеров, а им противопоставлялся отец Микши. Дяди и отец — две противостоящие силы в народе. Различные характеры, различные судьбы. Осмысляя их жизнь, их поведение, мужает и прозревает Микша. И везде Абрамов подчеркивает, с каким трудом прибавалась мысль Микши к истине.

«4.IX.72.

Отец Микши и дяди

У каждого времени свой герой.

До революции герой в глазах народа (да и по существу) — отец Микши. А в революцию и после — дядья. А отец стусевался. И может быть, поэтому Микша с презрением относился к нему.

Отец грус, отец тряпка. Всегда под каблуком у матери. Нет, отец грудь свою подставил под наган. Это когда дядя хотел одного мужика убить (жена этого мужика рассказывает). Отец заслонил его своей грудью...

В крови у дядей жестоко сть. Всегда драки в доме. Кто-то кого-то убил.

(Вспомнить рассказ Д. о том, как он лежал с человеком в госпитале, уже стариком, и как тот рассказывал о своих подвигах на войне: убил паникера майора и возглавил батарею. А потом добавил: у нас в роду у всех натуры хватало. Отец убил, брат убил... А я сыну-молокососу так дал — замертво свалился. Это за то, что тот связался с блатниками...)

«7.VIII.73.

Микша рассказывает про дядьев. Седок отворачивается. Ну и черт с тобой. Что он сделал? Нельзя о прошлом поговорить? Да ему все непонятно. Он, может, этим только и живет.

В 56 году — доклад Хрущева. Все плохо. Всех дядей под распыл. Потом стало потише. Сталин снова появился. Что правильно? И там от имени партии, и здесь от имени партии. Как ему, конюху, разобраться? А разобраться надо. Вопрос вопросов.

И он опять задумался. Погрузился в прошлое.

Гремели дяди. А теперь кто? Им каждый раз панихиду служили. Они первые люди...

Да, какой силой действовали дядья на людей?

Двое. А всех в бараний рог гнули. Хоть ту же коллективизацию взять. Вся деревня плачет. Не хочет. Чего бы не сделать закрут им?

Какая сила стояла за ними? Центральная власть? Да ведь до ней далеко. А они, два человека, делали все что хотели. Все падало перед ними. Даже девки.

К сенья, Писаная красавица. Не было ей равной. Идет — глазища синие. Зимой — лето. Высокая. Боевая. И из какой семьи? Из кондовой. Братья. Отец. Строгость какая. Ничего не удержало. На что рассчитывала? Слепление какое-то.

И вот так и коллективизацию проводили. Старухи плачут. А они — «Интернационал». И запела молодежь. Присоединились»,

31 августа Абрамов на одном дыхании набросал черновой вариант главы об отношении Микши к дядям:

«Первую битву за своих дядей Микша принял в 56 году.

В том году, в Октябрьскую, пришел он на братское кладбище в райцентре, к дядям на могилу,— что такое? Ни одного красного флага. Ни одного венка, увитого красными лентами. Да, может, он день перепутал? Может, не праздник сегодня?

Нет, праздник. В райцентр ступил — глазом жарко от красных знамен да лозунгов.

Он к Антону Трубкину, красному партизану: растолкуй, старина. Что тут происходит?

— А я и сам не понимаю, парень,— признался Трубкин.— Хрущев где-то, говорят, Сталина прижал — ждут, наверно, когда будет полная ясность.

— Насчет чего ясность?

— Да не в чести теперь наш брат, которые на распыл врагов революции пускали.

— Не в чести? Да, может, и сама революция теперь не в чести?

Микша больше не разговаривал. Сходил в магазин, купил две поллитры, выпил их тут же, не отходя от магазина,— и в бой за революцию, за советскую власть.

У райтопа на виду у всех выдернул из железного раструба красный флаг, вышел на средину улицы, развернул и на братское кладбище, к дядьям...

Много тогда было разговоров об этом его лихачестве, и он думал, затаскают его, житья не будет. Обошлось. Только раз секретарь райкома, встретив его на улице райцентра, молча погрозил ему пальцем.

В следующем, 57 году, братское кладбище украсили опять, но с этого времени Микше пришлось все чаще и чаще вступаться за дядьев. Одни вспомнят гражданскую войну — многовато Кобылины наганом размахивали, другие заговорят о 30-м годе — опять Кобылины виноваты...

И все-таки никогда еще до этого не доходило. Никогда еще его дядьев не называли убийцами. Да, да, это ведь сказал ему седок. Как же он сразу-то не сообразил? Он решительно повернулся к Кудасову:

— Ты вот счет моим дядьям предъявляешь. А знаешь, какая у них грамота была? Три класса. И с этой грамотой надо было революцию делать, во всем разбираться... Попробуй.

— А раз неграмотный, нечего и пробовать,— с ходу ответил Кудасов.

— Так, так,— сказал Микша.— Значит, подождем, когда все грамотные будем. А покамест дави, эксплуатируй, буржуазия.

Кудасова как пружинной подбросило.

— А человеку так важно, кто его убивает? А по-моему, самое страшное, когда от руки своего брата умирает. В этой часовне вашей люди пачками дошли — думаешь, кто там, кулаки-кровопийцы все были? Да кулака-то там днем с огнем не сыщешь. Кулаки-то еще в гражданскую войну все перебиты. Волы, сивые мерины, те, кто из себя жилы рвал,— вот кто в этой часовне умирал.

— Ладно,— согласился Микша,— дров наломали. Не выгораживаю дядьев. Только еще один вопрос: много мои дядья для себя нажили? Ради денег, барахла старались? Ответа он не дождался. Кудасов опять лежал в задке телеги.

— А, молчишь? — сказал Микша.— То-то. Дядю Александра хоронить стали — гимнастерки переодеть нету. Так в той гимнастерке, в которой зарезали, и положили в гроб. А нынче? Видал, как нынче районные власти живут?

Э-э, да что он рассыпается перед этим заезжим чурбаном! — вспылил вдруг Микша. Не хочешь говорить — и пошел ко всем чертям. От ярости огрел коня ремнем, сел в передок телеги, спиной к Кудасову, — и тоже язык на замок.

Трудно сказать, почему эту главку Федор Абрамов не включил в окончательный текст. Возможно, потому, что в этих спорах-размышлениях Микши много было от раздумий самого писателя. Может быть, для только начинающего прозревать Микши эти вопросы были еще не под силу.

Думал Абрамов усложнить образ одного из дядей — Мефодия.

«7.VIII.71.

Застрелился в 38 году.

М е ф о д и й

Народу сказали: несчастный случай (наган чистил). А на самом деле — застрелился. Дединка сама рассказывала.

Из-за чего? Из-за учителя якобы (Калинцева¹). Пришел приказ арестовать. И не мог выполнить приказ. Калинин — народный учитель. Надо подписать ордер на арест — рука не поднимается. (На полях была запись: «Или товарища своего — председателя райисполкома. Враг народа. Не мог допустить. Не поверил партии». — Л. К.)

Пришел домой, сказал жене: Мотря, я веру потерял. Сходи за бутылкой. Та принесла. Выпил. А раньше не пил. Оделся. И хлопнул.

А народу сказали: несчастный случай».

Все больше и больше места к концу повести стала занимать фигура отца. То, что в окончательной редакции ушло в подтекст, высказано в нескольких репликах, в черновиках было развернуто. Абрамову всегда было необходимо уяснить для себя во всех подробностях жизнь и характер героя, чтобы затем появились емкие детали-характеристики.

«8.VIII.71.

<...> Дядьям противостоит отец. Два способа переустройства жизни. Отцовский и «дядевский». Об отце надо поподробнее.

Гремел в свое время. Купец один дал образование. Учил для себя. Способности большие к счету. Но отец как-то не поладил с купцом, вернее купец утонул или еще что-то, а наследник — дикарь. Все против отца. Вот тогда-то отец и стал работать на крестьян. В крестьянской потребилке все дела вел. Честнейший человек.

Ну а в гражданскую себя не проявил. Ни те, ни другие не тронули. После гражданской войны служил в сельпо, в лесничестве. Но на второстепенных полях.

Т и х и й.

Откуда все это знает Микша? Может быть, после раздумий на перевозе он поехал за реку?

А может, кто-то еще раньше рассказывал Микше об отце. С восхищением. Отец ведь, в сущности, тоже жизнь перестраивал. Только иначе, чем дядья.

Кто прав? Кто полезнее народу?

Об отце и сейчас никто худого слова в народе не скажет, а про дядьев всякое услышишь. Даже среди земляков.

Микша, может быть, едет за реку — и тонет».

В тот же день — 8 августа — Абрамов делает еще одну запись, уточняющую биографию отца:

«Отец Микши

У лесничего сперва писарем был, а потом опять канцелярию вел в крестьянском потребительском обществе. Да, было у нас такое.

Поляк тогда выслан был. Ну вот он и подбил крестьян на это общество. Чего, говорит, толстосумам платить втроедорога. Можно самим товары привозить из города...

Да, отец тоже был связан с революционерами, только не с теми. Он за мирный путь перестройки жизни.

Люди с уважением относились к Микшиному отцу.

Грамотный — раз. Любую бумагу напишет. А во-вторых, честнейший человек. Никого не обидит. Всех по имени, по отчеству. Правда, посмеивались немного: не пьет, не курит. Но по-доброму.

Мать бедовая была. Пошла в загул. А отец в это время дома. Надо — и корову подоит».

«11.IX.72.

Отец

Светловолосый? Русоволосый. С бороденкой... Поясок какой-то.

Не пьет, не курит. Матерное слово — избави боже. Скорее от матери услышишь. В праздник всегда дома. Никаких компаний.

А мать любила погулять. И каялась: я сука, я тварь, да? Дедо... Меня бить надо?.. Голубь ты мой...

¹ А. Ф. Калинин — реальная фигура знаменитого на Пинежье учителя, который был арестован в 1938 году. О нем не раз писал и говорил Абрамов. Он послужил прототипом Павлина Федоровича Усольцева в повести.

И тут что удивительно: отец каялся перед матерью. Каялся по поводу своей святости.

Да, удивительно это было. Но такие несхожие, такие разные, они любили друг друга...

Отец не считал для себя зазорным делать женскую работу: умел прясть, доить корову...»

«3.VII.73.

Как погиб отец Микши?

Может быть; его в 37 году захомутали как эсеровца? Как пособника капиталистов по организации буржуазной кооперации, то есть как человека, отвлекавшего трудящиеся массы от пролетарского социализма, в конечном счете как врага революции?

Мать хлопотала, бегала по району, валялась в ногах у брата — начальника милиции. Кричала: ироды, сволочи. Креста на вас нет. Кого же вы казни предаете? Самого святого человека.

Не помогло. Дядя — непреклонен.

— Проси, сестра, руку мою отсечь, палец, ногу. Отсеку. Но на революцию меч не подниму.

И не поднял. Вот какой был дядя.

Мать с ума сошла. Дядя застрелился. Тоже, говорят, тронулся. Это у нас по наследству. Я тоже давно не сплю — меня тоже зацепило. (Потом узнает от кого-то, что дядя застрелился — товарища надо было судить, который его спас.)

А Микша отказался от отца. Публично. Фамилию переменял.

«6.VIII.71.

Об отце

Как тяжело было отцу! Сын не любит отца. Ведь понимал же...

А перед смертью что наказывал?

— Скажите Никифору, отец не сердится на него. Только пусть живет по правде, человеком.

Ох, бедный, бедный Никифор, тяжелый тебе крест выпало нести...

Да, так сказал отец. И это правда. Не дай бог никому его жизнь. С детства насилывал свою природу, стыдился себя...»

В черновиках более прямо подчеркивалась близость нравственной позиции Кудасова и отца.

«На перевозе»

Вглядывается в темень, в заречье, вспоминает слова Мазурова — нельзя мстить жить. И вдруг приходит в голову: да ведь это отцовские слова. Отец, бывало, говаривал: злом зло не рушат. Кровью огонь не залить».

«16.IX.72.

Люди оцениваются по результатам их труда.

Какие результаты деятельности дядей? Кровь, расстрелы, насилие.

А как вспоминает отца народ? Уважительно».

Много размышлял Абрамов и о судьбе, поведении и прозрении Кудасова (Мазурова).

Еще в наброске, сделанном 6 декабря 1967 года, он вопрошал самого себя: «Что за человек Мазуров? Почему он не открывается сразу Микше? Или потом, когда они едут?» И дальше рассуждает о психологии героя:

«Мазуров простил. У Мазурова нет мстительного чувства. А вот поди ты — столкнулся с Микшей, и заломало. Зверь стал подыматься. И знаю, говорит, глупо. Чем, говорит, ты виноват, а не могу спокойно смотреть на тебя. Вот оно как бывает. Вот оно что такое человек. Ну да что об этом говорить. Это надо побывать в его шкуре.

Да и вообще, говорит, пытка это — ехать... Как не пытка. И отец и мать — все погибли.. Задарма.

15 лет, говорит, уговаривал себя побывать на могиле. Не мог заставить. И сейчас бы, говорит, не поехал — да самолета нет. Оправдания нет. Вот так и поехал.

А со мной не хотел ехать. Хотел кого-нибудь другого найти, да кто у нас, кроме меня, поедет... В такое время».

Еще несколько важных заметок о Мазурове было сделано в 1971 и 1974 годах.

«6.VIII.71.

О Мазурове

— Какой человек!.. Я ему всю дорогу старые раны растравляю, а он хоть бы слово мне. Да, я его, можно сказать, всю дорогу на огне поджаривал, а он терпел... Понимаешь, с врагом со своим ехал... Я бы на его месте не знаю, что и сделал. А он мне, знаешь, что на прощанье сказал? Все, крест, Варзумов, на прошлое. Нельзя мстью жить. Потому что ежели мне начать мстить — знаешь, до чего можно дойти?

Ты вот вспомнил, говорит, слова дяди: за каждую каплю партизанской крови ведро кулацкой крови выпустим. Ну а мне, мне что делать? За каждое ведро кулацкой — бочку? Сколько мне за каждую каплю крови отца, матери, сестры выпустить?

Нет, хватит крови на Руси... Пора, говорит, прекратить это! Мы, говорит, и так за эти 50 лет побили друг друга.

В гражданскую войну все до основания разрушили. С гвоздя начали. В колхозный переворот, считай, та же гражданская война... А потом война с Германией.

А это, говорит, все русские люди. Цвет нации. А человек — самое дорогое. Погубил. Я такого за всю жизнь не слышал...

— Есть же такие люди! А у нас как ни выпьют, все надо драться.

— Да не о драке я, не о пьянстве. Понимаешь, о чем я говорю? Ах, черт, как и сказать... Про политику. Ну вся страна... Политика...»

«13.IX.71.

Что перевернуло Мазурова?

Дети, которые стали высказывать из горящего дома.

Дядя сволочь, сукин сын, а чем они виноваты? Какую они вину перед ним сделали?

А может, не поджигал дом? Может, заглянул сперва в освещенное окошко? Заглянул и увидел малых детей. Куча. И все... конец мести. Пошлепал».

Больше всего, пожалуй, Абрамов работал над последними главами повести. Например, сохранилось три варианта десятой главы, посвященной воспоминанию Микши о народном учителе Усольцеве (в первых вариантах Павлин Федорович именовался Епимах Мартынович). Кстати сказать, в одной из черновых глав явно использованы реальные автобиографические воспоминания подростка Абрамова об учителе Калянцева Алексее Федоровиче.

«24.VIII.74.

10

Было это еще лет за пять до колхозов. Мать Микши впервые взяла его в район-центр, или в район, как говорят у них.

В ребящем воображении район рисовался как какое-то сказочное диво, совершенно не похожее на все то, что было в его повседневной жизни. Ведь оттуда, из райцентра, приезжают к ним в Сосино краснозвездные дядья.

А они вошли зимним морозным утром в район и что же увидели?

Деревня деревней. Такие же бревенчатые дома, задавленные снегом, такая же масляная наезженная дорога, повизгивающая полозьями, и такие же люди, как в ихнем Сосине,— в овчинных полушубках, в пальтухах, заиндеветших от мороза.

И вдруг маленький Микша ахнул: из-за угла вышел человек — в очках, в шляпе, с красным, раскаленным лицом. Но и это не все. У человека на ногах были ботинки с калошами — это в такую-то стужу!

— Здравствуйте, Павлин Федорович,— пропела мать, когда человек, скрипя ботинками, поравнялся с ними, и низко поклонилась.

— Доброго здоровья,— кивнул человек.

— Мама, это кто? — спросил Микша, зачарованными глазами провожая этого человека.

— Учитель. Ребят учит.

— А зачем ты ему поклонилась?

— А затем, что ему все кланяются. Учитель, — опять повторила мать.

Позже, когда Микша стал ходить в район сам, он часто встречал Павлина Федоровича, а потом он год учился у него в пятом классе. Но именно эта первая встреча крепче всего отпечаталась в его мозгу.

Долго искал Абрамов финал повести. В первых вариантах Микша, совершив нелепый бунтарский поступок, оставался жить. В более поздних набросках, начиная с 1971 года, Микшу находили замерзшим на другом берегу, около часовни или могилы отца.

В развернутом плане-конспекте 1973 года более отчетливо сказано о желании Микши безотлагательно пойти на могилу отца, более подробно излагались и предсмертные видения Микши:

«Всю жизнь он стыдился своей слабости. Выжигал в себе все отцовское. Лихачил. Кидался в пекло. Лез в драку, показывал жестокость — только бы не заподозрили бы в нем отца. Оглушал себя водкой.

А что они представляют? Один комендантом был, насильовал девок (это правда), другой отца его на распыл пустил...

(Да будьте вы прокляты! Нет, у него не хватило духу произнести эти слова.)
Эх отец, отец!

Каково тебе было — родной сын отвернулся от тебя. Презирал. А знал ли он, что фамилию переменял? (В тюрьме сидел.)

К черту, завтра же подам заявление. Вахрамеевым хочу. И Христофоровичем. Обязательно. Христофоровичем. Стыдился — Христофор. Церкви руют, кресты снимают, а ты Христофор.

Ветер свистел. До земли небо. Микша брел в темноте, падал. Оступался. В Сосине ни огонька... Шуршал лед. Сшибались льдины. Нашел лодку... Спихнул. А потом в темноте. По реке... Уже звезды потухли, когда он подъехал. Он был в ледяном панцире. Волосы смерзлись. Шапку потерял. Домой? В тепло? Нет, к отцу на могилу. К часовне...

Колокольным звоном встретила его часовня. Мертвые. Живые. Какие-то толпы, свечи... стояли вокруг... Он шел сквозь толпу, сквозь свечи...

Знакомые, незнакомые... Среди незнакомых: дьячок... Ваня, который опоздал во время войны... Василиса, умершая от голода в 33 году... Где-то виденные и в то же время незнакомые... Какими-то прозрачными лицами... В ризах...

А где отец? Отец, отец, где ты?

И «Интернационал». Откуда? А вот откуда. Коллективизация.

В часовне собрание. Старухи плачут. Дяди — «Интернационал».

Две песни: «Интернационал» и церковное песнопение...»

11 марта 1974 года Абрамов рассуждал об отношении учителя к Микше:

«А учитель? Не прощает Микше? Может ли он не простить?

Или где-то надо: потряс учитель. Всех простил. Людей простил. Вернулся к ним. А его не простил. Потому что от отца отрекся? Самый страшный грех, которому нет прощения? Да, да...»

Закончив повесть осенью 1974 года, Федор Александрович продолжал думать о ней, делал новые заметки. Это стремление к дальнейшей доработке книг характерно для всей писательской работы Абрамова. Он собирался дорабатывать многие свои вещи, в том числе тетралогии «Братья и сестры».

Из заметок к повести 1975, 1976, 1979 годов привожу наиболее интересные.

«11.ИИ.76.

Александр и бабы

Обязательно о совращённой дядей красавице. <...> Где? В двух местах.

Дядя Мефодий без сучка без задоринки. Детей не имел — все для революции,

Мне, говорит, не до того. А Александр слабинку давал в женском вопросе. Талант. Ни одна девка, ни одна баба не устоит. Одну такую совратил... Первая девка.

А женился-то. Выкрал из-под венца... Свадьба. Жениха побоку... Я буду. И сел.

Тетка потом все говорила: я, говорит, вся дрожу. Знаю, что надо кричать, срам ведь. А не могу встать.

Это есть такие люди. Лошадей умирят. Видал я одного такого. Забили лошадку. Обезжиляли, и все. Один подошел: все — смиरणхонька.

Вот дядя на баб действовал как лошадики».

«11.III.76.

Как привезли кулаков. Жалел. А потом огромный подъем после дядиной речи. Дядя всегда накачивали его. Так же и в коллективизацию. Собрались в часовне. Все плачут. Как будто отпевание. Темно — не видно, кто поет. Осмелели. И вот дядя — «Интернационал». Голосища страшные. Особенно у дяди Мефодия. Дьячком был до революции. Запели — потолок затрещал. И вот так же дядя по поводу раскулаченных. Сказали: контра. Нечего жалеть. Воспряли. А приходит домой: отец молится. Перед лампадой. На полу лужа от слез... Как святой».

«11.III.76.

С м е р т ь М е ф о д и я

Н а д о б ы З а с т р е л и л с я . О т ч е г о ? Р а з у в е р и л с я ? С т а л и а р е с т о в ы в а т ь ?

Может быть, Мефодий не только злодей, но и жертва. И вот это-то Микшу и пу- тало. Потому-то он и не хотел отступаться от дядев. Нынче люди-то шкуры... Кто про- клинает дядей? Чиновники. Мелюзга. А эти — орлы.

Где об этом. А прямо: давно бы отошел от дядей. Много наломали дров. Да ведь не шкуры. Не щадили себя. В гражданскую войну, положим, все герои были. Но и после войны.

Дядя Мефодий в 37 году — арестовать товарища надо. Арестовать арестовал, но и шлепнул себя. Об этом ему кто рассказывал? Это он узнал недавно от бывшего работ- ника НКВД. Скрыли от народа. Дескать, в результате неосторожного обращения с оружием».

«11.III.76.

Вышел от учителя. Учитель не простил. Людей простил, а тебя нет. Значит, ты злодей из злодеев, Микша...

Или пьяный он был? Кутерьма в голове. Совсем каша...

К кому идти? А, вот кто ему поможет. Кудасов. Братья по несчастью. Кудасова дядя треснул, а его, Микшу, может быть, еще больше. Всю жизнь разбил.

Почему же он ничего не спросил? Сидели. Язык отнялся? Ум отшибло? Только и спросил, являлся ли с повинной. Как будто это имело значение. Почему этот вопрос пришел на ум?.. Да, именно этот вопрос. Разве не о чем было спросить?

Какой-то забор стал ему на пути. А, так вот куда он вышел. На могилы... На окраину села...»

«11.III.76.

М и к ш а — о т у ч и т е л я

Думает. Как это все начиналось красиво. Ведь революция же — за великие лозун- ги люди умирали. Чтобы справедливость, братство на земле были. Так дядя толковал ему. Учись, Микша. Для тебя революцию делали — дядя Мефодий внушал. Правда, он учиться не захотел. Его на жизнь потянуло... Бросил учиться. Да не в нем дело. Как же так? Начиналось все-таки здорово... А потом людей своих убивали. Да и тех же большевиков. Он в лагерях был перед войной, насмотрелся.

Вот у кого надо спросить — у Кудасова... Вот кто ему растолкует. Зря он не поговорил. Нехорошо, конечно, ночью врываться. Да ничего. Поймет. Ведь жизнь ку- вырком...

Да, да! Вот вопрос, который мучает теперь Микшу, до которого он дорастает: почему? Почему все это случилось? Почему кровь отрыгнулась? Почему своих стали истреблять? Он повидал лагеря. Битком людей набито».

«10.VI.79.

Б р а т с к о е к л а д б и щ е в К а р п о г о р а х

На монументе бетонном: «Жертвам интервенции на Пинежье».

На стене:

1. Бессмертен павший за великое дело. В народе жив вечно, кто для народа жизнь положил, трудился, боролся и умер за общее благо.

2. Не зная имен всех героев борьбы за свободу, кто кровь свою отдал, род человеческий чтит безымянных.

3. Не жертвы — герои лежат в этой братской могиле. Не горе, а зависть рождает судьба павших борцов за свободу в сердцах всех благодарных потомков.

Это через Микшу. Он знает надписи наизусть. И он же думает, почему обезличены могилы. Где имена Александра и Мефодия? Это бессмертие? Сама жизнь, само время стерло память дядьев».

«27.X.79.

Лут. Не видал травы. Выщипывали всякую зеленую былинку, едва она давала росток, проклеывалась.

А лес чего тут посох кругом? А вот угадай!

— Это обдирали кору. Тоже в надежде, что хоть маленько утолит голод».

Долго работая над повестью, Абрамов связывал прошлое с настоящим, искал ответы на вопросы, долго мучившие его. Кстати заметить: повесть по масштабу мысли и затронутых проблем во многом созвучна роману «Дом», создававшемуся в 70-е годы, а также повестям «Деревянные кони», «Мамониха».

Абрамов думал и писал не только о поражениях, ошибках, преступлениях в нашей истории. Одновременно он искал выход из тупика, думал о том, что помогало выстоять, выжить стране в страшные годы раскулачивания и сталинских репрессий, в годы так называемого застоя. Он вглядывался в здоровые силы нации — отец Микши, учитель, Кудасов...

Вместе с тем Абрамов хорошо понимал, что судьбы страны зависят не только от светлых личностей, от подвижников, но и от поведения миллионов. Потому центральное место в повести заняла трагическая фигура Микши. Он отрекся от отца, брал пример с фанатиков дядьев. Но душа, совесть, натура его не погибли. Он заливал совесть водкой. А трезвый думал, мучился, пытался понять прошлое свое и чужое.

Прозрение и трагическая гибель Микши — толчок к прозрению читателей. Эмоционально-смысловой итог-призыв повести обращен к нашим душам, к нашей совести: страна нуждается в прозрении и очищении миллионов, насущно необходимо обретение всеми подлинно нравственных, духовных, общечеловеческих ценностей, которые в повести исповедуют и утверждают своим поведением отец Микши, учитель — те, кто не предавал, не убивал, не мстил, а помогал людям, сеял «разумное, доброе, вечное».

Закончить разговор стоит еще одним документом — голосом из прошлого самого Абрамова.

В Верколе, на родине писателя, где он родился и вырос, где ныне находится его могила, сохранилась папка рукописных документов комиссии содействия всеобучу при Веркольском сельсовете, начатая 25 сентября 1930 года. В этой папке среди протоколов заседаний комиссии, на которых рассматривались вопросы о ликвидации неграмотности, о ходе всеобуча, о горячих завтраках для школьников, о распределении мануфактуры и обуви, находится много заявлений учеников начальной веркольской школы. Среди этих заявлений четыре написаны одиннадцатилетним Федором Абрамовым, учеником третьего класса. Три из них адресованы в Веркольский сельсовет, а одно — учительнице Е. А. Каменской. И везде — настойчивая просьба ребенка помочь купить мануфактуры «на верхнюю рубашку и брюки», а также кожаные ботинки и катанцы (то есть валенки). Как свидетельствуют заявления, Абрамову несколько раз отказывали. В первую очередь обеспечивали детей бедняков. Поэтому в своих заявлениях мальчик Абрамов подчеркивал, что отец у него умер, когда ему был всего год, а «мать вышла из годов» (то есть уже не может работать), а три брата сами нуждаются и оказать помощь младшим не могут. Мальчик пишет, что он и сестра ходят в школу, не имея обуви, и просит дать им хотя бы на двоих одни башмаки. «Когда придет весна, мне совершенно не в чем ходить в школу», — писал он 13 марта 1931 года. А в других заявлениях для убедительности еще добавлял: «Мое социальное положение — маломощный середняк». И везде просит не отказать в его просьбе.

Эти четыре заявления — ниже привожу два из них — рассказывают о многом: о трудной судьбе мальчика и его сверстников, о характере будущего писателя, его упор-

стве, настойчивости, одаренности и аккуратности. Из всех детских заявлений, хранящихся в папке, заявления Абрамова резко выделяются и особым слогом, и хорошим, чуть ли не каллиграфическим почерком. Недаром его брали летом на работу в сельсовет для переписки разных бумаг, о чем он с горечью рассказывал мне: «Все дети играют, бегают на улице, а я задыхаюсь в прокуренной конторе».

«В Веркольский сельсовет т. Игнашову
От ученика Абрамова
Федора Александровича

З а я в л е н и е

Товарищ Игнашов прошу мне дать купить мануфактуры. Когда вы давали мануфактуры тот раз мне не дали и нынче давали мануфактуры, ботинки и катанцы мне опять не дали. У меня отца нету мать вышла из годов и кто же мне даст мануфактуры. Есть 3 брата один учится в Ш-К-М. Один женился брат он получил премию в лесу и ему нужно на себя и жену. Он нам не даст. Один брат работал в лесу всю зиму и неделю он болел и ему премию не дали. Который нынче вступил в Комсомол. Мы ходим в школу я и сестра. И не которому нам не дали мануфактуры.

Прошу товарищ Игнашов не отказать моего ответа.

Проситель Ф. Абрамов».

«Учительницы Веркольского училища
1 ступени Евгеньи Арсентьевны Каменской
от ученика Абрамова Федора Александровича

З а я в л е н и е

Прошу дать мне купить ботинки так как не имею кожанной обуви и прошу дать мне мануфактуры на верхнюю рубашку и на брюки.

Мое социальное положение

Маломощный середняк

Придет весна мне совершенно не в чем идти в школу. Прошу похлопотать об обуви. В тот раз не дали ничего дак дайте пожалуйста мне кожанную обувь к весне. Нам хоть бы дали 2-им одны башмаки и мануфактуры:

Прошу не отказать, У меня мать больная, отец умер я еще был 1-го года.

Проситель Ф. Абрамов».



ВЛАДИМИР ТИХОМИРОВ



НОЧЬ В СУГРОБЬЕ
(Январский круг стихов)

1. Зима снегами выровняла землю,
лишь по горбам, торчащим из земли,
мы различили мертвую деревню:
там нет живых — живыми в гроб легли.
Потомки скажут: — Здесь была стоянка,
где обретался человеко-зверь...—
Собака лает; древняя крестьянка
в сугробе нам приотворила дверь.

2. Тепло и сухо пахнет животиной,
старушечий рождественский вертеп,
в углу ягнята блеют за холстиной,
стол у стены, на нем домашний хлеб,
и в пол-избы, обмазанная глиной,
печь-мавзолей как жертвенник и склеп,
где ежедневно жертва древесиной
свершается — старейшая из треб,
в косицах лука золотые солнца,
под матицею лампа Ильича,
перед божницей тонкая свеча,
и ничего не видно сквозь оконца.

— И никого? — Зима, милок, зима.
— А как же ты? — Сама живу, сама.

3. Трудно, ох трудно жить в январе.
Холодно курам — мороз на дворе.

Коза не дала молозива:
не вымя ли оморозила?

Метет, заметает — не сыщешь пути,
как от крыльца до колодца дойти,

едва добредешь — а в колодце
лед не хочет колоться.

Трубу завалило — печь задымила.
Ох и не мило мне жить в январе.

4. Не видит зрение, и слух не слышит,
как истекала эта жизнь впотьмах,—
вся тьма земли, из подземелий вышел,
глаголет на незнакомых языках:

— Что говорит вам память о забытых?
— Какие смыслы пущены в распыл?
— Какие списки в тайных алфавитах?
— И чья здесь кровь на каменных копытах?
— И чей здесь прах, не знающий могил?
— И отчего здесь почвы обнищали
до состоянья пыльного песка?
— Не будет вам смиренья и печали,
но только вой и волчая тоска!

5. В весну да в осень, бывало, а иных уносила
народу не убывало, нечиста сила.

Кто покрутится Оттого и стало
к нам в распутицу? народу мало.

Самое тихое время. Одну меня Бог
сберег.

А зимою да летом, бывало, Да и ту забыл.
набегала да побивала,

6. Ночью слышу: стук да бряк,
ходит, бродит — враг, не враг.

Ночью слышу: скрычет дверь,
ходит, бродит — зверь, не зверь:

Страшно? Ни! Кругом-то снег,
стало быть — не человек.

7. Икона Богоматери Скорбящей
работы девятнадцатого века.
(Для знающего человека —
пустяк, товар не настоящий!)
Как под олифой, потемнела кожа
и задубела в паутине трещин.
Был смолоду ей божий мир завещан,
теперь она на всех старух похожа:
сидит под образами на скамейке
в зековке-телогрейке.
Иконный лик... Да нет, скорее
лицо изгнанницы-еврейки...

8. Ой ты, ворон, кинешь и поймаешь,
черный ворон, то подвесишь в темном лесе —
что ты, ворон, граешь? путников пугаешь?
мертвым глазом, Грает, грает за горой
как алмазом, да за черной тучей:
повечер играешь, ты повенчана с бедой,
то подымешь в поднебесье — с мукой неминучей.

9. А сыны — что сыны?
Ины — еще до войны.
Ины — на войне.

А меньшей —
сам большой,
от меня в стороне:
двадцать лет
слыху нет.
Прости его, Господи.

10. Молюсь за того, кто сегодня со всеми
нисходит в подземные царства,
в блестящие гулкие залы подземий
московского карста.

Войдет он со всеми в разверстые двери,
промчится со всеми по темной пещере
и выйдет со всеми — и вдруг упадет
на мраморный лед...

Сон

11. В сугробе заколочены,
глядим сквозь потолочины

и, обратясь к лучистому,
выходим будто из дому,

как пленные из плена,
растения из тлена,

как тело из пелен,

сияют звезды гроздами,
и мы идем меж звездами,

всходя на небосклон,

снуют, как пчелы, спутники,
а мы — простые путники

с котомками заплечными
идем путями млечными,

идем по тропам горным,
как по дорогам горным.

12. Мы вышли из сугробья на рассвете.
Она нас проводила до порога,
благословила и сказала: — Дети,
хорошим людям — добрая дорога!

Мы добрались вдоль вешек до колодца
и вспомнили: ах, надо бы воды
ей наносить... Но замело следы.

Лишь по горбам, торчащим из земли,
мы различили мертвую деревню:
здесь нет живых — живыми в гроб легли.



АНАТОЛИЙ КИМ



ОТЕЦ-ЛЕС*

Роман-пригича

И вот он проснулся, и открыл глаза, и увидел над собою обклеенный страницами «Нивы» потолок, весь в пятнышках мушиных испражнений, и ему пятьдесят восемь лет, и все уже окончательно потеряно. Жена-кухарка Анисья народила ему пятерых детей, все они выросли и разлетелись кто куда, остался с родителями только младшенький, Степан, и живут они теперь в обшарпанной барачной комнате с печкою, а служит он в районной ветеринарной лечебнице, и проснулся для того, чтобы встать, умыться, позавтракать и идти на эту службу. Все вроде бы так и было на самом деле — вот и Анисья, сверкая белым телом сквозь прореху домашней блузки у подмышки, суетится возле стола, поднимая и опуская на гладильную тряпку тяжелый утюг, наполненный раскаленными углями. Вот и угли пахнут угарно, возбуждающе, и блестит сморщенный лобик у Анисьи от пота, и сын Степан сидит за столом (кусочек его ноги в серых шароварах из чертовой кожи виднеется сквозь проем перегородки), — вроде бы жизнь это, и он, Николай Тураев, сейчас встанет и пойдет на работу в ветеринарную лечебницу.

Но так ли это, размышляет Николай Николаевич, поднимаясь с постели, имеется ли на самом деле это самое — жизнь? Николай Тураев хотел понять ясным разумом, в чем высшее предназначение его единичной жизни, а никакого предназначения не оказалось и не могло быть, потому что ОН был всего лишь деревцем в ЛЕСУ, а какой смысл может быть в жизни дерева, которое срублено, или сгорело, или засохло и рухнуло на землю лет двести назад?

Но сегодня за утренним чаем он почувствовал всей глубиной души, что есть некий точный смысл его единичного существования: он, человек, есть творец особого мира. Мир внешний, разумеется, существует и без него. Но это н и к а к о й мир. Существою и я, несомненно, и каков я, таков и мир, через меня воспринятый и познанный. И так как я исчезну, то и миру о с о б е н н о м у исчезнуть — тому самому, который я сейчас знаю, вижу, ношу в себе. Таким образом, я живу в обреченном мире, как и сам я обречен, из этого положения нет никакого выхода...

Он шел по высокой набережной вдоль Оки и ни о чем в особенности не старался думать, думалось незаметно, само собою по накатанному кругу привычных размышлений, уже давно перешедших из словесного ряда в состояние устойчивого чувства жизни, своего рода привычную боль бытия. Разминулся с длинной угольной фурой, груженной сажеными мешками, уложенными вдоль кузова надежно и умело, запряженной в пару крутогрудых темно-гнедых

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

битюгов; хотел переходить улицу, чтобы направиться к проулку, ведущему некруто вверх к другой улице, как встретился с нею, со старухой Козулиной, в девичестве Ходаревой.

Девять лет прожил Николай Николаевич в Касимове после того, как сожгли его дом в лесу. Одним из первых местных дворян он пошел на службу к новой власти, стал выбраковщиком мобилизованных для армии ремонтных лошадей, и уже привычна была для бывшего барина жизнь мелкого уездного совслужащего, и он был привычен для жителей нескольких улиц, по которым только и ходил в городе,— и никогда, ни разу не встречал ее да и не предполагал подобной встречи. Уверен был Тураев, что где-то далеко по заграницам разъезжает богатая и красивая купчиха,— а она, оказывается, все эти годы жила на том же краю города, быстро превращалась из гордой женщины в оборванную старуху и ни разу не встретилась ему. Перед самой революцией Вера Кузьминична добилась развода с мужем, и он позаботился о приличном содержании, полагая за собою вину в том, что сошелся с другой женщиной (в надежде на то, что она родит ему наследника,— жена не могла рожать), но произошла революция, купец исчез, и получившая свободу Вера Кузьминична вдруг оказалась совершенно безо всяких средств. По гордости своей она ушла из дома мужа только с тем, с чем пришла когда-то, и поселилась у одной знакомой, пожилой огородницы Шуры; но через два года она из квартирантки стала работницей, батрачкой за харчи и угол, и была из просторной горницы выселена в темную пристройку с железной буржуйкой на зиму.

Николай Николаевич пошел навстречу ей и, остановившись, еще издали поклонился:

— Осмелюсь, мадам, напомнить вам, что мы когда-то были знакомы.

Вера Кузьминична, по осеннему времени замотанная в большой грубый платок, в сапогах с калошами, без перчаток на красных, покрытых трещинами руках, удивленно взглянула на него. Усмехаясь тому, что в пыльном проулке, заросшем бурьяном, прозвучала столь благозвучная фраза на хорошем французском, Козулина ответила, приостановившись напротив чудака:

— Что это вы, батюшка мой, язык-то вспомнили? Сейчас уж не говорят на нем и приличные люди. Хотя приличных-то людей не осталось вовсе.

— Вера Кузьминична, не знаю сам, как выскочило,— начал смущенно оправдываться Тураев.

— И все же благодарю, что напомнили мне о лучших днях,— продолжала далее старуха на бойком французском, вмиг зарумянев.— Назовитесь, кто вы? Я что-то вас не припомню, сударь.

— Я тот человек, который многие годы молился одному звуку вашего имени,— отвечал Николай Николаевич, сняв картуз и склонив лысую голову.— Я любил вас всю жизнь и теперь совершенно счастлив, что наконец-то смог это высказать вам.

Старуха Козулина заплакала, вытирая обильные слезы рукавом облезлой плюшевой душегрейки, обноска Шуриного (которая в молодости слыла щеголихой).

— Что это вы такое говорите, безумный вы человек, и зачем это вы мне говорите? Я прошу вас оставить ваши неуместные пьяные шутки,— попыталась разгневаться Вера Кузьминична.

— Не пьян я вовсе,— говорил Тураев, улыбаясь.— Можно сказать, Вера Кузьминична, я сегодня освободился от несчастья всей моей жизни. Давно надо было все это мне сказать вам, да случая не было. И так-то прошло эвон сколько времени. Вся молодость наша, Вера Кузьминична! Вся жизнь.

— А, так я узнала вас! Вспомнила! Как молния сверкнула в голове! Вы Лидочки Тураевой брат, офицер. Зовут вас, кажется, Нико-

лаем... Николай Николаевич! — восклицала звонко Козулина, глядя на лысого старика слезящимися глазами.

— Спасибо, что вспомнили!

— Так почему же вы не объявлялись, коли так любили?

— Потому что, Вера Кузьминична, судьба была мне никогда не знать в жизни счастья.

— Бедняжка Лидия умерла, я слыхала,— перешла вновь на французский Козулина.— Всем нам, сударь, была судьба не знать счастья... А где сейчас ваш брат? Андрей Николаевич? — уже по-русски произнесла она.

— Он сейчас в Москве, шьет сапоги в обувной артели. В восемнадцатом и его, и Лиду, и меня — всех ведь сожгли. Лида умерла от удара, брат перебрался в Москву, опростился в пролетарии, а я предпочел остаться в Касимове. Тут и живу уже многие годы и никуда не собирался переезжать, хотя брат и зовет в Москву.

— Ах, я бы туда поехала... Что же вас так держит в Касимове? — спрашивала старуха, произнося соответственно название города: «Касимовф».

— Здесь я искал ваши следы... А в Гусе-Железном была у меня с вами вторая в жизни встреча.

— Ах, вы опять о том... — Старуха Козулина слабо махнула красной измозоленной рукою.— Вторая встреча? А когда же это было? Я не помню.

— У стены баташовского подворья. О, много лет назад. Вы были с розовым зонтиком.

— Этот зонтик, представьте, сохранился у меня! В моей жизни, знаете ли, произошли все катастрофы, какие только мыслимы в этом мире, и я теперь почти нищая, совсем одна, и мною помыкает грубая старуха, грозит выгнать вон, и я этого боюсь больше всего.

— В наше время все то, что произошло с вами, со мной и с другими многими, вовсе неудивительно, Вера Кузьминична. Очевидно, Богу угодно, чтобы все люди до одного прошли через испытания. Кто был никем, тот станет всем, кто был всем, станет, стало быть, никем.

И они, словно давние знакомые-приятели, поговорили о разных делах, совсем дальних и ближайших, связанных с новыми временами.

— Зинаида Баташова, восьмидесяти двух лет,— была расстреляна, расстреляна! Вы только подумайте, старуху!

— Милая Вера Кузьминична! Свои взаимные проблемы предпочитаем мы решать с помощью быстрого кровопролития. Мы не умеем, сударыня, делить мирно жизненное пространство, как это делают деревья, вот в чем дело.

— Ах, ничего-то я в этом не смыслю, Николай Николаевич! Только одно я вам скажу — ни к какому кровопролитию лично я не имела никакого приближения. Я даже курицу зарезать не могу. За что Шура, моя хозяйка, смеется надо мною и, когда бывает пьяна, даже щиплет и царапает меня, иногда и побьет. Я теперь вырачиваю на огороде капусту, огурцы и помидоры, живу в каморке — вот все мое пространство... Однако я задержалась, мне идти пора!

— Вера Кузьминична! — вдруг воскликнул он, выпрямившись, вскинув голову.

— Ай? — с оживленной улыбкой на сморщенном лице быстро ответила Козулина, знакомо склонив голову к плечу и глядя снизу вверх на Николая Николаевича своими старыми раскисшими глазами.

— Вера Кузьминична, это очень смешно, что я вам скажу. Но послушайте и не отвергайте... Я волнуюсь... Но это будет очень и очень правильно.

— Так что же, что, Николай Николаевич?

— Вера Кузьминична, поедemте вместе со мною в Москву. К моему брату. Он звал...

— Зачем это, Николай Николаевич?

— Предлагаю нам отныне быть вместе.

— Но я, батюшка мой, не знаю даже, что есть в вашей жизни, чего нет... И зачем это я с вами поеду, куда?

— Хуже не будет, Вера Кузьминична... Что у меня есть? Ничего нет. Ничего не было, кроме вас.

— Перестаньте сходить с ума, мы с вами не в романе, Николай Николаевич,— вновь заплакала старуха Козулина.— Когда вы полагаете ехать?

— Завтра,— со спокойною, тихой улыбкою проговорил Тураев.— Завтра вечерним пароходом. Приходите прямо на пристань.

— Ах, не знаю... Что-то я ничего не пойму. Прощайте, сударь.

— До завтра, Вера Кузьминична. Буду ждать. Не обманите же моих надежд, Вера Кузьминична. Я ведь вас всю жизнь прождал.

Таким образом внезапно свершилась та перемена в жизни, которой Николай Тураев давно желал и ждал. Доселе, что бы ни происходило с ним или вокруг него, он спокойно отрешал это от себя как нечто его не касающееся и никакой перемены не содержащее,— но до последней встречи с постаревшей и впавшей в ничтожество возлюбленной его молодости. Эта неожиданная встреча открыла ему, что он давно свободен от всех долгов своей жизни,— да и никогда никому ничего не бывал должен, рабских уз никто на него не накладывал, и лишь по какому-то величайшему недоразумению он прожил долгие годы в добровольном рабстве. Свободной была его странная, необъяснимая любовь к этой женщине.

И он, одинокий мыслитель, вдоволь предающийся философии, всегда был лишь носителем самой вольной на свете любви. Ибо ничему она не подчинилась — как бывает подчинена обыкновенная человеческая любовь: здравому смыслу, долгу, семейному праву, времени, старости и усыпительному забвению. Сохранив же в себе любовь к этой женщине, он был свободен от всех остальных привязанностей, потому что они для него, оказывается, совершенно ничего не значили. Так проявилось, убедительно и жестоко, что мы, его дети, чужды ему и безразличны, как луне старая паутина в углу сарая. Я смотрел на эту луну сквозь пыльное стекло крошечного, об одно стеклышко, оконца, и мне было очень грустно, что это общее для всех нас, детей, родившихся от отца-барина, чувство небратства и безразличия друг к другу обязано происхождением своим прекрасному чувству нашего отца, любившего всю жизнь какую-то другую женщину, а не нашу мать.

Я вспоминал, глядя на луну, повисшую над ночными полями Южной Саксонии, как отец, в черном старом пальто, в черном картузе, налегке шел по пристани, а я уныло волочил ноги, плелся и сам еще не понимал, насколько печально то, что переживаю в душе своей, не мог знать, как всю жизнь от этой минуты и далее будет пронзать меня что-то вроде мучительного стыда за одно только то, что я увидел несколько минут спустя. Подошла к нему какая-то старуха в драной соломенной шляпе, совсем неподходящей для осенней сырой погоды, в старом зипуне с заплатою под мышкой,— и они взялись за руки. Не оглядываясь на меня, отец шел со своей спутницей и, подойдя к сходям, помог ей взобраться по ступеням на пароход и сам следом вскарабкался — исчез на судне, так и не оглянувшись на меня. А ведь знал, что я слежу за ним,— мы весь путь от дома до пристани прошли рядом, я почему-то решил проводить его на пароход.

И вот много лет спустя, находясь в плену, мучаясь от холода и голода, ночью я смотрю на луну из окошка сарая, где находится моя рабская постель из куска брезента, брошенного на солому... Смотрю на луну и опять замираю от давнего стыда, ибо прямо перед лунным могучим диском идет во всем черном отец и ведет за руку высокую

оборванную старуху, которая удивительно похожа на престарелую фрау Ленц, свекровь моей непосредственной госпожи Марианны Ленц, владелицы еще четырех, кроме меня, военнопленных рабов и двух надомных рабынь с Украины. Я каждый раз вздрагиваю, когда вижу на просторном помещичьем дворе старуху Ленц, которая гуляет в сопровождении одной из пленниц, полусидя в особом станке на колесиках,— она может и самостоятельно передвигаться, когда захочет, став на ноги, держась за поручни и толкая коляску перед собою.

Моя обязанность — вывозить на тачке навоз из коровника, поэтому я благоухаю говном высокопородных немецких коров, и меня определили жить в отдельной каморке, выгороженной в скотном сарае. Зато я могу по ночам вволю любоваться луною, отцом на мостках пристани, сосною-лирою на краю Колина Дома и прочими картинами из своей прошлой жизни. Я люблю эти затаянные ночные мгновения высшего одиночества, когда вдруг оказываюсь каким-то веселым, удивительным всечеловеком, а не скотником-военнопленным у помещицы Марианны Ленц.

В одно из этих ночных мгновений произошло незаметное преображение Степана Тураева в Глеба Тураева — отца в сына, который родится уже много лет спустя после войны, и Глеб Тураев не мог в своей единственной дочери узреть начал духовного родства, так же как и Степан Тураев, его отец, не мог в нем и в других своих детях ощутить близость большую, нежели пространственную, что устанавливается между отцовским древом и тесно стоящим вокруг подростом. Чувство непостижимой и страшной одиночества среди всех отдельных существ и элементов мира было стержнем тураевской духовности — и вместе с этим осознание себя как неотъемлемой части зеленого Леса.

Итак, Степан смотрел на луну сквозь пыльное германское стекло, тосковал об отце, навеки утерянном, а Глеб шел по лесной дороге, люто тоскуя по любви своего десятилетнего ребенка, которого он совершенно оттолкнул от себя холодной строгостью. Степан поднимался с соломы и, откинув в сторону брезент, вылезал из каморки, чтобы постоять в темноте двора возле навозной кучи,— в них, отце и сыне, жгуче нарастала боль, и эта возникающая боль сына, брошенного отцом, и боль отца, бросившего своего ребенка на произвол судьбы, настигла Степана и Глеба Тураевых внезапно в самые разные мгновения их бытия,— и всему виною было то, что когда-то Николай Тураев взял женою женщину как кусок природы, обычную дочь Деметры, а не как недостающую часть своей духовной сущности.

Однажды Николай Николаевич размышлял, сидя на пороге своей токарной мастерской, о лукавом равновесии «дао», скрывающем в себе нежелание китайцев менять свои привычки,— вдруг из-за угла сарая появилась Анисья, держа двумя пальцами за хвостик дохлую мышь. Неизвестно, откуда она ее вынула,— не об этом подумал он в следующую минуту, а поразился тому, что жена выбросила мышь в бурьян и, покосившись в его сторону, совершенно спокойно, с безразличным видом задрала юбку и, сверкнув толстым задом, пристроилась облегчиться. И это, в общем-то, неудивительное домашнее действие жены поразило Николая Николаевича не столь натурализмом своего проявления, как ясным осознанием того, что они навсегда и безнадежно далекие, чужие друг другу люди. А соединила их слепая и яростная природа, коей безразлично все, что относится к области взаимных гармонических чувств людей. И он с затравленной горечью посмотрел на рыжую макушку Анисьи, торчащую из бурьяна, и этот взгляд его повторился в глазах его сына Степана в ту минуту, когда он из пленного сарая высмотрел сквозь окошечко луну в небе, вспоминая при этом, как отец поднялся с высокой старухой на пароход, так и не оглянувшись на замершего посреди пристани сына. А затем и Глеб Тураев, вспоминая непростительные свои выходки и

тяжкие промахи во взаимоотношениях с дочерью, сложной и беспощадной особою десяти лет, опять остановился посреди лесной дороги и медленно огляделся вокруг, излучая взглядом ту загнанную тоску-кручинушку бытия, то всежигающее сожаление по невозполнимым утратам, которое Глеб называл ожогом сердца.

Да, снова ожгло болью в самой срединной глубине его души, пальнуло нестерпимым, быстрым пламенем — вот и заозирался Глеб, думая удивленно: почему так больно мне даже в лесу, на этой красивой одичавшей дороге?

Фрау Ленц утром и вечером выстраивала своих шестерых рабов на поверку и, в штанах галифе, в сапогах, с алой помадою на губах, с английским стеклом в руке прохаживаясь туда и сюда перед недлинным строем, делала одно и то же внушение дважды в день... А Степан и в эти минуты затаенной ненависти и животного вожделения к широкой заднице и стройным ногам фрау не переставал терзаться детской тоскою по исчезнувшему навеки отцу; и сын его Глеб корчился от чувства утраты, которую теперь только в полной мере осознал за все время, что прошло после его ухода из семьи; Николай Николаевич постарался сделать для себя утешительный вывод: жена есть кусок природы, представительница жизнеспособной Деметры, это так. От нее исходят для меня и смерть и плотоядное безмыслие, это так. Я же со своим постоянным мыслительным занятием и поисками цели для своего единичного существования есть явление противоестественное, а потому жена правее меня.

Фрау Ленц педантично повторяла на утреннем разводе и на вечерней поверке, расхаживая перед шеренгой своих восточных рабов: «У меня на ферме вам тяжело, но в концлагере вам будет гораздо хуже. Я не охраняю вас, но если кто-нибудь вздумает бежать, пусть сначала хорошенько подумает. В случае побега я потерплю убытки, это да, но тот, кто совершит побег, будет пойман и отправлен в концлагерь. Скрыться никому не удастся — не забывайте, что вы находитесь в Германии, народ которой победил Европу. Скоро весь мир будет нашим, и тогда вас, как самых первых наших рабов, ожидает большое счастье. Лучшие «ост», наверное, станут вольноотпущенниками и даже смогут завести семьи». Слушая ее, Степан Тураев вдруг трезвел от ненависти и готов был убить себя за похабное воображение, в котором он только что соединял себя с немецкой барыней. И причину глубокого неблагополучия своего существования его сын, Глеб Степанович, понимал теперь так: если я не тружусь для достижения царства божия на земле или каждую минуту своего существования не верю в торжество коммунизма, — словом, если не могу естественно и всецело принадлежать сознанием своим какой-нибудь надличной цели, то мне остается постепенно сходить с ума: Я ОДИНОЧЕСТВО, — или служить своим вожделениям. И зад у фрау Ленц так и ходил ходуном, сыто и нагло подбрасывая под серым сукном галифе свои надменные полудоли.

Лесная дорога шла от болота до широкой раскатанной дороги, ведущей к деревне Княжи, но это в двадцатом веке; а семью столетиями ранее там стоял сплошной красный бор, и по вытоптанной меж высокими соснами тропе военный отряд татар гнал пленных русичей, мужчин, женщин и детей, человек двести, связанных гуськом в длинные цепочки. Степан Тураев бежал с Ленцфермы, невзирая на предупреждения фрау, и, пробираясь только по ночам в ящиках под вагонами или на товарных платформах, через много суток оказался в Словакии — там его и поймали жандармы, окружив в винограднике. Среди пленников, которых гнали татары, был пращур Степана Тураева, зверолов, лесной бродяга, умевший отменно притворяться мертвым и в этом искусстве постигнувший все тонкости, участь у хитрых лисиц и барсуков. Степан подобного искусства не постигал, но и в нем поколений через двадцать сказалась нарабатанная привычка —

когда четверо полевых жандармов взяли в приклады то, что досталось им после двух здоровенных овчарок, Степан сознания еще не потерял. Но после одного сильного удара по голове он дернулся, прогнулся весь и упал на землю таким образом, что все мучители его и собаки-людогрызы также без всякого сомнения поверили, что он мертв, и враз успокоились. Степан наблюдал за ними, глядя через запрокинутую голову немигающими, остановившимися глазами — вот то же самое умел делать и пращур Степанов несколько сот лет до него.

Принятою за беглеца из местного концлагеря Степана решено было отвезти туда для опознания и составления бумаги, подтверждающей хорошую функциональность военной жандармерии. Его повезли в коляске мотоцикла, высадив на дорогу инструктора с собакой, которому, к его большому неудовольствию, надлежало пройти пешком четыре километра... Этот вожатый служебной овчарки, сухопарый человек с костлявой нижней челюстью, выпирающей намного дальше верхней, подумал с обидою на старшего патрульного: «Групп для него важнее живого человека, повез дохлятину, хотя могла бы за ним приехать лагерная охрана, у которой есть на то специальные машины. — И далее собаковод в одиночестве кипел нарастающим негодованием: — И ведь не Ганса высадил, а меня, а ведь именно мой черный Люкантропус первым настиг этого беглеца, выдрал ему грудную мышцу, мой пес, а не Гансов желтый Шнапс; и вообще я ведь говорил, что надо не убивать варвара до смерти, чтобы мог он сам двигаться по дороге, бежать трусцой перед мотоциклом, — тогда и не пришлось бы никого высаживать». Так думал разобиженный стражник, жандарм в серой форме, и подобным образом думают все стражники и жандармы, какие есть на свете. И пока в двадцатом веке искусанного собаками и перемолотого прикладами пленника везли на мотоцикле к концлагерю, в другом веке другой стражник так же в мыслях своих злобился на начальство: «Вот он какой, жадный и жирный, как сурок, прихвостень ханский: получит за каждого раба по десятку баранов, а за красивую бабу и все двадцать штук. А нам что? Затягивать пояса от голода, кормить ветками лошадей, когда застигнет в пути зима? Рабы для него дороже воинов».

Увы, мысли и желания стражников придумал не я, а сам кривобокий и, стало быть, криводушный и кривопоносный сатана, и мысли эти общеизвестны, — профессия черта, стражника, жандарма от начала веков настолько задеревенела в своих устоях, что суть их свободно выражается двумя-тремя простейшими фразами на любом языке. Жрать, бить, догнать, стрелять — основные глаголы их профессии. Начальник с кошачьими усами, с невероятным по охлату брюхом распорядился так: перебить только взрослых мужчин, а молодых женщин и детей кормить дальше, пока хватит зерна, но урезать паек настолько, чтобы каждый пленный мог съесть только то, что ухватит из котла одной лишь — правой или левой, по выбору, — рукою. Волю свою жирный объявил скуластому, с тонким станом, а тот лишь крякнул, подивившись хитроумию караван-баши, и, повернув лошадь, поскал вдоль обоза.

Когда Степан Тураев ожил на глазах у беседующих меж собою жандармов и лагерных охранников, все они враз оживленно загалдели, словно увидели воскрешение Лазаря: никакого удовольствия это им не доставило, однако возвращение трупа вновь к состоянию одушевленного человека неизменно потрясает самые глубины фарисейской души, какую бы черствой она ни была. Но никогда Степан не мог забыть, как эти люди, только что стоявшие в удивлении, столпившись вокруг него, вдруг принялись все вместе бить его — и по тем же суставам и ранам, на которых уже засохла кровь, и по тем ссадинам и опухольям, которые покрывали все его несчастное тело уже не отдельными островами — громадным материком пламенной

боли. И опять сработал в Степане Тураеве навык пращур — и снова профессиональные убийцы поверили, что он умер под их ударами, точно так же, как и татары, налетевшие с двух сторон на связанных гуськом пленников и с коней посекавшие мужчин кривыми мечами, не заметили среди упавших одного живого и не раненного, которого наряду с прочими убитыми отвязали и бросили на тропе; а колонну погнали дальше, сократив ее длину почти наполовину. Соскакивая с лошадей, то один, то другой всадник вытирал окровавленный клинок меча о серый мох на земле, об одежду убитых, а один ражий, раскосый, с громадными вразлет бровями схватил девку в связке и, хрипло хохоча, стал вытирать меч ее пушистой длинной косою — под нечеловеческий визг обезумевшей пленницы.

Окровавленный караван прошел далее того места, что впоследствии будет названо Утиным болотом, а на тропе, где остались лежать посеченные трупы, появились псы-людоеды. Они не были специально приучены к человеческой крови — стали питаться человеческой, одичав, упорно следуя за колонной, где находились их хозяева, многие из которых были охотниками-звероловами, как и Степанов пращур. Тут и произошла внезапная встреча хозяина с его озверевшей собакой Басеем, лохматым, с медвежьими ушами, огромным волкодавом. Он, рыча и скалясь, далеко отогнал других псов стаи и начал осторожно слизывать кровь с шеи одного зарубленного, как рядом вдруг привскочил с земли его хозяин. «Басейко-о!» — вполголоса протяжно позвал он. И зверь мгновенно был преодолен в псе любовью к хозяину — Басей лег, прижав морду к земле меж раздвинутых лап, и столь печально посмотрел в глаза человеку! Но большой хвост зверового пса так и метался из стороны в сторону, шевеля траву. Прислушавшись к удаленному шуму, охотник беззвучно перебежал с дороги в чащобу леса, и пес Басей, вскочив с земли, могучими бросками кинулся следом.

Тут и раздался невероятный по ярости и силе рев, словно исходя не из живой глотки, а от свистка гигантского паровоза. Собаки-людоеды все враз вздыбились загнув и, поджав хвосты, кинулись в кусты. И вот с треском раздвинулся сосняк, множество деревьев с грохотом повалилось в разные стороны — на лесную дорогу вылез, пламенно пыхтя, громадный ящер со змеиной головой и с собачьим туловищем Цербера, сравнить которое по величине мне не с чем — нет подобного же размера живого существа на Земле. Он когда-то вылез из гнойного яйца, которое образовалось из ужаса и боли убиваемых людей, и теперь маялся во власти постоянного жестокого голода — есть он мог только что-нибудь железное, а металлом то время еще было небогато, и приходилось Змею питаться бурой железосодержащей болотной рудой, благо ее было много в сырых трясиных касимовской Мещеры. Летать еще он не мог, не отросли крылья — беспомощно шевелились перепончатые отростки на его боках, словно растопыренные утиные лапки, однако с крыла «боинга» каждая, и пищал Змей Горыныч еще совсем по-младенчески. Это впоследствии, вскормленный железом и сталью больших войн, он начнет рычать с такой силой, что будут возникать внезапные землетрясения в разных точках земного шара.

...В октябре двадцать седьмого года двое прибыли в Москву, и вместе им было почти сто двадцать лет — Николаю Тураеву и Вере Козулиной. Андрей Тураев, брат Николая Николаевича, работал в московской артели сапожников, а его Тамара Евгеньевна, бывшая сельская учительница, теперь в цехе некой фабрички чертила линии на шкаликах термометров. Таким образом, эти русские дворяне, обуреваемые идеей служения народу, обрели наконец равенство и единство с трудящимся классом, — и лет им вместе тоже было около ста двадцати. Когда к этой одинокой паре стариков приехала

другая, Андрей Николаевич испытал минуту такой едкой горечи, что лучше бы умер тут же на месте, хотя никто ничего и не заметил вокруг. Вид обросшего недельной щетиной старика брата и его оборванной спутницы в шляпе из черной соломки напомнил Андрею Тураеву, что жизнь прошла и обманула в чем-то самом главном. Он-то думал, что таких, как он, на свете много — приверженцев идеи народного блага, а оказалось, что он один, не считая его жены, которая была скорее небольшою, самой унылой частью его существа, нежели самостоятельным убеждением и мировоззрением. Никто не хотел служить народу — и сам народ не хотел служить себе самому, хотя и совершил революцию и прогнал царя и буржуев. Каждый человек по-старому лишь страстно хотел служить самому себе.

Но, глядя на своего опустившегося братца, он все же утешился тем, что в Николае угадал человека идеи, а не наживы, хотя младший брат придерживался всю жизнь совсем других взглядов, не таких, как у всех, и не таких даже, как у графа Толстого, но с примесью замудренной китайщины, индуизма и с крапинками идеи Платона, Спинозы и Шопенгауэра.

Старик Андрей Николаевич беззвучно заплакал, обняв брата, а старик Николай Николаевич круто отвернул голову и замер, как столб, и в крошечной комнатке на Цветном бульваре, где жила чета Тураевых, настала минутная скорбная тишина. А у дверей стояла с узелком в руке старуха Козулина и молча переглядывалась с маленькой, горбоносой и седой, как белая мышь, старухой Тамарой Евгеньевной, которую Вера Кузьминична видела впервые.

Об этой минуте скорби двух постаревших братьев я могу сказать еще следующее: там, где никогда ничто не начинается и не кончается, плавают горького вкуса облачко — и это облачко есть дух моего одиночества. Дух этот возрождается в миллиардах моих деревьев и людей в виде свирепого чувства тяготы жизни, муки существования, — и не по его ли вине проросла в человечестве вся его неизмерная жестокость?..

Андрей Николаевич пригласил всех присесть и вдруг замолчал, уставившись на какой-то сучок в некрашеной столешнице, — он на одну минуту, впервые в жизни, задумался о полной бессмысленности своего существования: «Так где же это я пахал унаследованную землю, выбирался в земство, изменял жене и тачал яловые сапоги — неужели нигде?» Горьким смрадом обволакивала его незнакомая тоска. Но отпущенная ему единственная за всю жизнь минута прозрения истаяла, и Андрей Николаевич встряхнул головой, как внезапно проснувшаяся старая лошадь.

— Ты, я вижу, не один, Коля, — молвил он, запоздало полукланяясь спутнице младшего брата. — Здравствуйте... Как ехали?

— До Нижнего пароходом, а там и поездом, — тоже быстро успокаиваясь, по-стариковски скребя пальцами бороду и косоротясь, отвечал Николай Николаевич. — Неужели ее не признал? — спрашивал он далее, и его косоротое дергание, оказывается, было своего рода незнакомой для старшего брата новой улыбкой Николая Николаевича. — Вера Кузьминична Ходарева когда-то... — как бы не хотя завершил он из кривых уст.

— Не может того быть! — оживляясь, воскликнул старик Андрей Николаевич. — Неужели Вера?.. Вера Кузьминична? Голубушка, вы ли? Какая неожиданная встреча! — говорил банальные, обкатанные веками слова старший брат, как и всегда... — Подумать только, сколько лет прошло, сколько зим... Но почему вы вместе-то оказались? И почему ты один, без семьи?

— Она вот, Андрей, теперь и есть моя семья, — указывая на Козулину не до конца выпрямленным пальцем, ответил Николай Тураев. — Мне наконец-то удалось сделать то, чего я желал всю свою жизнь.

И тут выступила вперед Тамара Евгеньевна: ха-ха-ха! ха-ха-ха! — закатывалась она обидным, по ее расчетам, а на деле просто скрипучим старушечьим смехом.

— Это что же значит, Николай? — восклицала она. — Значит ли это, что ты покинул свою семью, разошелся с Анисьей и переженился на этой особе?

— Именно это и значит, — ответил ей Николай Николаевич. — Хотя и не переженился, как ты выразилась. Не успел, извини.

— Людей смешить на старости лет? Женихом побыть захотелось, Николай? А не будет ли стыдно перед собственными детьми? — допытывалась Тамара Евгеньевна.

— Тamarочка! Тamarочка! Прекрати, пожалуйста, свою патетику! — начал урезонивать жену Андрей Николаевич, который никогда не мог удержаться, чтобы не выступить против в минуты проявления ненавистного ему жениного пафоса. — Не надо судить других, да не судимы будем!

— Вы совершенно правы, Тамара Евгеньевна, и ваша ирония предстает для меня вполне уместной, — опять криворотом и сухо улыбнулся деверь седенькой, горбоносой невестке. — Но пройдет всего лет двести — и что останется от вашей правоты и вашей могучей иронии?

И тут он повернулся и прямо посмотрел мне в глаза: его внук Глеб еще был молод, служил в армии, в конвойных войсках, в этот день был наряжен в караул на жилую зону, назначен в суточное дежурство помощником контролера на вахте.

— Да, все во всем правы, а я кругом не прав и выгляжу смешным, это так, — говорил его дед, сверкая темными глазами, — но позволю вам напомнить, что я еще жив и поэтому могу распорядиться, к счастью, собою, своей жизнью так, как мне заблагорассудится, — говорил он и хмурил такие же темные, густые брови, как у внука, который, глядя мне в самые глаза, в лихорадочном напряжении думал: «Что же делать, что я могу сделать?» (Только что стучался в дверь вахты заключенный, просил запереть его до утра в штрафной изолятор, потому что боялся, что его в эту ночь изнасилуют. Заключенного со смехом отогнал от двери вахты надзиратель Носков...) —

Разумеется, Николай, ты волен поступать, как тебе заблагорассудится, — согласилась с деверем Тамара Евгеньевна, — всяк по-своему с ума сходит. Но мы-то при чем? Зачем ты к нам привел свою новую знакомую или как там ее можно величать? У нас ведь всего одна комната.

— Повидать брата и уйти, — спокойно отвечал Николай Николаевич. — Более ничего, Тамара Евгеньевна. Десять лет, я чай, не видались.

— Тamarочка, как ты можешь! — замахал натруженными сапожничьими руками Андрей Николаевич. — Куда им деваться в Москве? На улицу?

— А хоть бы и на улицу! — жестко порешила худенькая, седенькая старушка. — Полюбовников у себя не принимаю.

— Прощай, брат. Вот и повидались через десять лет, — с усмешливой миной на бледном, заросшем лице проговорил Николай Тураев, поднявшись из-за стола. — Я не хотел бы никому объяснять своего решения... Потому еще раз — прощай. — И он, все так же пристально глядя в мою сторону, направился к выходу, за ним поднялась и пошла к двери Козулина, во все это время не проронившая ни слова.

Николай Тураев в эту минуту думал точно такими же словами, что и его внук, который родится в будущем от его сына Степана: «Что делать... что я могу сделать?» Только чувства, сопровождавшие эту одинаково выраженную мысль, были совершенно разные.

Николай Тураев не представлял, что ему надлежит сделать при том, как складывались обстоятельства, казавшиеся ему его реальной

жизнью: надвинулась старость, настало новое время, пришедшее вслед за революцией (в индийских учениях называемое *манвантарой*, то есть новоявленной эпохой, что продлится до следующего мирового катаклизма), смысл существования той жизни, что была брошена ему, постепенно исчерпался, и жить далее предстояло, выходит, без всякого смысла. Но не это пугало,— оставленный ощущать существование, без энергии на то, чтобы приспособиться и жить в новой манвантаре, безвредный и ненужный для возводимого нового строя, старик, встретивший старуху, которую он полюбил в своей молодости, Николай Николаевич вдруг осознал, что неожиданно достиг неимоверной свободы выброшенного на свалку истории существа.

Да! Достиг независимости человека, на которого не смеют притязать никакие самовластные собственники человеческих душ: цари, государства, богачи, партии и правительства, семейные деспоты, деньги, собственность и неборимые телесные страсти. Выйдя с ведомою им за руку Козулиной в сырой московский переулок, он подумал, а что он может сделать для того, чтобы обрести приют и покой вместе с женщиной, которую он сдернул с места и привез в Москву,— и ничего не придумал, кроме того как повести ее почевать на Курский вокзал.

И по пути к вокзалу он вдруг и почувствовал дотоле небывалую, сладостную жуть от ощущения обретенной безбрежной свободы. Это был миг разрыва последней связи с тем миром людей, который ему больше был не нужен. Мрачная, неимоверно скорбная радость опалила его старую душу, и он сказал Вере Кузьминичне:

— Впрочем, если не хотите на Курский, то воля ваша — идите куда хотите.

— Да куда же это я пойду? — испуганно отвечала Козулина. — Мне некуда пойти, вы это прекрасно знаете. И я поехала с вами не потому, что головы у меня нет, не как обманутая гимназистка поехала. — Голосом она окрепла и обрела былое, далекое девичье воодушевление. — Я поехала, Николай Николаевич, чтобы всегда рядом с вами быть и все вместе с вами разделить.

— Делайте, как вам будет угодно, — спокойно согласился он. — Но только с этой минуты забудьте, как меня зовут, кто я, кем был. Вам сейчас ничего не видно, и никому ничего не видно, но именно сейчас, сию минуту, произошло в моей душе то самое, после чего уже совершенно неважно, кем я был. Нет у меня теперь ни имени, ни звания; не гражданин я, не дворянин, не христианин, не молодой, не старый. И то жалкое отребье, во что превратилось мое тело, имеет со мною очень малую связь, а в дальнейшем будет эта связь становиться все меньше. Я теперь свободен от всего. И от вас тоже свободен.

— Николай Николаевич, миленький...

— Не называйте меня больше так, — властно, почти грубо произнес Николай Тураев; но несколько смягчился и разрешил: — Если хотите непременно общаться со мной, называйте меня — человек. Я теперь Никто. — Он смотрел при этом не на нее, а снова на меня; и в этой возможности видеть меня, как я его, и проявлялась та перемена в нем, которую он никак не называл, не обозначал для себя, но которой с великим философическим восторгом подчинился.

И так, бессловесно и через один лишь обмен взглядами, мы обрели друг друга и стали едины. Я тоже Никто — и мне столь же одиноко, как и в далеком прошлом — когда я был камнем, горячей плазмой, летящим в пространстве лучом. И когда мне предстоит снова стать горячей плазмой, камнем, лучом — смысл моих превращений все равно для меня же самого остается неясным, туманно-грустным и тревожным. О, если бы и на самом деле смерть — и полное прекращение моего одиночества! О, если бы печатью своею она утвердила на моем негнущемся трупe: «Изменению не подлежит!»

Николай Тураев, повелевший старухе Козулиной называть его просто — человек, шагал вверх по Большому Сухаревскому переулку, заложив руки за спину и низко опустив голову. За ним шла, спотыкаясь на булыжнике, Вера Кузьминична, у нее было испуганное лицо, она мне внушает великую жалость, потому что положение у нее отчаянное, она доверилась внезапному призыву и порыву сердца почти незнакомого ей старика, а он вдруг вероломно отрекся от нее. И то смущение, страх и унижительная скованность, в которых пребывает ее душа, являются не просто еще одними бросовыми и никакого значения не имеющими для человечества уязвлениями души, страданиями еще одной оборванной старухи — сколько их на свете! — но они, эти старухины тревоги и отчаяние, являют в конкретном действии математическую формулу той энергии, которая может погубить человеческий род на Земле. Этот великий род погибнет, если будет нанесено слишком много наглых и безответных обид людям людьми.

Я видел, как внезапно раскрывается перед человеком дверца одиночной камеры, в которой ему надлежит пребывать вплоть до последней минуты жизни. В эту камеру человек попадает, чтобы назад больше не выйти, — страдание и гниль, злоба и невыносимая боль, страх и безобразная лютость, боль и гниль, безобразие и зловоние, необходимость жрать других — и прочее, не менее прелестное, связанное с жизнью, становится известным будущему узнику камеры предварительного заключения, вернее, штрафного изолятора, куда смущенный Высший Законодатель запикивает ослепшего-прозревшего бунтовщика.

Я видел внутренности и клоаки того безрадостного и убогого сооружения, что называлось баракком жилой зоны; запертую на всякий замок входную дверь — вид у нее такой, словно это дверь склада или другого нежилого помещения, где люди бывают нечасто, где тишина амбарная, замогильная, шмыгают крысы. Но сразу же за дверью — крошечные сени с двумя вместительными бадьями-парашами, куда звучно шлепается дерьмо, исторгаясь из скрюченных на краях бочек двух бедолаг, третий в нетерпении топчется рядом, держа обеими руками приуточенные к действию, расстегнутые штаны. Далее парашной опять-таки закуток, откуда вверх к казарменному помещению поднимаются две-три до ямок выщербленные ногами деревянные ступени, по сторонам которых, в неудобных карманах тамбура, стоят издерганные топчаные койки. На них лежат, выставив к проходу скорченные спины, парии лагерного общества: ассенизатор Коврижкин и грязный, хуже Коврижкина пахнувший человек с женской кличкой Люська. Этих двоих барачный класс узников не допустил до своего уровня, считая их погаными: Коврижкина потому, что он возил дерьмо, а здорового и придуточного парня Люську за его принадлежность к разряду неприкасаемых, тех самых, у которых пробиты дырки в кружках, мисках и ложках. И если Люська хотел, допустим, попить воды из бочки, то он подходил к общественному сосуду и, стоя в двух шагах от него, ждал, когда кто-нибудь подойдет, пошьет сам и после соизволит перелить из своей кружки в дырявую, при этом стараясь ни в коем случае не коснуться ее своей посудой и для того подымая кружку как можно выше над Люськиною. А тот (Люська) с тупым, смиренным видом покорной скотины тщится уловить вихляющую струю, падающую из кружки благодетеля, которою тот еще и поваживал в воздухе, как бы непроизвольно содрогаюсь от омерзения. В итоге благотворительной акции в дырявую кружку попадало несколько ложек воды, которую лагерный педераст Люська с жадностью выпивал, громко присасывая воздух губищами, а затем снова замирал у бочки, ожидая подхода следующего благодетеля.

Из тамбура был вход в огромную вонючую казарму, двери не закрывались — по приказу начальства створки были пришиты гвоздями

к полу в широко разверстом состоянии — обе обшарпанные, некрашенные, с измызганными филенками половины. Нары шли двумя рядами, впритык к стене одним концом, в два этажа; между нарами проход шириною в один шаг, с вытертыми до желобов досками пола; нары о два места, между ними также проходы; темнота, вонь, курение в темноте; хрипы и стоны спящих, тихая хипишня и тасовня неспящих, в темноте запертого барака творящих ужасные и скверные бесчинства.

Чу! Кого-то стащили с нары, поволокли — пискнул только и захныкал, но, видимо, живо дали чем-то увесистым по тылке — крякнул и замолк, позволяя тащить себя безо всякого сопротивления. У выхода тасовня увеличилась, запыхтела множеством нетерпеливых дышалок, зашлепала босыми ногами, и шныри, спавшие возле самых дверей, живо отвернулись на нарах, укрылись с головою телогрейками: ничего не видим, ничего не знаем. Надо было через потайную потолочную дыру, устроенную над входом и умело замаскированную днем, взобраться на чердак, для чего воспользоваться казенным табуретом с продолговатой дыркой посреди дощатого сиденья (дырка для удобного хватания табуретки рукою). Затем путь вел через верхнюю нару, где жавшийся к краю нары несчастный шнырь изо всех сил притворялся, что он спит и ничего такого не замечает, хотя чьи-то холодные, с налипшим к подошве сором, босые ноги сутолошно тыкались в лицо ему, наступали с размаху на руки, с хрустом давили подушку, набитую соломой. А раз какая-то шкурная сволочь торопливой пяткой вонзилась в самую середку живота, и шнырь со стоном подскочил на своем беспокойном ложе, на мгновение взъярился и укусил чужую ногу, за что был невидимым альпинистом смазан по зубам какой-то твердой вещью.

Но вначале нужно было втащить на чердак жертву, полуоглушенную и вялую, повисшую на руках тех, кто его волок для своего потребления, — он же сам не хотел, не мог вспрыгнуть на верхние нары — и оттуда, выпрямляясь кособоко (оторванная потолочина, вынутая из гвоздевых гнезд, открывала дыру чуть в стороне над нарами), прошмыгнуть белкою на чердак. Пришлось его вязать под мышками веревкой и с полу поднимать, тащить по воздуху вверх, а он еще застрял в дыре, попал запрокинутым лицом за край ее, и двое дюжих спортсменов, дружно выбиравших веревку с грузом, снова и снова дергали, а он никак не мог, раскачиваемый на стропе, с беспомощно откинutoю назад головою, попасть туда, куда было нужно, и лишь бесполезно тыкался лицом в доску, постепенно размозжив нос, скулы и лоб. Наконец он попал головою в дыру, и его вдернули на чердак, но он был плох, самостоятельно не стоял, и его кое-как пристроили, перекинув через балку. И сразу же тасовня сбилась в один комок, задышала и зашмыгала носами близко, голова к голове, и в полной темноте пошел тихий разговор такими словами: «Ну, кто первый?» «Братцы, дайте я! Я первый». «Ну ты, волчара, всюду первый. Шустряк». «Ладно, зайчик. Пускай начинает. Давай, зайка!» «Кабы вазелинчику, братцы!» «Да ты гад! Тебе, гаду, свой вазелин пора иметь». «Тиша! Чегой-то шнырь шваброй стучит». «Атас, коблы!» «Тиша!» Но тревога улеглась, и тасующиеся продолжили свое дело, поочередно оглашая чердачную тьму тяжелым сопением, обдавая резким запахом пота окружающее пространство, в котором они все равно недолгих умрут, как умирает всякая тварь на земле.

...Бывает, вздохну глубоко воздухом самых мощных лесов Рио-Негро, близ экватора, да задумаюсь еще на вздохе об одном шведском короле Карле, который был когда-то незаметным, но достойным эвкалиптом у подножия горы Хангома в Южной Персии, а потом, когда появились на свете люди и королевства, воплотился в этого несчастного человека, короля Карла с его тайной нерешительностью перед женщинами. Успею подумать еще о том, что личный слуга короля

Урс Бергстрём хранил тайну о болезни монарха до конца своих дней, но в последний час, когда атомы его мозга повздорили меж собой, как это бывает обыкновенно в пору кончины человека, когда наступил час разногласий атомов, из коих состоял мозг Урса Бергстрёма, он хитровато-расслабленно улыбнулся, чуть сдвинув глубокие складки по бокам узкого рта, и произнес затухающим, но ясным голосом: «Задвигал-то бабам я, а он не мог, куда ему было, бедняге». И это, к ужасу родных, было последними его словами.

Вздохну на этом — и выдохну где-то в уссурийской тайге, летом, когда нижний ярус чудовищно тесного смешанного леса мохнато кипит и метелицей кружит от удушливого звона комарья, мошки и гнуса, и обнаружу себя браконьером Удодолевым, который обвязал всю голову себе бабьим платком, оставил торчать длинный бледный нос и в намотке оставил узкие щелки для глаз, идет, прижимая к боку ложе мелкокалиберной винтовки, висящей на ремне через плечо,— то самое оружие, из которого он захочет впоследствии подстрелить сидящую на верхушке фонарного столба ворону, целясь из окна своей квартиры на третьем этаже, подзадориваемый пьяными гостями, а также возгласами радости и страха, выпускаемыми столь же пьяными их женами; это было в городе Хабаровске, в микрорайоне домов-коробок из бетонных блоков, и в створе выстрела недалеко был дом, который, однако, выпал из внимания всех, кто находился в комнате Удодолева, и для него этот дом-коробка, бездарный близнец того, в котором он жил, оказался также вне его сознания, словно скрывшись за густым туманом надвигающейся беды. Удодолев выстрелил, в ворону не попал, вспорхнула она и удалилась, тяжело взмахивая крыльями и подтягивая к животу лапки,— а попал Удодолев пулюю в белое пышное плечо женщины, стоявшей на балконе дома-близнеца на четвертом этаже (выстрел, таким образом, оказался с небольшим превышением), и Удодолева осудили за ранение человека, за стрельбу в городе и за хранение недозволенного нарезного оружия без разрешающих бумаг. Дурашливый и суетливый, Удодолев очень скоро приспособился к лагерной житухе, но стал рискованно играть в карты — и однажды в запале особо нездорового азарта играл на «интерес» и неожиданно проиграл не только честь, достоинство и мужество свое, но и саму жизнь. Его нашли на чердаке, окровавленного, с развороченной прямой кишкой, с содранной кожей лба, со сломанным носом, он был перевешен через бревно, руки и ноги его свисали на одном уровне по разные стороны балки. На его великое счастье, принимал бесчестье и умирал он, уже находясь в бессознательном состоянии, то есть полностью отсутствовал в той эпохе и в том историческом месте, где совершилось это ночное деяние.

Уснувший в караульном помещении на верхних нарах рядовой Глеб Тураев еще не знал, что он живет и будет до конца своего жить в мире обреченном, потому что в нем есть страдание и смерть. Но он понимал, что такой мир есть уродливое произведение Вселенной,— и эта несправедливость по отношению к разумным бактериям одной маленькой планеты была столь вопиющей, что человек и во сне переживал шестое чувство отчаяния особого рода. Ему виделось в сонных картинах, что он с каким-то случайным спутником по имени Борис, чернявым человеком с залысьнами и аккуратно подстриженной бородкой, идет по маленьким белым островкам, перескакивая с одного на другой. И вдруг выясняется, что островки эти — туши убитых животных, раздутые до огромных размеров. А кругом один лишь темный вселенский океан воды. Глеб и Борис знают, что они одни остались от всего мира существовавших раньше людей; на Борисе курточка, короткие брючонки — все случайное, впопыхах кое-как надетое, он без обуви, в носках, носки сползли до самых пяток, вот-вот соскочат,— и Глеб хотел ему указать на это, но потом раздумал. Ничто теперь не имело значения,

тем более эти мокрые, отвратительные носки на ногах Бориса — его деловитая, волевая суета и эти его промытые залысины, над которыми аккуратнейшим образом были зачесаны волосы, его зализанная борода и черные, внимательные глаза, — так не вязалось все это с чувством неразрешимого и необозримого отчаяния, которое испытывал прыгавший рядом с Борисом Глеб.

Ему подобный сон не раз еще привидится в будущем, когда он, уже семейный человек, отец прелестнейшего создания, цветущей, как розанчик, милой дочери, — о, когда он испытает чувство утраты и отчаяния гораздо более страшное и беспредельное, потому что оно будет связано с тем необоснованным, ничем в гармонических построениях Высшего Устроителя не обеспеченным, никаким видом мировой энергии не снабженным, ужасным в своем одиночестве — желанием отца защитить свое маленькое дитя. А пока, не имея еще дочери, прыгая с островка на островок рядом с Борисом, Глеб подумал, что не может иметь за собою правоты тот Автор, существующий где-то за звездами, — который сочинил весь этот ужас человеческий. И, тяжело обмякнув на дощатой наре, спящий Глеб Тураев пришел к выводу: или должна быть уничтожена постыдная ошибка, уродливая клоака гнусностей, или скорее преобразена явь человеческая в царство высшего разума и бессмертной гармонии. И сознание Глеба, взятого в армию со второго курса университета, студента физико-математического факультета, вмиг осветилось молодой и свежей надеждой на преобразование.

Проснувшись, все эти видения и высокие надежды Глеб мгновенно забыл, а была перед ним обшарпанная караулка с тусклой лампочкой накаливания под потолком, начальник караула сержант Хергеледжи, веснушчатый тихий молдаванин, надзиратель Носков, коротышка с огромной, как у великана, головой и генеральским басом, с генеральской же выправкой, грудь колесом — дурак набитый и самоуверенный, словно беспородный деревенский кобель. Между сержантом и надзирателем шли переговоры о том, как действовать по поводу чрезвычайного происшествия в жилой зоне — убийства с изнасилованием заключенного Удодолева прошедшей ночью. Решили немедленно доложить лагерному и охранному начальству, но о том, что вечером перед проверкой нынешний мертвец прибежал в караулку за помощью, промолчать и о том предупредить всех солдат в карауле. Носков говорил это решительно, могучим басом, как генерал, а серые глаза его странным образом светились при этом воодушевлением, энергией и умом. Он единственный из всех был виноват в том, что ночью заключенный погиб, — был Носковым отправлен, под глумливый смех его, внутрь барака, заперт там вместе со всеми; причем Удодолев до последней минуты стоял с умоляющим видом возле выхода и до последнего мгновения с надеждою смотрел в глаза надзирателю, — когда тот, держа в руке громадный висячий замок, на прощание кинул усмешливый взгляд в сторону переминавшегося с ноги на ногу возле параш Удодолева... Виноват в допущении чрезвычайного происшествия был один Носков, но скрыть вину он решительно потребовал от всех, кто был в карауле, — и все, во главе с начальником караула сержантом Хергеледжи, надежно скрыли его подлость. Носков еще много лет носил свой генеральский корпус на коротеньких ножках, величественным басом произносил что-нибудь глупое, служил злу и скверне, вилял хвостом перед начальством и обижал заключенных, а бедняга Удодолев был закопан в землю, сгнил там, и никто не ответил ни за гибель его, ни за то, что он появился на свет и прожил такую бестолковую и некрасивую жизнь.

Утро свежее, холодное, пора предзимняя, стоят удивительно ясные осенние погоды с легким морозцем, со звоном льдинок на замерзших придорожных лужицах. И эта бодрая чистота розового

утра, вкуснейший воздух мирных полей, затопивший валами своими все лагерные закоулки и проходы, на минуту даже заглушивший могучую вонь отхожего места и выгребной ямы там, в дальнем углу зоны, куда после открытия бараков темными толпами повалили воспитуемые преступники...

Деловито возжигали крошечные костерки на засортирном пустаырьке владельцы ценного имущества — чая, и на двух кирпичиках, в почерневшей консервной баночке каждый счастливец варил для собственного употребления густой, как деготь, чифир. Мне вовсе не доставляет удовольствия созерцать этих несчастных, пьющих свое вождеденное горькое пойло, не глядя друг на друга, я хотел бы пробудить в своей памяти что-либо иное, а вовсе не это утро нового дня возле лагерного сортира, у выгребного рундука с прыгающими в нем крысами, рядом с которыми копошатся в тухлой массе отбросов две серые фигуры в телогрейках, в косо напыленных шапках — как два гигантских насекомых неизвестного вида...

Участвуя в то утро в мучительных действиях людей для осуществления мучительных и мучительских предписаний относительно того, как организованее и результативнее одним мучить других,— и это для достижения существующей якобы разумной цели для всех,— в то утро Глеб ясно осознал, что сия разумная и благая цель отсутствует. В обязанности лагерного контролера входило вместе с дежурным надзирателем и начальниками конвоев считать снаряженных к работам заключенных, выпуская их по пятеркам из ворот вахты на широкий плац, где конвойные с автоматами на груди уже заняли свои надлежащие места по периметру охранных зон. «Первая... вторая... десятая... двадцать седьмая!» — считал надзиратель Носков в крик, и с каждым счетом передних пятеро в колонне поспешно и дружно, стараясь держать равнение, выступали вперед, проходили под задраным шлагбаумом и с видимым удовольствием выбирались с территории жилой зоны на вольное заворотное пространство.

Бледные и сероватые после проведенной в душных бараках ночи лица заключенных были напряженными, некоторые были воодушевлены тем весельем, которое не для себя, а напоказ и ищет внимания окружающей толпы, как бы желая найти то необходимое тепло душ, без которого холодно и гадко всякому человеку в толчке других людей. Так, один из них, длинный, усатый, с плоским животом, со вздернутыми плечами, побежал в пятерке какой-то дурашливой побейжкой, не сгибая ног в коленях, широко, хером расставив ноги и загребая ботинками пыль,— за это был несильно бит кулаком по спине считающим надзирателем, которому недосуг было выговаривать или окрикивать — язык был занят произнесением счета. Другой предстал перед взором всех (когда предыдущая пятерка прошмыгнула под шлагбаумом) в шутовском наряде, сшитом из двух половин старых ватных штанов разного цвета: черных и зеленых,— с явной целью посмешить народ. Но этому веселящемуся повезло меньше — надзиратель притормозил счет, записал число на бумажке, а затем, ни слова не говоря, схватил этого, в шутовском наряде, за шиворот одной рукою и пониже другою, выдернул из строя и с силою отшвырнул назад в зону. Глеб Тураев видел, каким стал испуганным недавний весельчак, и подумал: достанется ему, бедняге, этот Носков посадит шута горохового в штрафной изолятор.

И чтобы отвлечься от созерцания человеческого ничтожества, вдруг получившего чудовищную власть над другими людьми, Глеб Тураев перестал вести про себя дублирующий счет арестантов и ощутил в сердце ожог мгновенной невыносимой тоски. Он захотел, глядя на шумное построение заключенных перед лагерем, уйти от своего времени, в котором научились так действительно покорять людей, что от них ничего не оставалось, кроме бесцветной оболочки. Их непременно

но собирали в огромные колонны, набивали в концентрационные лагеря, выстраивали в бесконечные очереди — за хлебом, на зрелища, в газовую камеру, к гробницам великих вождей. И захотелось уйти в то время, в котором его, Глеба Тураева, уже не будет, — но именно оттуда, с той не существующей для него точки времени, взглянуть на себя теперешнего, пребывающего в безысходной тоске. И он мгновенно это желаемое чудо получил: увидел уродливость такого развития вселенской материи, которое привело к тому, что земная поверхность покрылась, как мокрыми лишаями, вонючими заплатками лагерей. И себя самого увидел — в самой середине одной из выстраиваемых для организованного мучения массы людей — бледным от бессонницы и утомления духа невзрачным солдатом с пистолетом на боку, в незастегнутой шинели.

Я отвел глаза от него и увидел: безмолвно застывшие, с тупыми, безмысленными лицами, накоротко стриженные, с полосатыми бескозырками, зажатými в левой руке, узники стояли ровными рядами, сбитые принуждением в геометрически правильные прямоугольники, столь излюбленные в XX веке государственной мыслью. Одна из неделимых частичек этой прямоугольной толпы, Степан Тураев, столь же лихорадочно, как и каждый лагерник в шеренгах, в эти минуты старался обрести состояние полного освобождения от всякой мысли, ибо по широким проходам меж полосатых шеренг шагал, заложив руки за спину, плотный небольшой офицер в высокой прогнутой фуражке, с угрюмыми мешками под темными спокойными глазами, внимательно вглядывался в застывшие, как алебастровые маски, серые лица обезжиренных людей... И если при напряженном наблюдении своем замечал он в ком-нибудь малейший след мысли или хотя бы отсвет любого узнаваемого чувства, то тут же снимал со спины свою пустую, вялую руку и взмахивал ею, как тряпкою, указывая на опознанного. А на одном уровне с ним, но за спинами шеренги двигалась бригада из трех человек с ручным каром — умертвитель с железной «кочергой», а чуть позади двое тянули телегу за дужку. При движении руки, указывающей на вычеркнутого из жизни, палач резко и точно бил сверху заостренным рогом пожарного багра. Когда узник падал, умертвитель поспешно вытягивал его из шеренги на проход, освобождал свое орудие из продырявленной головы и трусцою нагонял ушедшее вперед начальство. Иногда в поспешности служитель излишне резко рвал железным когтем багра, и тогда выламывался кусок черепа, текли мозги, и подбиравшие на кар грузчики вполголоса чертыхались и костерили палача за небрежную работу.

Степан Тураев добился состояния полного скотства в сознании своем, и потому взгляд офицера быстро и равнодушно скользнул по его лицу и перешел к следующему заключенному в строю. И тот был изобличен в утаении какого-то живого чувства в глазах и тут же поражен железным зубом багра в макушку, так что кровь, теплая, импульсивная, забрызгала щеку рядом стоящего Степана Тураева. Он это ощущение брызнувших на него теплых капель другого человека пронес через всю свою жизнь как некое содержание своего внутреннего существа, не видимого никому, так и скончавшегося в своих безысходных страданиях, никогда никем не угаданных.

В книги людей история записывалась лжецами, а въявь вершилась она теми мучениями души и тела, через которые прошли мириады исчезнувших деревьев человеческого Леса. Если в историю людей вошли одни их страдания и с помощью счета можно точно определить, сколько человек было насильственно умерщвлено в войнах или при утверждениях новой власти, — то это лишь сухие факты, лишенные живой крови и подкрепленные бессмысленной цифрой. А подлинная суть в том, что в мгновение превращения де-

ревьев в мыслящих людей и те и другие — перерождаясь и рождаясь — испытывали естественные родовые муки и неотвратимые страдания в продолжение каких-нибудь пятисот — шестисот тысячелетий.

Но я человек, меня зовут Глебом Тураевым, и я не знаю, наступит ли то ожидаемое Будущее, и я не хочу уступать ту оболочку, ту вонючую шкуру, в которой обитаю, кому бы то ни было, хотя бы самому Господу Богу, приди он ко мне в дом, как хаживал в наивные библейские времена к своим избранным евреям, и попроси подобного обмена для каких-то своих непостижимых целей. Я не уступлю своей шкуры, потому что я слишком погряз в человеческом. Разумеется, я умру когда-нибудь, и произойдет это, как и всегда, довольно-таки мерзко, и изопью я горькую чашу до самого дна, — но ведь существует только тот, которому суждено исчезнуть! Вот именно! Всякая человеческая жизнь, появлявшаяся на земле, была прекрасна, и все гнусные преступления, совершенные людьми, тоже были прекрасны — потому что только люди одни во Вселенной и совершали преступления, и эти преступления были актами проявления их жизни.

Но какая игра, какое великолепное развлечение — создать племена и народы, заставить их построить Вавилонскую башню, одним ударом небесного огня разрушить ее — постичь среди благоденствия Вселенной нелепый образ проклятия и погибели, пройти через невыносимые страдания, которые канут бесследно, и обрести конечное понятие Преступления Человеческого.

Когда Глеб Тураев уходил от семьи и когда его дед Николай Николаевич вел свою спутницу Веру Кузьминичну к Курскому вокзалу в Москве — обоих Тураевых захватило бесчеловечное чувство полного отчуждения ко всему тому, что было раньше их жизнью, семьей, судьбой, любовью и надеждой. Никакой связи не могло быть между тем, что Глеб любил в своей жене, и тем, что он однажды бессонной ночью за пять минут вычислил на клочке случайно подвернувшейся бумаги. Но именно после этого появилось в нем необратимое равнодушие к нежному, теплому естеству его жены Ирины, которая из этой нежности и теплоты произвела на свет их общего ребенка. А Николай Николаевич Тураев, его дед, мгновенно забыл огромное волнение своей тайной любви, пронесенное через всю жизнь, когда вдруг полыхнула по всему его духовному небосводу зарница мысли, столь похожая на отсвет вселенской катастрофы. В свойствах их крови, в родовых атомах тураевской породы содержалась эта способность к внезапной катастрофе всего их жизненного существа из-за такой нематериальной и случайной вещи, как возникшая в голове мысль.

И ничего не подозревавшие дотоле, ничего не понимающие, навсегда теряли этих мужчин любящие их женщины: верная жена Ирина, верная жена Анисья и бедняга Козулина, под старость лет вдруг поверившая в прекрасную, романтическую любовь рыцаря к избранной даме сердца. Ирина же Тураева ничем не могла объяснить внезапно наступившего охлаждения мужа, недоумевала, как и Вера Кузьминична Козулина, по поводу той нарастающей враждебности мужчины к ней, слабой женщине, — ибо они обе верно угадали, что родившееся отчуждение является в первую очередь выражением полового отчуждения. Сверкнувшая мгновенная мысль, разрушившая все прежнее существо Николая Тураева, могла быть выражена двумя словами: Я ОДИНОЧЕСТВО. И пока он поднимался по Большому Сухаревскому к Сретенке, произошло никому не видимое полное преобразование того самого жизненного существа, которое дотоле ощущало себя подлинной частью земного мира под именем Николай Николаевич Тураев.

И вот он исчез — по Сретенке шло совсем иное существо, хотя и с той же щетинистой полуседой бородою, в черном пальто, с

женщиною на прицепе, — как и прежний Н. Н. Тураев. Вера Кузьминична не узнает до своей смерти в длинном коридоре Боткинской больницы, что подходила к Сретенке уже вовсе не с тем человеком, который преданно и безнадежно любил ее всю свою жизнь. Как и Тураева Ирина, провожая мужа в то утро, когда он объявил, что уходит от нее навсегда, не догадывалась, что плачет на груди вовсе не того человека, который мог столько лет трогать, будить, вызывать к высшей радости бытия ее недоверчивое, малоподвижное женское начало, помогать ей преодолевать ту неимоверную тяжесть естественного поступка, необходимых телодвижений и судорожно замерших поз, которых требует земная любовь. Да, руки, плечи были те же самые, но Глеб уходящий в глазах своих таил что-то такое незнакомое и настолько странное для Ирины, что она вдруг окончательно поняла: напрасны в этом мире все ее мольбы и слезы. Он умер, мелькнуло в ее голове, он скоро умрет, подумала Вера Кузьминична, глядя в сутулую спину идущего впереди Николая Николаевича.

С этими двумя мужчинами, дедом и внуком, произошло то, что однажды содеялось со Степаном Тураевым, средним звеном между ними в длинной цепи тураевского рода, отмеченного странным качеством: смутно ощущать вокруг, а потом и находить в себе самом признаки начинающейся вселенской катастрофы. Степан возвращался в колонне пленных с городских работ в лагерь и видел, поднимая глаза от грязной земли, широкую спину в армейской телогрейке; спина принадлежала какому-то еще сильному, спокойному и что-то напряженно замышлявшему существу; жить она еще очень хотела, эта спина, не стать колодой тухлого мяса, каковое превращение было очень даже простым и многочисленным вокруг. Степан закрывал глаза от утомления и от нежелания видеть отчаянную суету движений этой впереди мелькающей спины; закрыв глаза, он то вспоминал своего отца, всегда далекого и невнятного, как синеющий за широкими полями лес, то видел толпящиеся на серой моховой поляне коричневые трухлявые грибы. Но вдруг открыл глаза и вместо червивых грибов увидел грязь на дороге, задранный полосатый шлагбаум, сбоку дороги труп человека в нижнем белье — тело скорчилось, а голова была откинута назад, и лицо его приходилось вровень с краем дороги, и по ней мелькали ноги в самой разной обуви, а некоторые и без обуви, с зябко поджатыми черными пальцами, — и большая нога того солдата, чью спину видел перед собою Степан Тураев, вдруг сутолошно и грубо ступила на вжатое в грязевую кашлицу лицо мертвеца и вдавила его нос глубоко в землю. Степан же ступил шире левой ногою и перешагнул через голову трупа, который был еще недавно придурковатым пленным, опустившимся доходягой, существом хуже, чем животное, каковым сделали его обстоятельства плена, вдруг сразу и беспощадно загнавшие массу людей в состояние, близкое к смерти.

Когда колонну распустили, перед тем продержав на плацу около часа, Степан Тураев опять прошелся к вахте и украдкой посмотрел на труп Пихтина, словно гонимый к нему какою-то силой. Мертвецов повидал он уже предостаточно, и все они были совершенно чуждого и отрешенного вида, как бы вмиг становились существами иного мира, в котором имеют главное значение не жизнь и движение, а полное равнодушие и абсолютная неподвижность. Но вид Пихтина открывал Степану какое-то совершенно новое значение и смерти и того, кого она настигла. Забравшись в свою земляную нору, которую никто не попытался занять в его отсутствие, Степан Тураев поднял колени к груди и сжался в комок.

Степан в своей норе, вырытой посреди концлагерного пустыря, лежал, скорчась, и перенимал науку мертвого Пихтина, а Глеб подо-

шел — сделал четыре шага от дверей караульного помещения до угла — вплотную приблизился к своему знанию. Это произошло на последнем году солдатской службы, в вечернее время ранней весны. За углом будки, где караульные воины многих призывов, будучи в наряде, обычно справляли малую нужду, Глеб увидел сидящего на земле солдата Хандошкина и в первый миг удивился тому, что тот расположился в таком грязном, неуютном месте; но тут же и что-то необычайно страшное, непонятное задело его сердце, оттуда тревожной волной ударило вверх и жгло ему горло. Словно физическую дурноту, сопровождаемую этим болезненным спазмом горла, ощутил Глеб Тураев подступившую беду. Хандошкин обернул голову на звук чужих шагов, но он сидел спиной к будке, и потому стриженная его голова не повернулась в хомуте шинельного ворота настолько, чтобы увидеть подходившего сзади Глеба Тураева. Так и не узнав, кто ему чуть не помешал в его деле, Хандошкин нажал на спуск, и короткая, оглушительная очередь прогремела. Солдат дернулся и медленно завалился на бок, клонившаяся к плечу голова его уперлась в стену караульной будки, и тело упокоилось. Сзади Глеба Тураева хлопнула дверь, и на выстрелы резвыми прыжками вынесся сержант Белюх — в одном мундире, без шапки. Он столкнулся с пути Тураева и, подбежав к Хандошкину, как бы заботливо пригнулся к нему, затем наложил руку на его плечо. Тело солдата легко запрокинулось, автомат упал рядом на землю. Грудь Хандошкина хлопотала кровавыми дырами, рот широко раскрывался в предсмертной зевоте, глаза курносого солдата смотрели прямо в глаза Глебу Тураеву — не моргая, сосредоточенно, спокойно.

Сержант Белюх стал на одно колено и, близко нагнувшись к самому лицу умирающего, покраснев от натуги, начал кричать с насмешкой и ненавистью:

— Эй ты! Дурак! Дурак ты, слышишь? Свинья! Подыхай, не жалко тебя. Подыхай!

Вослед отходящему сержант спешил выкрикнуть слова от всего сердца — выражающие возмущение, злорадство и одновременно некоторую сердечную задетость тем, что салага-первогодок Хандошкин, такое маленькое и ничтожное существо, осмелился не приказы командиров выполнять и не прислуживать старшим, а совершить что-то вроде самой дерзкой самоволки. Было в этом аккуратном, миниатюрном сержанте начало искони военное, то есть в сыне мелких обывателей мелкого города проявились те твердые качества, что необходимы для такой сложной общественной работы, как война, надзор, полицейская служба. И, глядя на него, Глеб Тураев испытывал двойное чувство: с одной стороны, хотелось этого сержанта схватить и бить, а с другой — было нехорошо и гадко, что человек становится таким.

Подобное чувство испытывал его отец Степан в немецком концлагере, когда на его глазах потный от усердия и страха палач-полицай по кличке Буркатый своим железным крюком пробивал череп у замерших в полосатом строю узников, сжимающих в правой руке такие же полосатые, как и костюмы, матерчатые береты. Буркатым прозвали палача лагерники из русских, которых было больше всего в этом маленьком секретном концлагере, созданном сугубо для научных целей. Пропасть жизненных представлений и убеждений разделяла этих двоих, в разное время существовавших: Буркатого и Белюха, — но оба они были несомненно из одной породы послушных команде служак, из усердных исполнителей чужой воли, называемой приказом.

Тело маленького Хандошкина вдруг забилось на земле, изо рта, вяло зевавшего, вываливались виноградные гроздья кровавых пузырей, а Белюх, вдоволь накричавшись, выпрямился, сплюнул в сторону и направился к вахте звонить. Проходя мимо Глеба Тураева,

он вновь повторил, кипя возмущением и безвыходной злостью: «Свинья он», — и скрипнул зубами.

Все в человеке связано с подземным огнем, все было расплавлено и размешано в плазменном вихрении — все горькие поражения и все великолепные надежды. Дьявол уже был там, в первозданном огне. Подземная лава, звездный пламень, тот еще, неостывший, — в этом огне содержится самый лучший ответ на все наши натурфилософские вопросы. Так думал Николай Тураев, бродя в толпе по Курскому вокзалу. Он размышлял о честной безответности Бога на человеческий вопрос «зачем?» — и вдруг обнаружил связь между вселенским огнем и нелепостью своего существования.

Глеб Тураев эту связь тоже увидел: угасающий после вспышки ненависти дым имел серный запах ада. И он понял, что убивший себя Хандошкин, со странным выражением тупоумия пускающий себе на грудь розовые пузыри, тоже имеет самую прямую связь с тем началом, которое люди определили как волю властителя подземного царства. В своем мире человеки гораздо ближе к сатане, чем к Богу, и реальность самых гнусных неотвратимых страданий, ожидающих каждого живущего человека, и сам абсолютный реализм позорной смерти являются тому спокойным гарантом, полагал Николай Николаевич, передвигаясь по залу Курского вокзала в поисках свободного места на лавках. Если каждый из нас состоит из каких-то неделимых кирпичиков материи — и звезда, и подземная магма, и Хандошкин, и я, — то пусть оставит меня в покое никому не видимое страдание, которое делает меня таким одиноким, полагал внук Николая Николаевича. Хандошкин уже умер — где, какой путь сейчас проходит душа Хандошкина, проявившаяся через его мелкую жизнь? Или путь ее весь здесь, у меня под ногами, на этом заспанном солдатами клочке земли? Бога мы подразумеваем, на Него уповаем, Ему молимся — а сатана берет наше нежное тело своими железными руками и выпихивает живую душу в пустыню, откуда нет возврата. По-разному может выглядеть она, эта пустыня. То как бред — какие-то соляные копи, то как многолюдный Курский вокзал, где тебе надо устроиться на ночлег.

Бог указывает людям цель существования как очень долгий путь к добру и совершенству, а сатана попросту берет и насылает дизентерию на ослабевшего от голода и холода человека. И Степан Тураев весь сосредоточился на ощущениях того, как хлещет кровавая жижка из него — невозможно было устеречь мгновение внезапного выброса поносного дерьма. Вся нора, которую выкопал Степан Тураев, была залита следами поноса, но более всего страдал он от приступов болезни во время пеших переходов в колонне, когда гнали в город на работу или оттуда в лагерь, он на ходу истекал жижей, которая, собственно, уже и не была дерьмом, не им пахла, да и не из чего было образоваться в желудке дерьму — он уже много дней не ел эрзац-хлеба, похожего на выпечку из коровьего навоза и земли, выдаваемого раз в день кусочками со спичечный коробок, не пил мутную серую баланду с привкусом керосина и столярного клея. Но свободный от всей этой дряни желудок тем не менее выработывал дрянь еще худшую, вытягивая из усохшего тела какие-то его подспудные миазмы. И, шагая в хлопающих сырых штанах, стараясь сдерживать стон, плывя по волнам дурноты, Степан еще не знал, что настанет иное время и он будет идти сквозь лесную темень во время ночной охоты, чем-то очень напоминающей эту зыбкую пустоту дизентерийного жара, — но как бы шагать в обратном направлении колонне погибающих пленников. Размытый до костей горячими струями болезни, пленный Степан шел, словно бы все ближе подбираясь к тому месту в мире, где останется он совершенно одинок. Во мгле же ночной охоты, много лет спустя, он,

наоборот, словно шел от затерянного в темноте безвестного места, где лишь барабанило его одинокое сердце, к какому-то широчайшему ристалищу с бесчисленным множеством зверья, по которому они носились, убегая, догоняя, задевая боками друг друга,— маленькие, как поросята, и огромные, как слоны, сопящие, пышущие жаром ноздрей, иногда мимоходом сбивавшие его с ног,— но невидимые в чернущей темноте леса.

Возродясь под моей сенью, дух человека, погибавший когда-то от необъяснимых несчастий его существования, постепенно наполнился сиянием зелени, просвечиваемой насквозь упругими лучами солнца. Никнувший к самой земле, задыхаясь в воню собственных испражнений, он вдруг оказался способным воспрянуть к далекой синеве, видневшейся над деревьями, и совершить сонный полет на ватных облаках,— кто не летал по синему небу, развываясь на белых кипах небесной ваты! Степан Тураев оказался способным к подобным полетам даже после того, что испытал в тот день, когда на его глазах лагерный полицай затоптал ногами заключенного, который, страдая тою же дизентерией, решил не марать штанов и, спустив их до колен, присел в строю посреди колонны. Пленные стояли перед шлагбаумом длинной толпой, безмолвные, в грязных изодранных одеждах. Присмотрев меж неподвижными пленными скорченную фигуру дизентерийщика, конвойный, человек коренастый, с короткой шеей и большой головой, на которой едва держалась пилотка, передал автомат соконвойнику и забежал в строй. Схватив нарушителя порядка за шиворот, он выволок его из колонны, таща по земле, словно мешок картошки, от натуги скособочившись и махая по воздуху свободной рукою. Тот, кого он волок, обеими руками придерживал штаны и, когда на обочине дороги был брошен на землю, попытался, лежа, натянуть их, для чего выгнулся животом вверх, желая протаскать край штанов под ягодицами. Сморщенный и свернутый кукишем пенис пленного жалко вздрогнул в темных куцях волос, и по этому выпяченному месту солдат с размаху, высоко подняв ногу, нанес первый удар подбитым железной подковкою каблук. Выкатив глаза и широко раскрыв рот, поверженный вмиг задохнулся и, не издав ни звука, скорчился, подтянув к животу колени. Потом свалился на бок. Тут в полное свое усердие и заработал конвойный, одновременно придерживая на голове спадавшую пилотку,— сокрушал каблуком ребра лежащего человека, желая сломать и вдавить их внутрь, стараясь при этом не нанести зря ни одного удара. Но кости когда-то сильного и, очевидно, еще молодого человека оказались более упругими, чем предполагал стражник, его решительный азарт был несколько сбит тем, что ребра пружинили после нанесения самого полновесного удара, и это сердило его. Однако вскоре весь воздух вышел из груди убиваемого, грудная клетка его опала, и раздался столь необходимый конвоюру хруст ломаемых костей. С удовлетворенным видом согнувшись, он уверенно довершил задуманное, несколько последних тычков кованым сапогом нанес по уже мертвому телу и затем, не оглядываясь на него, направился к стоящему шагах в двадцати товарищу за своим автоматом.

Николай Тураев в одну минуту утратился как самостоятельная духовная единица, словно бы мгновенно погиб, потому что его сын Степан видел рядом с собою на обочине грязной дороги растоптанного человека со страшным, искаженным лицом; а сын Степана, Глеб, из-за этого же потерял всякое желание жить и пришел к тому состоянию, которое можно выразить лишь двумя словами: Я ОДИНОЧЕСТВО. Николаю Николаевичу переход в это состояние, равносильное смерти, дался столь легко, скоро и внезапно потому лишь, что весь остаток текущего века всеми неисчислимыми реальностями человеческих событий и поступков, исторических шагов

племен и народов доказывался вселенский дебилизм ненависти, противоестественный в системе гармонических закономерностей Космоса. И это доказательство, явленное Степану Тураеву в годы войны и плена и в виде математических формул представшее перед его сыном Глебом, уничтожило в них желание работать и жить для будущего. Беспощадный нравственный урок, могущий быть сравненным с отречением падшего ангела,— это гибельное низвержение в темницу духа, случившееся с младшими Тураевыми, в мгновение ока увлекло за собою и старшего, Николая Николаевича. Словно три альпиниста, бывшие в одной связке на разной высоте, сорвались со скалы, когда среднего постигла беда и он первым всей тяжестью своей рухнул вниз, увлекая за собою остальных. Весной сорок пятого, за два месяца до победы, Степан был отпущен с войны не столько смертельно больным, сколько уже мертвым. Освобожденного из последнего концлагеря в Финляндии (его отпустили без дознаний и следствия, чтобы он спокойно умер на свободе), исходящего кровью из горла, бесчувственного к боли, в отческий Лес привела его неизвестная сила.

Глебу Тураеву предстояло еще прожить много лет после рокового дня самоубийства Хандошкина, вспоминая почему-то чаще всего тот незавершенный поворот головы солдата на звук чужих шагов, вслед за чем и раздался треск автоматной очереди,— предстояло Глебу закончить службу в армии, вернуться в университет и окончить его, после чего еще много лет принимал участие в разработках новейшего вида Оружия, величайшего по масштабности убийного эффекта,— предстояло испытать и те пятнадцать лет семейной жизни, которые столь внезапно закончились полной катастрофой... Все это ему еще предстояло... а пока что он замер над телом Хандошкина и, глядя на него, вспоминал всего лишь вчерашний вечер, когда, выстроенные во дворе для получения инструктажа, они стояли рядом в недлинной шеренге, ожидая выхода начальства, и Глеб, от которого Хандошкин был слева, обнял его за плечо, встряхнул дружески и спросил: «Что за положение, Хандоша?» На что тот бойко ответил своим мальчишеским сипловатым голосом: «Положение как в Конго, земля!» Это был без особенного смысла заданный вопрос и столь же бездумный стилизованный ответ, попросту выход молодых чувств в словах, отвлечение в минуту томительного ожидания постановки боевой задачи караулу старшиною роты. И вдруг наутро следующего дня Хандошкин, сменившись с поста, не пошел в караульное помещение, а удалился за угол и там, присев на землю, пустил очередь себе в грудь... Глеб не пытался даже задавать себе вопрос, почему произошло это. Ведь никто не мог бы объяснить, по какой причине маленький солдатик столь непримиримо отверг жизнь наутро, если накануне вечером он ее, по всей видимости, еще любил.

Итак, тот, кто никогда не будет свободен от страдания, никогда и не достигнет совершенства. Не стремясь же к совершенству, путник на земле теряет свой путь — утрата цели пресекает всякое устремление. Что делать, что делать... Николай Тураев, теперь называющий себя Никто, разыскал местечко под лестничным маршем, в самом углу между лестницей и каменным полом вокзала. Под косяком гнетом плиты местечко оказалось столь мало, что там и сидеть было нельзя, только лежать, и господин Никто втиснулся туда, как в нору, ногами вперед, слегка подпихивая коленями безвестного своего соседа, который до прихода господина Никто был крайним в ряду почивающих на полу под лестничным маршем и полагаю, что никто не польстится на угловое пространство, закиданное семечковой шелухой и окурками, уже считал свое положение завидным, так как мог откинуть руку или согнуть ноги в коленях, и вот разочарование — сморщенный субъект с лицом одичавшего карлика столь не-

прияженно зыркал на новоявленного соседа красными выпученными глазами, что мог бы оглушить подобным взглядом, как дышлом конь. Но небритый Никто улегся, подложив согнутую в локте руку под голову, и быстро затих, и как-то очень незаметно рядом с его головою оказалась некая старуха в шляпе из черной соломки — уселась прямо на проходе сбоку лестницы и такими выразительными глазами уставилась на чернобородую голову господина Никто, что его сморщенный сосед мигом сообразил: старуха имеет какое-то близкое отношение к пришельцу, возможно, даже и супружеское. Это открытие почему-то утихомирило недовольное сердце человечка с карличьей физиономией, он шумно выдул воздух сквозь вытянутые толстенькие губы и, отвернувшись, закрыл глаза, пытаясь уснуть, а может быть, пытаясь вспомнить, кто он, когда родился на свет, где, зачем прожил сорок семь лет на свете, каким ребенком был, кто любил его больше — отец или добрая, любезная матушка.

Но, ничего этого не вспомнив, увидел сей наполовину высохший можжевеловый нечто другое: могучее целостное пространство воды, блистающей под солнцем и вобравшей в себя всю голубизну неба — и с такой жадной силою, что вода цветом стала гораздо насыщеннее воздуха: плита лазуритовая, океанская, намного тяжелее синью, чем сапфир неба. И я мгновенно различаю эти два качества синевы — нижней и верхней — и с чувством неистового ликования лечу в пространстве меж ними, наполненном щекочущими световыми вспышками. Я лечу, лечу в метелице ослепительных светокрыл, ярколесков, бликороев! Лечу и вижу летающих со мною рядом крылатых длинных рыбок с круглыми вытарашенными глазами, которыми взирают они на меня в веселом изумлении так же, как и я на них. Они дивятся, каким образом среди них, выпрыгнувших из воды, убегая от преследующей стаи тунцов, оказался вдруг и я со своим странным, еще не успевшим определиться, таким огромным телом, проносюсь над морской водою, словно сгустившаяся тень от громадной тучи, — нет, не просто очень большой тучи, а, пожалуй, целого синемраморного облачного континента, повисшего над самой серединой Тихого океана. Летучие рыбы недоумевали по тому поводу, что я, движущийся вровень с ними на той же скорости, что и они, мог внезапно вытягиваться, уходя головою и хвостом за видимые горизонты, а в следующее мгновение с неимоверной быстротою сжаться в небольшой толстенький шар. Но на излете своего воздушного путешествия те из летучих рыбок, что следили за мною, успели заметить, что я все же смог превратиться в одну из них — и вместе с ними шлепнулся, плеснув, в сверкающую воду и скрылся в глубине океана.

Но я не исчез бесследно — остался пятнышком зрительной памяти на сетчатке глаз Митрохи Лобзова, голубых и невинных глаз восемнадцатилетнего плотника из мецкерской деревни, который вместе с артелью под началом Евпалова Никодима, родного дядьки Гурьяна Ротастого, плыл на пароходе вот уже пятнадцатые сутки к заморской стране Филиппины. Ему и предстало, Митрофану Лобзову: одна из диковинных рыбок, летящих по воздуху рядом с парходом, вдруг вытянулась, ушла головою и хвостом за противоположные края небесного окоема, затем мгновенно сократилась в сияющую точку. Как и летающие рыбы, Митроха был охвачен великим удивлением, но не могло оно пробиться сквозь накопленное двухнедельное тошнехонькое его безразличие ко всему на свете.

Жил на Филиппинах русский человек Поликей Жуков, попавший туда по торговым делам да и осевший там на всю жизнь, — и разбогател он, и захотелось ему в ностальгическом порыве из купленных сосновых бревен устроить на своем филиппинском ранчо

русское имение с большим рубленым домом, амбарами и баней, и выписал он для исполнения такого замысла артель плотников из своего рязанского края. И счастье негоцианта осуществилось, выстроили ему земляки хоромины белые под пальмами, и он долго не давал расчета артельщикам, насильно удерживал их у себя, чтобы необузданно гулевать-пировать, окружил каждого плотника самой изнеженной заботой и лаской комнатных девушек, повелел им вместо воды подавать чистого рома... Но, поблаженствовав недельку, взмолились мастера хозяину, чтобы отпустил их домой, поспеть бы через месячишко к сенокосу, и бригадир с широкой седой бородою, Евпалов Никодим, повалился в ноги дебелому, с рыжими баками, совсем не русского облика негоцианту: мол, отпусти хоть бы и без заработанного, Поликей Софроныч, отвали только на дорогу и отпусти, хозяин, на что тот лишь сердито сплюнул и удалился, а через час слуга пришел звать закручинившихся артельщиков в контору за расчетом.

И с тем отбыли, рассказывал потом взрослым внукам своим Никодим, бегом побегли в порт, только и успели топоры похватать из-под кроватей да сунуть за пояса, а все подарки, что понадарил нам хозяин, оставили б... шелковым, маслом намазанным. Рязанские мужики, ошарашенные невиданным распутством под южными небесами, с великим облегчением восприняли свой поспешный исход как благоспасительную милость Господню, так и говорили друг перед другом, крестясь: «Бог спас». И только молоденький Митрофан Лобзов кручинился, уронив голову на грудь, и на все увещевания и брань старших никак не отвечал, потому что был согласен умереть, но еще хотя бы раз оказаться под москитным пологом вдвоем с упитанной, тугой, гладкой девочкой, которая на лицо казалась сущим ребенком, поэтому не поймешь даже, красивая или нет, однако губы розовые были на этом детском лице как жгучие пиявки — сочные, подвижные, бесконечно властные. И Митрофан, впоследствии женившись на красивой здоровенной Наде Евпаловой, племяннице Никодима, дочери Гурьяна, прожил с нею тридцать лет, народил семерых детей, умер благополучно дома, как раз перед русско-японской войной, умер, лежа под образами, и был снаряжен на тот свет, в гроб, под землю, руками любящей жены, — но и в гробу, и под землей на кладбище, в сосновом лесу, в окружении всех своих родственников, земляков, детей и внуков, — и опять-таки возлежа на вечном покое рядом с благоверной Надей своей, не переставал вспоминать и тайно лелеять бывшее истаявшее сладострастие в неумирающей памяти своей Митрофан Устинович Лобзов.

Однажды, еще при жизни, он пошел на Петров день просто так в лес, без особенной цели, перед женою сказавшись, что посмотрит делянку березовых дров, — и шел, шел по заросшей лесной тропе, а потом, почувствовав, что кругом дремота и теснота лесная восстала достаточная, сел, словно упал, прямо посреди тропы и обеими руками обнял и прижал к лицу какой-то хиленький стволик. Грешное желание, преследующее христианскую, крестьянскую его душу всю жизнь тайным ползучим аспидом, проникало всюду, в самые интимные затаёнки его дней на земле, из-за чего он никогда не мог быть счастливым со своей Надей, сколь ни старался, — обо всем этом невозможном и невнятном поведал не старый еще мужик чахлому деревцу, выросшему прямо посреди заглохшей лесной дорожки. И этим деревцом оказался жилистый и крепкий, несмотря на хилое обличье, эфироносный можжевельник, душевная исповедь мужика через его учащенное дыхание изошла в воздух мира и смешалась с бодрым ароматом дерева, кору которого пообтер-таки мешалистой твердой ладонью Митрофан Устинович Лобзов, зажав в руке случайно повернувшийся стволик и в порыве душевной муки судорожно выкручивая его из земли. Но можжевелевое дерево ему выдрать не уда-

лось, а аромат нетравяной, нелесной, аптечный запах содранной можжевеловой коры вдруг проник словно бы в самое сердце мужика и успокоил его, и он мгновенно забыл, о чём скорбел столь мучительно и сильно минутой назад, выпрямился и, продолжая сидеть посреди дороги, рассеянно оглянулся вокруг, прихлопнул комара сбоку на шею.

Он вздохнул и затем, поднявшись на ноги, отправился в сторону Охримова болота смотреть там березовый подрост, годится ли уже на дрова; а спавший на полу под лестницей вестибюля Курского вокзала сморщенный можжевеловый человечек заворочался во сне и, повернувшись на правый бок, успокоился было, по-домашнему, водрузив на шею соседу свою руку, которую тот сразу же сбросил с себя и в свою очередь, сердито ворохнувшись, повернулся спиной к непрошеному обнимальщику. Вера Кузьминична, сидевшая рядом, возвышаясь над своим спутником, видела как посягновение на него, так и отражение сего Николаем Николаевичем. И ни ей, ни тем более обоим лежащим перед нею бродягам было невдомек, что напрасно они столь чуждаются друг друга, ибо происхождением они от единого Леса, и, шествуя ли по томительным дорогам земли или переплывая моря сновидений, они все черпали жизненные грезы из одного общего источника.

Когда я, летя рядом с крылатыми рыбками, вытянулся вперед и обогнул длинным телом своим чуть ли не половину Земли, затем мгновенно сократился, вернувшись в прежнее свое положение, и, миг побыв летающей рыбкою, стал стремительно уменьшаться далее и превратился в светящуюся точку, которую вскоре упустили из виду рядом порхающие длинные, как ножи, внимательные рыбы,— образовался в результате подобного сверхстремительного пространственного движения мой внутренний резерв времени, независимый от времени земного, связанного все новыми и новыми путями наворачиваемых по орбите витков никому-никому-никому не известных и ничего-ничего-ничего не значащих годов-годов-годов... Мое внутреннее время таково, что за одну пульсацию гигантского растяжения и затем мгновенного сокращения моего существа в невидимую глазу точку я получаю возможность выбора — прожить любое из прожитых деревьями моего Леса мгновений, постигнуть любое блаженство — войти в него, вкусить от него и, подобно осе-точильщице, вылететь из тронутого плодового тела и унести в неведомые для меня дали.

В концлагере, куда доставили пойманного после побега Степана Тураева, проводил свои научные опыты родной брат коменданта, химик Ф. Бёмер; он изобрел умертвляющий газ, намного превышающий по мощности обычный «Циклон Б» и сводивший агонию испытуемого материала до нескольких долей секунд. Газ столь энергично воздействовал на организм подопытных, что их мгновенно охватывали чудовищные корчи, за которыми исчезало всякое ощущение боли, и, таким образом, умерщвляемый практически избавлялся от психических страданий, каковые обычно сопровождают процесс насильственного прекращения жизни. Ф. Бёмер доказал уже на тысяче испытуемых преимуществ своего газа, производство которого, вернее производство порошкообразного вещества, заключающего в себе газ, обходилось бы для промышленности вдвое дешевле, чем «Циклон Б». Но Ф. Бёмеру не везло, и его старший брат Б. Бёмер, циничный и грубый солдафон, откровенно издевался над своим братиком-химиком, называя его изобретение рвотным порошком, и никак не давал положительного заключения на произведенные испытания «Орхидей», как поэтично назвал свое творение Ф. Бёмер.

Старший Бёмер, практик геноцида, не признавал «Орхидей» главным образом за то, что газ вызывал у материала такие сильные рвотные спазмы, что происходил саморазрыв тканей в дыхательных путях и трупы все оказывались до безобразия измазаны кровавой бле-

вотинной. К тому же чтобы привести порошок в действие, надлежало полить его водой, что требовало дополнительных перестроек в существующей технологической цепи, надо было что-то придумать, чтобы вода, подаваемая в душевые, непременно попала на химикат.

Ф. Бёмер предписывал раздавать входящим в камеру подопытным номерам бумажные пакетики в руки под видом мыльного дезпорошка, на что Б. Бёмер изрек: «Всякие психологические уловки я дерьмом считаю, Ф.! В нашем деле нужны только механические действия, прямо ведущие к цели. И лучше всего подходит железный крючок!»

Я вошел, зацепившись о высокий металлический порог большим пальцем правой ноги, которая была у меня не совсем послушной. Спущшее ниже колена берцо было гораздо толще, чем иссохшие, будто жерди, и словно удлинившиеся бедренные части мои, где раньше, при жизни, красовались здоровые мускулистые ляжки, поросшие черными шерстистыми кучками волос, — они одни и остались, длинные звериные волосы на костлявых, без мяса, обессиленных ногах. Вокруг меня стояли, тесно притиснутые костями к костям, удивительно похожие друг на друга, гладко обритые человеческие существа с такими же глубокими провалами меж ребер, как и у меня. Глаза у всех были одинаковыми, они не видели того, что было вокруг, вблизи, рядом, не видели других глаз, в которых так же застыло глубокое внимание к сути того, что происходит. Каждая пара этих широко раскрытых, неподвижно замерших глаз жила самостоятельной жизнью последнего сверхнапряжения уже бесполезной человеческой души. Она у всех, обритых и оголенных для умерщвления, перешла в глаза, светилась в зрачках. Но это было полное бессилие огней, горевших в виду друг друга, — глаза гениев, охваченных вдохновением, были так же обречены на полную безответность Бога, как и сверкавшие черным огнем огромные глаза непрощенного цыгана, который последним из нас вошел в камеру, — теперь, только теперь мне стало ясно, как и всем, сжатым стенами газовой камеры в плотный тюк скелетов, что все уже выяснилось — вот сейчас, сей миг. И осталась та же изначальная тоска и правда: Я ОДИНОЧЕСТВО, — и больше нет ничего другого.

Внезапно сверху из дренированных труб полилась вода, холодная и неузнаваемая, словно иное, неизвестное вещество мучительным холодом стегнуло по оголенной коже бритого черепа, потекли язвщие струи вниз по коже, обегая костяные выступы и омывая глубокие впадины на телах полутрупов, — в пахах струйки сливались в один утяжеленный поток, и вода неуклюжей водяной вервью шлепалась меж расставленными ногами, тонкой пленкой растекалась по цементному полу и уходила в дырчатые железные стоки. Погас электрический свет. Вода лилась ровно столько времени, сколько было нужно, чтобы задействовала «Орхидея» и с трупов, находящихся в вертикальном положении из-за тесноты, была бы смывта кровавая рвотина.

После отключения воды заработала с гулом и воем сильная вентиляция, чтобы удалить ядовитый воздух из камеры, и вымытым холодной водою мокрым номерам стало бы нестерпимо холодно, не будь они столь тесно прижаты друг к другу. Когда вентиляционные гулы замолкли, постепенно удалившись по каналам труб и унеся с собою потоки резиною пахнущего воздуха, настало время тишины. Насвежо омытые, обритые, прижатые друг к другу скелеты тихо зашевелились, переминаясь с ноги на ногу, и я в темноте, сдавленный со всех сторон липкой массой мокрых тел, услышал, как зашелестели осторожные вздохи, дрожащие, затаенные, и странно мне было слышать эти звуки живых — еще содержащих те чувства, которым научился человек за тысячелетия от духа Божия и кото-

рые сей миг в полной темноте газовой камеры были отвратительны и жалки своей абсолютной несостоятельностью.

Я понимал, как и каждый скелет, вздыхающий вокруг меня, что мы оставили свои бумажные пакетики с «мыльным порошком» на железном пороге и тем самым не дали задушить себя. Необъяснимым образом стало известно кому-то из нашей партии смертников, каково подлинное содержимое в пакетах из рыхлой бумаги, розданных каждому, и при входе несколько номеров, выстроившись в ряд перед дверью, молча забирали их из рук загоняемых в камеру, и каждый из них мгновенно все понимал и так же молча отдавал пакетик. Лишь последний загнанный в камеру цыган попытался не отдать, спрятав пакетик за спину, но когда захлопнулась дверь и снаружи повернулся штурвал запора, десяток тощих рук взметнулись к цыгану, как разящие змеи, вцепились скрюченными пальцами в плечи, в горло, в лицо и руки, и почти мгновенно цыган был умерщвлен, затем его заломили надвое и его телом накрыли сверху пакеты с порошком, сложенные на пороге камеры.

В таком виде и узрели братья Бёмеры, Ф. и Б., результат первой массовой акции по использованию нового газа: ровно настланные на металлическом пороге пакеты были накрыты сверху изломанным пополам трупом, который собою защищал порошок от случайного попадания водяных капель. Комендант и его брат-ученый стояли во главе небольшой свиты, состоявшей из вооруженных солдат охраны, двух офицеров из штаба химических войск, женщины-врача из научного института насильственного умерщвления, коллеги Ф. Бёмера. Женщина была еще не стара, ей нравились грубые мужчины, такие, как этот комендант лагеря с перебитым носом; но когда открыли стальную дверь и сразу же наружу вывалилась тощая, волосатая жердь ноги и перед всеми предстал лежащим на пороге в неестественной позе голый мертвец с застывшим выражением последнего ужаса на лице, она все же смутилась и, потупившись, отвела взгляд в сторону.

Братья Бёмеры, оба толстенькие, лысоватые, стояли рядом и одинаково краснели — наливаясь румянцем с подглазий, затем краснели небольшими пятнами на щеках, а далее переходя в багровую красноту по шее и вниз — за ворот рубахи. Ф. краснел, чуть не плача от злой обиды, что судьба опять наслала пакость и неудачу; Б. краснел от стыда за брата и от ярости, что снова тот совершил глупость исключительно по своему противному упрямству и, главное, других заставил поверить в эту глупость. Стоя перед распахнутой дверью газовой камеры, откуда валил теплый пар с противным запахом мытых куриных тушек, братья начали злобно препираться, как бывало между ними всю жизнь.

— Тебе не газ изобретать, Ф., а трусы шить! — рявкнул, не сдерживаясь больше, старший брат на младшего. — Раздал бы этим треклятым номерам, они живо бы натянули на свои костлявые задницы.

Солдатня загоготала, дама из института умерщвления прищурилась и с одобрением кивнула коменданту, офицеры-химики переглянулись меж собой. Ф. Бёмер вмиг сорвался на жалкий повизг истерики, чего и добивался (знал Ф. с самого начала) его братец Б. Добившись же этого, он всегда с видом довольства слушал крики брата и улыбался...

— Чудовище ты! Пузан! — кричал Ф. на коменданта лагеря. — Как смеешь! Я офицер! При чем тут газ? Я же предупреждал, настаивал: обливание должно быть тотальным! Струи воды должны идти со всех сторон! Где, где боковые струи, где встречные нижние струи, где? Ты преднамеренно испортил хорошее дело!

— Вот где, — указуя мужественной рукою себе в пах, ответил комендант, — тут тебе и боковые и встречные.

Солдаты, химики и ученая дама опять загоготали.

— Пузан, наглая морда. Двоечник. Ты мне всегда завидовал!

— Сам пузатый,— выставив свой перебитый нос прямо против носа брата Ф., отвечал комендант. — А дело твое вшивое, скажу прямо, несмотря на то, что ты мой брат. И газ твой вшивый, и внезапность твоя вшивая, потому что вот — сам можешь убедиться, что из этого получается.

И комендант ткнул пальцем перед собою в раскрытую дверь газовой камеры, где под желтыми лучами лампового света, падавшими из предбанника, видны были стоящие первыми у входа белой кожей обтянутые бритоголовые скелеты, у которых неподвижные глаза смотрели в упор на столпившихся за дверью солдат и на комиссию с выражением абсолютной нежизни и чувств. Скелеты хранили в своих глазах значительность того, что они уже повидали и узнали в черноте камеры. Эта значительность молчаливых скелетов, выглядывавших из дверей душилки, невольно угнетала мелких чиновных людей, что столпились перед дверью, и тогда комендант выкрикнул, напрягая голос и понапрасну сжимая кулаки:

— Я знал, что так будет! Я предупреждал! Никакой внезапности не нужно — это пустые выдумки! Они сдохнут и без всякой твоей внезапности. Для чего она им?

— Убыстрение процесса при внезапности акции совершенно убивает период психической густоты, я ведь объяснял! — скороговоркою выкрикнул Ф., обращаясь больше к двум химическим офицерам и даме-коллеге. — Вот оно, это густое состояние психики, о котором я говорю, полюбуйте! — И ученый, так же как и комендант, ткнул пальцем перед собою, указывая на порог камеры, где лежал задавленный цыган, спиной на пакетах, сломанный напополам в крестце. — Вот этого не будет, этой стадии предсмертного мрака у подвергаемых акции.

— Ну и что, если не будет? А если будет? Какого черта? Ясно одно — надо выполнять плановое задание! Лагерь не резиновый, в нем предписано быть определенному количеству номеров. Куда излишки девать? — горячился комендант.

— Господа, я обращаюсь к вам, потому что господин комендант, мой брат, не способен понимать некоторых важных тонкостей, — встал перед комиссией, широко расставив ноги, Ф. Бёмер. — Он не понимает, что густота психики, образующаяся в предсмертную минуту у нескольких сотен или тысяч человек разом, может в некотором роде подорвать нашу идеологию, а также содействовать исчезновению религиозного экстаза, что скорее на руку врагам, нежели фюреру.

— Каким образом... на идеологию... на религию? — ленивым голосом спросил один из химиков, тощий, в очках, в высоких сапогах, начищенных до лакового блеска.

— Тяжелый психический сгусток, порождаемый предсмертным состоянием, обретает, очевидно, некую субстанциональность, господа, отчего и воздух в тех местах, где совершаются массовые акции, пропитывается особенным запахом...

— Брехня! — взорвался возмущением комендант. — Да от них воняет обыкновенным дерьмом и их собственным мокрым мясом!

— Господа, слушайте дальше... — не обращая внимания на брата, продолжал Ф. — Тяжелый сгусток психики вырабатывается в те секунды, когда, кроме смерти, никакой другой истины перед человеком не оказывается и он, то есть номер, вдруг убеждается, что он совершенно, абсолютно, беспредельно одинок, — тогда он способен прийти к состоянию самому опасному, господа. Он почувствует, что никакого Бога нет, что всякая идеология — это пустое место, и, самое главное, почувствует такую враждебность к жизни и тягу к смерти, что вмиг станет внесоциальным существом. Это и есть тот самый сгусток отрицательной психической энергии. Она, господа, распро-

страняется в виде особого запаха, или характерного акустического явления — пощелкивания и гудения в воздухе, или невидимой энергии, затемняющей в глазах воспринимаемые световые волны...

— Господа, здесь не место для подобных сомнительных лекций,— перебил брата комендант лагеря.— Идите в канцелярию, там и беседуйте, я же вынужден на время остаться.

— Почему вы хотите лишить нас своего общества? — с самыми доброжелательными чувствами молвила дама из института насильственного умерщвления, которой лагерный комендант нравился все больше.

— Потому что эти идеи я слышал уже сто раз от своего дорогого брата,— ответил Б. Бёмер, окидывая внимательным взглядом подтянутую высокую даму с хорошими ногами, но с плосковатой грудью. — К тому же ведь надо как-то распорядиться относительно этого испорченного материала.— И он несколько театрально повел рукою в сторону раскрытой двери газовой камеры, где по-прежнему непристойно валялся на пороге сломленный пополам цыган и за ним виднелось, словно в темной картине, ребристые, со впалыми животами, сцепившие перед собой руки номера с неподвижными глазами, в которых переливался, мерцал сгусток отрицательной психической энергии.

— Наверное,— предположила ученая женщина, с улыбкой полной капитуляции глядя на коменданта,— всю партию надо вывести из камеры и повторить акцию заново.

— Ха! Ха-ха! — воскликнул Б. Бёмер. — Попробуй выдернуть хоть кого-нибудь из этой мешанины. Они же все прилипли друг к другу.

— Прилипли?

— Вот именно. Когда их выгоняешь толпой на поле или на край рва или когда... Закрыть! — вдруг спохватился и скомандовал комендант.

Двое солдат бросились к двери, третий с багром наперевес подскочил и сноровисто поддел свисающую с порога тонкую, как палка, волосатую ногу трупа, забросил ее назад — и дверь захлопнулась, штурвал запора был повернут вправо до отказа.

— Когда загоняешь их в газовую камеру, они все начинают прилипать друг к другу и так остаются, как слипшиеся дохлые мухи. Камерной службе потом приходится буквально отрывать их друг от друга, чтобы переправить в крематорий. Может быть, мой ученый братец кое в чем прав, когда толкует об этом самом сгустке психозэнергии... Действительно, было бы неплохо, чтобы они не знали, что их газуют, наверное, тогда бы они не так сильно спалились.

— Благодарю хотя бы за такое скромное признание моих трудов,— слегка поклонился Ф. коменданту, и все вокруг увидели, до чего они похожи: круглыми головами, короткими могучими ляжками, одинаковыми улыбками — у обоих с ямкою на правой щеке.— Хотя моя теория сгустка психозэнергии стоит, наверное, большего, чем твоя похвала. Надо продолжать опыты, брат.

— Ладно, в другой раз, пузан,— с грубоватой солдатской ласкою молвил комендант.— А теперь идите! — И когда комиссия во главе с незадачливым Ф. Бёмером удалась, вновь повернулся к солдатам: — Открыть!

По приказу коменданта были вытащены из камеры четыре ближайших ко входу номера, одним из них был Степан Тураев. Действительно, страже с большим трудом приходилось отдирать их от общей слипшейся массы смертников и не просто было также и заставить этих четверых действовать — снимать с вешалок свою лагерную одежду, вновь надевать ее, оттаскивать и класть на тележку сложенный пополам, уже не разгибающийся труп цыгана, собирать с порога камеры пакеты с порошком и, держа их перед грудью, не-

сти осторожно под команды конвойного солдата: «Влево. Вправо. Прямо». Все четверо были еще во власти великого безразличия.

Когда унесли мертвеца, собрали с порога камеры пакеты с порошком и дверь снова захлопнулась, вдруг зажгли свет. Неизвестно, для чего,— может быть, все-таки отменяют сегодня?.. Но нет же. Мы все знали, что такого не должно быть — раз нас выбрили, помыли и напихали в камеру в столь беспощадной тесноте — другого исхода не будет. Ведь многие из тех, что стояли теперь в слипшейся толпе, служили сами у газовых камер, теперь настал их черед — так что мы всё знали.

Когда зажегся свет, вначале я ничего не мог различить, кроме студенистого серого потока, струившегося перед глазами. А вскоре серое струение поуспокоилось, пошло пятнами — и стало булыжинами обритых затылков: мы все стояли, оказывается, лицом в одну сторону — на выход, и я видел одни затылки с глубокими ямками на шее, под черепом, и с оттопыренными в стороны ушами. Смотреть было не на что, и я начал готовиться. Мне было известно, что газ, которым обычно пользуются здесь, обладает запахом ночной фиалки, и я стоял, стиснутый со всех сторон лихорадочно горящими телами, и, глубоко вздыхая, ждал появления этого запаха. Несмотря на то, что полторы сотни замерших в таком же ожидании, что и я, молчащих существ были тесно сжаты в одно костлявое тело, я не ощущал ни единой другой души возле себя — точно так же, как (мгновенно прозрев я) никто из этих людей не мог воспринимать ничего, кроме своего абсолютного одиночества. Нас уже давно раздели, обрили, спрессовали в одну массу, обмыли холодной водой — и вот теперь обдали густым, удушливым запахом фиалок.

Да, пришел запах ночных фиалок, и я в темноте сделал то же, что и каждый вокруг меня,— откинул назад голову и широко раскрыл рот. Теснота не давала никому упасть, и мы все, судорожно зевая и испуская хриплые стоны, умирали стоя, и скрюченные судорогой руки наши и ноги сплетались, как в земле растущие травяные корни. Время для нас исчезло, и осталось только одно: Я ОДИНОЧЕСТВО,— и должен был появиться над нашими запрокинутыми головами летучий отряд ангелов или им подобных существ, чтобы подхватить нас и унести в другой мир, где небо светится, словно раскаленное стекло, протекает, сверкая, сквозь густую листву тополя — контражур,— и под деревом, единственным на берегу крошечного пруда, столь же ярко-стеклянно полыхает отраженное в воде небо, и оглашенно орут утки, кружа по воде, и с крикливой запальчивостью вторит им россыпь мелких воробьев с дерева. Да, жарко, да, шумно от птиц! Но тихо от безлюдья деревни, через которую идет дорога на кордон, к Колину Дому; еще не высохла в длинной тени тополя утренняя роса, время еще и не полдень, но становится уже нестерпимо душно.

Это я иду, Господь мой, через деревню, закинув на плечо ремень берестяного лукошка с грибами, и время близится к полудню, и на ходу, минуя прудок, я утираю рукавом куртки вспотевшее лицо и предаюсь бесплодному размышлению о тсм, что, должно быть, мысль человеческая есть проявление особой болезни материи, что-то вроде ее горячечных кошмаров,— и мысль погубит человека, излихорадив его изнутри, и ничего, кроме странных видеохимер, она ему не откроет. Особенно долго и мучительно она будет изводить нас идеей Бога, то ввергая в восторженную деятельность по устройению всяческих систем и машин уловления его (как алхимика в поисках философского камня), возводя догмы, храмы, церковные каноны, то нигилистически отвергая его, атеистически ниспровергая или погружаясь в сектантское мракобесие. Это я иду, и во мне болеет материя, и, несомненно, она выздоровеет, когда я сдохну, чтоб не мыслить, думаю я. И не появилось ведь никакой спасительной эскадрильи анге-

лов над нашими запрокинутыми головами, о Боже,— лишь густой аромат фиалок.

А сегодня утром я вышел с кордона часа в четыре. Свет еще чуть брезжил на той стороне, где наметился во мгле восток дня, и лишь высоко над горизонтом, там, где кудрявились серым руном небольшие клочковатые облака, теплые густо-розовые лучи еще за пределами солнца окрасили облачные волны снизу. Не счастье было этих поднебесных волн, океан надвигающегося на землю света был, наверное, велик и прекрасен, но я шел, спотыкаясь, в предрассветной полумгле, и мне было не холодно, не одиноко и не страшно — а просто немыслимо осознавать себя зачем-то живым, куда-то идущим и для чего-то принадлежащим к роду человеческому. И, прошагав в яром тумане душевной горечи какие-то массивы глухого, заросшего черничником леса, два раза обойдя неизвестные мне болота, я вдруг спохватился, что блуждаю по незнакомому лесу, бесцельно прохожу таинственные пространства невидимого мира. Но тут я услышал пронзительные переливчатые звуки, внезапно наполнившие пустоты лесной тишины, признал в них журавлиный крик и, напрямик проследовав к нему, вскоре вышел из полумрака леса на край залитого зеленым солнцем широкого поля. Журавли снялись и полетели прочь, по широкой дуге огибая видневшуюся вдаль деревню. Их было два — летящих в небе, плавно загибая воздух крыльями, вытянув длинные шеи, откинув назад прямые ноги,— их было два, в напоминание мне, что одиночество мое безжизненно и печально, как и загадочные дни и ночи того Бога, которого я когда-то создал по своему образу и подобию — для утешения и самоуспокоения этого одиночества.

III

Ехала Царь-баба на первом возу, вслед за нею правила пестрым мерином ее постоянная товарка по извозу, кареглазая молодка Марина; когда дорога шла в гору или сваливалась в грязную низину, извозчицы соскакивали с телег и ходили своими двоими. И тогда Марина смотрела как зачарованная на передвигавшиеся Царь-бабовы лапти, как они неспешно перелетывают с места на место по жидкой грязи: чап да чап,— в то время как шаги самой Марины нашлапывали втрое быстрее: чап-чап-чап! чап-чап-чап! Молча идут бабы, грустно и терпеливо перемогают длинную дорогу, долгий дневной перегон от дома до постоялого двора, а там ночевка — и на другое утро еще полдня пути.

Конец двадцатых годов, лето. Скоро, совсем скоро в округу придет пора, когда начнется невиданное — будут разводиться крестьянина с Деметрой. Она, бедная, навсегда лишится того, кто в интимности глубокой страсти вторгся в ее лоно, беспокоил и, в сущности, терзал и разрушал его своим вторжением, но и не могла она в ответ на это не затяжелеть благостным зачатием. И Бог был зерном, бросаемым рукою бородатого сеятеля в рыхленную землю, и Бог в зерне умирал, чтобы явить себя в ростке. Вернее — Он исчезал в растении, как исчезает человек, затворившийся в доме, и этих домов, зеленых, гибких, наполненных благоуханием соков, в великом множестве появлялось на полях Деметры. И она была как носительница неисчислимых городов, а лохматый мужик, стало быть, являлся строителем Божьего града. Священный брак их, как и любой брачный союз, требовал целомудрия, искренности и глубокой сокровенности чувств, которая возникает только между двумя любящими и не допускает вмешательства кого бы то ни было еще. Но готовилось чрезвычайной важности государственное решение, по которому крестьянство обобществлялось, и его единобрачие с Деметрой таким образом огмнялось.

Я ведь сам нахожусь с нею в браке, Деметра многолика — она и

одна-единственная Мать-земля, и в то же время ее столько же, вернее их, Деметр, столько же, сколько найдется на этом земном шаре работающих женихов, готовых вторгнуться в земное, земляное отзывчивое лоно. Она никому не может отказать, даже нелюбимому, чьи руки грубы и оскорбительны,— у нее тот, кто посеет, всегда пожнет; и все же, несмотря на такое любвеобилие, она, как и всякая женщина, неукоснительно требует лишь одного: чтобы ее искренне желали, ревниво любили. Для крестьянина «моя земля» — это что «моя жена», в этом нравственная крепость его, он ее и балует, и целует, а может и в небрежении держать впроголодь — но никогда он не изменит ей в душе, не предаст глумлению, не покинет ради другой, пусть даже заморской красавицы. И филиппинский негоциант, родом из мещерских крестьян, что выстроил себе русские хоромы на своем пальмовом ранчо, умирал в великой тоске, медленно сходя с ума в ностальгии по клочку заболоченной серой земельки на краю березового леса. И в миг последний, свертящийся, он призвал в себе то, что в нем могло преодолевать любые пространства, и видеть, и слышать, и внимать, и это пришло — упругой стеною гнущихся под ветром березовых вершин, ропотом ветра в тяжелых шелках листвы,— и, глянув весело на высокую, уже мутно-зеленую наливную рожь в поле, рассмеялось пронзительно и ширококрылым чибисом взмыло над землей: чьи вы? чьи вы?

Но вот Марина, бредущая с вожжами в руках по залитой немилостивой дороге, потупленным взором уставясь на огромные, как лыковые кузова, лапти Царь-бабы, на перелеты-перескоки этих лаптей через бурые жидкие глины, Марина, следуя за своим пестрым меринком Хомкой, вслушивается в отчетливые крики чибисов и думает с детства привычным образом: «Пивики кричат, пивики деток потеряли; детки по траве разбежались». И невдомек ей, что это не пивик жалобно молит о милосердии, а душа умирающего филиппинского дядюшки ее в последний миг облетает родной край — того самого дядюшки, который уехал в заморские страны еще до ее появления на свет, передав свою землицу младшему брату, отцу Марины...

Неизвестно ей и то, сколько раз еще по этой же дороге проедет она и пройдет по воле доброго или злого случая. Вот с больной рукою на перевязи, сгорбившись, еле тащится она по обочине, ей уже тридцать пять лет, дома брошены двое малых детей — дождутся ли они мамки, вернется ли родимая назад? Пивики кричат, жалуются... А вот и зажила свищеватая рана, рука осталась, правда, кривою — уже ею не поправить на голове платка и волос не причесать, — едет Марина в кузове грузовика, сидя на доске-скамье в обнимку с Михаилом, соседом, а по другую сторону сидит в обнимку же с ним жена Михайлова, Надёжка, — едут, трясутся на ухабах и поют, заливаются на всю округу про то, как конь гулял на воле... Да, да, поют песню, кричат чибисы, мелькают громадные лапти Царь-бабы над жидкой хлябью растасканной дождями земляной дороги. То, что умирающий филиппинский богач в последнее мгновение вернул свое сердце клочку тощей серой земли, и то, как Марина несла свою горячую стонущую руку на платке прижатую к груди, имело общим началом жалобный крик чибиса, перелетевший через океан в угасающем сознании русского филиппинца и неимоверно жгучей печалью плеснувший на сердце Марины: пивик деток кличет, они дома остались, ждут ее, а муж-то не вернулся с большака, остался там, в чужой деревне, с другой женщиной. Птица с длинным хохолком на голове летала над лугом, человек умирал, тяжко хрипя и клопоча горлом, Царь-баба неспешно переставляла свои громадные лапти, и Марине, еще молодой девке, хотелось крикнуть: «Тетка Олёнка! Давай шаволи ногами-ти! А то я, глядя на тебя, чуть не усну, ей-богу!» И вправду, медленные движения громадной Царь-бабы завораживают: гля-

дишь на нее, и вроде бы тебя в сон клонит, руки-ноги твои тоже замедляются, и ты спотыкаешься на ровном месте.

Невдомек было Марине, сказавшей тогда Царь-бабе: «Ни за что, тетка Олёнка, ня выду за постылова-нямилова», — что выйдет замуж именно за немилого и, подобно Деметре, покорно и грустно претерпит чуждые касания неродных рук, распластается телом перед началом далеким, как облако, дальше облака, — лишь два раза за совместную жизнь Марина не сдержит сердца и с силою оттолкнет мужа, на что тот обидится да так и не сможет забыть той обиды. Деметре же подобного нетерпения проявлять не приходилось никогда — ведь покорно зачинать в себе новую жизнь от брошенного семени гораздо для нее важнее, чем выбор по любви и предпочтению души. В этом безразличии, от кого зачать, и в великом внимании к самому зачатию и состояло учение Деметры для всех на земле, кто относился к плодотворяющему женскому началу. И Марина это учение постигла, как и могучая Царь-баба, как и любая женщина на Руси, выходявшая замуж не по любви, а по необходимости. Олёна Дмитриевна сказала ей на привале — когда лошадь не смогла выдернуть телегу из топкой низины и Царь-баба плечом выпихнула оттуда груженный воз вместе с лошадкой одним могучим толчком, а после на взгорке телеги затормозили и лошадям дали отдохнуть: «А где милова найдешь, девка, а кто его нам даст, Господи ж ты мой, спаси и помилуй. Мил уехал на войну, в Порт-Артуре отписался, я письмо то берягу, коб со смертью не спознался, так-то в песне поется, Маринка». «Нет, нет, тетка Олёнка, сказано как отрезано».

Но что бы ни было ею сказано, а пришлось идти за того, кого выбрали старшие, а мил дружок вечером на улице расшумелся и, пьяный, у колодца рвал у себя на груди рубаху, а парни подошли и крепко ухватили его за руки. С того дня в ней поселился мудреный червячок, породитель всех ее страшных бед, который ползал по нежным, беззащитным кровам ее внутренней жизни и пожирал все самое благоуханное и то затаенное, нежное, как роза, насквозь просвечиваемое солнцем, яркое и чудесное, что пришло к ней в пору девичества.

Исполнив закон Деметры (по-русски зовется Мать — сыра земля), женщина не обеспечила себя защитой от червя живогрызущего. А могучей защитой от него является радость женская и то чувство счастья, которое наполняет все ее существо после горячего ливня и падения в бездну, яростного телесного борения с фавном нападающим, превесело толкающим и с воплем проникающим. Если этой радости нет в жизни, то женщина на земле быстро чахнет в угнетении злостной червоточины и вскоре оказывается с какой-нибудь злоеющей болезнью в теле. У Марины червяк ее впился в кости руки, которые начали заживо гнить, из свища на локте потекла зловонная сукровица, — к тому времени баба уже имела двоих детей, а мужик, наскучившись возле потухшей, чахлой, нечистой жены, поехал работать на большак и там нашел здоровую, весьма пригодную для себя другую дочь Деметры, с которою и остался, бросив своих детей с несчастной их матерью.

Но до этого было еще не скоро, еще далеко, и бойкая кареглазая девка Марина допытывалась у великанши Царь-бабы, любила ли та кого-нибудь в жизни, кроме своего покойного мужа, на что услышала в ответ: «Такого, девка, не ведаю, не знаю. Да и ему куда любить орясину такую. Ужо начал он серчать, бить меня: разбежится, подпрыгнет и кулачком-то хватанет по виску. Я его и допрежь терпеть не могла, козлом он вонял и зубы гнилые, а тут уж, девка, край могилы меня загнал, совсем замучал. Не начнись вскоре ерманская, заклевал бы он меня до смерти — и то головушка моя клонилась все ниже и ниже, как у курицы белой, кою клюет курица черная».

Итак, в покорстве Деметры и ее равнодушии к добру или злу содержится то самое темное начало, «курица черная», что и подводит

женскую суть к одному из самых больших бед жизни — к удушающей тоске немилостивого созидания, к творчеству без радости, к плодоношению наспех, к вырождению устоявшихся родовых черт в приплоде, а у самой роженицы — к ощущению в душе той вселенской пустоты, которою и занято почти все пространство Космоса. Эта пустота затягивает в себя все жизненные желания несчастной послушницы Деметры, и подступает к душе ничем не приостановимая тяга к самоистреблению, подобная сладострастию. Не миновать бы Марине такого искушения, да помог страшный чудесный случай.

Сидела она однажды в темном углу сеней на мешке с отрубями, сидела в полном одиночестве, в еле зримой полумгле, но все равно, чтобы не видеть ничегошеньки, сидела, стянув платок ниже глаз и скорчившись, тоскливо убаюкивая ноющую руку. Что-то нарастало, путаное и холодное, в сумеречных мыслях — что-то похожее на громадные паучьи ножки, но гораздо страшнее и гаже их, шевелилось в ее душе. И вдруг с треском открылась сенная дверь, просунулась внутрь косматая голова чужого старика. Он швырнул ей под ноги кусок несмотанной веревки и гаркнул во всю здоровенную глотку: «Чаво? Повеситься хочешь? На, вешайся!» С тем и вновь захлопнул дверь, исчез навсегда. Но его появление так сильно напугало Марину, что она и думать больше не могла о том, чтобы сделать над собою чего-нибудь, и веревку ту бесовскую, с того света ей присланную, она изрубила топором на мелкие кусочки и зарыла подальше от деревни, словно убитую змею.

Но к этому жизнь еще подведет, а теперь Марина сидит на корявой лесине рядом с Царь-бабой, прижавшись головою к ее плечу, и уверяет великаншу:

— Ня выду за постылова, за нямилова...

— А где милова найдешь, девка, — а кто его нам даст? — отвечает Олёна Дмитриевна, которая уже грузна не по-молодому, с сединою на висках, с глубокими морщинами на лбу.

— А любила ли ты, тетка Олёна, кого-либо, не мужика своего? — спрашивала неугомонная Марина.

— Такого, девка, не ведаю, не знаю, — с достоинством в голосе, в глазах, во всей осанке отвечала самая могучая из дочерей Деметры. — Баловством николи не занималась.

Солнышко означилось меж лохматыми серыми тучами, на минуту осветило прокисшую от дождей землю, погрело двух баб, одну громадную, как гора, другую рядом с нею маленькую, словно мышь, они покивали сами себе, поклевали носами, погружаясь в дремоту, и тяжко зеленела вокруг них полевая земля, покрытая мокрой рожью, и дремала Деметра, судьбою своею похожая на любую из этих русских баб, чья доля любви была скудна, а труд земной, жизне-творящий, огромен и тяжек. И не знала еще Мать — сыра земля, что суженого ее, пахаря, хотят государственным решением отъять от нее, — об этом и заговорили две женщины, очнувшись от внезапной дремоты.

— Слыхала ль, нет, тетка Олёна, скоро землю у христьян всю заберут, и она уже будет не чейная-нибудь, а общая, — скороговоркою сообщила Марина.

— Как общая? — не понимала Царь-баба. — Земля не бывает общая, она всегда-нибудь чейная.

— А вот станет общая, Олёна Дмитриевна.

— Не может тоё быть, потому как мужик на чужой земле работать не будет.

— Так земля колективная, тетка Олёна! Нетральная земляца станет.

— Таково не бывает, девка. Земля догляд любит, что твоя скотина. За нутральную землю мужик труда не положит, он свою землю любит, а не нутральную.

— На общей земле поля будут больши-ие, трактора зачнут бегать, пахать и сеять, машины такие на колесах.

— Не будет общей земли, омман это, Маринка. Коли земля не твоя или не моя, значит, она ничья. На ничейной земле, как у ничейной бабы, ничего путного не родится, одне только убудьки непутевы.

— Работа тоже общая будет,— не сдавалась Марина,— и дележка веселая, поровну всем.

— Как поровну? — заволновалась Царь-баба.— Общая работа, пес с ней, пусть будя. А ты отдай мне мое наработанное! А то как же? Я стану ломить, как лошадь, а ты, пигалица, как котенок, а нам с тобой на дележ поровну?

— Поровну, поровну, тетка Олёнка, на весах с гирьками по одинаковому куску отмерять...

— Эх, опять омман будет! — всплеснув белыми, как новые деревянные лопаты, огромными руками, воскликнула Царь-баба.— Посмотреть бы я хотела на тои кусочки. Допрежь чем эти кусочки нарежут, всяк уворует целый кусище. Потому как мое, не моими руками наработанное, в амбары-сундуки сложенное.

— А скоро, тетка Олёнка, слышь, ничего моего не будет, все будет наше,— просвещала Марина пожилую великаншу.— Твоя жана — моя жана, твой муж — мой муж, а спать будем под одним ба-альшим одеялом.

— Сляпой сказал: посмотрим,— улыгнувшись, отвечала Царь-баба, смахивая с лица и засовывая пальцем под платок выбившуюся прядь.

Эту улыбку покойной Олёны Дмитриевны вспоминала Марина в сентябре сорок восьмого года, когда шла с больной рукою, прижатой к груди, в сторону большака и пролысая до розовой глины дорожка вывела сквозь душный сосняк на край убранного картофельного поля. А там и деревня завиднелась: ряды прясел, острые верха серых крыш, маленький сруб отдельно стоящей бани. И какая-то повязанная по самые глаза в белую сарпиночную тряпь баба сгребала в кучи отброшенную на межу картофельную ботву. Когда Марина поравнялась с бабой, та, светло, внимательно взглянув в глаза путнице, улыбнулась — и Марина тоже улыбнулась в ответ, как улыбалась когда-то Олёне Дмитриевне, глядя в ее добрые малоподвижные очи. Решив немного отдохнуть, Марина спустилась на край межи, привычными движениями бережно пристраивая больную руку на коленях. К тому времени баба, увязав веревкой ворох сухой ботвы, присела, взгромоздила поноску на спину и потащила через пыльное поле, низко пригибаясь к земле.

Марина смотрела ей вслед, подумала: далеко же бедной тащить свою ношу,— и вдруг закрыла глаза и увидела меня и сразу же в сонном сознании своем признала в моем облике несомненные черты Спасителя своего, которому молилась каждый день. Мы встретились с нею в лесу, оба были с корзинами, старушка беспокойно заозиралась в мою сторону и, повернувшись, быстрехонько двинулась прочь от меня, так что я вынужден был крикнуть ей: «Стой, бабуля, куда же ты убегаешь? Не бойся, не съем тебя». «Ня боюсь я,— последовал ответ,— никуда ня убегаю». «А чего же рванула галопом в сторону?» «Ничаво ня рванула, а так, коб не помешать вам, подумала». Когда я подошел и мы стояли напротив, я заметил, что волнение старушкино еще не улеглось. «А я вас во сне видала,— вдруг сообщила она и улыбнулась мне, как будто подала общечеловеческий знак дружелюбия и мира.— В сентябре сорок восьмого года, считай, тридцать лет с хвостиком прошло». «Как же так?..» «А вот так. Уснула на меже, и сон приснился. Я тогда еще во сне приняла вас за Спасителя». «Меня? Да как же это может быть, бабуля?» «Я и то подумала тогда: с

чего он некрасивый такой-то, носатенькой? Но говорю ему с низким поклоном, стою на кукурузках: за что наказание мое, Господи? Болела тогда я, рукою болела, косточка гнить зачала в руке. А он мне в ответ: мол, не наказана ты, Марина, а испорчена. И порцию ту налади на тебя за хорошим столом, тебе и твоему мил дружку. («А и вправду,— говорила она мне впоследствии,— ведь была у меня нечаянная встреча в одном доме за столом с человеком, который любил меня в парнях. Я тогда замуж за другого пошла, так он хотел топиться в колоде, рубаху рвал на груди... И поди ж ты — он тоже, слышала я, болел костью и уже помер к тому времени, когда сон снился»). Так доколе же испытание мое продлится, Господи, спрашиваю, сколь же мучиться мне предстоит? А он в ответ: всю жизнь, Марина. (И точно сказал — всю жизнь свою мучаюсь и страдаю!) Встань, говорит, с кукурузек и ступай вперед, тебе скажут, как руку вылечить». «И сказали?» «Сказали. Ты слушай. Будто иду я далее, а там зеленый-зеленый лужок, а посреди лужка сруб стоит, ни окон, ни дверей. Внизу, под нижним венцом, вроде продуха оставлены. Голоса из сруба слышны, мужики разговаривают, наши. Я, зная, нагибаюсь вниз и кричу им: эй, мол, чего вы туда забрались? А в ответ мужики сначала попримолкли, а потом говорят промеж себя: это святая пришла. Да какая еще вам святая, кричу, дядя Алдаким (узнала его голоса-ти, помер он годом раньше), это же я, Маринка Жукова, али ты меня не признал? Помолчали они, а потом говорят: все равно, мол, святая. Тут и проснулась».

Она сидела на меже, как и прежде, загробные мужики из сруба озадачили ее, назвав святою, а меня, увиденного в облике Спасителя, ей предстояло вновь встретить спустя тридцать лет. И все еще шла к деревне баба с большим ворохом картофельной ботвы на спине — не успела даже добраться до края поля. Занудливо, как напоминание о смерти, тянула боль в руке, но какая-то надежда появилась в орбелой душе Марины. Идущая с ношею баба выбралась-таки наконец к зеленому прогону на задах деревни, остановилась вдруг и, полуобернувшись, замахала из-под спуда рукою: мол, следуй за мной. Марина послушно встала и пошла; я родился в тот же день и час, вернее, тот человек родился, которого она, уже старушкою, встретила в грибном лесу тридцать лет спустя. Спасителю вольно принимать любой облик, если ему захочется явиться на глаза кому-нибудь,— я родился в сентябре сорок восьмого года, вернее, родился Тураев Глеб Степанович, и это произошло в той же больнице, куда сейчас направлялась Марина: когда она войдет в бревенчатое здание в сосновом лесу, где расплалась сельская больница, то первым делом услышит мой новоявленный, требовательный, отчаянный крик.

А в сентябре семьдесят восьмого года Глеб приезжал к живому еще отцу на Колин Дом в лес, это оказалось их последним совместным бытием. Тогда он вышел в отпуск, но это был не отпуск скорее, а тайная командировка, ибо он тогда делал свою работу, но вдохновение вдруг покинуло его, математический ум забуксовал, и в отчаянии он попросил у начальства отпуск и разрешение работать в лесной избушке отца,— отпуск ему дали, а что-либо писать вне стен учреждения категорически запретили. И в те дни, выполняя строжайшее государственное предписание, он страдал от жестокого умственного безделья, целыми днями бродил по лесам, а вечерами начал читать книгу Нового завета, которую нашел под застрехою в дубовом сарае,— забытую там дедом Николаем Николаевичем книгу в старинном синем коленкоревом переплете с золотым тиснением.

Тогда и открылся для него Он, точнее — чуть приоткрылся, а еще точнее — просто однажды явил Себя, и это было не умозрительное, не умственное, как он раньше предполагал, а чувство простое, подлинное и сильное.

Однажды вечером, отложив Книгу на лавку, он сидел у печки и смотрел на остывающее в ковше только что вскипяченное молоко: высыхающая пленочка на его белой поверхности морщилась прямыми складочками, косыми лучиками, и молоко как бы мерцало в полумгле вечерней избы. Охваченный внезапным сильнейшим волнением, он замер — и вдруг почувствовал Его. Новое ощущение прекрасного было совсем не таким, как вся эта душная, разглагольствующая, суетливо-нелепая тягота разговорной религии. Нет. Новое ощущение, обладая радостной природой, было в то же время подавляющим, как предчувствие смерти, и столь же грозным; но совершенно убедительными при сравнении оказывались абсолютно превышающая энергия и значимость нового чувства над всем остальным, что испытывал он в своей жизни. Этот внезапный ввод души в иное бытие был почти невыносимым, Глеб закричал бы, но за дощатой перегородкой спал отец, улегшийся по-крестьянски рано, и тогда он схватил с плиты ковш за горячую ручку и плеснул вскипяченное молоко — все одним махом себе на грудь. И не обжегся молоком — оно шелковистой прохладой скользнуло вниз по обнаженному горлу, по взмокшей рубахе.

В тот день, когда он встретился в лесу с Мариной, он шел по высокому сосняку, где могучие деревья с красноватыми стволами медленно обступали его толпою молчаливых великанов, шагал он с радостью неспешной ходьбы по утреннему лесу, которая была ему особенно дорога и в былых городских воспоминаниях и теперь — въявь. Его дед Николай Николаевич в молодые годы так же любил ранние прогулки по лесу, в чем и было недоолгое счастье, — когда дом находился в самом живом, нетронутом, дремучем средоточии лесных духов и сил. Марине же утренний выход в лес на малиновой зорьке тоже был дорог — как причащение к тому, что являлось никому не ведомым, совершаемым наедине, чистым и светлым счастьем ее человеческого существования.

В это утро, подходя к Колину Дому, старенькая Марина вспоминала далекую, в детстве происшедшую встречу с молодым баринком на лесной дорожке: шел тот и постукивал точеной палочкой по голенищу блестящего сапога. Марина загляделась на золотую цепочку от часов, выпущенную из нагрудного кармана барского сюртука; это внезапное сверканье золота в глухом лесу, на шестом часу утра, поразило особенным, сильным впечатлением ее душу, и память через шестьдесят лет мгновенно воскресила яркую вспышку в полумраке леса, где, в сущности, еще царила ночная сыроватая мгла. Шедший навстречу девочке Николай Николаевич подумал: ранняя пташка, какое прелестное дитя и до чего же прекрасен вид юных девушек, когда с грибной корзиною через руку идут они под высокими этими деревьями.

Примерно так подумал и его внук Глеб, встретив старушку в лесу близ Колина Дома: вид женщины в светлом платочке, с корзиною в руке идущей по лесу, под высокими деревьями, почему-то всегда приятен. Марине же — тринадцатилетней девочке, сказавшей робко, потупляя голову: «Здравствуй, барин Миколай Миколаич», — и Марине-старушке, встретившей не узнанного ею внука того барина, было страшновато в столь безлюдную рань, в час беззащитной обнаженности своих самых сокровенных чувств вдруг столкнуться в лесной чаще с задумчивым, чем-то воодушевленным, непонятым человеком. Марина-девочка забеспокоилась, что зашла, должно быть, в барские заповедные места, раз здесь он гуляет с тросточкой, при часах на пузе, а Марина-старушка подумала: где-то я видела этого человека, когда? и почему душеньке моей так хорошо было когда-то встретить его, и почему даже и нонче боюсь его глаз, боюсь смотреть прямо ему в глаза? Застучало, застучало сердчишко у девочки, старушка же остановилась, вдруг вся вспыхнув, чувствуя, как зако-

лоло в корнях волос: Марина отчетливо вспомнила свой сон тридцатилетней давности.

Будто идет она по коридору единственной на округу бревенчатой больницы, полы все перекошенные, половицы вытерты ногами больных, стоит нехороший запах по всем углам и палатам этой народной больнички: не то переводины в подполе гниют, не то это дух убогости и бедняцких болезней; идет, чикиляет она по неровным половицам — и вдруг навстречу этот человек, который встретится ей в лесу лет тридцать спустя, идет и строго глядит на нее внимательными маленькими глазами, а волосы у него темные. Незнание и чувство доверия и нежного притяжения души испытала она и, став посреди коридора на колени, в ноги поклонилась ему.

А он, глядя на нее, живую и старую, дивился совпадению этой встречи с тем необыкновенным и великим откровением, которое пришло к нему минутой раньше. Он в какое-то совсем незаметное и непринужденное мгновение лесного утра вдруг постиг, что справедливость, доброта, милосердие, светлая надежда и высочайшая радость жизни — все это и есть Спаситель, но все это есть и космический Закон, пронизывающий страшные пустоты Вселенной. Эти качества, носимые людьми, совершенно независимы от их несчастий и злодеяний, потому что не являются производными их организмов, а несут в себе огонь и дух неба.

Для того чтобы Глебу Тураеву постичь это и ощутить живую, но невидимую субстанцию вселенской доброты, ему, как и всякому человеку на земле, необходимо было получить представление о мирообъемлющем Отце, в сердце которого и происходит связь между видимым и невидимым. Глеб Тураев внезапно обрел возможность общения с таким Отцом, и это было столь же ясным и конкретным, как прогулка по утреннему лесу.

Удивительно, что Глеб Тураев пришел к этому через книжное чтение Нового завета и в минуту, когда встретился в лесу с Мариной, думал обо мне как о возможном брате Сына Человеческого. Марине же в облике заурядного человека представился Он времен ее самых тоскливых тягот, Он единственно утешительный — любимей отца с матерью, которые вымерли от возраста и болезней — по слабости человеческой, а Ему не грозила эта усыпляющая и всепоглощающая слабость. Из всех увиденных ею человеческих лиц, отражающих чувства, лишь эти два лица, деда и внука Тураевых, омытые влагой лесной утренней тишины, светились незаурядной силой и вдохновением, остальные лица людские были скучны ей пересказом общих чувств, ничтожных по глубине. И для нее Господь представлялся прежде всего человеком с необыкновенным выражением лица, она никогда за свою жизнь не читала Евангелия — но и не вторгаясь в словесную ткань учения, именно такие из одушевленных деревьев моего Леса, как Марина, держали его чистый плод в своих простертых руках.

Марина брела вслед за несущей ворох сухой ботвы на спине незнакомой бабой из придорожной деревни — деревень этих вдоль большака были десятки, одна возле другой, смыкаясь почти вплитык; баба добралась к своему двору, свалила ношу в большую кучу уже набранной картофельной ботвы, вытянула из вороха веревку и, сматывая ее на ходу, живо направилась встречь Марине. Подбежав впопыхах, незнакомая баба без обиняков указала на большую руку Марины пальцем и молвила: «Хошь, научу, как руку вылечить?» «И-и, каких только дохторов не было, ня вылечили», — привычно заныла Марина. «А ты дохторов побоку, ты меня послушай, — морща сухие щеки, улыбалась баба. — Я давно прослышана про твою бяду, даже на Илью хотела сходить к тебе в Немятово, да вот поросенок заболел, пришлось забить на мясной налог — сорок пять кил мяса нынче сдать нужно». «А по мою душу тридцать кил. И фунт шерсти. И полсотни

яиц. Ишшо картошечки сто девяносто восемь кил. Где ж я все это возьму, Господи, с больной-то рукою? Поросенка давно не держу, овец свела, одни куры, восемь штук осталось...» «Видать, милая, тебя Господь сам ко мне прислал, а то ведь хотела к тебе идтить на Илью... Бабка наша, мачка старая, так-то вот лечила. Ну так слушай. Собе-решь на дороге сухого конского навозу. Нарубишь, напаришь-ти его в чугунке. Как вынешь из печки — тут и накладай горячий навоз на гноище и закутай платком...» И, слушая скоропалительный говор незнакомой бабы, Марина вдруг радостно, ясно почувствовала, что вот оно и пришло, избавление, как Он и объявил только что, когда она спала птичьим сном, сидя на жаркой меже.

Николай Тураев к Богу шел, как бы философически усмехаясь про себя, но был один случай, когда совершенно утратил эту усмешку. Было ему сорок два года, он уже облысел, троих детей народила ему Анисья, и настала полная для него ясность, что ничего не вышло из его жизни — ничего даже приблизительного к тому, что мечталось, предощущалось в годы молодости. Человек, оказывается, ничего не мог сам — словно муха в патоке, он увязал в обстоятельствах своего исторического времени, а в какое время ему родиться, на то воля Божия. И Николай Тураев начал сознательный бунт против Бога — то есть обвинил Его в ложности тех идеалов, которые он пробуждает в душах несчастных людей, и решил отвергнуть эти идеалы. Он решил забыть все, что было наработано умом за многие годы учебы и самозабвенного чтения, забыть и никогда не вспоминать всех философов, китайский язык, картины любимого когда-то Иванова, музыку Баха. Он перестал пользоваться одеколоном, выбросил в болото английский стек и, ранее ежедневно требовавший от Анисьи чистых носовых платков, враз перестал ими пользоваться — к величайшему удовлетворению своей жены-кухарки. Он решил и от нее освободиться, оставить ее жить и хозяйничать на своей усадьбе, а самому, вырубив можжевелевую палку, навсегда уйти из дома, бросить свою предыдущую, такую глупую, жизнь и, как это сделал китайский мудрец Лао-цзы, и не он один, навсегда уйти в безвестность. Но в тот день, когда Николай Тураев решил тайком покинуть дом, вдруг заболели рожей Анисья и старший сын Никита, и хозяину пришлось, поставив в угол паломнический посох, запрягать гнедого и ехать в Гусь-Железный за доктором.

А когда жена и мальчик стали выздоравливать, свалился с той же болезнью и сам Николай Николаевич, — выкарабкиваясь из бреда и жара к действительности, сознание его впервые с удивлением стало замечать, что между химерическим кошмаром видений и многообразием картин земли нет, в сущности, никакой разницы. И, слабый после болезни, устающий даже долго сидеть, он в те дни окончательно капитулировал перед понятием Бога и решил никогда, ни за что, ни в коем случае не пытаться идти в эту сторону — он утратил для себя это слово.

Уподобление себе, желание видеть Его обязательно в человеческом образе — вот что лежит в основе главного заблуждения мыслящего человека, считал Николай Николаевич; но ведь именно в ощущении близости Его, в присутствии рядом живого начала, явно схожего с человеческим, хотя и несравнимо более духовного, прекрасного (то есть истинного), — в этом и заключается для меня Его сущность, думал внук Николая Тураева Глеб Тураев.

Марина же, увидевшая во сне своего Спасителя и внявшая его указаниям, и не помышляла отвергать или признавать Бога — она залепила гноящуюся руку напаренным горячим навозом и сверху обмотала старой материнской шалью. И как только сделала это, сразу же почувствовала большое облегчение, мгновенно перестало саднить и стрелять в руке, боль как будто стала меньше, и вскоре возле ран-

ки, у незаживающего свища на локте начало чесаться, сперва несильно, с приятной щекоткою, а спустя ночь уже невыносимо мучительно. Марина сняла повязку — и вместе с последним слоем платка сама по себе и безболезненно прорвалась разрыхлевшая кожа и хлынула наружу гнойно-кровяная юшка с черными кусочками отпавших костей. Марина, прислонясь головою к печи, едва устояла в наплыве дурноты. С этого дня началось ее полное выздоровление, рука осталась, пусть и кривая, негнущаяся, как крючок, но зато рука, а не культия (хорошо, что она не слушалась врачей, не дала отрезать), — и с этой рукою Марине вышло прожить до семидесяти восьми лет.

Николай Тураев, выздоравливая, лежал в одиночестве на кровати, преодолевая слабость в теле, закрыв глаза, стараясь не утруждать члены свои ни единым движением, — и в одно из мгновений ясно увидел, каким образом он умрет. В ту минуту будет ему тяжело и одиноко, как и Спасителю на кресте, но умрет он под стеною старого дома, скорчившись на земле... Цоколь этого дома был до красного кирпича очищен от штукатурки и уже частью облицован прямоугольными бледно-голубыми плитками. Никого не оказалось возле него, когда он упал, все остались, провалились, истаяли в далеком прошлом, в том числе и маленький, незначительный бог. И то, что открылось его внуку Глебу Тураеву (в минуту, когда вскипело молоко), в час его смерти ничуть ему не пригодилось: Бог так нужен был им обоим, но его, к сожалению, не было рядом в минуту их смерти.

Странному же фантому земной жизни, умищающемуся на кончике блестящей иглы, понадобился столь же странный демиург, который орудовал этой иглой, пришивая пуговицу на свою охотничью куртку. Демиург закончил работу, подергал пришитую накрепко пуговицу, надел куртку и, стоя посреди избы, посмотрел всепроникающим внимательным взором на лежащего под ободранной до кирпичной кладки стеною Николая Тураева, затем перевел взгляд на Марину, сидящую на мху под березой, в излюбленном ею лесном уголке возле Грядского болота, улыбнулся ей и направился к выходу из дома, раздумывая о том, что Марине теперь становится все тяжелее ходить в лес, все дорожки которого измерены ее ногами за многие годы неожиданно долгой для нее жизни. И Он знал, о чем она мечтает: как-нибудь умереть, сидя под деревом в родном лесу.

В том человеке, которого Он заключал в себя на миг и в душе которого проявил свою волю и силу, однажды зародилась удивительная и, очевидно, совершенно безумная мысль: что он, человек, и есть создатель Вселенной, созидатель всех космических звезд и автор цветущей земной розы. И Иисус из Назарета — тоже он, и каждый из апостолов, написавших апологию Христа, — тоже; то есть что он сам и есть единственный герой и автор Книги Земной Жизни. Слияние его единичного человеческого начала с началом всесозидающим произошло незаметно, внезапно, — и на краткий миг в нем человек смертный смог стать человеком вечным. Об этом я и веду рассказ, пытаюсь в словесных соединениях, ходах и переливах фраз дать ощущение той свободы, которую хоть однажды ощутил кто-то один из неисчислимого сонма живущих и умерших, живущих и умрущих представителей моего Леса, — о своей Вселенности, вдруг постигнутой бранным сгустком материи, человеком...

Я люблю свои деревья, я не могу не любить то, что создавал так долго и тщательно. Ведь в каждом из них, в самом маленьком или самом большом, однолетнем или тысячелетнем, живет, действует, таится и проявляется суть моего замысла. И это происходит уже без меня, без моего вмешательства: картины, написанные живописцем, стихи, сочиненные поэтом, живут своей таинственной и чудесной жизнью — иногда они намного ярче и богаче жизни самого творца. Боги, которых познали и любят мои деревья, стали дороги и мне, их упования и мольбы трогают меня до глубины души, хотя я и по-

нимаю, что, в сущности, эти надежды и моления обращены только ко мне, их подлинному Отцу. Старая брезентовая охотничья куртка, облекшая мои плечи, укрывает человеческое тело обычных размеров, в нем бьется гулкое сердце и томятся энергии и силы отчаянного поиска какого-то чудесного выхода и освобождения из плена жизни. И хотя все это вдохновенье, просуществовав неуловимый миг, обречено на полное исчезновение и с уходом в небытие этого тела творческая надежда моя должна будет перекинуться на другое брэнное существо земного мира, я проявляюсь, я творю щедро и нерасчетливо, делясь с каждым, кто наделен человеческим сознанием, своей неутоленностью.

Конечно, в ясную ночь и я смотрю на звездное небо. И думаю (помыслом всех деревьев моего Леса, которые тоже затаились в тишине и не мигая смотрят на огненные точки небесных светил, на туманное клубление Млечного Пути) — я думаю о том, почему мне, размножившемуся в таком неисчислимом количестве по милым горам и долам моей милой небольшой планеты, приутолен столь бесславный финал. Каким же образом так случилось, что не помог мне даже Бог Марины, как он помог в случае с ее больной рукою, не помог и той женщине в полосатой матросской тельняшке, — и мы оба оказались перед необходимостью лишь одним способом освободиться от невыносимых страданий, причины которых грандиозны, суровы и таят в себе пустоту и холод межзвездных пространств? Ее, этой пустоты, настолько больше, чем меня, дерева, единственного в своем одиночестве, что я как бы не существую или, если и осмелился существовать, тут же должен исчезнуть по строгому закону математики: слишком малое в силу того, что оно столь мало, должно исчезнуть.

Церковное христианство удивительным образом примиряет бедные деревья моего Леса с их долею узников огромного концентрационного лагеря. Оно предлагает обратить свою любовь на того, кто окажется вблизи тебя, на тех двух-трех ближних, которые прижаты к тебе, как в газовой камере или как в том бревенчатом сарае — потным измученным телом к потному измученному телу. Вдруг ворота сарая со стуком и скрипом раскрываются, и за ними на свету жаркого, щедрого июльского солнца стоят в запотевших пыльных гимнастерках десятка два пленных — еще одна партия, выловленная на истоптанных танками степных полях. И этих измученных, с потухшими земляными лицами ближних, которых надо возлюбить, как самих себя, затискивают, подбывая прикладами, вколачивают пинками в бревенчатый сарай-амбар, который и так уже переполнен и потрескивает от внутреннего распора дышащей человеческой массы. Кишкой вываливает из распахнутых ворот полукруг отчаянно жмущихся назад людей, этому полукругу, похоже, никак не втиснуться внутрь амбара, но вот закрывают ворота — и под крики, ругань и хохот пленивших, под стоны и жалобные вопли плененных эти последние все же исчезают в сарае, сжатые напором толкаемых снаружи ворот. Заложив железный запор и еще приперев растопыренные створки бревенчатыми столбушками, стража с автоматами, свисающими на грудь, дружной толпой направилась отдышаться к дому под тенистыми тополями.

И вдруг запылило в конце улицы, и другая стража подогнала к сараю еще одну партию пленных, вернее пленниц, ибо вели под конвоем попавших в окружение санитарок и сестриц медсанбата. В гимнастерках без ремней, многие босиком, коротко стриженные и длинноволосые, растрепанные, запыленные женщины были так же измучены и подавлены пленом, как и мужчины. Одна была ранена в челюсть, и ее, обмотанную кровавыми бинтами, две подруги вели под руки. Подошли к амбару — и под оживленные крики солдат

прибывший конвой открыл ворота. Невероятно, но в сарай стали затискивать — и затиснули-таки — всех пригнанных пленниц, и даже раненую, едва перебирающую ногами, уронившую на грудь забинтованную голову, тоже вдавили вместе с остальными в эту стонущую живую стену и вновь с веселыми проклятиями сомкнули створки ворот и подперли столбушками.

Степан Тураев попал в сарай с предпоследней партией, и он оказался вблизи женщин, которые в жаркой полутьме, едва дыша под напором жестких, потных, стиснувших со всех сторон мужских тел, принялись всхлипывать и плакать. Конвой не давал им в пути возможности оправиться, и пленные женщины терпели вплоть до этой минуты. Теперь они уже не в силах были сдерживаться — и, рыдая или тихо заливаясь слезами, пленницы справляли то естественное, что стало страданием и неимоверной душевной мукой. Степан слышал вблизи всхлипывания совсем юного голоса, дрожащее дыхание, сдавленные стоны, исходящие, казалось, не из человеческой груди, — таковы были звуки, производимые женщиной, когда она уже поняла, что погибнет, погибла уже... Подобные же звуки Степан Тураев услышал из темноты колодца, куда бросилась его дочь Ксения, — этот никому вниманию не предназначенный плач гибели, клетот отчаяния и одиночества Деметры не оговорен, не учтен в мире величайших учений, определенных как божественные. В Апокалипсисе ничего не сказано о таком конце света, как нежелание Деметры жить.

Я всего лишь мыслящий атом, я столь мал, что почти и не существую, — и все, что создано вокруг, скорее не создано, а осознано мной. Это мне казалось, что мною создан мир, потому что я, не существуя в материи, вижу ее вокруг себя и в то же время никого другого не знаю, кроме себя самого, кто бы мог сотворить это. Свойственная мне самая большая моя страсть — желание небытия, жажда вкусить смерти — присуща и всему, что я вижу вокруг себя. Все эти тела и системы, едва родившись, развиваются и движутся только в одну сторону — к распадению, энтропии, к полной аннигиляции. И только Деметра, казалось мне, только Мать — сыра земля, на которой стоит Лес, только она одна вопреки пессимизму Вселенной утверждает оптимизм безудержного плодородия. Да, мне казалось, что Деметра, женщина, Ева — ребро, вынутое из моего сонного тела, есть самое удачное, совершенное и стойкое произведение Отца.

Надо будет мне заменить скоропортящиеся зубы на другие, вечные, по-другому устроить сердце, быстро дряхлеющее от денежных забот и тревог, перестроить легкие и желудок, столь доступные для злоядного рака. Все это можно сделать, жизнь совершенствуется с течением разумного времени, и будут, будут неподвижные деревья путешествовать по миру, как некогда богатые пожилые американки, да не куда-нибудь в Лапландию или в Самарканд, а на другие планеты. И люди научатся существовать наконец без зубной боли и тревоги за завтрашний день, свободно, без громоздких ракетных кораблей перемещаясь в космосе, питаясь не хлебом и мясом, а чистейшими лучами многочисленных солнц Вселенной. Научатся они дышать водою, метаном, плавать в серной кислоте, заходить в огонь и выходить из него без всякого для себя ущерба. Все это будет для них, для их процветания и блага — если только они получат эту свою будущую жизнь от Деметры.

Всего лишь крошечное мгновенье (пусть будет так), малюсенькое мгновенье, которое я уделил этому разговору, вызвано тем, что мне стало тревожно от неизвестности: захватит ли всецело Деметру это роковое желание не жить? Оно приходит к ней и овладевает ею лишь по одной причине — если нет Любви, если исчезает Любовь. Деметра венчает красотой и счастьем всякого, кто ее любит...

Это может быть очень простой историей, но ведь все они, соединяясь в одну общую печальную историю гибели женщины, отвергнутой в любви, потрясают душу Вселенной своей убийственной простотой.

Царь-баба и Марина, следующие с грузом древесного угля на возах по раскисшим дорогам летней ненастной порою, как раз проезжали мимо одного местечка, называемого Гудом. Скоро двенадцать семейств вселятся сюда, на бывшее барское подворье, а через год-другой выстроят из лесного новья хорошие избы, общую баню, различные полезные для хозяйств строения и, получая от счастливого супружества с землею превосходные урожаи хлеба и льна, вскоре смогут даже купить трактор «Фордзон» — на удивление всей округе... Но уже через пяток лет «Новый путь», как называлось это первое в округе семейно-крестьянское предприятие, добровольно, но насильственно присоединили к спешно образованному огромному колхозу, который начался с развала, — и вместо дружной работы на обновленных четкой идеей полях крестьянские семьи стали расплзаться в чужие края, как вши из рубища нищего. Весной тридцать первого года крестьяне не вышли пахать — лоно Деметры осталось нетронутым, в мае приехали городские начальники и председателя увезли под стражей.

Тридцать третий год был голодным, сорок третий военным, сорок седьмой снова голодным, а еще через десять лет уже не было на Гуду людей. К пятьдесят седьмому деревушка почти исчезла, избы были проданы и свезены, на месте поселения крестьян осталось всего два дома. И жила в одном из них девушка-фельдшерница, дочь первого председателя «Нового пути», а второй дом стоял безлюдным, с выбитыми окнами.

Царь-баба и Марина, проезжая в двадцать седьмом году мимо пустыющей барской усадьбы в Гуде, обе перекрестились, глядя на его мрачные, потемневшие от дождя крыши, над которыми не шевелился дым и лишь толклись черные галки, — еще не было на Гуду людей из «Нового пути», еще не зачата там и не рождена девочка, которая вырастет и станет фельдшерницей.

Над жидкой дорожкой, растекшейся меж лесных зеленых толп рекой серого киселя, залетали, завспархивали малоразличимые птички. В их зыбком полете, столь чуждом по своей легкости смутам и тяжбам человеческих душ, крылось что-то очень страшное. Ведь кроме людей у Бога достаточно тварей и птиц, святащихся силуэтов в небе, темных теней на песках пустынь, а человеки... Каждый из них в свое время, пока существовал, являл собою лишь будущий призрак. И в тот дождливый день, выйдя из леса на край поля, по которому проходила заглохшая дорога, я встретил призрачный обоз о двух телегах, грустный обоз, в котором лошади-призраки везли на телегах-призраках саженные мешки с призраком-углем, — в призрачном двадцать седьмом году, когда крестьяне сами решили образовать свою артель под названием «Новый путь». И рядом с телегами шагали, подчмокивая губами и подергивая вожжи, две призрачные женщины, одна огромная, настоящая великанша — груженная телега была ей в пояс, — другая маленькая, подтянутая, в ловко облегающем зипуне и новых лаптях.

Я же в старой отцовской брезентовой куртке, с корзиною на ремне через плечо вышел из леса на поле и зашагал по слякотной дороге, разминувшись с понурыми возницами. И сам я был призрачнее всех этих призраков, воплотившись в человека, которого и на свете не было; я шел по скользкой дороге мимо березовой километровой аллеи, образовавшейся на месте бывшей подъездной дороги к Гуду, и еще издали увидел ее, фельдшерницу в светлом плаще, в надвинутом синем берете, наискось перечеркивающим лоб. Доро-

га была совершенно пустынной, возы скрылись за полем в лесу, мы сближались, и наша встреча стала уже неотвратимой — где-то в призрачных семидесятих годах.

До ближайшего села было километра три, амбулатория находилась именно там, и фельдшерницу могли разместить поближе к работе, благо была она бессемейной и любая одинокая старуха взяла бы ее к себе на постой. Но она захотела жить в родительском доме — и каждое утро в любую погоду она одиноко проходила этот путь: сначала по березовой километровой аллее, заросшей высокой травой, затем краем поля по проселочной дороге. Возвращалась назад той же дорогой, оставив позади многочисленную деревню с ее озабоченными жителями, с вечерним стадом, возвращавшимся с выпасов, с гулом и гомоном неспящего народа, с теплыми летними ночами, когда по влажным от росы просторам далеко и призывно звучали женскими голосами распеваемые песни. Она никогда не оставалась вечерами в деревне среди грудастых, щекастых своих сверстниц и жизнерадостных деревенских женихов, они также не тянулись к ней, не зазывали ее, и часто бывало, что, проходя краем поля в своем белом халате, видимая издали, она прибавляла шаг и быстренько скрывалась в березовой аллее, если вдруг из ближнего проулка вываливала пестрая толпа с гармонистом во главе — направлявшаяся в соседнюю деревню, чтоб потанцевать там кадрили, пошуметь, побегать и, может быть, слегка подражать.

Лишь скрытая от чужих глаз в аллее неровных берез, стоявших вдоль канав, девушка успокаивалась, замедляла шаги и, сложив руки за спиною, шла по узкой тропинке, раздвигая коленями шаткие метелки зреющих трав. Белый халат ее, попадая в полосы вечернего солнца, пробившегося сквозь деревья, вспыхивал невероятно ярким розовым светом, и загустевая лесная мгла между деревьями, у окраины брошенной деревушки, казалась в эти мгновения особенно угрюмой и неприступной.

Она подходила к своему бревенчатому дому, молчаливому и насулленному, как огромный больной зверь, из тайной щели сбоку крыльца доставала ключ и отпирала дверь. Стоя на высоком крыльце, она оборачивалась и пристально оглядывала всю широкую поляну с дубами, во что превратилась ее родная деревня. Здесь когда-то шумела и плескалась чистая и прекрасная жизнь осуществленной мечты, и девочка была рождена в ту счастливую пору, когда от лугов и полей, от утренних дубрав и березовых рощ как бы веяла на крестьянскую душу ветерок золотого века. Земля была хоть и общая на дюжину семейств, но своя, и ее было достаточно, чтобы не только удовлетворить безжалостную похоть голода, а и напиться радостным трудом любви, когда самая тяжкая крестьянская работа, сопряженная со страстью и мощью тука Деметры, вдруг из потной заботы превращается в жадное счастье тела и духа. Даже сенокос и жатва вручную на больших полосах, каких не видали раньше бедняки, были для них не в тягость, и молотья ручными молотилками и цепями, околот льна деревянными вальками — все эти работы начинались дружно и завершались быстро, потому что было счастье от любви, которое преображает самую суть жизни и поворачивает ход ее совсем в иную сторону, чем дотоле.

Я взирал на эту новую жизнь «Нового пути», укрывшись в тени шумящей листвы дуба, испытывая подлинную радость за столь сказочное преобразование крестьянской жизни: ни барина над мужиком, ни надсмотрщиков — пашни и сей, наполняй мешки на току хлебом, льносеменем, овсом, грузи на телегу и вези домой... Но счастье такое продолжалось у них всего два года — и тут объявились начальники, и вместо прежних мироедов выскочили другие, на службе накачавшие себе круглые ряшки и розовые загривки... И кому-то из моих больших начальствующих деревьев, тех, из кото-

рых шьют государственные корабли, стало ясно, что счастливый вольный человек, не обездоленный, вполне обеспеченный, гордый собою, не захочет, пожалуй, почти весь свой труд отдавать задаром ради четких идей и тех законных привилегий, которые должны иметь знатоки и ревнители новой государственности. И мужикам стало ясно, так же как и раскидистым дубам, растущим на лужайках деревни, чем это все грозит, что получится из всей этой четкой исторической затеи...

Итак, к пятидесятым годам от поселка Гуд, где был колхоз «Новый путь», осталось всего два дома, в одном только что скрылась вернувшаяся с работы фельдшерица, в другом коллективно поселились деревенские домовые. Повебив все стекла, они каждую ночь забавлялись тем, что высовывались из окон и, глядя вверх, дразнили сонных галок, устроивших в печной трубе гнездо из веточек, травинок и пуха,— ругали, передразнивали птиц, стучали по ржавым печным выюшкам пятками, и галки в ответ только слабо попискивали. Я смотрел из своих черных глубин на эти угрюмые два дома, и мне до пронзительной боли жаль было наблюдать столь явную картину беды и несчастья.

Бывший председатель «Нового пути», отец фельдшерицы, когда-то ночами часто выходил под дубы и в тишине, нарушаемой лишь отдаленным смехом деревенской молодежи да брехом какой-нибудь занудливой собачонки, ходил кругами и думал, делился мыслями со мной, не зная, что открывает мне то затаенное, ужасное, истинное, которым не мог поделиться ни с кем,— все то, что постепенно открывалось ему самому во всей своей жестокой неотвержимости. Нельзя, нельзя было жить и работать на земле без любви, без той любви, с которою он прожил всю свою бедняцкую молодость, которую пронес через все войны, по которой протомился весь свой век безземельный его отец-пильщик. Нельзя было без любви, но чтобы любить, надо чтобы земля была твоей безраздельно, как жена, Богом данная, а иначе ничего не получится. Это понимал он, это понимали и другие мужики — но принцип новой идеи был в том, чтобы не владеть землею, а с горячностью народной признательности называть ее своею на вечные времена. Вовсе и не любить ее (понятие это не было учтено в русле новых идей) — а просто нещадно ее пахать с помощью могучих тракторов, и получать с нее все большие урожаи, и постепенно привыкать к новой истине, что правильность выше правды, потому что плетью обуха не перешибешь. Наступило время переучиваться жить, возлагая свои надежды не на то, что родит земля, жена, ухоженная скотина, плодовый сад, река или море, а на то, что прикажет или пообещает какой-нибудь новый сверхначальник. И в голове сидящего под дубом председателя, то и дело подносящего ко рту красную папиросную точку, я читал две постоянные мучительные мысли, непосредственно связанные между собою и вытекающие одна из другой: «Что же теперь будет? А ничего хорошего не будет». И долго мне пришлось постигать, в безмолвии его раздумья, почему он полагает так, а не иначе.

Много раз приходил председатель ночами под дубы, сживал там и покуривал, пророчески глядя сквозь пролеты ветвей на сторонние звезды в далеком от людских забот небе, в ночном небе, не имеющем никакого отношения к тому, что председателя скоро возьмут, осудят круглым счетом на десяток лет, а потом будет война, фронт, тайная надежда, что его не убьют,— и это при отчаянном желании, чтобы его убили: медведь раненый выбежал однажды из лесу на дорогу и напрямик кинулся на охотников, в нижней челюсти его сидела свинцовая пуля, давно мучавшая его, и зверь хотел только одного — чтобы его поскорее убили; и в него стали

стрелять, и он был рад, что зашлепали по телу горячие пули, но вместе с этим и невольно испугался зверь, повернулся и кинулся обратно в лес. Химера страха, сидевшая в нем, вмиг выросла и стала сильнее его, это она могучими скачками неслась к темному ельнику, она вопреки его желанию погибнуть и больше не мучиться гнала потное голодное тело, залитое кровью, прочь от вожденной цели. И в миг, когда потерявший все жизненные силы мохнатый зверь слетел с ног долой и покатился по земле, химера страха стремительно соскочила с него и низко полетела между деревьями, огибая стволы.

Пройдя через лагерь Колымы, штрафные батальоны, протавив войну на себе как тяжкий, приросший к горбу груз, председатель вернулся домой живым и снова работал председателем в голодных послевоенных колхозах, и химера страха уже вполне уверенно жила в нем, и она была того качества и свойства, какая нужна для установления полного равновесия между властью и народным покорством. Химера заставила его желать сытой жизни и цепляться за нее любой ценою, и эта новая ехидна существования не имела никакого продолжения от прежней мечты. Дни жизни навсегда испуганного человека, больше не верящего в возможности собственного труда, были зыбкими и торопливыми, как заячий сон под кустиком, и председатель стал пить, как и весь подведомственный ему колхозный народ, и по-прежнему шумела листва на дубах, когда он приходил посидеть на широких пнях, оставшихся от деревьев, срубленных после того, как не стало поселка на Гуду.

И как-то солнечной снежной весной в благостную, мягкую от-тепель, когда радовалась душа каждого дерева, каждого кабана в лесу или вороны на крыше, умиляясь белизне и чистоте снежного покрова, омытого розовым сиянием низкого солнца, председатель вновь пришел туда, оставив глубокие следы в осевших сугробах, посидел, затем снял с себя тяжелое драповое пальто с пролысым каракулевым воротником, сложил вдвое и бросил на пень, оглянувшись вокруг на сияющие меж оставшимися деревьями снежные просторы, с улыбкою умиления крикнул и вынул из кармана широких штанов галифе пистолет. Он решил застрелиться, потому что произошел суший пустячок — у него пропала гербовая печать, кто-то взял или он где-то сам обронил, но из-за этого пустячка снова могли его отдать под суд, а ему легче было умереть, чем снова пройти через все то, что однажды он уже прошел.

Председатель вложил дуло пистолета в рот и ощутил резкий, несъедобный вкус смазочного масла, подумал, что хорошо — нет мороза, не то язык так и прилип бы к каленому металлу, дирануло бы кожу с кровью. Он вырастил четверых детей, воевал, строил «Новый путь» и не достроил, а теперь устал от всей нечистоты жизненного пространства, на котором существовал, — как в том лагерном дворе между бараками, где стоял одинокий тополек с чумазым, на уровне человеческого роста захватанным ладонями стволом. Вокруг деревца земля была утрамбована до каменной плотности ногами тысяч людей, вынужденных ходить по одному и тому же месту в зоне дозволенности, обнесенной забором с колючей проволокой, натянутой в виде козырька...

Я смотрел на него сквозь голубоватую прохладу надснежного воздуха, понимая, что если он не остановлен даже химерою страха, то удержат его в жизни ничем нельзя. Ему хотелось смерти, которая так долго охотилась за ним, что уже стала привычной: ему больше не хотелось жизни, в которой из-за потери точеной деревяшки с наклеенной на нее круглой резинкою вновь могут начаться чудовищные мучения души и тела, выдержать которые ему уже не под силу. Чтобы не промахнуться, председатель стал устраиваться на широком пне поустойчивее, чуть пересел в сторону и попал задом на раскры-

тую полу сброшенного пальто и ощутил напрягшейся мышцей некую твердую кругляшку. Выдернув изо рта пистолет, он привскочил и ладонью свободной руки прихлопнул полу своей старенькой зимней одежды: прохудившийся внутренний карман обронил геральдический символ власти в более просторный мешок, под подкладку. Он вынул через дырочку заветную печать, сдул с нее налипшие крошки, положил пистолет на пень и принялся тщательно увязывать найденную государственную вещь в носовой платок и прятать в нагрудный карман гимнастерки. Ему было скучно это делать и даже как будто перед кем-то неловко: ощущение близкого, очень близкого дыхания смерти было чуть головокружительно, тошноватенько, но гораздо значительнее всего того, что изо дня в день ожидало в дальнейшем председателя. Он глубоко вздохнул, как старый лось после краткого отдыха, не давшего чувства свежести и притока сил, натянул тяжелое драповое пальто на сутулые плечи и зашагал назад по старым следам через осевшие сугробы.

Он избегал грешной смерти посредством самоистребления, зато через много лет его старшая дочь, фельдшерица, однажды в летний золотистый вечер легла в траву под боком огромной поваленной лесины на краю укромной поляны, рядом положила баульчик с красным крестом, в котором носила свои сестринско-милосердные принадлежности,— и по этой сумке ее и нашли уже поздней осенью, а сама она вся поросла травой, и уже с трудом можно было различить очертания человеческого тела в сомкнувшейся над ним путанице травяной дернины. И непостижимая печаль, странность была в том, что, лежа под густым плетением трав, прижавшись плечом к громадному стволу палого дерева, она сжимала в истаявшей руке шприц, в котором еще оставалось немного прозрачной жидкости. Братья приезжали из армии в отпуск, чтобы искать исчезнувшую сестру, то один, то другой не раз проходил совсем близко от нее, громко выкрикивая ее имя, но сестра не отозвалась, она в безмолвии прорастала травами, и время покинуло ее. Ей было весело с этими братьями, когда они были маленькими, светловолосыми, ходить в лес за земляникой, купаться в реке. Она, как старшая, по очереди присматривала за ними, налаживала каждому первые в его жизни удочки. Но легкий укол иглою увел ее от всего, что стало для нее невыносимым,— девушка в светло-сером плаще, в синем берете, косо надвинутом на одну бровь, встретила меня тонкой придорожной липой в тот день и час, когда я, проходя с берестяным лукошком по местам ее одиноких прогулок, думал о странных способах жизни прекращать самое себя, о Деметре, не желающей жить, о крестьянах, навсегда разлученных с землею, и взор мой, отвлеченный невнятными, тревожными видениями, без внимания скользнул по темному стволу и негустой, уже местами пожелтевшей листве.

Липа... дерево печали, да какое же это дерево, когда вовсе и не дерево качается у дороги, а какая-то смутная тень корчится в тумане, и дороги-то никакой нет передо мною, а белая, невразумительная глубина громаднейшей тучи,— я медленно влеком ветром вместе с нею, и через какие пространства, на какой высоте от земли проходит мой неспешный полет, мне неизвестно. Равно неизвестным остается и то, кто же, собственно, я, упокоившийся в прохладном, влажном чреве облака. Не заботясь более, чтобы определить свою сущность и назвать ее, я мысленно благословляю все возможные небесные пути-дороги той доброй тучи, которая чревата мною, и уютно складываю на груди прозрачные лапки — их много, оказывается, у меня. Я сворачиваюсь в замечательный по самоощущению пушистый клубочек и ничего не желаю знать — какая-то там девушка в сером плаще... новый способ массового уничтожения людей... Я Гусеница Облачного Кокона, и мне нет дела до земных тревог и забот, я ничего не знаю о них, и все мои тайные надежды связаны только лишь с тем, куда

летит облако — в каком мире изольет оно меня из своего сытого молочного чрева.

Выпадение свое из общей системы вселенских закономерностей Николай Николаевич Тураев воспринял как рождение — смерть — свободу, переход в такое качество бытия, которое было равносильно н е б ы т и ю и при котором исчезало все человеческое — событийное. А Глеб Тураев то же самое определил как вхождение в заключительное состояние духа, каковой через все свое развитие подошел к моменту истребления самого себя, — и я не могу определить, кто из них более прав. Потому что, воплощаясь в деда, я вкушаю густую полынную горечь ничем не разбавленного абсолютного одиночества, и это хорошо содействует росту и укреплению во мне зыбкого, как миражи пустынь, мечтательного равнодушия к реальному злу человечества. Переходя же в духовность внука, я весь напрягаюсь во внимании, озлобляюсь и настораживаюсь, чтобы не упустить тот самый последний и самый важный для всего моего существования миг, когда я смогу прекратить эту безмерно длинную цепь гнетущих часов жизни одним ударом, в который вложу чувство великой правоты, истинности, торжества, победы. Моя гибель на земле, где я появился и возрос по воле Того, кто дает жизнь, может быть достойно отмечена тем мечтательным равнодушием, что познал я через Николая Николаевича, который в одну секунду выпал из всеобщих условий человеческого мира и с тех пор стал мечтать не о том, что будет или может быть, а о том, чего никогда не будет. Мое полное исчезновение может сопровождаться и тем головокружительным ощущением нового пути, который откроется сразу же вслед за неощутимым нажатием пальца на спусковой крючок автомата, или после того, как этот же палец прикоснется к кнопке пускового устройства межконтинентальной ракеты. Кинувшись ночью в колодец или в холодную осеннюю реку, бросившись вниз с подоконника одиннадцатого этажа, впрыснув сквозь пустотелую иглу шприца смертельного яда в руку, я, может быть, сумею пресуществить в действие и в поступок свое страстное желание н е ж и т ь. Но мне, как и Степану Тураеву, только что вытянувшему из колодца свою дочь Ксению, непонятно, что же будет дальше — вслед за этим беспощадным действием и непостижимым поступком любимого дитяти.

Сыну Степана, математику Глебу Тураеву, спустя много лет после смерти отца пришедшему в лесной угол, где раньше стояла отческая изба, а теперь находился кордон государственного заповедника, Глебу Степановичу Тураеву было уже предельно ясно, почему жизнь для него утратила смысл.

Математик смог вычислить карандашом на бумаге, что энергия зла на столько же превышает энергию добра, на сколько пространство вселенской пустоты превосходит объем всего вещества Вселенной. И так как добро не что иное, как идея, рожденная м а т е р и е й для своего продолжения во времени, то и зло, соответственно, не что иное, как идея, исходящая от космической п у с т о т ы для подавления дерзостного начала жизни. Но это значит, что возможностей большего, долженствующего поглотить меньшее, примерно в 10^{38} раз больше, чем возможностей этого меньшего отстоять себя после случайного появления на свет¹.

Выброс энергии, заключенной в атомном ядре, означает не что иное, как самоистребление вещества, то есть нахождение способа, которым достигается затаенное в глубинах материи желание н е с у щ е с т в о в а т ь.

Вещественный мир, включающий в себя все небесные тела, чувствует свою малость и случайность, как стыд и вину, и ему хочется

¹ Число 10^{38} взято из высказываний Циолковского.

скорее закончить свое пребывание в ничтожестве — перед враждебным миром небытия, который превосходит нечаянный мир слабого вещества во столько раз, сколько выражает собою никому не ведомое число:

100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Что я смогу противопоставить силе подобного превосходства?.. Мое существование почти не существует — оно мало настолько, что становится уже невыносимым. Что такое Лес как не зеленая плесень на поверхности остывшего круглого камня? Я не понимаю, зачем жизнь. Для чего ей надо было появиться? Я глубоко сочувствую всем деревьям, былинкам, мошкам, зверям и птицам Леса — им предстоит еще очень долго суетиться в устремлении своем жить, но я ничего не могу сказать им в утешение.

Вот уже стоит сентябрь, неяркое солнце первого месяца осени размыло все пестрые краски на лесной поляне, оставив лишь те, что близки к желтому цвету, напоминающему о бесшумном пожаре листвы. Я прибыл сюда несколько недель назад и только сегодня, воспользовавшись тем, что хозяин дома ушел с кордона на деревню, взял его ружье, зарядил картечью оба ствола и пришел к раздвоенной сосне, чьи изогнутые стволы напоминали древнегреческую лиру. Я не хочу сейчас торжественно прощаться с человечеством или, наоборот, слать ему проклятия, не испытываю по отношению к жизни ни любви, ни ненависти, не знаю никакой вины перед нею и не считаю, что предаю ее. Хорошо понимаю: когда свинцовой картечью снесет мне половину черепа, я не испытаю никакого удовлетворения, потому что в каждом осколке кости, в каждой капле разлетающейся по воздуху жижи моей будет содержаться все та же моя неизбывная горечь: Я ОДИНОЧЕСТВО.

И все же я доведу до конца то, что собираюсь сделать, потому что ничего другого для меня не остается. По-другому не выйдет, ибо все кругом, на что ни брошу взгляд, на каждом шагу все, что встречается мне, подтверждает правоту моей простой догадки.

Когда я шел из деревни на кордон, тракторист пахал поле, выворачивая лемехами мощных плугов толстые пласты земли, — и он, в серой телогрейке, краснолицый и сосредоточенный, приготавливал погибель этой серой почвы, истощенной Деметры Нечерноземья. Потому что со всей мощью механизированного оратая совершал все же работу могильщика, старательно погребал под слоем вывернутого наверх мертвого песка тоненький слой жизненного гумуса. Я прошел мимо — не мне было учить тракториста пахать.

Дорога далее шла через лес, мимо огромной вырубki — и там выглядело так, словно на этом месте взорвали небольшой мощности атомную бомбу: вся земля была содрана, корявые пни со спутанными корневищами вздыблены, полуповаленные чернотвольные ели косо торчали оборванными вершинами к небу. Тяжелыми колесами лесовозов были выбиты страшные колдобины и рвы, и живая дорога, по которой когда-то Николай Николаевич ездил от лесной усадьбы к деревне, была изнасилована, обезображена и убита.

Глеб Тураев прибыл в последний раз на лесной кордон в августе, к концу лета, — и вот он у раздвоенной сосны опустился на колени, поставил перед собою наклонно, прикладом в землю, егерское ружье, уперся подбородком в двудырчатое дуло и, протянув вперед руку, хотел нажать на спусковой крючок. Но это оказалось не очень-то удобно, приходилось сильно тянуться, нарушался надежный прямолинейный упор ствола в шею, под челюсть. Тогда он отломил от сухой сосновой ветки, валявшейся рядом, рогатую палочку и ею ровно и легко уперся в изогнутый крючок спуска, нажал несильно: и тут увидел своего отца, который появился возле раздвоенной сосны, отец был без своей неизменной темной кепки, в старом пиджаке, продран-

ном на локтях, с нашитыми вкосяк разными пуговицами, и седая голова его, коротко стриженная, беспокойно вскидывалась на вытянутой жилистой шее — он осматривал вокруг поляну, край леса и приближался быстро к сыну, еще не видя его.

Степан подошел почти вплотную к раздвоенной сосне и только тогда заметил сидящего под нею Глеба, который читал книгу, сын поднял голову на звук отцовских шагов и сначала рассеянно, потом все с большим нарастающим вниманием глядел на приблизившегося старика. Как изменился он, ходит горбится, и эта совсем белая голова, — неужто все ту же церковную книжечку читает, которую в сарае нашел, подумали одноминутно отец с сыном. Степан остановился и, пасмурно, спокойно глядя на сына, молвил нечто совершенно обыденное, что никак не соответствовало тому тревожному виду, с каким он только что поспешно шел через поляну: мол, каша готова, почему сын есть не идет, давно пора обедать. Глеб только что вчитывался в главу о Преображении и думал, что, пожалуй, без Преображения невозможно было последующее развитие христианства. В деревне был, передали письмо от Ксении, сообщил сыну старик, а вот Антон уже год как не напишет, равнодушным голосом посетовал он.

Да, если бы не это предстание в небесной славе в глазах учеников и чудесное преображение утлого человеческого существа в ярчайшее световое тело, в космическое явление высшего разряда, вряд ли слабые души апостолов выдержали впоследствии обыкновенное человеческое поражение и позорный конец своего Учителя на деревянном кресте. Ксения пишет, продолжал между тем старик, что в конце августа сможет приехать, заодно поможет убрать картошку, так что в июле я с тобою не поеду, да и что мне делать в городе летом... Повидался с тобой, и будет с меня. Отец... Воспоминание о Славе Отца помогло ученикам его преодолеть самый убийственный факт жалкой смерти Того, кто обещал им Царство Божие еще при их жизни, — и с того времени прошло почти две тысячи лет.

Какие-то невнятные тени промелькнули под сенью высоких сосен, стоящих по дальнему краю поляны, старик и его сын безмолвно обернулись в ту сторону и вгляделись — тени прошли неровным строем и вскоре растаяли в синеватом воздухе лесной полумглы. То были плененные татарским воинством русские люди — мужчины, женщины и дети.

Среди ведомой в единой связи, предлинной — о две сотни человек — живой людской цепи шли два предка Тураевых, тоже отец и сын. Через некоторое время, пройдя часть дневного перехода, колонна будет посечена почти на половину своего состава, и отец в суматохе бросится на землю, притворится мертвым, и сына уведут дальше, а к лежащим на лесной дороге окровавленным трупам выйдут псы-людоеды. Одна из одичавших собак, темно-рыжая, лохматая, громадная, как медведь, подойдет близко к мнимому мертвецу. Но пока этого еще не случилось, и псы бесшумно крадутся вослед печальному каравану, вынюхивая на тропе следы своих уводимых в плен хозяев, а измученный отрок, чьи руки стянуты за спиною, с тоской глядит на лохматый затылок своего родителя и, не вынеся больше муки, ломким голосом зовет: «Тятя!» Отец не приостанавливается и не отвечает, его шея также захвачена грубым вервием и притянута, как и у каждого в цепи, к связанным рукам впереди идущего. «Тятя, родименький, больно», — плачет на ходу, спотыкаясь и дергая веревку, соединяющую его и длиннобородого старика сзади, который от рывка за шею только кряхтит терпеливо и шепотом стенает: «Господи! Спаси и помилуй христиан! Чего ж ты не заступисе...» И хотя отец не отвечает мальчику, сын видит по тому, как клонится знакомая голова родителя и напрягается его шея, что тот все слышит и испытывает великую душевную муку. Отроку не делается легче от этого, но все же вид скорби молчащего отца, его неровная поступь с низко опущенной

на грудь головою как-то утешительны для детского сердца. От этого плачущего мальчика будет продолжение во времени той человеческой веточки, которая даст дворянский род Тураевых: на татарской чужбине полюбится он одному князю, который вырастит его на свободе как своего сына, назовет его Тураем и потом назначит баскаком — управляющим над тем округом, откуда мальчик был уведен в плен. От него родятся сыновья Хаким и Назар, от Хакима, или Акима порусски, будет двенадцать сыновей и четыре дочери. Назаровы дети тоже окажутся не в малом количестве — шесть дочерей и два сына. Ерема и Фока, от которых соответственно было по три и четыре сына: Лука, Демьян, Пармен, Силантий, Сысой, Саввушка, Тит, от последнего Игнашка и Милован, от Милована Григорий, Михаил, Родя...

Все эти тени, мелькающие в моих глазах, обретают смысл бытия и жизнь, только если будут расположены в надлежащей последовательности во времени, что и создает рисунок большого родового древа Тураевых. Степан Николаевич Тураев, прибежавший с непокрытой головою к двурогой сосне на краю Колиной поляны, на самом деле искал сына Глеба не для того лишь, чтобы позвать его к столу съесть хорошо упревшую в русской печи рассыпчатую пшеничную кашу, — нет; старику, прикорнувшему на теплой лежанке после ночной охоты, приснился очень неприятный сон. Будто Глеб, гостивший у него, взял тайком шведское ружье, подарок другого сына, Антона, и отправился на край Колина Дома, к двойной сосне, чтобы там без помех застрелиться. И во сне Степану Николаевичу все мотивы подобного решения сына были хорошо известны. Пробудившись, Степан, ни секунды не медля, соскочил с печки и отправился искать Глеба и нашел его там, где искал, но только не упирающим дуло ружья себе в шею, под нижней челюстью, чтобы с помощью рогатой палочки спустить взведенный курок, как было во сне, а увидел его с книгою в руках, внимательно и спокойно глядящим в его сторону. И то, что он сообщил сыну о письме Ксении, кроме прямого смысла имело и скрытый, касающийся глухой тревоги отца по поводу ее давнишней попытки самоубийства: дочь собирается приехать, ей уже под тридцать лет, она не замужем, что еще может выкинуть одинокая баба, которая в девятнадцать лет пыталась утопиться в колодце? Бессильная тоска мгновенно захватила душу отца, которому было неизвестно, как спасти своих детей. Не мог Степан поведать сыну об этой неизбывной тоске, она протянулась через века времен сама по себе — живая нить душевного страдания, на которую были нанизаны самые разные люди, бывшие, в сущности, одним человеком, и каждый из них, не ведавший остальных, по отношению к ним является тенью, и все они были тенью друг для друга. Смотрел Степан на дерево, под которым более трех десятков лет назад и он сидел, прислонясь головою к корявому стволу, кряжистому у корня, наверху же разбегающемуся двумя стройно прогнутыми гладкими рогами золотистого цвета. Он ждал тогда смерти, обыкновенной человеческой смерти от ранений, от полного истощения телесных и духовных сил, а теперь сын его сидел там же и хотел того же, и смотрели они друг другу в глаза и разом отводили их в сторону, как бы стараясь скрыть то, что было и так понятно каждому.

А подходивший все ближе к поляне, где будет кровавая расправа, пращур их вслушивался в протяжные крики конвойных татар, чуя в них что-то новое, какое-то злое оживление, и сын его, будущий Турай, ощутил в зримом в двух шагах затылке отца какое-то чрезвычайное напряжение, так же как и далекий потомок его, Глеб Тураев, увидел в облике отца, остановившегося перед ним, признаки сильного душевного смятения. Между ним и отцом произошел безмолвный обмен взглядами, и первым отвел глаза Степан Николаевич; чего это он взялся читать божественное, подумал он о сыне, который тоже потупил глаза, переводя взор к своим коленям, где лежал раскрытый

дряхлый экземпляр Нового завета. Старик совсем сдал, надо его обязательно забрать в Москву, решил он и, захлопнув книгу, поднялся с земли, укрытой толстым слоем сухой иглицы. Нет, надо будет все бросить и переехать сюда к нему, ведь он в город не поедет, хоть перед смертью поухаживать за отцом, а то ведь умрет в лесу совсем один, как старый лось.

Но Глеб тогда не бросил все в городе и не поселился у отца, чтобы жить с ним в лесу и допокоить его старость, так же как и Степан не принял его приглашения жить в Москве и, как пращур их, не обернулся к сыну, чтобы взглянуть на него в последний раз: уже раздались предсмертные вопли по всей длинной колонне пленных, началась сеча безоружных и связанных мужчин, которые никуда не могли убежать и, лишь мечась в отчаянных порывах из стороны в сторону, валили наземь снизанных вместе с ними женщин и подростков.

Когда Степан Тураев, падая на серый мох под молодыми соснами, бросил последний взгляд на зеленую лесную поляну, Глеб Тураев в своей московской квартире, совершенно не думавший в эту минуту про отца, вдруг увидел его перед собою таким, каким он являлся однажды возле раздвоенной сосны: в старом пиджаке, с седой непокрытой головою, ссутуленный. В последний свой день Степан Тураев с трудом выполз из дома и, опираясь на случайно оказавшуюся под рукою палку, побрел через всю поляну к раздвоенной сосне. Как будто ничего не было между тем днем сорок пятого года и этим, только тогда он плевался на мох кусочками крови, а теперь, хватая воздух широко раскрытым ртом, Степан чувствовал такую сильную боль с левой стороны груди, будто обжег там электричеством, — и вернулась к нему смертная готовность давнишнего времени. Но, может быть, и действительно ничего не было — не прожил он никаких сорока лет, не женился никогда, не имел детей, и он сейчас дойдет до сосны, сядет под нею и отхаркнет на зеленый мох алый студенистый кусочек. В одном была полная, несомненная ясность: он бредет, пошатываясь, через эту поляну к двурогой старой сосне, чтобы у ее подножия принять то, что у людей называлось смертью. Поэтому он и не хотел никуда уезжать отсюда — долг умереть под сосною повелевал ему побеждать все отвлекающие соображения и задушевные чувства, например желание хоть раз повидать внуков, живущих в городах.

Значит, все-таки есть у него внуки? Были, значит, и эти сорок лет жизни, которых как бы совершенно не было? Степан Николаевич обнаружил в себе еще одно никогда раньше не осознаваемое им чувство: ничего не было жаль, потому что вся жизнь неизвестно куда улетучилась к тому мгновению, когда он, сдерживая боль в груди, шел к раздвоенной сосне. Возле самого дерева, когда Степан уже протянул руку, чтобы коснуться ствола, татарин подскочил и с ходу обрушил свистящий меч на склоненную голову длиннородого старца, шедшего на привязи вслед за мальчиком, и старец упал меж спутанными веревками полузадушенными, бьющимися на земле телами. Степанов пращур тоже повалился среди них и, весь измазанный чужой кровью, закатил глаза и оскалил зубы — не просто притворился мертвым, а как бы на время действительно превратился в мертвеца.

Когда Степанов пращур очнулся, то увидел в двух шагах от себя лохматую бурюю зверину, слизывавшую кровь с шеи старика, вся борода которого была вымазана этой кровью и слиплась в длинную красную сосульку, — но в следующий миг уже не было никакого зверя, лохматой собаки, а удивленные конвойники подошли и окружили Степана, слегка попинывая, с трудом веря тому обстоятельству, что столь основательно изломанный прикладами труп мог ожить. И теперь они снова примутся пинать его ногами, обутыми в сапоги с короткими голенищами, с железными подковами на подошвах, бить

полуметровыми резиновыми шангами, но все равно должно пройти больше сорока лет, чтобы пришло это ясное последнее чувство — не жаль ничего. И Степан не понимал на протяжении всех сорока лет, дозволенных ему судьбою для проживания главного срока своей жизни, зачем ему это надо было, — он ни у кого жизни себе не просил. И четыре десятилетия выданы были не ему, в сорок пятом году пришедшему умирать на Колин Дом, а кому-то другому, но, может быть, и никому — просто не было ничего этого, и мелькнули какие-то тени на опушке леса, и шевельнулась хвоя небольших елок, растущих там.

Бежавший вместе со своей собакой пращур Тураевых, обучившийся столь искусно притворяться мертвым у лис и барсуков, вышел вскоре к родовому пепелищу, остатки которого дымили на земле безобразными грудками горелых бревен. Остановившись в сокрытости густолесья, беглец настороженно осматривал закопченный пустырь, позади которого светилась чистой зеленой просторная пашня. И только он хотел выйти из леса, как был остановлен странным рычанием и одновременно щенячьим повизгиванием Басея, вслед за чем собака попятилась, повернулась и нырнула под елки, темные лапы которых качнулись и прикрыли след исчезнувшего пса. Настороженный беглец вновь обернулся к пепелищу — и тут увидел движущиеся светлые тени, едва читаемые в воздухе, такие же расплывчатые, как этот дрожащий над черным пожарищем дымный воздух.

Находясь между смертью и жизнью, пращур тураевского рода узрел над дымной гарью длинным строем двигающуюся толпу людей и порешил, что это души убиенных татарами христиан идут смиренной ватагой в сторону Царства Небесного; и, пожелав себе такой же участи и люто позавидовав недавним землякам своим и родичам, кои были все вместе, душа человека вновь исступленно от жизни метнулась к смерти.

Там, на выходе из леса к деревенскому лугу, шагах в семидесяти от конной тропы, таилось среди зеленых кочар бездонное болото, окном гладкой воды к небу, в безмолвии елок и ольховой черноты, окружавших этот гиблый тряс, — туда и понесся со всех ног тураевский пращур, торопясь скорее, скорее догнать шествие душ, которым было вовсе не страшно жить и ничуть не одиноко, ибо они привычным миром, артельно шли на суд Божий. И тот, кто остался цел благодаря искусству притворяться мертвым, мгновенно позабыл обо всех стараниях своих ради живота и с разбегу, не замедлив, но ускорив свое одинокое продвижение к концу жизни, прыгнул вперед, и пролетел над верхушками трав, и обрушился на кроткую гладь болота всей грудью, и лицом, и распростертыми руками. Он не сразу исчез под водою, ибо она прикрывала бездонную толщу жидких грязей всего лишь на пядь, он побарахтался в сверкающей черной жиже, извиваясь, словно бобр на поверхности омута, — принимая последнюю муку. А когда эта мука закончилась, душа его оказалась там, куда она стремилась.

Позабыв о своих отчаянных попытках многовековой давности, она не задавалась вопросом, почему ей не стало лучше и почему оказалась вновь в плену, — опять ее с проклятиями гнал конвой по безрадостной дороге, на сей раз по зимней. Колонна призраков иного века, проходившая тем местом, где когда-то дотла сгорела древнерусская деревушка, над которой сомкнулся Лес, — колонна оборванных, со страшно обмороженными лицами, сгорбленных людей в дырявых шинелях болотного цвета была колонною немецких военнопленных, пригнанных в Мещеру на лесозаготовительные работы.

Самоубийца, устремившийся от одинокого страха жизни в погони за толпою родственных призраков, не ведал о своем переселении в Ральфа Шрайбера, когда-то солдата, а ныне военнопленного из быв-

шей армии фельдмаршала Паулюса,— также и Ральф Шрайбер, когда прорастет из мещерской земли стройной сосною, не будет знать о своем грустном прошлом. А в тот миг, когда покачнулась подрубленная им ель, в которой возродилась уже пятым разом душа того, кто захлебнулся в болотной трясине и затем много веков подряд возрождался только и только елью,— когда узкая верхушка дерева, вздрагивая, пошла в сторону и затем, страшно ускоряясь в своем пролете, столетний кряж стал падать среди тоскливо замерших соседей, Ральф Шрайбер, стоявший с топором в руке, запрокинув голову, обмотанную запасными портянками и сверху накрытую военной пилоткой,— Ральф не заметил ничего особенного, только на мгновение почувствовал тупой укол в недрах правого плечевого сустава с отдачею в шею. Это от работы болит плечо, успокаивая себя, подумал Ральф,— и вдруг накрыло его внезапно душевное смятение необычайной силы.

В мирное время столяр-краснодеревщик, веселый человек с незлобивым характером, Шрайбер доселе и не ведал подобных чувств. Но непредвиденное свершилось, и Ральф Шрайбер ощутил лютейшую тоску, сразу отбросившую веселого краснодеревщика из Потсдама в мир существ, у которых оскал тоски, злобы и улыбки невероятным образом выражает надежду выжить, уповая не на Христа, или деву Марию, или на каких-то других богов, а всего лишь на клочок мерзлой свиной кожи, которую удалось выменять у местного крестьянина за изделие из можжевелника — вычурную тросточку с рукоятью в виде изогнутой ногой женщины. Новая тоска была для сознания Шрайбера недоступною в ее определении, и она выражалась в крайних, невыносимых мучениях души, которая как бы вступала в непримиримую борьбу со всем тем, чего желало и жаждало тело. Он оглядывал зимний лес, стоявший над снегами и словно вымазанный тусклыми серыми красками, и ему было так дико и бесчеловечно, что сразу стало ясно: из этого состояния путей назад, к прежнему существованию, нет. Конвойный Обрезов, мелькавший за деревьями возле синего дыма костра, не знал того, что ему предстоит сделать всего через пять минут. Этот Обрезов уже собственноручно застрелил не одного пленного якобы при попытках к бегству и известен был тем, что съедал за один присест весь дневной запас жиров, предназначенный для двухсот пятидесяти военнопленных. Он же забирал все крупные продукты, зимнюю одежду, инструменты из склада лагеря и, погрузив все это на сани, отвозил в соседние деревни, откуда и доставлял для конвойной команды самогон в молочной фляге... Когда Ральф, не приступая к обрубке сучьев, перешагнул через ствол поверженной ели и по просеке направился к чащобе нетронутого леса, сержант Обрезов хриплым голосом окликнул его.

И на этот раз, когда Обрезов поднял на уровень плеча тяжелую длинную винтовку и она выпалила снопом мгновенного огня и грохота, словно старинная пищаль,— догонная пуля попала немцу в затылок и вылетела сквозь правую надбровную дугу, пробив в ней большую дыру,— и на этот раз было ясно Ральфу Шрайберу, что далек еще путь его до дома на окраине Потсдама. Но чтобы перейти на пролетающую мимо снежинку, покинув падающее истощенное человеческое тело, и на этом пушистом парашюте плавно спуститься на землю, а там и слиться, затеряться в сонме других снежинок, а весною растаять и в капельке воды проникнуть в сосновую шишечку, под ее чешуйчатый панцирь, к семенам, приготовившимся пустить ростки,— на это не понадобилось душе никаких особенных усилий, кроме тех, которые и необходимы ей для перелета с плеча человека на зубчатое колесико летящей мимо ледяной звездочки.

Туча, пролетавшая над Потсдамом летним днем 1986 года, излила вместе со всем щедрым ливнем и одну крохотную водяную дольку, в которой содержалось несколько атомов душевной тоски и колющей

боли в недрах правого плеча, чем были отмечены последние минуты жизни Ральфа Шрайбера на лесной мещерской земле. Под террасами парка, расположенного вокруг дворца Сан-Суси, проходила худощавая немолодая женщина с поникшими плечами, с аккуратной завитой головой и ярко подкрашенными губами, и женщина эта, дочь Ральфа Шрайбера, работающая в музее, озабоченным взглядом провожала ход дождевых туч в небе. Ей не дано было знать, что в нескольких тысячах тонн воды, что изольется на Потсдам и его окрестности, будут содержаться наконец-то долетевшие до своей родины разрозненные атомы страданий ее отца, который погиб в плену, на лесных разработках в мещерском краю срединной России. С удовлетворением думая о том, что дождевой зонт (взяла так, на всякий случай) теперь, кажется, весьма будет кстати, женщина на торопливом ходу, отличающем ее деловитость от подчеркнутой праздности мимо идущих туристов, пережила мгновенный отголосок особенной могущественной тоски; когда она обнаружила, что в уголке ее глаза набухла необъяснимая слеза и сердце сжала совершенно беспричинная боль, женщина остановилась и, отвернувшись к куртинам ярких цветов, старательно посаженных садовниками вдоль аллеи, вынула из сумки зеркальце, носовой платок, губную помаду — привела себя в порядок и поспешно зашагала дальше.

Ральф же Шрайбер и двести пятьдесят его союзников лесного лагеря стали теньями для тех, что сами станут теньями по истечении определенного времени; кусок сырой свиной кожи размером с мужскую ладонь Ральф Шрайбер мог отдать соседу по нарам Мартину Кристельбрудеру, но все равно тот уже не вышел бы из состояния дистрофической апатии, и кожу Ральф не отдал Мартину, а сварил в котелке и съел сам. Ральф прожевал и проглотил хорошо проварившуюся, мягкую кожу вместе с торчащей из нее щетиной, затем выпил весь бульон до капельки — Кристельбрудер не сделал ни малейшего движения во время всей этой акции. Мартин Кристельбрудер молча сидел рядом и смотрел неподвижным и странным взглядом — он уже две недели не выходил из барака, не становился в строй рабочих, собиравшихся выйти на лесоповал, оставался в лагере и, значит, не получал той порции горячей пищи, что готовили в полевой кухне из остатков продуктов, которые сержант Обрезов не успевал съесть сам или свезти в деревню.

Однажды Кристельбрудера погрузили-таки на деревянные салазки и увезли двое добровольцев; заочневший доходяга уже несколько дней лежал без всякого движения, лишь редко вздыхал сквозь оскаленные зубы, а в этот день, придя в темноте вечера с работы, зажгли керосиновый фонарь и увидели, что бедняга уже готов и дышать перестал. Кристельбрудера увезли, а Ральф Шрайбер, его сосед по нарам, проснулся утром от холода, стоявшего в бараке, и, обернувшись, увидел сидящего на старом месте соседа. Ральф не посмел никому признаться в том, что ему мерещится призрак: уставясь неподвижными глазами из пещер черепных впадин, завешенных густыми свисающими бровями, Мартин внимательно смотрел на суетившегося соседа. Вечером тень была на своем месте, и так продолжалось несколько дней, пока не пригнали новенького, повара из мытищинского лагеря военнопленных, место на нарах занял пожилой Шульман.

В последнюю минуту жизни, когда Ральф с топором в руке шел через открытую вырубку к чащобе леса, он обводил внимательным взглядом строй темных елей, ожидая увидеть где-нибудь между ними загаившуюся сутулую фигуру дистрофика, но Мартина Кристельбрудера он не увидел, а, как только пуля пробила ему затылок, увидел надвигающуюся на него черную громадину звериной туши меж стволами деревьев леса.

Однажды утром сосна, которую спилил бензопилою Степан Ту-

раев, пала верхушкой меж двух берез и зависла, и дерево, когда-то родившееся взамен погибшей души немецкого военнопленного Ральфа Шрайбера, передало свою тоску Степановой душе, и в последней зашевелились, прорастая, какие-то неведомые ранее, страшно далекие, неуправляемые чувства. Степан вырубил березовую вагу, стал подводить конец под комель зависшего дерева, чтобы шевельнуть его, и здесь почувствовал, что сильно кольнуло в правом плече и отдало в шею, он выпрямился и, опираясь на березовую жердь, стал пережидать; но не сразу прошла боль. За те минуты, что Степан праздно стоял, глядя куда-то в пространство перед собою, он пережил лагерное томление весною, когда все те, кому удалось уцелеть в зиму, начали отогреваться в тепле солнца, и многие, утерев жесткую и постоянную деятельность для сиюминутного выживания, ослабились, — это сразу повлекло за собою массовые болезни, и общий мор, приостановившийся было к концу зимы, после таяния снегов опять набрал силу.

Постоянная борьба с холодом-смертью держала узников в том напряжении, которое не давало им отвлекаться на осознание своего положения, а оно было таковым — и это Степан только сейчас почувствовал, — что всякое представление о достоинстве не то чтобы менялось, а вовсе исчезало, и человеческое существование представлялось ничуть не значительнее, чем жизнь серых крыс; для такого постижения достаточно было с тоскою вялого умирания в крови, в костях, во всех жилах и связках тела проползти по вытопанному до каменистой гладкости двору концлагеря, пытаясь найти где-нибудь в узеньких щелках земли зеленую розетку травяного побега или шнурочек еще не выковырянного корешка. Крупные крысы с красивой, гладкой шерстью, весьма бодрые и самоуверенные, часто встречались на пути ползущего человека, и действительно становилось совершенно ясно, что у крыс жизнь намного вернее, чем у людей, ибо для последних особенную муку существования перед очевидным концом составляли тысячи ядовитых укусов поруганной совести, страдания от сознания собственной низости, боль за тех, кого приходилось любить, обида за то, что добрый Бог со всем своим добром и милосердием оказался ничтожным перед мордастым сержантом конвоя.

Степан Тураев не заметил, что в мире его духовности появилась фигура, впервые им созерцаемая: сержант Обрезов на секунду предстал перед ним, словно один из многочисленных мучителей в его прошлом, которых душа запомнила как одно общее обозначение исчадий ада; боль в плече медленно отпустила, и Степан Тураев вновь взялся за рычаг из березовой жердины. Он сдвинул комель спиленной сосны, и пружинисто выгнутая вершина ее сорвалась из зацепы и, сламывая свои и чужие ветви, рухнула вниз. Сосна окончательно погибла, пала на землю, и Степанова душа, воспринявшая заботы, страхи и тяжкий крест чужих судеб, переданные ему павшим деревом, ощутила некий темный гнет, и Степан принялся за обработку срубленной лесины в какой-то неизъяснимой смуте чувств. Он взялся сегодня заготовить лесу для нового свиного хлева (прежний развалился, как старая поленница), но работа не шла, и чего-то внезапно разболелось правое плечо, и думы стали одолевать трезвые и ясные: скоро же умирать, кому нужно подворье в лесу? Степан Николаевич оставил дерево с необрубленными сучками, заткнул топор за пояс, взял бензопилу «Дружба» на горб и направился домой.

Красномордый сержант конвойной службы Обрезов вызвал на вахту Ральфа Шрайбера и učinил ему один из обычных своих допросов, скука и тупость которых были настолько вопиющими, что сам допросчик сидел на табурете и время от времени свирепо зевал, раздирая до потолка свою желтозубую прокуренную пасть. Степан Тураев знал, побывав в нескольких концлагерях, эту привычку малых

по чину стражников испытывать свою беспредельную власть на узниках посредством строгого начальнического иска и проникновения испытующим взором до самого дна нечестивой души, где, таясь во тьме, зреют преступные замыслы. Не раз мучительно мучали Степана эти мелкие душонки своими самолюбивыми, пакостными допрашиваниями, но он старался поменьше говорить или же тупо отмалчивался, зная, что в худшем случае будет избит, как скотина, но зато останется жив и, главное, не станет предметом мстительного внимания маленького человека, заполучившего огромную власть над чужою жизнью.

Чем-то от холодной подземной тоски таких окаянных бесед повеяло на склоненную седую голову Степана Николаевича, от того времени, когда и он проходил славную школу своего века. Обрезов допытывался у громадного, костлявого, со страшно втянутыми щеками Ральфа Шрайбера, не хочет ли он снова пойти в деревню ремонтировать печки у баб. Этим вопросом сержант подводил к коварному моменту, чтобы спросить, а куда он, немчура проклятая, девал можжевелевую палку с загнутой ручкой в виде голой бабы, стоящей раком, и на что он променял эту палку. Допрос сей происходил накануне того дня, когда мгновенная решимость тураевского пращуря передалась полуживому от тягот мировой войны, от вражеского плена, русского холода и общечеловеческого тоскливого голода нещадному военнопленному.

Чудом избежавший гибели под татарским булатом человек, мощный зверолов, ходивший с рогатиною на вепря и медведя, вдруг через час после своего спасения кинулся головою в трясину; а Ральф Шрайбер, еще на днях жадно съевший утаенную от сержанта свиную кожу вместе с щетиной, направился к запретной зоне и неторопливо, ровно зашагал через просеку, не ворочая головою, в правой повисшей вдоль тела руке держа топор, который он получил при входе в рабочую зону и должен был сдать при выходе. Единый темный Зверь Жизни, которого узрел Ральф Шрайбер в то мгновение, когда винтовочная пуля разбила ему голову, пройдя от затылка к правой надбровной дуге,— Зверь промчался мимо него, словно темная гора, и скрылся на дальнем краю просеки.

Степан пришел домой и, сняв телогрейку, сбросив сапоги, полез на печь, позабыв, что она не топлена, и ощущение холодных кирпичей под руками как бы подтвердило все его несчастье, которое заключалось в том, что, несмотря на троих детей и долгие годы уединения в лесу, он все время ощущал где-то очень близко вот такую же, как эти кирпичи, мертвую и холодную подоплеку жизни. Невыразимым тайлось в нем знание, добытое ценою пережитых ужасов и чудовищных болей, оно без всяких обиняков подводило Степана Тураева в пору его старости к мысли, что всякая погибель жизни — на земле и, очевидно, равно вне Земли — есть дело облегчительное и совершенно не содержащее в себе чего-то страшного, как представлялось ему в детстве, отрочестве и юности. Вернуть ся... вот что померещилось ему сегодня вслед за той минутой, когда он грызущей цепью бензопилы прервал жизнь нестарой стройной сосны и она, покачнувшись, пошла, пошла вершиною к земле... Вернуться к чему-то, что гораздо лучше, истиннее жизни,— вот что таит в себе этот настойчивый зов!

Если бы не было зовущего голоса антимира, то деревьям человеческого Леса незачем было бы терпеть однозначность собственных преступлений. Но я-то знаю, что никому из моих деревьев не удастся никуда вернуться, точнее, я этого не знаю, лишь полагаю, что не удастся, потому что если каждое срубленное дерево или умерший человек все же воскреснет дня через три после своей гибели, то все равно он не вернется назад, в свой прежний мир, где он столь счастливо бродил со своими учениками. Не говоря уж о том, что не

вернется в допрежний, где ему приходилось существовать в виде лучистой энергии,— он окажется в совершенно ином мире, где нет моего одиночества. Вся множественность жизни Леса не сможет в каждом своем элементе избежать той же участи — одиночество мое неисчислимо раздроблено, и опыт моего страдания повторен в бесконечных вариантах. Да, я рождался и умирал во всех своих деревьях, но все эти рожденья, жизни и смерти не прибавили к моему незнанию ничего. А что они могли прибавить, если в каждом из них это я рождался, жил и умирал, — каждый из них лишь повторял мою бесплодную, причудливую игру в бытие. Но, рождаясь, я всякий раз ожидал увидеть себя иным, но, умирая, я всегда надеялся воскреснуть. И что же, что кроется за этим моим самым темным, самым тяжким желанием — больше не рождаться, не жить и не умирать?

Опьяняясь мысленным представлением инобытия, которое откроется мне, если удастся покончить с собой, я вхожу в противоречие со своим созидательным творчеством — и странным, жалким выглядит тогда мой обреченный Лес на земных холмах и долинах. Напрасным окажется тот удивительный ход в моей игре, когда некоторой части деревьев Леса дал я взамен корней, крепящих к земле, проворные ноги. И самым бесплодным будет высший взлет моего творчества, когда я решил одному из видов двуногих дать то, чем сам владею, — способность мыслить. Ибо, почувствовав неизмеримое преимущество над всеми другими тварями, мыслящая тварь немедленно приступила к созиданию своей истории, которая с самого начала являет собою абсолютно верный, последовательный путь самоистребления. В проявлении подобного грустного, безнадежного качества сказалась — не могла не сказаться — коварная наследственность. В чем же можно винить бедные деревья, если сам их Отец-Лес несет в себе фундаментальное противоречие: мощную идею существования, неуклонно переходящую в великую страсть к небытию?

Степан Тураев был бы счастлив узнать, что он все-таки добред до двуствольной сосны, пал у подножия ее и умер от полной остановки сердца. Сыновья его, Глеб и Антон, не успели приехать на похороны, дочь Ксения одна хоронила сильно подпорченное лесными мышами и лисами отцово тело, обнаруженное Неквасовым, деревенским учителем, через много дней после смерти лесника. Так что в свой следующий приезд на Колин Дом Глеб Тураев свидетелем уже не с живым отцом, а с песчаным могильным холмиком на краю деревенского кладбища. То искаженное и гнилое, что находилось под землею, в ящике из соснового теса, уже никак не могло отозваться на отчаянные мысленные обращения сына к отцу, и уже никому, никому не стало известно о том, что в ночь перед днем своей кончины Степан Тураев снова, как в молодые годы, сходил на свою необычную охоту — без ружья, ножа или просто палки в руке.

Глебу Тураеву, с сухими глазами предававшемуся скорби над могилою отца, казалось в ту минуту, что никакой тайны смерти нет, как нет ничего удивительного и красивого в лиловых цветах недогрой, в большом изобилии растущей меж могилами. И на всем погосте с их деревянными и железными оградами, с каменными и металлическими надгробиями не было никакого духа тайны — Глеб с унынием озирался, чувствуя глубочайшее проникновение в его душу тяжелой, холодной субстанции одиночества. А вокруг него теснились, громоздясь высокими пирамидами нарастающего роя, проникавшие друг сквозь друга неисчислимые тени. От густоты их присутствия даже пришел в движение воздух кладбища: тени после своих стремительных продвижений оставляли, наверное, мгновенные пустоты в пространстве, которые тут же заполнялись вихрящимся воздухом. Мир, населенный теньями, тесным образом связывался с другим, который привычен деревьям моего Леса.

Несколько лет спустя после смерти отца в московской квартире Глеба встретились он и его брат Антон, военный моряк Северного флота. И опять вокруг густо роились тени, которых не замечали братья, и одна из них, может быть, бывшая когда-то их отцом, Степаном Тураевым, неподвижно зависла над креслами, в которых сидели Глеб и Антон. Словно дирижер, тень эта руководила ходом сложного разговора братьев, которых в детстве соединял отчий кров, а впоследствии уже ничто не соединяло. Тень, которая прислушивалась к их словам,— это был Гость из пустоты, он время от времени навещает меня, появляется в самое неожиданное время и загадочно себя демонстрирует — тень среди всех моих теней, сфинкс тьмы и пустоты, куда меня столь властно тянет. В разговоре братьев, Антона и Глеба Тураевых, мы с Гостем тоже участвуем — в произносимых ими словах таится наш подтекст.

У отца были ордена и медали, сказал Антон, да, были, но Ксения говорила, что нигде не нашла их, отвечал Глеб. Неизвестно, куда подевались. Только при чем тут ордена, Антон! Ведь ты же ни разу у него не был с тех пор, как уехал, так почему тебя ордена его интересуют? А потому, что старика уже нет, а память о нем должна остаться, вот я бы на память и взял его ордена или хотя бы одну медаль. Антон, какую медаль? Тебе же говорят, что ничего не осталось. Ничего. А ты как будто и не понимаешь. Да, не понимаю. Куда они могли деться? Сами по себе ордена никуда не могут деться, правильно? Значит, их кто-то взял. Ну, предположим, ты прав, кто-то их взял. Тогда вопрос возникает: кто же? Ксения или я? Они нам не нужны... Да и что все это значит? Неужели, Антон, ты думаешь, что это мы? Я так не думаю, Глеб, но где же ордена?

И тут я мысленно обращаюсь к Гостю из тьмы с вопросом: может быть, это вы утащили ордена и медали ветерана? Ведь у вас в пустоте таких вещичек, наверное, нет. Гость из тьмы, вы пришли ко мне на свет, чтобы посмотреть, как устроена наша жизнь? И вот вам одна из наших загадок — разговор братьев об орденах и медалях отца. Антон, что значат ордена, если отец умер, умер, понимаешь? Умер или не умер, а ордена есть ордена. Он их заслужил на войне, за них кровь проливал. Это ведь и ужасно. Что ужасно? А то, что кровь проливал. Свою и чужую, и за это ему — награды. А что тут такого удивительного? Не понимаю. (Гость из пустоты, я вижу, также ничего не понимает.) Человеческие войны — это попытки человечества совершить самоубийство, надеюсь, это понятно тебе? Нет, непонятно. Ну что ж тут непонятного: посмотреть на человечество как на единое целое... А зачем, Глеб, смотреть на него как на единое целое, если оно вовсе не такое? Если бы оно было не таким, то ничего хорошего, связанного с людьми, не следовало бы ожидать, Антон.

Гость из пустоты, вы как? Воспринимаете мысль одного из братьев? Он полагает, что Человечество имеет смысл и вселенское право на самостоятельность только лишь как Единая сущность. Ему представляются, в отсвете красоты и высшей гармонии, не забывшиеся в отдельные подземные бункеры из непроницаемого железобетона некие беспощадные, очень умные господа и их не менее беспощадные жены и отпрыски — представляется ему летающее вокруг земного шара замкнутое роение Человечества, где каждая пчелка одета в золотистый бархат, с цилиндром на голове, и на круглой физиономии сияет улыбка...

Гость непроницаемой тьмы! Вы понимаете сами не хуже меня, что звезды и планеты мельтешат в зажмуренных глазах спящего зверя, черного льва межгалактических пространств. Вселенная — это всего лишь мгновение непробудного львиного сна, украшенное хором дружных искорок, связанных меж собою гравитационным притяжением. И что такое в этой феерии огромных огней Единое человечество, о котором хлопочет один из братьев? И что такое уте-

рянные награды покойного отца, о чем беспокоится другой брат? Ты, Глеб, со своими абстракциями когда-нибудь загонишь себя в тупик, кричит один из них, офицер в черной морской форме, сухощавый, хорошо подстриженный, пахнущий французской туалетной водою, на своего брата, кудрявого бородача с тоскливыми глазами. Ты не можешь ответить на простой вопрос, куда делись отцовские ордена, ты сразу воспаряешь в космос или сворачиваешь к Единому человечеству.

Антон в тот вечер не ночевал у брата — по случайности оказалось, что его приятель, бывший сослуживец, живет в том же доме, что и Глеб, и даже в том же самом подьезде — на одиннадцатом этаже, откуда бросилась и разбилась, упав на бетонный козырек над входом, молодая женщина в матросской тельняшке. Хозяин квартиры уже отбил к тому времени от настойчивых атак следствия по делу о смерти этой женщины. Она раньше находилась в связи с ним, но уже много лет у них были просто хорошие приятельские отношения, и, когда холостяк офицер бывал в служебных отъездах, она нередко пользовалась квартирой с его разрешения. Антон не знал — ни того, что однажды женщина кинулась из окна и погибла, ни того, что сейчас этот как-то чрезвычайно повлиял на брата Глеба, и вообще не знал о том, что на свете существовала некая миловидная женщина, в прошлом стюардесса, которая... Антон в этот вечер как снег на голову свалился, бывший сослуживец вначале словно бы слегка опешил, замкнулся на минуту — затем внезапно просиял, и видно было, что неожиданному гостю он искренне рад.

Разумеется, я для Гостя из тьмы тоже любопытное явление — существо материального мира, все реалии которого, от синички до вулкана Кракатыа, от планеты Меркурий и до туманности Андромеды, представляют ему призрачными, неосязаемыми — мелькающими тенями, исчезающими в пространстве тенями теней. В его плотном, шершавом, осязаемом мире моя материальность столь несущественна, что он может воспринимать меня лишь с помощью приборов, косвенно подтверждающих мое присутствие, или же благодаря своему развитому воображению. Мое обиталище в материи для него есть тьма и пустота, солнца моих звезд — черные дыры в его небе. Но несмотря на это, мы любим ходить друг к другу в гости — он из своей пустоты ко мне и я из своей к нему. Капитан третьего ранга Антон Степанович Тураев, нежданно явившийся в квартиру к капитану второго ранга Алексею Александровичу Старовойту, заметил в его глазах, отражающих пустоту, озабоченность такой глубины, какая вовсе не соответствовала столь незначительному событию, как неожиданное появление бывшего сослуживца. И я подумал (ведь я тогда ничего не знал о погибшей женщине), что у него, должно быть, неприятности по службе, и Старовойт, как бы разгадав мои мысли, вдруг очень добродушно заулыбался, хлопнул меня по плечу и без всякого предварения с моей стороны молвил:

— Все у меня в порядке, не беспокойся. Проходи... Какими судьбами? Откуда? Почему раздетый? (Дело происходило зимою, в январе, Москва была хорошо выстужена морозными ветрами.)

Пришлось мне ради того, чтобы все было понятным и естественным, рассказывать, какое произошло удивительное совпадение. Я смотрел на Старовойта и понимал, что, общаясь таким способом с Существом из пустоты, я многого не добьюсь, — пустота антимира и Старовойтова пустота не одно и то же.

— Как жизнь, как служба?

Я понимал, что мой Друг из пустоты пытается сейчас объяснить мне, что напрасно надеюсь я после смерти своей обрести совершенно иное, удивительное существование: там меня ожидали не более содержательные встречи, чем эта — с человеком, который был мне глубоко безразличен в дни, когда мы вместе служили на одном ко-

рабле, и теперь, годы спустя, когда он давно уже шел путями военного чиновничества, делая карьеру в министерстве, не стал, разумеется, ближе.

— Служим помаленьку. А ты, Алеша? Не скучаешь по Северному флоту?

— Скучать некогда, Антоша. У меня объекты на нескольких флотах, не только на Северном. Сижу, считай, на адмиральской должности.

— Ну, какая ты важная птица.

— А ты думал.

Но весь грустный подтекст нашего разговора с Гостем из тьмы был в том, что он старался объяснить мне, что если и окажусь я, душа из материального мира, в его антиматериальном мире, то все равно не буду помнить, что когда-то на земле (и на море) был я капитаном третьего ранга Тураевым, который пришел без предупреждения в гости к капитану второго ранга Старовойту,— а не помня этого, окажусь после переселения души снова тем же капитаном Тураевым, пришедшим в гости к капитану Старовойту... Я увидел в его однокомнатной квартире ту образцовую по нашим временам мебелировку, какая должна соответствовать достатку и положению хозяина: югославская стенка, японский телевизор, финская кухня. И я спросил у Гостя, который на этот раз был моим хозяином, вернее спросил у Старовойта, но вопрос мой, в сущности, был обращен к моему другу из антимира:

— Что, Алеша, по-прежнему живешь один? Не надоело?

— А с кем бы я мог жить? — ответил капитан второго ранга. — Мне нравится пока находиться в компании лишь одного человека. Этим человеком, Антон Степанович, являюсь я сам. Мне пока еще не надоело быть в обществе самого себя.

— Мой брат, который живет внизу, под тобою, любит философствовать. Он бы придумал, что сказать. По всякому поводу находит, что сказать. А я человек простой, Алеша. И я скажу, что завидую тебе.

— Не жалуясь на свое положение.

— Грех жаловаться.

— Ну а как у тебя служба идет?

Я снова понимаю, что хочет сообщить мне через разговор приятелей, морских офицеров, мой приятель из тьмы. Тяжелыми, мощными рычагами действует он, чтобы поддеть мою душу, свалить ее долой с привычного насиженного фундамента. Мол, пусть не изображает из себя цитадель здравого смысла, пусть упадет и расколется на мелкие части, не выдержав собственной тяжести, составленной из вековой скуки благополучного существования, из тревог рьяных чинуш, кабы не потерять место, дающее столь упоительную возможность жить в безделье, из величайшей уверенности, что такая мелкая жизнь намного лучше, чем любая, лучше, чем даже у попа или генерала. Разумеется, мне уже ясно, что между вожделениями чиновничьей души и клочком огненной материи, оторвавшейся от Солнца и образовавшей нашу Землю, есть какая-то связь; и намек Гостя из тьмы, что там у них, в их абсолютной тьме, чиновники столь же самоуверенны, как и в нашем царстве света, и чувствуют себя почти что наравне с Богом,— намек этот я понял.

И вот, другой раз оглядев великолепные просторы холостяцкой квартиры знакомого своего, я вижу, что она вся от пола до потолка набита картонными папками желтого цвета, и кавторанг Старовойт свободно проходит сквозь эти желтые папки, хлопоча возле домашнего бара над бутылкою армянского коньяка, появившегося рядом с натюрмортом из фруктовой вазы и тарелочки с нарезанным лимоном. Я не стал выяснять, каким образом хозяин квартиры дышит воз-

духом, состоящим, очевидно, сплошь из каких-то документов, а напрямик спросил, что в этих папках, спросил, вовсе не надеясь получить вразумительный ответ. Однако я ошибся.

— В этих папочках? — вопросом ответил Старовойт, а через него напрямик высказывался Друг иного мира. — Это мое увлечение, хобби. В каждой папке собрано все, что можно было узнать о личности утонувшего моряка. Я имею доступ в редкие отделы морского архива. Нет, это совершенно не секретно! Не беспокойся. Здесь списки моряков из личного состава военно-морского флота, утонувших в результате кораблекрушения или погибших вместе с потопленным кораблем в морском бою. Конечно, далеко не о каждом утонувшем сохранились какие-нибудь сведения. Так что в некоторых папках лежит всего один анкетный листок с именем — фамилией и датами рождения — смерти. А есть у меня и такая папка, где лежит анкетный лист всего с одним словом: «Петрь». Это военный моряк, утонувший неизвестно по какой причине и найденный жителями финского рыбацкого поселка. На руке у него было по-русски вытатуировано это имя. Его похоронили в прибрежном лесу в Финляндии и поставили деревянное надгробие с надписью по-русски: «Петрь», а дальше по-фински: «Спи спокойно».

— Любопытно, — только и нашелся я что сказать.

— Тебе хочется знать, наверно, для чего я этим занимаюсь?

— Для чего же?

— Понимаешь, уж слишком благополучным стало мое существование. Настолько благополучным, что с некоторого времени я почувствовал какую-то странную тревогу на душе. Не проходит она, и все! Как будто кто-то шепчет мне, что это благополучие и есть уже наступивший конец. Понимаешь? Вот тогда-то я и придумал собирать свою морскую танатотеку, это я так называю свою коллекцию. Мне сразу стало легче... Когда чувство предельного благополучия снова начинает мне мешать, я достаю папочки и принимаюсь не спеша читать одно дело за другим...

— И что же, легче становится?

— Всю хандру снимает как рукой.

— Выходит, тебе-то они помогают, — с завистью сказал я.

— Кто помогает?

— Тени, — ответил я без обиняков. — Те самые, которые в нашем мире сводят человека с ума. Тот, кто видит их, считается сумасшедшим.

— Ну, я-то их не вижу, слава богу. Меня сводит с ума, пожалуй, только этот Петр... Представляешь, Антон, жил когда-то человек, чего-то делал, служил на флоте... А потом в лесу где-то в Финляндии появилась одинокая могила, кто-то ограду ему соорудил, покрасил зеленой краской. И эта надпись: «Петрь» — с твердым ером на конце.

— Что, грустно, Алеша?

— Грустно, Антоша. Давай выпьем.

— Не откажусь, пожалуй.

И они в этот вечер упились коньяком, благо горячительного напитка был изрядный запасец у кавторанга, они уснули в креслах, — и вот их уже нет, они снова тени; я иду босыми ногами по холодному кафелю, и стекает на пол кровь, обильной струей бежит из раны на ноге, а где эта рана, я не вижу. Вышло неудачно: вначале я выглянула из окна одиннадцатого этажа и поняла, что не смогу выпрыгнуть, такая была страшная высота, и страх, и гадкая какая-то мысль все крутилась в голове, вроде бы насмешка над самой собою, над собственным трупом, который вскоре будет валяться внизу, раскорячив ноги. Тогда я вышла из квартиры, вызвала лифт, он пришел сразу, послушно, я зашла в кабину и проехала вниз до пятого этажа. Выдавила локтями окно на лестничной площадке и, на этот раз не глядя вниз, встала одним коленом на подоконник, руками рванула на

себя и выкинула тело в оконную пустоту сквозь зубастые осколки стекла, что торчали по краям рамы. Когда я проваливалась в темноту, сверкнули сверху какие-то тысячи огней — и как будто сразу же я ударилась, удар был таким тяжким, грубым, что и вообразить такого раньше не могла бы. Снова какая-то гадкая мыслишка полезла в голову, и я поняла, что не убита, что все еще нахожусь в жизни и опять надо что-то делать.

Она встала, все время чувствуя, что кто-то ледяными глазами смотрит на нее, и хотя она вроде бы все, что делала, делала в угоду ему, этот наблюдающий взирал на нее с жестоким презрением. И мысль была, что он увидит ее кровь, и не просто кровь из разбитого тела, а кровь оттуда (еще раньше узнала при одной случившейся авиакатастрофе, когда выносили из-под обломков самолета трупы, что у женщин от жестокого удара бывают такие кровотечения...), мысль эта была невыносима, она заслонила собою все, что могло еще прийти ей в голову, она вновь разбила стекло и влезла с бетонного козырька над входом, на который упала, назад в окно, снова вызвала лифт и поехала — на этот раз вверх. Дверь в квартиру была не заперта, она зашла туда, сразу увидела свой раскрытый чемодан, стянула с себя и стоптала всю окровавленную одежду, надела алые трусы от купальника и первое, что попало под руку в платяном шкафу хозяина, — полосатый матросский тельник. И снова прошла к окну, оставляя за собою кровавые следы...

Тот, кто издали следил за нею ледяными глазами, летел в мировом пространстве, неукротимо удаляясь от Земли, и я воскликнул ему вслед с горечью и упреком:

— Вот как! Ты ничего не хочешь сказать?

Ни слова в ответ, лишь растерянное мигание миллиардов звездных огней. Гость из пустоты отлетел со скоростью, превосходящей скорость света, поэтому мысли моей было не догнать его.

— Как! — вскричал я. — Ты знаешь, что я свою волю и возможности могу проявить через звезды, через деревья или поступки мелких людей, ты знаешь, к чему я устремлен, — и ты молчишь? В неистовстве самоотречения Деметры можно предугадать всю серьезность ее трагических намерений — и ты молчишь? Если в одном малом существе, так сильно привязанном к жизни, — в человеке жестоко и неодолимо бушует огонь самоуничтожения, то это начало присуще и всему моему Лесу... И ты молчишь? Все мое вещество жизни трепещет от жажды зелено сиять во времени — и тут же, в самом расцвете существования, вздрагивает от вожделения вернуться к началу пустоты, отвергнуть самое себя... и ты молчишь?! Весь мир моих дивных, таинственных деревьев готовится к последнему порыву самосожжения в Большом Огне — и ты молчишь, отлетаешь, скрываешься за гранью мне доступных пространств?!

Отче, помоги мне, может быть, это Ты? Если хоть одна звезда в космосе окажется способной взорвать самое себя, то и вся Вселенная сумеет это сделать. Спаси, удержи меня от воли моей страшной. Отец мой неизвестный! Ведь Ты должен быть у меня, иначе откуда я? Я существую, значит, существуешь и Ты. На земле люди знают своих кровных отцов, но эти отцы скоротечны и странным образом любят нас — почти ненавидя, а затем однажды падают и умирают с чувством глубокой вины в душе.

IV

Степан Николаевич Тураев скончался днем в лесу от внезапной остановки сердца, которое не переставало биться на протяжении более чем шестидесяти лет и не пожелало останавливаться даже в аду плена и концлагеря. В последний же день сердце начало примолкать

на какие-то краткие мгновения, совершенно непонятные для их осознания или сравнения с другими мгновениями жизни, и, чтобы как-то преодолеть тот невероятный по скорби и гнету порог истины, что вот и на самом деле пришла смерть и всей жизни как будто и не было, Степан Николаевич отправился на ночную охоту, хотя грудь с левой стороны сдавливало и жгло нещадной болью; и вот, сходя в ночь, Степан Тураев упал под раздвоенной сосной-лирой на Колиной поляне — считать ли такую смерть шагом сознательного самоистребления? (Николай Николаевич, отец Степана и дед Глеба Степановича, свой уход на житье в лесной пустыни совершил, все же подчиняясь этому смутному скрытому порыву.) Мне в этой ветви человеческой близко именно данное трагическое свойство крови, которая течет в ее извилистых сосудах, неся в себе столь сильный заряд бунта человеческой мошки противу великой воли царственной Вселенной.

Утром явилась на кордон желтенькая корова с ремешком темной шерсти вдоль хребта, — и, посчитав, что она отбилась от деревенского стада, обычно выгоняемого в лес, чтобы паслась по краям болот и на тенистых лесных дорогах, Степан Николаевич решил корову поймать и привязать. Когда он с веревкой, спрятанной за спину, и куском хлеба в протянутой руке направился к корове, она вдруг принялась делать движения головою, какие обычно коровы не делают, — быстро замотала ею из стороны в сторону, даже большие уши захлопали. Как будто бы отрицательно (по-человечески) отвечала на какой-нибудь заданный ей вопрос — и отрицала бурно и очень долго, Степан даже в изумлении остановился и стал ожидать, когда же корова перестанет мотать головою. В эту минуту и вспыхнуло в голове какое-то беззвучное холодное пламя, выплыла из него неподвижная, как статуя, покойница Настя с какими-то сумками, переброшенными через плечо, и Степан Николаевич вспомнил, что соловую коровку эту с коричневым ремешком шерсти вдоль спины торговали они у одного куршака в Ветчанах, часа два торговались, да так и не сошлись в цене... Корова отпрянула вдруг и, нелепо, тяжело-весно взбрыкивая ногами и бодая воздух головою, кинулась назад в лес. Исчезла и Настя, словно медленно растаяла в воздухе. Степан решил, что пришел его последний час, коли уж средь бела дня привелось ему увидеть покойницу.

Но он так и не вспомнил, что на этом же месте много лет назад он остановился, повернулся к жене, которая с сумками через плечо шла следом, и начал ругательски ругать Настю за ее жадность: очень уж понравилась красивая крепенькая коровка Степану, а не купили ее из-за каких-то трехсот рублей дореформенными — это Настя уперлась и отвергла покупку. Подойдя к мужу шага на три, она остановилась и молча выслушала его сердитую брань, Степан напоследок весьма круто матюгнулся и вмиг успокоился, порешив: завтра же снова пойду к куршаку и куплю корову. Тут он с удивлением заметил, что Настя плачет, тяжелые слезы выкатываются из ее глаз и бегут по смуглым румяным щекам. Не сказав ни слова, Степан виновато съехался и, повернувшись, торопливо зашагал к дому, — на этом месте он и увидел призрачную Настю, когда в его памяти, вобравшей почти шесть десятков земных лет, произошли какие-то внезапные короткие замыкания.

Вечером он уже не захотел приготовить себе еды, тянуло лечь, но Степан пересилил себя, ясно понимая, что если сейчас ляжет, то больше не встанет. Он собрался, взял из-под печи трубку сухой бересты, сунул спички в карман и в сумерках вышел из дому. Последний весенний вечер в его жизни был теплым и бархатно-смуглым, словно залитый гущенным светом отгоревшего дня. Степан Тураев почувствовал, что в наступающей темноте прошедший день тихо дозревает, как огромный синий плод, что много таинственных хлопот

предстоит всем маленьким участникам дня, чтобы пестовать его, укрывать на ночь и оберегать, и только один он с берестой в левой руке и спичками в кармане не имеет к этим секретным трудам никакого отношения. Ему уже дальше не жить, и прожитая жизнь получилась такой страшной, что Степан Николаевич был уверен; никогда люди прошлых поколений не проживали столь страшных жизней. А теперь он еще раз, последний, хотел соприкоснуться с тем в чудесной все же, отлетающей жизни, что совершенно не имело отношения к суете и делам всеобщего человеческого зла.

Случайно когда-то открыл он в родных лесах эти силы весенних ночей, никогда не мог объяснить себе, что это такое — среди понятных и беспощадных сил людского созидания и уничтожения, — и не рассмотрел как следует ни одного зверя или чудовища, пронесившего мимо, — а сегодня он взял бересту и спички, чтобы в нужный момент запалить огонь и посмотреть на это, попытаться хоть что-то понять к концу своей жизни.

Когда в сгустившейся почти до черноты лесной мгле добрался он до старой просеки, на него по прямому коридору — пустоту которого можно было бы ощутить, выстрелив туда из пушки, — с тяжким топотом понеслось первое в эту ночную охоту чудовище. И Степан в зыбком страхе кинулся прочь с его дороги, но споткнулся, упал, показалось, что топот огромных ног шквалит наперерез, — вскопал, метнулся назад, прыгая через заросли маленьких елочек. Это было место, где сразу после войны работали немецкие военнопленные, рубили лес, и здесь Ральф Шрайбер в миг, когда пуля охранника разбила ему голову, увидел то же самое мчавшееся во мгле чудовище. И здесь же, с краю просеки — он был неглубоко зарыт в мерзлую землю, а весной лисы растащили его косточки, — мимо бывшей его могилы снова промчалось громадное нечто, запаленно дыша и отфыркиваясь. Степан мог бы коснуться его черной туши, но он, судорожно сжимая в кулаке свернутую бересту, лишь отшатнулся в сторону и прикрыл голову руками. Обувявший его страх был велик, и леденящ, и целителен тем всеуничтожающим ужасом души, после которого в ней ничего не остается и она как бы робко рождается заново и, потеряв вместе с пережитым потрясением все прежние тревоги, опять жадно тянется к жизни.

В это мгновение, когда душа медленно обретала себя, тело Степана Тураева, низко наклоненное к земле, оказалось на том самом месте, где был убит Ральф Шрайбер — в которого с подрубленной им ели перешло хранившееся в дереве, как в столетнем надежном сосуде, некое беспокойное тяготение куда-то вернуться — неодолимый зов утраченного рая.

Когда Ральф Шрайбер увидел несущуюся на него со стремительностью громадной машины черную звериную тушу, он наряду с этим увидел как бы со стороны собственное упавшее на снег тело и понял, что может пребывать в пространстве как-то и без помощи этого костлявого измененного остова, полного голодной тоски и ноющей боли в правом плече, а теперь и с пробитой головой, из которой на снег вытекала, дымясь на морозе, пенистая алая кровь. Но черный зверь набегал с угрожающей стремительностью — и Ральф Шрайбер, свободный от своего пришедшего в негодность тела, совершенно непринужденно и мгновенно оказался укрытым внутри маленькой трехрукой сосенки и почувствовал, что ему здесь вполне хорошо. Последнее, что успел заметить Ральф Шрайбер, прежде чем впасть в долгую покойную дрему, это нога в сапоге, которая была ногою сержанта Обрезова, а черный зверь, пробежавший мимо, удалялся по широкому коридору просеки, делаясь все меньше и меньше...

А сегодня утром, лет тридцать спустя, выросшая сосна задрожала, взгудела под стальными зубьями механической пилы, и спящая в ней душа очнулась в тот момент, когда, пошатнувшись, строй-

ное дерево пошло вершиною вниз,— едва успела душа бывшего немецкого военнопленного взлететь над грянувшим оземь стволом и, вспомнив мгновенно тоску и боль по утерянному раю, вошла в широкую грудь того, кто спилил сосну... И вот к вечеру того же весеннего дня Тураев Степан снова пришел к вырубке, и в его сердце была тревожная боль и тоска по чему-то навсегда утраченному и непреодолимое желание все это вернуть — вернуться к вечному блаженству бытия.

Прижавшись правым плечом к невидимому дереву, в левой вздрагивающей руке держа скрученную в трубку бересту, во мраке леса стоял Степан Тураев, в ком теперь уже находился и Ральф Шрайбер,— и в обоих растворился древний пращур тураевского рода с его скорбью по разоренному гнездовью, с тоскою по умерщвленному врагом племени. Ральф так сильно любил свою дочку, первого ребенка, что сам обихаживал ее с пеленками и подгузниками, Степан тоже жалел Ксению, старшенькую, более других своих детей, так же и его пращур, звериный охотник, любил старшего сына, будущего Турая, татарского баскака на земле отцов. Пережитые пращуром муки, когда незадолго до его смерти слабый отрок со слезными стенаниями обращался к нему, и сообщение Ральфу в письме, что его малютка научилась правильно надевать башмачки на левую и правую ножки, одинаково подействовали на отцов, явившись той последней каплей, которая переполнила чашу их мучения. Степан же Тураев всю жизнь боялся получить известие о том, что дочь снова чего-нибудь натворит — на этот раз со страшным исходом,— и в последние часы своей жизни, затаясь в темноте леса, он на долгую минуту словно забыл, где находится и что значит для него этот ночной выход в лес,— вдруг едкие слезы пробили толщу тьмы в его глазах, и смертельная скорбь по своему ребенку, обреченному существовать без отцовской защиты, охватила сердце Ральфа Шрайбера и помutilа разум древнего зверолова.

Ральф с облегчением принял решение не возвращаться в этот страшный лесной лагерь, где гуляющие по двору и баракам крысы выглядят гораздо значительнее обмороженных, сходящих с ума от голода и холода пленных, где на соседних нарах может появиться призрак доходяги Кристельбрудера, которого давным-давно увезли на деревянных салазках двое дежурных; — пращур Тураевых, увидев над дымящимся пепелищем родной деревни колонну бредущих призраков, решил, что это души его убиенных сородичей, может быть, там и двое других его детей; — Степан Николаевич очнулся неожиданно и понял, что он на ночной охоте, что истинное знание пришло к нему: это для него последняя ночь в лесу. И Ксении теперь ничем нельзя помочь и надо ее оставить в жизни со всем тем, как у нее сложилось, а самому навсегда уходить туда, откуда нет возврата.

Второй зверь оказался не менее огромным, но летающим — без всяких размахиваний крыльями, низко над самыми деревьями, бесшумно, бредущим полетом. И в другие охоты Степан видывал издали тень этого чудовища, нависающую в полупрозрачной синеве ночного простора над резными вершинами деревьев, планирующую среди звездных искр, гася их, как текучее пятно разлитых чернил. На сей раз чудовищный летяга навис брюхом над тем местом, где пребывал Степан Тураев, и долго заслонял небо, пока проплывал в воздухе от головы своей до хвоста. Хотя зверило не взмахивало крыльями и парило в невесомости, но легкий шум исходил от его нависающей массы, это было похоже на негромкое побрякивание сотен тысяч солдатских котелков или какой-нибудь другой посуды из глухо звучащего металла. Запрокинув голову, Степан Тураев смотрел в брюхо черной самодвижущейся туче с безмерно великим туловищем и со всем маленькой в сравнении с телом треугольной головою на длинной змеевидной шее. Когда оно тихо и странно отбрякало вверху и

скрылось, медленно поведя над просекою изогнутым хвостом, напоминающим излучину реки, Степан глубоко вздохнул и, что-то начиная постигать глубиной своего сознания, отправился в ту же сторону, куда пролетел этот летающий зверь.

Затем начались внезапные, необъяснимые проявления ночных существ, которыми для Степана Тураева были и ужасны и мистически притягательны эти сокровенные в глубоких ночах безоружные охоты. Вдруг из-под самых ног вспрянул и понесся в сторону низкорослый, но широкий зверь на мягких лапах, впопыхах ударился черепом о ствол дерева и очень внятно, почти по-человечески охнул, отскочил в сторону и тут же бесшумно растворился во мгле. Пройдя краем просеки до начала просторной лесной дороги к болотным покосам, называемым Брюховицами, Степан свернул в сторону, осторожно ставя ногу на твердую тропу, и вздрогнул, потрясенный ужасом, словно электрическим током: прямо перед ним на расстоянии, исключающем всякую надежду на бегство, покоилось на земле нечто с огромными светящимися глазами, и черные срединные точки зрачков были направлены так, что он ощущал на себе их пристальный взгляд. Долго стоял Степан ни жив ни мертв, охваченный ужасом и каким-то глубоким смятением, под взглядом огненных осмысленных глаз, которые редко, спокойно моргали, на мгновение погасая в темноте и вновь возгораясь.

Но внезапно разверзлась великая ямина у самых ног его, и оттуда, словно из глубокой шахты, с гулом и всхлипываниями вырвалось какое-то мохнатое тело и унеслось вверх, а вслед за ним, сверкнув в последний раз, умчались и огненные глаза. И тогда, еле обретя дыхание, ночной охотник сломал впотьмах какую-то палочку и долго тыкал ею перед собою, прежде чем решиться ступить шаг. Ямины уже не было, она мгновенно сомкнулась, но еще долго, шагов сто, напуганный Степан брел по лесной дороге с предосторожностями слепца.

Какие-то очень нежные на ощупь, очень длинные, казалось бесконечные, лианы пересекли ему путь, он начал пробираться сквозь заросли, перебирая их руками, и вдруг ощутил, что все они живые, налитые изнутри теплой упругостью не очень мощных, податливых тел, но стало ему и тут страшно, что этот клубок живых лиан бесконечен и он будет всегда пробираться в темноте среди их нависающих нежных плетей. Но кончилось внезапно: Степан не заметил, как выбрался из живых зарослей,— он обнаружил, что путь совершенно свободен и он машет перед собою руками, как ветряная мельница, все еще убирая с дороги несуществующее препятствие.

Тут и подумал Степан, что выбрался наконец туда, куда и устремлялся,— вокруг была пуста болотистых покосов, он выбрался на Выгора. Здесь и следовало поискать то, что он наметил в эту ночь искать, или погибнуть от зачаровывавших его всю жизнь таинственных ночных сил, или наконец увидеть их спокойными глазами. Он заранее достал из кармана спички, тихонько погромыхал ими, в другой руке расправил бересту и двинулся вперед в темень. И, как следовало ожидать, вскоре услышал как бы негромкое побрякивание тысяч и тысяч солдатских котелков, словно в непроницаемой мгле ночи таившаяся огромная армия собиралась скрытно поужинать, не разжигая костров, строжайшим образом сохраняя полную секретность.

Он шел в плотной, густой темноте безлунной ночи, разбавленной лишь светом нескольких звезд, скоротечно промелькнувших в прорехах черных туч, вытянув перед собою руки, в которых были зажаты кусок бересты и коробок спичек, он шел и ждал, когда эти руки упрутся в нечто, и неожиданно подумал, что если ему таким-то образом суждено уйти из человеческой жизни в иной мир, то, пожалуй, каким бы страшным ни предстал этот иной мир, не будет

он страшнее человеческого, где все эти колючей проволокой обнесенные лагеря, где массы одних людей набегают на других, чтобы умертвить их в рукопашном бою, и безумно радуются, когда им удастся это сделать хорошо, и после называют друг друга героями и плачут под натиском величавой гордости в сердце.

Руки ночного охотника с маху уперлись наконец в то, к чему были простерты еще издали; брякнуло при этом, и Степан Тураев подумал: что бы это ни было, но знаю, это то самое, с чем люди на земле дальше жить не смогут. Он чиркнул спичкой, пригнувшись, запылил бересту, выпрямился и поднял над головою свой маленький трескучий факел. То, что мгновенно увидел он, было вначале непостижимо и грандиозно: нависшая крепостная стена, вся обложенная металлическими бляшками наподобие боевого щита, с каким ходили на битву древние русские воины. Но в следующую секунду берестяной факел вспыхнул в полное пламя, Степан Тураев, гибнущий человек, поднял как можно выше огонь над головой и увидел извороты уходящего ввысь колоссального туловища, и вдали, там, где помаргивали в небе тусклые звездочки, неторопливо ворочалась из стороны в сторону маленькая змеиная голова.

Змей склонил бугристые ноздри вниз и подслеповато, словно старуха поверх очков, посмотрел себе под брюхо, увидел там что-то, и его голова в тот же миг стала стремительно, хотя и казалось, что медленно, опускаться на выгнутой шее вниз,— в это время береста вся сгорела, Степан тряхнул обожженными пальцами в воздухе — настала темнота. Теперь Степан Тураев еще яснее понимал, что непонятной волей именно он, прошедший через кровь и гной войны, плен и концлагеря двадцатого века, он обнаружил в темноте майской ночи главную причину того, почему жизнь людей была столь невыносимой и мучительной. Он давно подозревал, что подоплекой обычной человеческой жизни является что-то невидимое, чудовищное, грозное и страшное, предназначением и смыслом чего является позорное уничтожение всех людей на земле. И вот теперь, во время своей последней ночной охоты, Степан Тураев обнаружил это чудовище, мирно притаившееся в темноте мягкой майской ночи,— сопящего дракона, одетого в непробиваемый чешуйчатый панцирь из какого-то качественного металлического сплава.

Степан преспокойно ждал, потирая обожженные пальцы, когда же голова чудовища долетит-таки со своей высоты до земли и схватит его зубами. Но почему-то оно медлило, и Степан Николаевич перестал напрягаться в ожидании, а принялся размышлять, есть ли у него какие-нибудь возможности поймать и уничтожить дракона. Он улыбнулся в темноте — таких возможностей, увы, не было. И уже в нетерпении ожидания поднял голову, как бы желая взглянуть смерти в глаза,— но вместо нее увидел он в небе самые первые нежные намеки востекающей зари. Два-три теплых цветных пятнышка обозначились среди сплошной пепельно-синей полумглы, где еще бодро перемаргивались звезды, и там, где недавно высились покрытые металлическими бляхами змеиные твердыни, предутренний воздух теперь был прозрачен.

Уже при полной видимости вернулся он к кордону, вошел во двор и задержался у колодца, журавлем достал воды и в последний раз напился,— точно на этом месте мать его, Анисья, достала из белого нового колодца (нижние срубовые колоды которого и по сейчас те же) деревянной бадейкою на цепи нетронутую воду и жадно принялась пить, проливая хрустальные струи на грудь,— и Николай Николаевич босиком, в накинутах на одно плечо бекеше вышел на крыльцо барского дома. От него мгновенно сквозь свежесть лесного воздуха пронеслась к молодой бабе молния желания, и разящая стрела ее сверкнула точно в том кусочке пространства, где стоял, нагнувшись к ведру, ее сын, старый Степан Тураев, в день своей

смерти. Анисья еще не видела барина Николая Николаевича, а он уже всю ее обсмотрел — от крепких ног, обутых в безобразные лапти, до крутых полушарий грудей, с которых скатывалась вода, словно с порогов водопада. «Откуда эта молодка?» — устремлялось в ее сторону теплое внимание мужчины, а она его не замечала, охваченная сладострастием утоления жажды, и со стонами пила ломящую зубы холодную воду. Потом барин окликнул ее, она отвела розовый омытый рот от бабьи и повернула лицо к нему, подняла яркие зеленые свои глаза навстречу будущему мужу и вослед сыну-старикау, бредущему через двор к своей безлюдной избе. Должно, намял барин свою рожу на тюфяке, когда спал пополудни, вон с одной стороны красна больно, стремительно и весело помыслила она; и с угрюмой печалью подумал ее будущий сын: никто ведь не знает, почему я жил в лесу и больше не хотел никуда, а теперь я умру, и некому рассказать про ночную охоту. Его мать улыбалась его отцу со значением будущих супружеских тайн, которые раскрываются рождением детей, а четвертый их ребенок, самый младший, уходил в свой бревенчатый домик, чтобы переодеться во все чистое перед смертью...

Была у Анисьи старшая дочь, своя, деревенская, не от Николая Николаевича, — рожденная в Княжах от первого мужа, который погиб в Порт-Артуре. К этой дочери она и переехала жить после того, как муж бросил ее и уехал куда-то на пароходе вместе со старухой Козулиной. К тому времени Анисья осталась совсем одна в своей барачной комнате, дети ее давно рассеялись по всей стране, и младшенький, Степан, уехал в Москву учиться в финансовом техникуме. Старшая дочь Марфутка, урожденная Евпалова, выросла в деревне у деда-мужика по прозвищу Гурьян Ротастый, вышла замуж в деревню Курясево — была заурядная крестьянка, мать свою жалела и давно звала ее жить к себе. И однажды вечером приехала на нанятой подводе с узлами и швейной машинкой «зингер» к Марфутке в деревню Курясево плачущая Анисья, имея где-то по городам четырех взрослых детей и давно покинувшего ее мужа. Никого она в Курясеве не знала, поэтому первое время сильно скучала по каким-то давним и даже в ее памяти смутным дням хорошего прошлого, поболела с неделю, стала было просить и беспокоить дочь, чтобы та свезла ее в Москву, но вскоре стихла и начала похаживать к ясновидящей Малашке, засиживаться у нее по целым дням. Постепенно Анисья перешла в ряды самых истовых служителей Малашки, закрывала и открывала полог, за которым находилась, покоясь головою на камнях, курясевская пророчица ростом с семилетнего ребенка.

У беспутной женщины Курицы, дочь которой убили вместе с конокрадом Шишкиным, была родная сестра Палага, муж которой Демьян Халтырин в свое время ездил в бригаде плотников на Филиппины. И вот, вернувшись оттуда, он разгулялся вовсю и однажды в Курясево, строя машинный сарай для мельника, у кого был нефтяной английский двигатель «Кингсон и К°», обрюхатил вдову, у которой жил на постое. И пожилая вдова, Липа Кучка Малая, родила в сорок три года еще одного ребенка к своим осиротевшим пятерым — муж ее Алдаким Петров погиб в трамвайной катастрофе в Москве (последствия которой видел Степа Тураев, прицепившийся к трамвайному буферу, — тогда учащийся финансового техникума). Узнав о гибели мужа, Липа страшным голосом завопила на всю деревню: «Кучка малая! Детушки несчастны! Да как же мне теперя вас прокормить!» Так и звала с тех пор своих сирот — Кучка Малая, и прозвище у нее стало такое же...

Новый ребенок ее, девочка, названная Маланьей, до семи лет была как и все дети, а после семи ее плаття, башмачки и валенки размером оставались неизменными — Малашка больше не росла. Когда ей перевалило уже за двадцать, десять из которых прожила она,

Христа ради побираясь в деревнях округи, шла русско-японская война, в Курясево было несколько солдатских семей, и вот одна из них, Морозовых, получила известие о пропаже с борта эскадренного миноносца «Ревущий» Петра Николаева Морозова, матроса второй статьи (пропажа оного в открытом море предполагает судить о внезапном падении за борт, гибели и утоплении вышеупомянутого младшего чина, сообщала казенная бумага),— вдруг пришла Малашка в дом, где зачитывали письмо, и брякнула с порога: «Петю похоронили нерусские люди в ясу». «В каком таком ясу?—удивившись, передразнил ее волостной писарь Лабуда, не знавший Маланью.— Как ты можешь, засыха, называть его Петей, а?» «Могу, потому как он мой годок»,— отвечала Малашка, крохотными ручками поправляя у подбородка концы дырявого платка. «Чего? — изумился писарь.— Пошла отсель, а то я те покажу годка!»

Но в другой раз, когда убили женщину, ножом выкололи ей глаза и нанесли восемнадцать смертельных ран в шею и грудь, опять выступила Малашка-кроха — и тут уж волостной писарь ни в чем не мог усомниться, ибо в точности сбылось то, что тогда она сказала: «Черный мужик пойдет на семмой день за ейным мешком и сумкой, где лежат деньги и крашенные платки, два зеленых, один желтый и ешшо один моренго с черными шашечками. Мешок и сума спрятаны под мостиком на старой дороге за Двориками». Пошли ночью и нашли под заброшенным мостиком, на краю выгона, названные Малашкой вещи, оставили их на месте и стали секретно караулить. И увидели, как на седьмой после убийства день в кусты тальника, окружавшие мостик, пробрался, таясь, чернобородый пастух деревенского стада, человек из других мест, нанятый.

С того случая Малашкина слава велико разрослась, ее стали звать повсюду, привечали как чудотворную, но вскоре отказали у нее ноги, и тогда ясновидящую нищенку стали носить на руках ее приверженцы, которые образовали вокруг нее что-то вроде секты. Они же, чтобы не утомлять Маланью, перестали ее возить, а утвердили в хорошем доме и стали показывать ее за пологом, на крошечной деревянной кровати, где спала она, под голову положив камушек. Но питалась она теперь хорошо и вскоре пополнела.

Бывали такие, что шли к Маланье с затаенной самоуверенностью здравомыслия, готовые отрицать все, что выходит за пределы их понимания. Но Маланья таких чуяла еще при подходе к дому, начинала метаться, нетерпеливо хлопать в ладошки. А как только появлялся на пороге недоброжелатель с какой-нибудь несогласною мыслью в голове, пухлая лилипутка верещала из-за полога: «Пошел, пошел вон, бясовестный! Со-о святыми упо-ко-ой...» — тут же начинала петь заупокойную таким зловецим, высоким, верещливым голосом, что ни один не выдерживал и, не успев еще снять шапки, поспешно выметывался из избы.

Войну самоуверенных империй, скверную войну, названную первой мировой, Малашка напроначала еще в рождество: «Гой, люди добрыя, доставайте белого полотна поболе — саваны шить, тесу заготовливайте вдоволь — гробы строить. Зачнет большая смерть косою косить, упадет на землю лиха беда — унистожение ужасное». «Долго будет?» — спрашивали напуганные приверженцы Маланьи. «Три года, три месяца, три дни»,— отвечала пророчица. «Потом же что будет?» — продолжали пытаться они. «Будет, грешники, ешшо хуже». «А что такое, Маланья?» «Всякой правде конец — станет царем рогатая правда». «А что плохого, Маланья, если правда?» — возразили ей. «Так ведь брат брата, отец сына, сын отца зачнет губить. Разорение гнезда! Дети малые разбегутся, как зверята, по всей Расее». «Так что же, Маланья, конец света наступит?» «Конец света, родимые»,— подтвердила ясновидящая.

Когда же году в двадцать девятом — тридцатом кто-то из помнивших пророчество сказал ей, что, мол, обещанного конца света вроде бы не наступило, Маланья строго принахмурилась и как отрезала: «Давно в этом живете». «Как же так? — недоумевала публика (и среди них была уже и Анисья). — Раз живем, значит, не умерли? Вот же видим белый свет». «Ничего не видите, — был ответ. — Но ешшо увидите, — пообещала Маланья. — Матушка земля умрет. Вода-дочь умрет. Батюшка лес умрет. В небе огненные грибы вырастут — тады глаза ваши полопаются, боля ничего не увидите». На что несколько человек засмеялись, до того нелепо и жутко по смыслу было все, что пророчила Маланья.

Когда начали загонять в колхозы, она сказала: «Ну, теперя все. Боронами соки выжмут, на морозе высушат, обдерут с ног до головы как липки, опосля выкинут в болото». «Не может того быть, Маланья-матушка! Гляди — ведь землю на вечные времена нам отдают». «Ня-бось! Отымут назад». «Не будет межи!» «Зато будут тебе гужи, а на оглоблях тяжи». «Прикатят трактора, а на полях радостный труд». «В деревне песни умрут. Никто уж вечером на гармошке не заиграет. Улицу лужами затынет, грязь подыметя под самы окна. Будет у старухи три сына — так один сопьется, другой повесится, третий по тюрьмам пойдет». «Ты чего, Маланья?!» «Мужик бабу еть не станет, назма в поле вывозить не будут, а все лякарствами из бумажных кульков сыпать. От тоих лякарств земля помирать сляжет. Работа на поле зачнется обратная, крестьяне: не пуд сеять, чтоб сам-десять собирать, а десять пудов в землю захерачивать, чтоб пуд взять». «Маланья, чего говоришь?!»

В тридцать пятом году Маланью казенным образом увезли какие-то молодежавые люди, прибывшие из Москвы, говорили по округе, что, наверное, после убийства ленинградского надо злодеев сыскать, Малашку для этого приспособить. Однако вскоре другое разнеслось: проверяют Маланьины разгадки и возвещеня научным способом, может быть, ей какое-нибудь народное звание дадут, как Сулейману Стальскому. И правда: скоро несколько человек из самых главных приспешников Маланьи вместе отправились в Москву, нашли институтскую больницу, где она содержалась, и однажды выкрали ее. Принялись снова поклоняться и служить Маланье по округе, перевозить ее из деревни в деревню, секретно укладывая в большую корзину для колосьев.

В эти дни Анисья всюду ездила с Маланьей и сделалась ей чем-то вроде мамки: кормила, укладывала в постель, собирала для переноски в колоснике, умывала, брала с собою в баню. И однажды в бане, осторожно намыливая мягкой вехотью белое, сытенькое, нежное тельце лилипутки, Анисья вдруг заплакала, а лежавшая на широкой лавке вещунья открыла глаза, отняла руку от безволосого детского лобка, который она дотоле ревниво прикрывала двумя сложенными друг на дружку ладонями, и погладила Анисьюну поседевшую рыжую голову.

— Знаю, — сказала она, — давно знаю, да боюся тебе сказать... Ну так слушай, чтобы напрасно не мучилась боле. Муж твой помер в Москве. Он о тебе не помнил, как будто и не было тебя, и детей тож, да и себя самого не помнил. Узля него крутилася одна женщина, но он и ее не помнил. Душа его далеко, никому не ведомо, игде она гуляла у него. Невдолгих после уходу от тебя, Анисья, пал на землю у какого-то дома, который не то ставили, не то ломали, — лежа на земле и помер... Сходи завтра во храм, поставь свечку за упокой души и прости ему все его грехи перед тобою.

— Каки таки грехи... — плакала Анисья. — Пальцем не тронул ведь, Маланьюшка, душа в душу... А вот забыл же в одночасье...

— Не было счастья ему в жизни, потому что не земляной он был человек.

— Чего это? — уставилась заплаканными глазами Анисья на выпуклый мокрый животик своей руководительницы.

Та снова обеими руками плотно прикрыла свой бесполезный детский мысок, поводила головою, перекатывая ее на затылке из стороны в сторону, и, дунув над собою в горячий воздух, закрыла глаза. Вместо женских грудей у карлицы были едва набрякшие кошельки сморщенной кожи, плечики круглые, узкие, лицо сытое и гладкое.

— Чем пахнул твой мужик? — с закрытыми глазами спросила она. — Чем-нибудь он вонял у тебя?

— Вроде бы... ничем, — растерянно заморгала Анисья рыжими ресницами, влажными от слез и банного пара.

— Вот то-то и оно, — важно надула Маланья зоб, поворачивая голову и приоткрывая один глаз. — Ангельского чину он и послан был в люди, чтобы их скорбь впитать.

— Да что ты, матушка Маланьюшка! Будет тебе! — воскликнула Анисья и в волнении привскочила с лавки, широко растопырив локти, в одной руке держа ковш с теплой водою. — Этта... неужели я с ангелом жила?

— С ним, с ним, — подтвердила Маланья и, внезапно взыграв, захихикала, взметнула ручонку и цепко рванула Анисью за мокрые волосы.

Та в великом волнении лишь тоненько ойкнула, не обратив внимания на озорную выходку Маланьи, и бездумно плеснула на себя из ковша.

— А как же дети? — с растерянным видом спросила у руководительницы. — Ежели он... такой, Маланьюшка, откуда ж у нас дети?

— Оттуда! Дура! — совсем разыгралась пророчица, и маленькое тело ее, оставшееся в женской зачаточности, стало совершать быстрые движения. — Дура. Хлестани-ка водички и мне туда! — приказала она.

Внезапная злоба охватила Анисью, ей тут же захотелось убить это дергающееся тельце, и она опомнилась уже на том, что выхватила полный ковш крутого кипятку из котла и замахнулась, чтобы плеснуть на Маланью, меж ее широко разбросанных детских коленок. А та ничего не замечала, по-прежнему лежа навзничь на лавке, и с закрытыми глазами опробовала разные движения, какие подсказывал ей вдруг пробудившийся никчемный инстинкт.

— Расстреляют меня, — утихомирившись враз, строго глядя снизу вверх, проговорила вещунья. — За то, что знаю всю правду наперед. Все знаю, все могу угадать. Вынесут меня, сердешную, на чистой двор, посадят на землю и стреляют в самую макушку.

— И да как же Господь дает тебе такое, чтобы все знать, Маланьюшка? — залебезила Анисья, осторожно разбавляя в тазике кипятков холодной водою.

— Тоё и мне неизвестно, — отвечала лилипутка, блаженно растянувшись на лавке, ровненько устроив обе руки вдоль тела красными ладонями вверх. — А как будто выхожу я в какой темный коридор, быстренько пробегу в нем и попадаю в большую залу, где все и находится.

— Кто находится? — выпучила Анисья глаза.

— Дед пихто, — с досадою отвечала Маланья. — Никак тебе понять нельзя будет... Как в огромной лавке-монопольке — лежит там все, словно конфетки, завернутые в бумажки: и все, что было уже, и все, что будет. Я как будто знаю, на каку полку мне полезть, каку коробку открыть, каку конфетку выхватить.

— И чего же ты с ней делаешь? Разворачиваешь ли, сосешь?

— Ка-аво?

— Конфетку-ти, Маланьюшка: сосательна она, как монпасейка, или с начинкою, как подушечка?

— Тебе, Аниська, я чай, всего не разобъяснишь,— расслабленно повисая в руках своей няньки, говорила пророчица.— Простым людям тоё понимать невозможно.

— То-то и оно, — с готовностью согласилась Анисья, придерживая на лавке детское Маланьино тело и полотенцем осушая ей волосы.— Где уж нам. А мы люди темные.

При выходе из бани, когда полуодетая Анисья с мокрыми волосами бегом пронесла на руках закутанную в десять платков вещунью через огород к избе, посреди двора встретилась им ручная тележка, которую толкала перед собою круглолицая скуластая женщина в очках. На тележке неподвижно сидел такой же круглолицый мужчина и, высоко задрав подбородок, снизу, но все же как будто сверху вниз посматривал на встречных. Маланья задергалась и замычала в глубине платков, Анисья лишь сжала ее крепче и быстренько взбежала на крыльцо,— так впервые встретились два самых великих человека этой округи на данную эпоху.

Прибывший по имени Савоська вообще был недвижим и мог только шевелить головою и бойко вращать глазами в глубоких глазницах. Но несмотря на все, уверенность великой силы годами неизменно присутствовала в парализованном теле Савоськи, и привело его к Маланье не что-нибудь мелкое, связанное с жизнью, здоровьем или потерянным имуществом, а воинская героическая задача. Он пришел узнать, через сколько лет сможет совершить тот главный подвиг, который ждет его,— прояснить свое терпение, чтобы оно соответствовало реальным срокам ожидания. Возила его в тележке родная сестра Акулина, или, как ее звали на деревне, Лина, которая с детства знала, что в деревянной каталке сидит не просто расслабленный братец, которого надо при ежедневной нужде подержать над помойным ведром, а великое начальствующее существо, чье всемогущество и сила совершенно неизмеримы.

Когда пророчицу выпростали из платков и полотенец, она потребовала, чтобы ее нарядили в голубую и, как молния, сверкающую мужскую рубаху, которая была у Маланьи вместо праздничного платья (получила в подарок от касимовского купца Гирея Усманова, которому она указала, куда воры спрятали голландскую корову, купленную Гиреем у прасола Авдея Когина), подпоясалась красным кушачком, на ноги велела надеть башмачки от большой куклы с разбитой головою, которую взяли при грабеже баташовского дворца успевшие к оному куряевские революционные крестьяне в восемнадцатом году. Когдаполог раздернули, Савоська уже сидел напротив кровати в своей коляске, которую занесли в избу двое мужиков, а красная от бани и волнения пророчица предстала перед ним во всей своей красе.

— Знаю, Савостьянушко, зачем ты пожаловал,— с ужимками, которые заставили переглянуться окружающих, молвила крохотная Маланья неподвижному просителю после того, как он поздоровался.

— Знаешь, так скажи,— потребовал Савоська, по своему обыновению повернув задранную голову и глядя через переносицу таким образом, словно бы смотрел сверху вниз; уже тридцать один год он просидел в деревянной тележке, и стала закрадываться в душу досада, что не успеет за свою жизнь совершить задуманное.— Скажи, через сколько лет?

— Двести шесть, Савостьянушко,— смущенно отвечала Маланья среди полного недоумения окружающих.

— Эх, значит, опять не успею! — огорчился Савоська.— Разве прожить человеку столько-то лет!

— Как можно! — согласилась с ним пророчица.— Брось об этом деле и думать, Савоська.

— Придется, видать, еще раз четыре родиться заново, ничего не поделаешь, — невесело высчитал посетитель. — А в этой жизни как-нибудь прокантоваться.

— Три раза еще родиться сможешь, — уточнила Маланья.

— Родиться-то легко, не заметишь как. Помирать тяжелее. Тут, бывает, кашель какой-нибудь замучит или брюхом изболеешь весь, — рассудительно говорил Савоська. — Труднее всего, девка, бесполезную жизнь проживать, вот как эту. Эх, ведь недвижим в тележке лежу!

— А ты вновях родись с длинными ногами, как у лося! — пошутила Маланья. — Будешь бегать по болотам.

— А ты, Малашка, родись великой, как моя тетка Царь-баба, Олёна Дмитриевна, — также пожелал ей Савоська, и оба залились здоровым звонким смехом, словно были они люди как люди.

Поговорив с Маланьей, Севостьян решил прожить как можно дольше эту жизнь, а после родиться на самом деле не четыре раза, а три, чтобы добраться через годы человеческих жизней до своей заветной цели с помощью той внутренней воодушевленной пламенности, каковую чувствует в себе. И хотя он с самого детства не может шевельнуть ни одним членом своего тела, Савоська всю жизнь жаждет померяться силой с тем, о ком узнал из сказок бабушки, из рассказов своей тетки Царь-бабы, воочью видевшей Змея, а после и от раненого нерусского человека в ту ночь, когда тот умирал, лежа у них в избе на полу.

Тогда был опять новый переворот власти в их волостном селе, и после того как стрельба и крики на улице давно стихли, кто-то тихо постучал в окно костяшками пальцев, и Савоська сразу приказал сестре: «Иди открой». Сестра мелькнула во тьме белой рубахой, и вскоре в сенях раздались шарканье и звуки тяжелого дыхания.

И тогда-то устами умирающего от потери крови китайца, приверженца большевизма и мирового коммунизма, были произнесены роковые слова, он шептал тогда, лежа рядом с парализованным человеком, сам тоже бездвижный, парализованный своим бессилием, о том, что гидра контрреволюции летает над землей... Надо, чтобы человек жил справедливо... Люди собираются вместе, чтобы мучать друг друга... Так не нужно — пускай лучше разойдутся и живут отдельно, каждый для себя. Кто не сможет трудиться, пусть умрет. И когда увидят, как плохо... одному... они снова соберутся вместе, чтобы по-новому жить... Если меня поймают, то у... у... Вас тоже... Гидру контрреволюции... надо... у... у...

И он затих в словах, но продолжала клочкотать воля его души, неслась на тачанке к краю огромного мелового обрыва, и там ученые кони завернули, не замедля бега, и бросили тачанку по такой крутой и тугой дуге, что меня сбросило с деревянного сиденья, как я ни цеплялся, — я падаю с огромной высоты мелового обрыва вниз, к летящему в мое запрокинутое лицо великому зеркалу реки...

Смогу ли я оправдать моего Змея Горыныча тем, что он нужен мне не для того лишь, чтобы быть ему пожирателем металлического мусора, санитаром военных полей? Сколько я помню себя, во мне всегда жило это чудовище, а еще истиннее — я сам всю вечность своего существования был этим чудовищем. И надо каким-то образом всем этим Тезеям и Персеям открыть истину, а она в том, что, убивая быков, медуз и змей, они уничтожают своего Отца, его скверные, гнусные чресла, коими достигает он своих грубых наслаждений. Но, убивая своего Отца, они убивают сами себя, свои будущие точно такие же вождения, потому что со всем своим чистым пылом героизма, со своими гладкими сияющими мышцами юности пресветлые герои также являются плотью от плоти своих отцов. Если бы мне удалось убить свое чудовище, то я умер бы, захлебнувшись в гное и кро-

ви всех насильственно умерщвленных людей, которых подвергли умерщвлению по высоким понятиям необходимости, полезности, святости и чистоты какой-нибудь идеи.

Раненый красный китаец, который скончался в доме Савоськи, своим сообщением, что «гидла контлеволюции летает над землей», окончательно пробудил в Савоське дремавший в нем богатырский дух. И за тот день, в течение которого труп пролежал под кроватью, спрятанный там Линой от чужих глаз,— за долгий день Савоська укрепился в решимости самому расправиться с летающим Змеем, о чем он сообщил сестре Лине, когда та вечером похоронила китайца за гумнами, где заранее вырыла тайную могилу. Ополаскивая испачканные в земле ладони, Лина слушала брата и молча кивала железному рукомойнику; в этот день наконец вполне определилось то великое дело, которое должен был своротить ее братец. Она знала за ним с его детства много такого, о чем не догадывался и он сам. Например, что во сне брат иногда спокойно встает и ходит по избе, как вполне здоровый человек, что, осердясь, он может переколотить все тарелки, не сходя даже с места: просто они сами переворачиваются и падают со стола, разбиваясь вдребезги, как будто их кто-то с силою бросал швырком.

Пора было, однако, всем этим бедным Савоськам узнать, что не уничтожать надо Змея Горыныча, а изловить его, обуздать и посадить в крепкую темницу и обязательно кормить чем-нибудь необременительным, чего у нас в избытке. Накидываясь на Змея с дубинками и мечами, видя в нем главное и, так сказать, безупречное зло человечества, они не замечают, что в их героических организмах собственные дракончики начинают весело помахивать хвостами. И, как часто бывало, героический драконоборец, обретя всенародное признание и любовь, кончал тем, что становился полным чудовищем, покрытым металлическими бляхами,— почище того, на кого он охотился. Или же герой внезапно подыхал, ужаснув народ непотребным видом своих останков, в коих наполовину уже читалось беспощадное тело гигантского гада.

Савоськина неистовая устремленность, пробужденная словами красного китайца, была и на самом деле столь сильна, что готова была пробиться сквозь толщу двух столетий. Душа Савоськина подвига ради готова была терпеливо пройти еще через три или четыре убогие человеческие жизни, но какой-нибудь третий или четвертый Савоська, пусть даже и не с этим именем, а с другим, ухватит своими стальными пальцами горло поганой гидры...

Борьба, борьба, борьба! Во все времена кто-нибудь с кем-нибудь борется — орды, империи, цивилизации, расы, идеологии. Сколько борьбы в человечестве — и никакой для него победы! Во всех кровавых исходах если и побеждает кто-нибудь — человечество терпит поражение. Как будто ведала о том пророчица Маланья: не сможет Савоська в геройском бою одолеть гидру зла, проживи он хоть три, хоть тридцать три жизни. Я-то знал, что обманула Маланья, слухавила ради того, чтобы отвлечь Савоськино внимание от высших устремлений и перевести его на себя,— и так поступают все представительницы Деметры, начиная с Евы.

С подоблачной высоты своего драконьего полета смотрю я на эту гужевую ярмарочную дорогу, которая переходит в лесную, ей надлежит существовать около ста тридцати лет, затем будет заброшена, и рядом проляжет блестящее асфальтированное шоссе, прямое, ровное и такое широкое, что однажды на него благополучно сядет терпящий бедствие самолет. А о старой лесной дороге еще лет срок будет напоминать просека в лесу, которая постепенно зарастет березой и осиной,— катила по ней тележка на самодельных деревянных колесах, очень неудобная и тяжелая на ходу, толкала тележ-

ку круглолицая крепкая женщина в светлом платке, в круглых очках, съехавших к самому кончику ее носа.

Ехал в коляске парализованный Савоська-богатырь — и вдруг увидел медленно летящего в тучах гигантского дракона, который плавно спускался с неба, задрав кверху расправленные огромные крылья и вытягивая к земле четыре своих когтистых ноги. Он почти исчез за деревьями — там, где была Выгора, болотистое место, в недрах которого залегали мощные пласты красной болотной руды, но, с шумом раздвигая по сторонам кусты и деревья, сквозь лес, как сквозь траву, со стороны болота проскочила к ним змеиная голова на длинной шею. Увидев ее перед собой на противоположном краю поляны, Савоська издал молодецкий отчаянный крик, закончившийся матерщиной, и вдруг резко соскочил с коляски, подхватил с земли кривую корягу и кинулся вперед, на гидру. Сестра его осталась стоять с открытым ртом, в котором застрял и никак не мог вылететь крик удивления, восторга и ужаса.

Потом люди говорили, что, погадав у Маланьи, брат с сестрою решили переселиться куда-то в Сибирь, где на одном из полустанков железной дороги жил какой-то из детей Кондратия Ротанкова — родного брата мужа Царь-бабы, то бишь железнодорожник приходился родным братом Савоське и Лине, которые тоже были Кондратьевичи. Но когда один из куряевских, некто Игнат по прозвищу Генеральный, встретился нечаянно в городе Чернигове с сыном того железнодорожника из Сибири, то узнал, что никакие Савоська и Акулина у них на полустанке сроду не являлись. Тайна исчезновения брата с сестрой долго оставалась никому не известной. Нет, я не сожрал их и не испепелил огнеметным дыханием своих ноздрей — Савоська вполне воинственно схватил с земли кривую корягу и кинулся ко мне, подбежал, замахнулся и ударил, и палка его провалилась в мой бок, ударилась о землю и переломилась пополам. Не переломись палка, Савоська землю бы расколол, словно орех, и не обратился я мгновенно в воздух — быть бы моему хребту перебитым напополам. Так закончилась одна жизнь Севостьяна Ротанкова и началась другая.

Стоило только исчезнуть Змею, растаять ему в воздухе, словно туманное видение, Савоська тотчас о нем забыл, потому что вдруг обнаружил, что он на ногах, что может шевелить и даже размахивать руками, что дана ему та обычная человеческая силушка, какая у всех, — взамен богатырской, которую он не мог проявить, но ощущал в себе целиком неистраченной, огромною, как река Волга. Это ощущение таящейся в нем силы Савоська потерял, как только перестал быть совершенно недвижим. Но зато обретенная живая и юркая сила членов позволяла ему теперь все: и бегать, и прыгать, и скакать, и играть на баяне, и жениться — заниматься тем, чем занимались все другие. Подойдя к сестре бойкой, решительной, кругленькой походкой, каковая оказалась у него, он обнял Акулину и громко, самоуверенно расхохотался. Он представил, что вот так же, как сестру-бабу, он вскоре будет обнимать чужих баб, разных и всяких, — мимоходом обозревая эти возможности, он объявил сестре, что они продают дом и затем тайно, никому не поведав о чудесном выздоровлении, уезжают туда, где их никто не знает.

Так завершилась одна из многочисленных охот на Змея Горыныча, которую проводил, кстати, один из представителей ветви Тураевых: от Родьки из Назарова колена, которого за его недостаточность в речи прозвали Ротанком (он называл себя не Родя, а Ротя), пошла отдельная тураевская ветка. И хотя впоследствии Ротанки не подозревали, что в них течет древлебоярская кровь, однако в большинстве своем мужички этой фамилии имели обыкновение ходить высоко задрав нос и стремились к любым начальственным должностям. Один из них, Еремей по прозвищу Шаршавый, шел как-то по

лесу с грибами, навстречу ему барин Тураев Иларион Кузьмич, в белом картузе,— тоже с корзиночкой грибов. Еремей не подал виду, что заметил барина, и, строптиво воротя морду в сторону, прошел мимо шагах в десяти от него. Но не успел Шаршавый отойти далеко по лесной поляне — разгневанный барин резвой трусцой догнал наглеца и сзади, размахнувшись от плеча, треснул его по затылку палочкой, на конце которой была раздвоенная рогулина для поиска грибов в траве. Еремей крикнул только и умчался, даже не оглянувшись, а в руке барина осталась палочка с отломленным концом. Вполне удовлетворенный преподанным уроком, Иларион Кузьмич повернулся и пошел своей дорогой. На месте происшествия остался рогатый кончик палочки, которая была вырезана барином из цельного соснового подростка утром этого дня. Еще зеленая, живая, веточка хотела жить, поэтому, отлетев в сторону и воткнувшись концом облома во влажную землю, она тотчас же принялась пускать корни. Так выросла на этой поляне сосна с двумя разбегающимися стволами — словно напоминание о том, как непримиримо разбежались там эти двое из одного общего корня, но один мужик, а другой барин.

За Колиным Домом есть безлюдный, равно отдаленный от всех деревень край леса, выходящий на болотистую низину поля, где любят гулять журавли. Барин Николай Николаевич вышел однажды туда с английским ружьем на плече и увидел двух разгуливающих птиц, которых издали принял за деревенских баб в серых одеждах, что-то собирающих или ворующих на тихой границе помещичьего поля. Но когда эти предполагаемые бабы вдруг быстро, очень быстро побежали через поле, а затем взлетели, расправив широкие крылья, Николай рассмеялся столь забавному превращению. То же самое было и с его сыном Степаном, лишь в отличие от отца он подумал было, что на угорье за болотцем бабы в серых пиджаках ищут, склонившись к земле, белошляпные грибы шампиньоны. Когда же внук Николая Николаевича вышел на то место, он журавлей не увидел. Однако что-то серое, цвета пыльной глины, бежало через поле перед его глазами. Странное существо, похожее на громадного ежа, вставшего на задние лапы, или на волосатого дикаря пещерных времен, одетого в серую толстую телогрейку и резиновые сапоги, мчалось наперерез Глебу Тураеву. Судя по скорости передвижения, неизвестное существо должно было через несколько минут сойтись с ним. Каково же было удивление Глеба Степановича, когда он — спустя семьдесят лет после деда и тридцать лет после отца — увидел на журавлином поле не эту причудливую серьезную птицу, а на самом деле человека в телогрейке и громадных резиновых сапогах.

Перед Глебом Тураевым завершал перебежку через пустынное поле молодой человеческий экземпляр с длинными спутанными лохмами, из-под шапки свисающими на плечи и спину. Одет экземпляр был в несуразно большую телогрейку и широчайшие, обвисшие на задку штаны мышинового цвета, в руке он за горлышко сжимал прозрачно-чистую, сверкающую бутылку, из которой торопливо и жадно отпивал на ходу. Пройдя еще немного вперед, Глеб Степанович увидел и цель устремлений лохматого молодого существа: на обочине поля стоял, вздрагивая боками, вхолостую стучавший мотором трактор «Беларусь» — его хозяин и бегал через поле в деревню.

Почему же бедняга предпочел броски через столь трудное поле, а не остановился прямо напротив магазина, спрашивал себя Глеб Тураев. Для чего они полетели вправо от видневшейся вдаль деревни, задавался вопросом Николай Николаевич, ведь там нет хороших низин и прудов, все они расположены слева от деревни, и в них полно лягушек. Наверное, птицы завернули направо, к речке, а там, может быть, через нее и к Охремову болоту, полагал Степан Николаевич,— там теперь столько молодых ужей, что вода у берегов вся

морщится и трава беспрерывно шевелится. Наверное, хотел, таясь от начальства, незаметным образом просочиться в магазин, пытался разгадать тайну бытия Глеб, внук Николая Тураева. Можно объяснить, конечно, все, но тогда объясните мне, господа, как социальный прогресс мог породить этого страшноватого дикаря, который бежит через поле с бутылкою в руке, словно с отодранным от туши вепря куском голяшки. Вот он сел в трактор, дернул рычаги, мотор заревел с яростью раненого зверя, машина рванулась с места, шапка съехала на глаза трактористу. Но, ослепленный столь неожиданно, труженик не потерял своего энтузиазма и направил плужный агрегат поперек поля, вздымая позади себя застывшие волны вывернутых из глубин мертвых песков и глины.

На всех широких полях округи в это время года, когда журавли поднимают молодежь на крыло, готовясь к предстоящему перелету, хозяйства поднимают зябь, повсюду рычат трактора под водительством пахарей в серой одежде, которым давно уже непонятно, в чем смысл их губительной работы на земле, — зачем работать много или мало, хорошо или плохо, если нет никакой разницы между тем и другим, а земля родит все меньше и меньше? Степан Николаевич не задавал себе подобных вопросов, по своему положению принадлежа не к сельскому, а лесному хозяйству, где одичание тружеников было незаметным из-за малой количественности лесников. Они пропивали казенный лес на корню по своим уединенным кордонам, сгорая от винной горячки среди величественной тишины леса, а не шарахаясь в замасленных телогрейках и резиновых сапогах по смертельно истощенным полям родины.

К тому дню, когда журавли взлетели над убранном полем, Николай Тураев имел уже задуманное счастье, что определилось в его молодом сознании как лесное убежище философа: новый дом из прекрасных бревен, поставленный на красивой поляне, подворье столь же новое и качественное, свежий колодец и даже дубовый сарай, в котором находился токарный станок для ручного труда ученого хозяина. Помыслы и глубинные философические чувства его были чистыми, как родники нового колодца, он хотел постижения — через себя, с помощью постоянной сосредоточенности сознания — самых высших реалий космического духа, живым признаком которого была вся полнота общечеловеческой культуры.

Когда побежали по полю, а затем взлетели над ним журавли, Николай Николаевич еще полагал, что разумная основа всечеловеческого счастья столь же неоспорима, как и ему неизвестная, но существующая причина того, почему журавли полетели вправо от деревни, а не влево. Тогда Николаю Тураеву не было еще тридцати лет, в славном лесном доме появилась молодая солдатка Анисья, двадцатый век только еще начинался, и впереди были зима и весна, когда разольется недалняя Ока синим морем и половодье запрет барина с кухаркою на островке. Вера философа в возможность постижения через отдельное человеческое «я» причинности сущего мира опиралась, стало быть, на молодость мыслителя и крепость и свежесть цветущих бедер его кухарки. Банальные основания для метафизического оптимизма! И это уже за порогом века, в котором крупно выживится главная несостоятельность Единого человечества: отсутствие всякого объяснения той уверенности, с которою оно поставит собственное слепое благополучие конечной целью движения всех вселенских систем, — полагая, что осуществляет самые высшие притязания человеческой цивилизации.

Николай Тураев мыслил так, что его личное постижение механизма Вселенной явится духовным достоянием всех, поэтому он может, оставаясь в стороне, смотреть свысока на многочисленные движения народников и социалистов, активные в дни его молодости. Но проходит восемьдесят земных лет, и оказывается, что дед про-

жил в своем лесном углу, названном впоследствии его именем, свою новую жизнь лишь для того, чтобы на закате века туда пришел покончить со своей жизнью его далекий внук, для которого Единое человечество стало сонмом обезумевших микробов на поверхности земного шара, озабоченных лишь одним: научиться истреблять собственную массу человеческих микробов через общее психополе. Между космическим оптимизмом деда и вселенским отчаянием внука светится во тьме Моря Одиночества крошечный огонек в избушке лесника, и я думаю тяжелыми, как дубовые колоды, непроницаемыми Степановыми словами: зачем я жил и детей наплодил, если видел тех, которых в печи сжигали, если сам ворочал трупы, работал у печи, выполнял приказы (сжигали не совсем мертвых, потому что новый газ «Орхидея» оказался плохим и все валялись в зеленой блевотине)?

Дедушкина мысль: через меня людям откроется Божество и Человечество обожествится,— сгорела от замкнутости на себя и во внуке отозвалась холодным пеплом математического отчаяния: в 10^{38} раз Бог живых слабее Бога мертвых. А в Степановом безбожном мозгу прозвучала так: если то, что я видел в войну и в концлагерях, правда, а не приснилось мне, то всему будет хана и ничего не поможет. Неоднократно и в самых различных видах и обличьях возникала эта мысль во мне — в словах и понятиях самых разных деревьев моего Леса...

Проходят тысячи лет, а я все продолжаю эту тоскливую игру, задаю себе вопросы, зная наперед, что никакого ответа не получу. Я лишь могу знать, что существую, а почему существую и кто я... Уже одного сожгли за то, что он объявил себя Богом, другого распяли на деревянном кресте — вот результаты моей игры. Но как только начнет в каком-нибудь новом человеческом варианте набухать зародыш сей метафизической опухоли, как я тут же принимаюсь с настойчивостью, достойной лучшего применения, лелеять и растить новую человеческую беду.

— В каждом человеке проявлен Бог,— нехотя молвил Николай Николаевич Тураев в холодной полутьме подвала одного из заброшенных домов на Второй Мещанской улице в Москве.

Сентенция Николая Тураева вышла диковатую в той обстановке, в которой прозвучала: человек десять самых серьезных бродяг и люмпенов укрылись здесь от слякоти тающего на грязных улицах городского снега. И хотя подвал не спал во время оттепельной сырости, там над жидким, хлюпающим полом проходили теплые трубы, и возле них расположились, сидя или лежа, случайные и постоянные обитатели подвала бездомных. Среди последних и принадлежал Николай Николаевич с напуганной спутницей своей Верой Кузьминичной, на которую он даже и не смотрел, словно бы и не любил ее всю жизнь любовью великого отчаяния, безнадежности и постоянства. Они кормились совместным трудом — мыли стеклянную посуду для аптек, входя в артель специализированных в таком деле московских бродяг. Помои аптечные собирались, делились и употреблялись данной публикою как сильнодействующее наркотическое средство, но Козулина и Никто всегда отказывались от своей доли, довольствуясь только теми копейками, что платили им за их труд.

Слова, которые произнес Николай Тураев, были обращены к человеку с плоской лысиной на лобастой голове,— при мелькающем свете из дырки в каменном цоколе эта голова то вспыхивала верхним макушечным бликом, то выставлялась из тьмы желтым кругляком скулы, освещенной керосиновой лампой. Эту лампу лысый человек, уголовник Гриня, поставил на пол хлюпающего и капающего подвала, а сам сел над нею с широко разведенными коленками, ста-

раясь туловищем защитить стекло лампы от опасных для него со всех сторон падающих капель. Он только что, не отходя от лампы, выбрал из носа в глотку комок слизи и с силою харкнул в лицо какому-то бродяжке в каракулевой шапке, на которой почти не было меха: этот морщинистый человечек сунулся было, урча мирными звуками, посидеть вблизи керосинового огня. Тогда и прозвучали в подвале негромкие слова бывшего Николая Николаевича.

— Чего проявлен? — сомневаясь, слышал ли он что-нибудь вообще, спросил Гриня, завсегдатай подвала, которому после выхода из тюрьмы пока негде было жить, спросил не у того, кто произнес возвышенную фразу, а у того же шаромыжника, которому подарил свой плевок в рожу.

Старая женщина, в девичестве Ходарева, красной морщинистой рукою тронула плечо рядом сидящего бородатого старика и боязливо прошептала:

— Не надо, Николая...

Но, не внимая словам и предостерегающему прикосновению верной руки, Николай Тураев, считающий, что он теперь Никто, ровным голосом продолжал:

— В человеке явлен Бог, и все, что происходит с человеком, то происходит в Боге, а значит, вся...

Осторожно наклонившись и при этом с наслаждением вдохнув теплого керосинового чаду, Гриня подвернул коптящий фитиль, убавляя зубчатое пламя; по сторонам длинного подвала вдруг засопело, заколыхалось и враз закашляло несколько засоренных простудными пленками дыхалок; Николая Никто самовластно коснулось совершенно никчемное воспоминание, и он умолк на полуслове.

— Тя-ак, тьяк-тьяк! — растягивая свои известные всем в подвале «тяки», со значением произнес Гриня. — То все молчал, бильдюга, а то заговорил? Боженька, говоришь? Тя-ак! Посмотри.

Николай Никто с закрытыми глазами присутствовал в благоухающей чем-то хорошим и свежим большой комнате помещичьего дома, сухо овейной печным теплом, в оранжевых обоях; открылась дверь, и вошла нестарая женщина с бледным красивым лицом, с грустными глазами; Никто увидел, как она подошла к высокому буфету и открыла его, привстав на цыпочки, и достала с верхней полки перламутровую раковину с блюдо шириною; поднеся тяжелую раковину к уху, женщина с грустными глазами принялась слушать морской шум. Кто была она? Покойная матушка? Или помещица Лариса Зайончковская?

— И давно так думаешь, старенькая вошь?

В доме Ларисы Петровны собирались интересные молодые люди из Касимова, Владимира, иногда даже из Москвы. Однажды была там и Вера Ходарева, тогда еще близкая подруга Лиды Тураевой, — вместе заехали к Ларисе Петровне на легких санках Андрея Николаевича. На вечернем розовом свете снег сугробов вокруг дома и в саду был столь живым и трепетным, что девица Ходарева, не объясняя никому, зачем это делает, выбежала из дому на мороз без шубы и платка, кудряво-простоволосая, светящаяся молодой красотой. Проваливаясь башмачками в снегу, заметая длинным подолом рыхлый снег, побежала она по двору далеко-далеко, к замерзшему фонтану, где темнела укутанная в рогожи одинокая пальма, — и никто не остановил ее, все весело смеялись, глядя на Верочку из окон.

— А у этой морды — как? Тоже за пазухой Бог?

Подвальный молодчик Гриня повалил на грязный пол жалкого старикашку и уселся на него верхом, чуть ли не на самое лицо ему. Бывшая когда-то девицей Ходаревой, ныне бездомная старуха Козулина громко вскрикнула и, задвинувшись меж трубами, спрятала там

свою голову. Она не помнила — никогда так и не вспомнила больше, — как в тот же самый вечер приехали к Зайончковской их соседи, Сергей Марин и его сестра Настя, маленькая черноглазая красавица, к тому же и отменная певица, лирическое сопрано. И как же они с Лидой Тураевой пели дуэты и романсы Гурилева! Тогда казалось, что из розового снега, Настенькиных загнутых ресничек, красоты Гурилева, добрых улыбок двух молодых симпатичных людей с бородками, их умных и славных разговоров и пирожных Ларисы Петровны составилось такое замечательное счастье, которому не будет предела. Однако все это истаяло легче дыма, и старуха Козулина сучила ногами от ужаса, чувствуя себя за осклизлыми канализационными трубами подвала совсем беспомощной и незащищенной.

— Говори, старенькая вошь, чего с ним сделать? — спрашивал Гриня, обращаясь к Никто, за спиною которого скорчилась старуха в шляпке из черной соломки. — Хошь, убью его, как кролика? — продолжал Гриня, одной рукою слегка удушая подмятого под себя человека, другой держа керосиновую лампу.

— Гриня, чево минжуисси? Тоже хочет дышать, — раздалось из тьмы подвала, — а ты ему воздух перекрываешь, волчара.

Гриня аккуратно поставил на слякотный пол лампу, не выпуская из грязных пальцев шею поверженного нищего старичка, освободившейся от лампы рукою быстро пролез за голенище сапога и вынул ярко сверкнувший нож.

— Ты, тя-ак, бильдюги, — молвил он, слегка покачав в воздухе лезвием, в середке которого чернела канавка кровотока. — Хошь, сейчас прирежу твоего Боженьку, старик?

— Ты этого сделать не сможешь, — спокойным голосом отвечал Никто, не глядя на возившихся у его ног. — Ты не существуешь.

— А ты существуешь? — вроде бы обиделся Гриня.

— Я также не существую, — был ответ. — С тех пор как я постиг это, меня больше нет. И никого из вас нет, что бы вы тут ни делали. Вы никто, так же как и я.

— Тяк-тяк, понятно, — поднеся близко к глазам лезвие финки и озабоченно осмотрев его с двух сторон, говорил Гриня. — Мы Боженьку любим. А хошь этого? — И он приблизил острие ножа к сморщенному кадыку нищего старика.

— Круг человеческих интересов перестал для меня существовать, — равнодушно молвил Николай Николаевич Никто.

Он отвернулся и не видел того, как грязный беспомощный старик, настолько дряхлый, что уже и говорить разучился, вдруг с силою прогнулся телом, едва не сбросив с себя насильника, и с широко перерезанным горлом стал извиваться на полу и бить ногами. Но лампа была опрокинута, и свет потух, в темноте стало слышно, как разнообразно затопала ногами подвальная шантрапа, разбегаясь по городу...

Остались в подвале Николай Никто, насупившийся в черной мгле, старуха Козулина за его спиною, потерявшая сознание, да на полу уже вяло шевелился нищий, из рассеченной глотки которого с плеском вытекала кровь. Дыра в кирпичном цоколе все так же светилась, и, когда улицей проходили тела, на стенке подвала обозначались их длинные, перевернутые вверх ногами тени.

И предстала взору неподвижного Никто крапленая огненными брызгами ночь в лесу, где он сел на мягкий мох, прислонясь спиною к невидимому дереву, поднял взор кверху — и сквозь густые ветки, исчеркавшие каменную синеву ночных небес, увидел бесшумный лет по горней орбите Славы Господней. Словно поверяя в последний раз перед парадом посты своих радостных часовых, с нетерпением ждущих наступления торжеств, круглый сияющий корабль облетал небесные созвездия, следуя строго вдоль Млечного Пути. И Никто, кото-

рому выдалось узреть приуроченный к торжествам мир, утаенный в глубокой ночи и как бы секретно накрытый тяжелым синим платком в миллионах блесков, одним из первых нечаянно увидел и понял, какое безграничное во времени и пространстве ожидается празднество Отца со своими детьми — какое великолепиие!

Тихо сидел я под деревом, глядя на летящий корабль, хотя никакого не испытывал страха, решил затаиться, не объявлять себя из сокрытия лесной мглы: моей душе было весело и дорого то самообольщение, что сей миг я единственный в мире таюсь в ночи с неспящим сознанием и созерцаю яркие радости и секреты грядущей всесветной иллюминации.

Я заблудился во время грибной охоты, был серенький несмелый день, таящий в себе лишь малые радости отдельных белых грибов при множестве тоскливых валуев на всех полянах, с будничным выходом скиших старых подберезовиков на лесные дорожки, прямо под ноги, и с глухим провинциальным существованием о край моховых болот нелепых громадных сыроежек с алыми шляпками, столь похожими на тугие атласные подушки без наволочек. Не помню, кем я был, чье грустное сердце билось в моей груди и от какого исторического времени удалось мне на время сбежать в лес за грибами, — но было скучноватое грибное межвременье, когда внезапно взметнувшийся вал белых грибов быстро пролетел по лесам и столь же внезапно сошел, оставив догнивать на моховых буграх громадные недобытые перестарки.

Пробираясь по сосновым красным просторам и березовым белым раздольям, всюду на лесной почве видел я скудное житие всякой серой грибной сволочи вместо ядерных боровиков с толстыми ножками. По моховым хвостам разбежались побуревшие лисички, на открытых взору палестинках, достойных самых благородных грибов, повывезали вонючие мухоморы и опять же пустопорожние валуи с обрылевшими и продранными, как старые соломенные крыши, унылыми шляпками. Под сенью кустов торчали здоровенные грибы-зонты с пышными лохмотьями нищих, выставленными на всеобщее обозрение безо всякого смущения, — была пора, когда грибное благородство отошло и выродилось, столь обветшало и выгнило, что подлинная сиротность нищеты единственно выглядела здоровой и полнокровной. Я проходил целые поляны с побуревшими червивыми моховиками, словно проезжал через загложшие деревни с испорченным народом, способным только на пьянство да незамысловатое воровство. В темных ельниках шибал ногами затаившиеся в глухомани колонии свинухек, каждая из которых также была насквозь побита темным пороком червотчины.

По каким местам, в какое время года и в какой час дня пробирался я знакомым лесом — и чье грустное сердце билось в моей груди? И где-то ведь не то ожидает, не то уже свершилось злодейское, глумливое убийство беспомощного старца нищего — только лишь за то, что было высказано предположение: се человек, в нем явлен Бог. Что это за милосердная энергия, которая дается человеку для преодоления тоскливых пространств безвременья, когда Лес отечества наполнен таким спудом серого мусора и жалкого гнилья, когда чистым телом сверкнет в траве лишь бледная поганка в чулке, то бишь во влагилице собственной ядовитости, — кто ведет тебя, путник, сквозь такой скучный Лес к затаенной ночи созерцания Славы Отца?

Не зная того, что ожидает меня впереди, целый день тогда я проблуждал по лесу, добыв всего десятка два не очень крепких белых грибов, и вся радость от этого сбора не стоила даже выхода в лес. Так растравлял я себе душу, подавленную неудачей, в предвечерний час леса — время, самое безнадежное для грибного охотника, если корзина его не успела наполниться отборными грибами. К тому же, оглядевшись вокруг, я увидел совершенно незнакомый лесной угол и

только тут понял, что давно уже заблудился, ведомый по неизвестным местам глухим раздражением безысходной усталости.

Смутную душу резало тонкой и жесткой, как скрученная струна, непокорной мыслью о неудаче — как о закономерности некоторых судеб, да и целых исторических эпох, которые сплошь являются неудачными, — вместе с государствами, народонаселением, богатствами техники и духовной культуры, с религиями и философиями, войнами, битвами и завоеваниями. Упругая петля порванной струны возвращалась вновь и вновь, сколько бы ни отталкивал я эту мыслишку, — неудача заложена в моем характере как фатальный материал, и ни при чем тут лес, набитый одними трухлявыми грибами. Таково, стало быть, время, содержащее в себе взращенные в нем самодействующие реактивы, которые... Но вечер все явственнее проявлялся в сгущении лесного света, в тревоге молча пролетающих над деревьями птиц, и надо было выбираться из леса на какую-либо дорогу, ведущую хоть куда-нибудь. Однако дороги никакой не попадалось — я как бы переходил из жгучих комариных объятий в другие — придурковатые, бесовские, сырые и темные, обещающие мне хорошую трясиину для вечного упокоения.

Однажды заблудившимся в лесу конторщиком баташовского завода из Гуся-Железного день, ночь и еще целый день до вечера проплутал я по мешчерским дебрям, кружил меж гибельных болот, пересекал одни и те же лесные угрюмые углы, отчаялся совсем и при мысли о наступлении следующей ночи почувствовал себя на грани гибели. И вот уже на вечерней заре вышел на какую-то едва заметную тропу, поплелся по ней, и вскоре она вывела в просторный березняк, весь пронизанный полосами розового света. Пересекая их попереки, пока они не истаяли незаметно, шел Мефодий Замилов, гусевский конторщик, позабывший, кто он такой, еле жив по неведомой дороге. И привела она к кирпичному дому с розовой черепицей, к подворью лесной фермы помещицы Тураевой. Он вошел в калитку, едва держась на ногах, и упал посреди двора, как приبلудивший пьяный мужик, косматый, оборванный, без картуза. Хозяйка в это время пила вечерний чай со сливками и свежим земляничным вареньем и смотрела сквозь стекло двустворчатого окна, как упавшего поднимают с земли под руки кухарка Евласия и скотница Катерина, ведут его к дому. Заинтересованная Лидия Николаевна Тураева оставила недопитую чашку и встала из-за стола. Ей бы знать, что от этого человека родится ее младшенькая, единственная дочь Даша, — так пошла бы к двери побыстрее, наверное.

За ту минуту, которую она промедлила, работницы уложили Мефодия Замилова на чистые доски крыльца, расстегнули на нем рубаху, откинули кудри с лица — и перед вышедшей из дому хозяйкой оказался беспмятный, измученный красавец конторщик, которому вчера вздумалось пойти одному в лес за грибами. Даже бессильно раскинутые руки и крупная шея, исцарапанные в кровь, выставлялись из рукавов и ворота одежды во всей убедительности мужской мощи. Евласия с Катериной узнали известного в Гусе-Железном человека, громко раскудахтались на крыльце — Лидия же Николаевна видела Замилова впервые, с быстрым вниманием осмотрела его и велела бабам занести человека в комнаты. Барыня следила за тем, как вносят женщины в дом беспмятного человека, и ревниво, почти хищно стерегла их движения, в которых проявлялась простодушная чувственность двух здоровых баб, ненароком причастных к телу беспомощного перед ними чужого красавца.

Для очнувшегося Мефодия Павловича это было подобно воскресению в другом мире — когда он раскрыл глаза, осмотрелся и увидел себя в белоснежной постели, под высоким пологом из сарпинки, чтобы не кусали мошки и комары. За полупрозрачной дымкой ткани текла

расплавленным золотом далекая лампа, а в ее свету слабым намеком сияния обозначилась женщина, держала она в высоко поднятой руке что-то светлое; ему вспомнилось, как тяжело было ночью в лесу нести корзину, то и дело цепляясь ею за торчащие на пути невидимые сучья, — и он, как бы опомнившись, понял всю нелепость своих стараний и с размаху зашвырнул корзину куда-то в затрепавшую тьму, — теперь вроде бы несла из тьмы на свет неизвестная женщина эту корзину. Она повесила высокую круглую шляпу на изогнутую деревянную вешалку-трость и, скинув руки, сбросила с плеч незамысловатую легкую одежду. Потом подошла к зеркалу, пригнулась, всмотрелась в свое лицо — я проверяю себя, так ли все было: почему женщина, устраивающая на ночь свою любимую шляпу, могла произвести столь великое впечатление на человека?

Я уже не знал былой усталости, ночь страха в лесу мгновенно заблудилась — чей это дом, где я очутился и кто эта женщина, повернувшись от зеркала лицом ко мне? Я переживал человеческую любовь во множестве, не о той любви говорю, которая у них остается по большей части на бумаге, в книгах, песнях, — я испытал то, о чем не говорят, не пишут в стихах и романах, а что творят с полным чувством правоты и истины. В каждом таком случае не два тела соединяются, а словно извергается один вулкан, не радость и сладкий мед достают двое из глубокой тайной пещеры, а, изогнувшись одинаково, ловят и отбрасывают прочь летящую на них молнию. Было так, что, увидев больного совершенно выздоровевшим, зрелая и нерастроченная женщина осталась со мною под сарпниковым балдахином, не зная жалости ни к себе, ни к своей нежданной добыче. Наутро, поднявшись раньше меня, Лидия Николаевна ничуть не была смущена тем, как поступила, лишь ласково улыбнулась румяным лицом, нежными, сдержанными глазами — сидя на краю постели и положив мне на грудь свою мягкую большую руку. Не надо было ничего говорить — ведь ни слова еще и не было сказано! — и это свойство Деметры меня больше всего восхищало в ней. Она могла явить через свое безмолвие, насколько происшедшее значительнее всего, что может принести за собою произнесение слов.

Это была женщина, способная серьезно внимать повелениям животворящего начала и без моральной мелочности спокойно исполнять их, чего не поняли многие знавшие ее мужчины, среди них и Гостев Сергей Никанорович, дважды с негодованием отвергнувший ее — первый раз в Москве на Разгуляе, когда она оставалась у него на ночь, — и это после долгих насмешек над ним из-за романа «Гарденины», который он любил, а она презирала за безыдейность; и второй раз к концу его жизни, в городе Боровске, когда он на санках вез от реки Протвы воду, упал на обледенелом взгорке, никак не мог подняться, беспомощно мотая в воздухе ногами, и к нему подбежала молодая женщина, отцепившись от какого-то немецкого вояки, с которым шла по улице. «Дедушка, дай помогу», — протянула ему руку, зачем-то сняв с нее белую пушистую варежку, — была она совершенно вылитая Лидочка Тураева, те же густые брови, и веселые глаза, и налитые сочные губы, и широкая улыбка с блеском белых влажных зубов. «Пошла, пошла, блядюга!» — хрипло кашляя, обложил старик эту Лиду, затем от бессилия уткнулся лицом в снег. Через два дня он без мучений замерзнет в своем домике, сейчас же ему было столь тяжело, что он забыл даже, что идет война и враг захватил город, — не продажную девку, отдавшуюся немцам, отгонял он от себя, а вновь оттолкнул Лиду Тураеву, которую всю жизнь не мог забыть и ядовито презирал: все женщины, считал он, были такими, как она.

Впрочем, и контрщик Мефодий Павлович также не понял бедную Лидочку, когда, пробыв у нее в спальне в качестве больного (или пленного) три дня и три ночи, испытал с нею то, чего он потом всю долгую жизнь никогда не мог забыть, также посчитал, должно быть,

поведение женщины предосудительным и больше к ней не заявлялся. Его дочь Дарья, о существовании которой Замилов знал, но признавать ее не хотел, потому что, по слухам, она была похожа как две капли на прасола Авдея Когина,— Дарья никогда ему так и не встретила. Мефодий Павлович плыл однажды на пароходе в командировку и в каюте развернул газетный сверток с окороком, положенным женою в сумку с дорожными припасами, и увидел напечатанную в газете «Гудок» фотографию Даши, молодой связистки Миусского телефонного узла, которая окончила техникум и уже стала хорошим спецом,— Дарья Мефодьевна Тураева, двадцатидвухлетняя ударница труда, примерная кимовка. Газету, покрытую темными пятнами жира, Мефодий Павлович хранил до самого прибытия в Англию, но после командировки, благополучно вернувшись домой, никогда о Даше не вспоминал, но о грешной Лидии Тураевой, хозяйке лесного поместья, грустил вплоть до своей смерти на даче в Красновидове.

От самой же помещицы к этому времени даже могилы не осталось — похоронена была на деревенском кладбище, могила ее, самая заурядная, с деревянным крестом, недолго существовала на земле — крест лет через десять накренился, затем и вовсе упал, его куда-то уволокли, и безымянный холм еще лет десять был заметен, но постепенно его затоптали ногами живые, проходившие к другим могилам.

А через семьдесят лет на месте захоронения Лидии Николаевны появилась странная могила. Она была за железной оградой, украшена внушительным памятником из черного гранита, заметно выдающимся среди окружающих траурных камней, старых крестов и железных пирамидок. На плите способом точечной насечки был осуществлен парный портрет: некий пожилой лысоватый солидняк во френче, упитанной комплекции, и склоненная к его лысине в жесте унылой дочерней признательности молодая курчавая девица. Выбитая по цоколю памятника надпись сообщала, что имярек и его любимая дочь такая-то родились тогда-то (цифры были выбиты с помощью острых, твердых инструментов), а дальше сплошная хитрость: было написано не «умерли», «скончались» или «погибли», как пишется на могильных памятниках, а «жили до», и вместо даты как бы нечаянные шлепки коричневой масляной краски. Однако выразительнее этих экзерсисов было то, что за оградой памятника земля лежала ровная, поросшая зеленой травкою — и никаких могильных холмиков. Это означало, что предприимчивый солидняк заранее, до смерти, обеспечил себя и любимую дочь солидным местом на кладбище, для чего установил вечный памятник из черного гранита, чтобы объегорить всех на свете да и самого Господа Бога. Имя солидняку было: Севостьян Кондратьевич Ротанков.

Я не люблю город, тут душно мне, но существование мое настолько связано с городом, что просто не любить уже не могу — я тяжело ненавижу его, но и ненависть эта ничего не стоит, потому что город убивает меня. И я вынужден избрать для себя путь выезжающего на природу горожанина, блуждающего по лесам грибника в очках, в потертых американских джинсах или охотника в летчицких унтах, с дорогим английским ружьем, с надежной лицензией на отстрел зверя и охотничьим билетом в кармане. Я прозябаю в городе, томлюсь в квартире с ванной и другим необходимым кабинетом, с отоплением и горячим водоснабжением; попадая же в лес, я просто болтаюсь по нему с корзиною в руке или с ружьем на плече, и никакой жизненной необходимости в этом нет — кормления, добычи. И ничем не измерить грусти от подобного моего раздвоенного существования.

Прекрасными были леса моей молодости, грудь их распирало невыносимой силою древесного множества, чистая белая мышца и золотистая кожа деревьев не знали еще прикосновения холодного железа. Я гулял по тем местам, где потом явится срединная Россия,

провел в солнечном одиночестве множество весен и лет, не зная еще человеческого ощущения жизни. И, утешая свой дух красотой звериных прыжков, побежкой гибкой лани — оленьей женщины, веселым треском крыл громадных тетеревов, несущихся сквозь пролеты лесных пустот, я в душе своей лелеял мечту о встрече с кем-то прекрасным, кто гораздо лучше меня, — кого и люблю, значит, намного сильнее себя. Предпощался он таким же, как я, с той же способностью мыслить и тревожиться неизвестным, но в отличие от меня — знающим ответы и не ведающим вопросов. Радуюсь тому, как совершенен и прекрасен Лес, я с непреложностью истины понял, что Тот, кто послал меня мыслить и видеть красоту, замыслил прекрасно. Если вокруг меня был живой лес, исполненный высшего совершенства, то творец его был Отцом леса, — и встретиться с ним мне захотелось нестерпимо! С тех пор я и хожу в сених Леса, надеясь на желанную встречу.

В кабине грузовика сидел за рулем молодой мужик Славик — одушевленное орудие труда колхоза с тем же звучным именем, — подбрасываемый на сиденье словно на горбу взбесившегося верблюда, сей профессиональный наездник с утра был в очень сложном душевном состоянии, и ему было не до загадок и красот леса, через который он ехал по широкой песчаной дороге. Сын Козьмы и Марьи, внук Игната и Лариона, чей племянник Гришка был расстрелян самосудом, правнук Гордея Сапунова и Алексашки Жукова, чьи предки уже неразличимы в сонме бесфамильных крестьянских существований в глухих лесных деревнях, — Славик козьмо-марьинский ехал на рабочем грузовике прочь от своей родной деревни. На лице его было выражение лукавства и значительности, чего никто на безлюдной дороге видеть не мог, кроме меня, и никто не знал того, что Славик, несмотря на выражение своего лица, сам не знает, куда он сейчас едет, нещадно погоняя свой фантастически раздолбаный драндулет, у коего даже акселератор не работал — вместо него имелась некая веревочка, за которую нужно было потянуть, чтобы добавить газку.

Он ехал потому, что не знал, как дотянуть до ночи этот бесконечный день в деревне, который начался с того, что Козьма да Марья, родители Славика, подрались, затем помирились, снова сели за стол и угостили поднявшегося с постели сына, и он поначалу не хотел пить столь отвратительное поутру, по свежему лесному воздуху да по ясному солнышку, совершенно ядовитое пойло, но отец разорался, мать качалась, как дурочка, сидя на лавке у печи, икала и тарасила глаза на полыхавший огонь, — и, зверем покосившись на родителей, которые ничего, кроме добра, ему не желали, Славик махнул сто пятьдесят из граненого стакана. А после выехал на работу, с фокусами заведя стоявший перед избой грузовик, и целый день испытывал два желания: сокрушать своей машиной все, что попадалось на пути, и отчаянную жажду добавить еще, потому как ста пятидесяти граммов было мало.

Но за целый день проклятая жизнь не сделала бедному инвентарю колхозного труда никакой поправки, в карманах его были сплошные дыры, даже расческу было негде носить, и поэтому Славик ходил лохматым, как чучело, — такому кто из приличных даст рубль взаймы? А когда рабочий день кончился, бесполезно было и домой являться, потому что к этому времени родители высосали все, что можно было, и теперь ждали небось, что сынок каким-нибудь чудом раздобудет бутылку, сам не выжрет, а принесет ее, застрявшую в кармане штанов, и поставит на стол перед папашей и мамашей. Вот, на воротник вам, кощунственно подумал о них сын и решил из деревни уехать, как только три старика и две старухи, вся рабоче-крестьянская сила деревни, выгрузятся возле заколоченного здания сельской школы. Кроме этой мертвой школы в деревне находилось еще два здания

выморочной государственности: бывший клуб и закрытый по причине смерти фельдшера амбулаторный пункт.

В клубе, где даже дверей не было, распоряжался доброволец культуры Егорочка, восседал за длинным ученическим столом, взятым из ликвидированной за неимением учеников деревенской школы; с неизменной своей улыбкой на круглом густобровом лице встречал Егорочка посетителей очага культуры. Этими посетителями чаще всего бывали последние молодые люди деревни, жившие там уже при полном отсутствии девушек: работник колхоза Славик и колыхающий жирами на груди, небритый безобидный дебил Васька, по такому случаю оставивший свою тачку перед входом и осторожно пролезавший в дверной проем, собрав перед собою в кулак подол длинной, до колен, чудовишно грязной рубахи. Они собирались долгими летними вечерами или в праздники, чтобы сыграть в очко или сикку, хотя и в том и в другом все трое мало чего смыслили: Егорочка и Васька в силу своего слабоумия, а Славик из-за головных болей, которые начинались у него при малейшем умственном напряжении. И, глядя в окно на этих наследников деревенского алкоголизма, я из глубины старой липы, чья ветвь скреблась в стекло полусгнившей рамы, обращался к ним с вопросом: кто вас послал в эту жизнь, господа? И никак не мог определить, кем же из этих трех мушкетеров Буылки являюсь в данный миг я: Егорочка, Васька или механический работник колхоза «Слава»?

Да, это я все же ехал в грохочущей, как сама катастрофа, машине, потягивая одной рукою шнурочек, уползающий сквозь дырки панели к дроссельному рычажку карбюратора,— это я, Господи, еду по княжовской дороге, сам не зная куда. Кто меня ждет на этом свете? Кому я нужен? И вдруг неожиданно вспомнил, что весною, в апреле, когда в потеплевшем лесу дотаивал последними ключьями снег и наступило могучее соководье в деревьях, я где-то здесь, в больших березах, ставил свою посудину. Да, надсек кору топором и вниз под ранку забил дюралевую трубочку, по которой сразу же струйкою выбежал сок и брызнул в стеклянную литровую банку. Ее поставил я на землю меж узлами корней и, чтобы не заметили с дороги, до горловины заложил сырым лесным мусором. Вон за тою наклоненной березой с висячим, как подгрудок у коровы, длинным наростом в лишайниках — стоп, машина, банка должна быть где-то здесь! Хотел на другое утро подъехать и взять полнехонький сосуд прозрачного холодного сока, тут же выпить его с великим наслаждением — и забыл об этом. Небось банка переполнилась, и сок полился через край на землю — прошло эвон сколько месяцев с апреля! Я без труда нашел под березою забытую литровую банку — никто ее не тронул, — волнуясь, достал ее из кучи веток. Стекло банки помутнело, дно и стенки были покрыты слоем грязи, а на самом доньшке посерединке чернел скрюченный скелетик засохшей мышки.

Когда я бросил банку в кусты и повернулся назад, то увидел, что с машиною, стоявшей на дороге, происходит что-то необычное: она искрила изо всех своих щелей, из-под капота вырывались дым и пламя, докрасна раскалился участок изогнутого крыла сбоку, вспучилось в этом месте железо и прорвалось светящейся дырою, откуда хлестнуло струей огня. Все вокруг потемнело, что-то громадное и плотное накрыло небо, буря искр поднялась в наступившей темноте с того места, где стояла машина, грянул взрыв, взметнулось ввысь пламя — и все стихло. Свет дня постепенно вернулся в лес, на княжовскую дорогу, там никакого грузовика больше не стояло. И лишь на нижней ветке сосны у края дороги, довольно высоко, на уровне полета сороки, висела рваная стерва — все, что осталось от замасленной шоферской телогрейки, которую я, Славик, возил за спинкою сиденья в кабине.

В этот вечер я несколько раз терял себя и находил — то оказывался в чьей-то комнатухе, тесно заставленной верстаками, чурбаками, железными станинами электромоторов, деревянными колесами старинных самопрялок, пол был забросан селедочными головами довольно свежего вида, и кто-то пихал мне на колени гипсовую маску мертвого Пушкина, настойчиво и одновременно насмешливо втолковывая что-то насчет давно погибшего поэта, чего я никак не мог понять сквозь свою головную боль... То меня били как Славика, каким-то образом попавшего на терраску куряевского клуба, где приезжим из столицы пижон, весь в метале, с портативным магнитофоном в одной руке, нагло вертел задом, изображая какой-то танец, и Славик, не выдержав, смазал его кулаком в скулу, и тот Славика смазал, а затем налетели пижоновы дружки, окружили Славика и, отчаянно труся, несильно порезали ножами ему грудь и правую руку меж пальцами. Глубокой ночью я брел, спотыкаясь, по окраине какого-то поселка, налетел в темноте коленом на железную водопроводную колонку, долго тер ушибленное место, стиснув зубы от боли, затем нажал на рычаг, напился, заодно намочил голову, избитое лицо и обмыл раны на руке. И, несколько освеженный, но по-прежнему голодный и жаждущий, брел я по каким-то буграм, глядя на далекие огоньки, и дул изо рта на свои озябшие кулаки, в одном из которых была зажата железная гайка на семнадцать, которую кто-то положил на плоский верх колонки.

Эту гайку еще днем нашла женщина с двумя паспортами в сумке, своим и материнским, увидела на истоптанном пятачке возле колонки, — правнучка священника Грачинского, который однажды чинил грифельный карандаш, напялив на нос очки, за столом напротив сидел работник Емельян, смотрел, как батюшка орудует перочинным ножичком. Новенькую гайку женщина бездумно подняла с земли и положила на плоскую маковку железной колонки, затем нажала рычаг, нагнулась и стала пить; поп же Грачинский вдруг наставил карандаш, словно пистолет, на Емельяна и воскликнул: «Застрелю!» Емельян нырнул под стол. Так вот, мать этой женщины приходилась внучкой этому шутивому попу, который с укоризною молвил работнику: «Дурак, разве палочка сия стрелять может?» На что Емельян ответил из-под стола: «Чего не бывает! Долго ли до греха, батюшка». Паспорта нужно было предъявить в местный Совет, где секретарем оказался внучатый племянник этого Емельяна, — дело у женщины было о принятии в наследство дома, построенного сто лет назад священником Грачинским, который чинил карандаш, затем дом перешел к его сыну Венедикту Грачинскому, тоже священнику, затем к дочери этого сына, которая теперь умерла, — и это с ее паспортом и завещанием женщина и ходила сегодня в местный поселковый Совет.

Внучатый племянник поповского работника с подозрительностью отнесся к правнучке попа, имевшей судимость за убийство, но затем признанной невменяемой, — душевнобольным же, законно полагал Емельянов потомок, недвижимым имуществом владеть не полагается, и право унаследования их юридически не касается. Но она предъявила справку, где подтверждалось полное ее выздоровление и поставлена была гербовая печать, которой не верить нельзя. Но оставался все же факт убийства этой женщиной одного человека, о чем в свое время широко судачила вся округа. Убит был ее дядя, один из Грачинских, чей дед не был священником, а был либералом, социалистом, большим приятелем Николаю Иларионовичу Тураеву и землемером при уездном земельном управлении. Это он однажды совершенно потряс старика Тураева своим предположением, что впервые социализм будет именно в России. Сын этого Грачинского уже пожилым чахоточным человеком объявился однажды в доме священника, гонимый за какие-то провинности властями, на что отец Венедикт Грачинский

молвил сакраментальное «яблоко от яблони недалеко падает», однако приют родичу дал.

Когда Николаю Иларионовичу Тураеву сообщили, что в его России будет социализм, он просто ахнул: не может этого быть, неправда все это, да за что же нам такая честь? — на что хлявый Грачинский выпятил грудь и молвил: «Неправды не мог бы сказать, даже чтобы выжить, для спасения жизни-с». И сын его умер чахоткою в двадцатом году в доме священника, тогда же Пульхерия (дочь отца Венедикта) родила девочку, которая впоследствии зарубила пожилого родственника, настигнув его в бане.

Он сводил ее с ума постоянными нашептываниями об отсутствии демократии в стране и о том, что настали времена, когда, для того чтобы выжить, надо говорить неправду, неправду и только неправду. Девушке же в те дни было столь лихорадочно и нестерпимо на душе, что она каждый день к вечеру чувствовала, как у нее вскипает кровь в голове и мурашки бегут в щеках, внутри кожи. Ночами к ней в спальню пробирался домовый, он шептал при этом: «Это я, домовый», — и несло табачной затхлостью из его рта, точно такую же, как от дяди. Но то, что в темноте делал с нею домовый, не могло исходить от грязного и слабого родственника, который жил в их доме. К тому же дядя открыто сожительствовал с ее матерью, и к этому давно привыкли в поселке. Он появился там вскоре после смерти чахоточного Грачинского, оказался его младшим братом, тоже гонимым властями, на этот раз новыми, и его со столь же непонятным великодушием принял к себе отец Венедикт. А со времени ареста старого священника Грачинского в тридцатом году брат чахоточного стал в доме подлинным хозяином, и росла рядом молчаливая красивая девочка, которая в скором будущем познает ласки ночного домового. Но однажды днем, не дослушав нудных речей дяди о загубленном большевиками социализме, она выбежит в сени и вернется назад с топором в руке.

Этот человек, младший сын землемера Грачинского, возрос в семье, где забота о социальном равенстве и постоянные слова об установлении справедливого строя в России звучали с утра до вечера, причем по зимним временам холодина в доме землемера стояла собачья, и, кроме жидкого чая, гости там не могли рассчитывать на особое угощение, а домашние так и привыкли существовать впроголодь. Землемерша попивала, но была добродушным существом, двух своих сыновей никогда не бранила, как и не баловала, и они с самого юного возраста привыкли сами себе варить щи, жарить говядину, потому что прислуги у них никогда не было. Мать же обычно спала до часу дня, потом вставала и долго упражнялась на фортепьяно, проливая при этом мелкие слезки, отец же пропадал на службе или где-то по людям. Разница в возрасте у мальчиков была в девять лет, так что особенной дружбы между ними не было, разве что старший брат, умерший впоследствии от чахотки, очень заботился о младшем в его беспомощные годы, от двух лет до семи, лечил лишаи и золотуху на нем, научил читать-писать.

А в дальнейшем и младший вынужден был овладеть всеми необходимыми навыками для выживания. Когда ему исполнилось шестнадцать лет, матушка его скончалась — в том же самом халате, который был на ней всю жизнь, седая и растрепанная, — однажды свалилась на пол, головою в угол, и была готова. Младший же сын только пришел из училища и, не видя ничего с уличного света, споткнулся об ее тело и чуть не упал; он это вспомнил почему-то со всей отчетливостью в последние минуты жизни, когда, нанеся неумелый удар топором по его плечу, племянница на миг замешкалась, перестраиваясь, а он воспользовался заминкой и выскочил из дома. И пока бежал через весь огород к бане, задыхаясь, широко раскрыв рот, отчаянно желая спастись, — он произвольно, с неотвязной пристальностью вспоминал, как пригляделся в полутемной комнате и увидел толстые

ноги в серых шерстяных вязаных носках, затем облезлый знакомый халат... руку, лежавшую полураскрытой ладонью вверх... свое первое желание молча на цыпочках выйти из дома и убежать куда-нибудь подальше. Он так и поступил тогда, ушел из дома, и забежал во двор к своему приятелю Ипполитову, и сел возле Ипполитова на траву, и даже закурил папироску; — тут, словно выбивая эту папиросу изо рта, хлестнула его по губам колючая яблоневая ветвь, пробегая под которой он не успел нагнуть голову. Желая вытереть кровь, он хотел поднять правую руку, но она не слушалась, подрубленная у плеча косым ударом топора, тогда он утерся левой. Забжав в баню, он нашарил замок и попытался задвинуть его, но уже сил на это не хватало — дверь дрогнула от удара снаружи, затем с невероятной силою была отброшена в сторону.

Итак, два духовных потока развели род Грачинских — православие и социализм, и на протяжении трех поколений в одном родовом потоке были сплошь священники, в другом — поборники социальной справедливости и общественной собственности на средства производства. В одном рукаве рода Грачинских накапливалось кое-какое поповское имущество, из другого рукава все вываливалось — и вот в сороковом году, когда оба эти рукава смиренно были сведены воедино в столетнем доме потомственных священнослужителей, последняя в роду сих зарубила топором последнего из представителей либерал-социалистического направления рода Грачинских, очевидно, угадав в нем ночного домового. Во времена февральской революции он был рьяным эсером, состоял даже в правительстве какого-то южного уезда, но затем бежал от войны в дремучие леса Мещеры, стал жить в доме священника.

И вот сверху вниз обрушила через порог бани топор на склоненную голову дяди кимовка тридцатых годов, в те времена тщательно скрывавшая на новом поприще работницы кирпичного завода свое социальное происхождение. Но вьедливый и пронизательный юноша Флотин, сам скрывавший свое происхождение от рода богатых подрядчиков ольфрейной росписи в Москве, с помощью двух свидетелей изобличил поповну, внучку арестованного и сосланного за вредную деятельность попа, которая и не была вовсе поповной, а происходила от матери-поповны и отца-социалиста, гонимого властями. Пришлось девушке бросить свою карьеру на кирпичном заводе, в формовочном цехе, и вернуться потихоньку на родину, где ее ждал ночной домовый. Дневной дядя много лет просвещал двух женщин, свою усталую сожительницу, доставшуюся ему по смерти старшего брата, и ее юную дочь, в том, что новая власть действительно дала все руководящему составу и отняла все у трудящихся, в особенности лихо разделалась с их правом самим распоряжаться своим трудом и результатами этого труда. И вот, не достигнув шестидесяти лет, последний из социалистов Грачинских навсегда потерял возможность пылить в углу на новую власть, которая обошлась и без него, а его погубительница спустя четыре десятилетия после этого пришла в Совет поселка с паспортами в сумочке, своим и материнским, — Пульхерия Венедиктовна умерла недавно в глубокой старости, насытившаяся жизнью, в возрасте девяности шести лет. А ее дочери, исключенной из рядов союза КИМ за сокрытие своего социального происхождения, теперь минуло пятьдесят шесть, и она ходила в местный исполком Совета, чтобы установить права наследования родового дома. Однако для начала получила от секретаря отказ — потомок работника словно мстил внучке попа за то, что когда-то оний хотел застрелить своего слугу из карандаша.

Она вышла за пределы поселка и направилась по пустынной дороге, ведущей к шести деревням вдоль Оки, где во всех шести не было ни одного жителя, который не умирал бы, скоро или постепенно, от величайшей тоски бытия, иногда даже и не подозревая, что он не

живет, а умирает. Беспамятство народной жизни выражалось в том, что люди жили только реальностью пищи и умножения имущества, и это создавало фантастические обстоятельства на стезях действительности, которые мало чем отличались от тех ахинея, что возникали в не существующем мире сумасшедших, возле их скорбных несчастных головушек. Она свернула с этой дороги направо и со старинною дамской сумочкой в руке зашагала через лес по глубоко задумавшейся извилистой дороге.

Есть весьма странные уголки в моих притаившихся на исходе дня лесах, где лишь разум тех, кто прошел через запредельные испытания нашего века, может обрести свои пространственные координаты. Женщина-путница, одинокая Деметра, не знаящая зачатья, спокойно приближалась к одному из таких мест: засветились впереди, на фоне темнеющего леса, длинные кирпичные стены, когда-то беленные известью, а нынче омытые дождями так, словно кто-то мощно помочился на них сверху; высокие ворота из двух кованых железных створок были раз и навсегда раздвинуты и несимметрично расположились в замусоренной и утоптанной черной земле. У ворот стоял в белом халате, с непокрытой головою, юный и стройный дежурный врач Александр Сергеевич Марин, курил сигарету.

Это он с огромною связкой ключей в руке проходил ночью по коридорам отделений, заглядывал в палаты, а в подвалах с буйными поверял посты санитарных стражников. Женщина-путница подошла к нему, бросила свою сумочку на землю, выдернула из юбки полы блузки, задрала вверх — и подступила к молоденькому врачу с высоко поднятою штапельной блузкою, но прижать к своему телу молочные губы юноши ей не удалось, вместо этого она прошла, как сквозь воздух, через толщу крепостных стен старинного монастыря и оказалась в келье-палате, где когда-то обитали трое монахов, а теперь — десять умалишенных женщин.

...Совсем в другом краю, вдали от этого леса, вблизи города С., был построен и просуществовал благополучно более пяти веков некий монастырь. Он действовал вплоть до революции, после чего был закрыт по распоряжению волостного исполкомовца Баранова, который позже был переведен в Радовицкий Мох заводить уездным коммунальным хозяйством. А в горних палатах, трапезной, келарной, в подвалах, во флигелях гостиниц и в прочих помещениях монастырского ансамбля через несколько лет разместились процедурные кабинеты, приемный покой, палаты и камеры психиатрической лечебницы, для специфических нужд которой старинный монастырь подходил удивительным образом. Ничего не пришлось перестраивать — даже убирать толстые решетки из подвалов брата-интенданта, где раньше хранились прославленное монастырское вино и разнообразные наливки, а теперь запирались связанные и зарубашеченные больные с самым диким, сверхъестественным буйством. Было здесь на что посмотреть — я проник вслед за одинокой путницей, бесстрашно проследовавшей вечером через мой Лес, сквозь толстые монастырские стены в палату, где находились раньше три монаха, а теперь располагались десять умалишенных женщин. Быстренько переодевшись в ночную рубашу с черным штампом на подоле, женщина со вздохом облегчения возвратилась из своего двадцатилетнего будущего в родную палату и с тихой радостью легла в казенную постель.

Уже закрыта дверь палаты на задвижку снаружи и не видно громадной ноги со вздутыми узлами вен, принадлежащей дежурной санитарке Лине, сутки караулящей у входа, а потом двое суток отдыхающей у себя дома. Санитарки на ночь собираются в закутке сестры-хозяйки, где штабелями висят старые ночные горшки с темными блямами железа там, где скололась эмаль; под молчаливыми горшками, за крашеным белым столиком дюжие санитарки пьют чай

в свое удовольствие, в складчину из принесенных с собою домашних съедоб; среди них и Акулина-Лина в круглых очках, сползающих ей на кончик потного носа. Это очень добрая женщина — за небольшую плату, всего за десяток крашенных яиц, принесенных на Пасху матерью Серафимы Грачинской, санитарка позволяет больной делать то, что ей делать запрещено. Но доброта существует на свете — Акулина и сама когда-то любила, был у нее муж, который, правда, бросил ее ради одной воровки — вора сама, воры вся ее семья, расстреляли их на краю леса у деревни Мотяшово...

Уже пять лет как перевели ее в эту палату для спокойных, из них года три она дружит с Линой-Акулиной — но об этих сроках сама Грачинская ничего не знает, потому что перестало для нее существовать измерение времени. Ее уже не печалит такая значимая для большинства живущих на земле утрата, как бесполезно истраченная жизнь, представляющая из себя одну сплошную печаль. Ей почти ничего не известно, кто такая была девочка Сима, подросток Симочка, девушка Серафима, член КИМа и ворошиловский стрелок, мечтающая к тому же совершить прыжок с парашютом. Она даже не помнит о ночном госте в своей спальне, домом, которого надо было зарубить. Прошлое от нее было отсечено ударом топора, а далее ничего не накапливалось, чтобы в свою очередь стать прошлым, — она знала лишь свое имя, которое не менялось во времени, и не узнавала даже свою старую мать, которая приезжала раз в году под Пасху, привозила ей куличик и крашенные яйца.

Даже не было памяти о том холодном и вонючем времени, когда несколько лет она прожила в буйном отделении как животное, за железной решеткою, на грязном полу, среди своих испражнений. Голая, лохматая, чудовищно сильная, как дикая обезьяна, она рычала и выла, сотрясая прутья решетки, и оравшие по соседству буйные сумасшедшие примолкали на то время, когда расходилась она. Это ревущее в дикой ярости и тоске страдание, в сущности, беспомощное и беззащитное, как младенчество, уже придвинулось к самому краю своего существования, оставались еще какие-то мгновения боли и ненависти, еще две-три вспышки — и жизнь свалилась бы в яму смерти. Но протянулась из тьмы невидимая рука.

Один из дежурных буйного отделения, возрастом уже старик, стоял на службе недавно, и ему нестерпимы были ночные часы, когда не положено спать и он оставался один в длинном, как туннель, подвальном проходе. Он придумал таскать с собой на службу ящик патефона с пластинками, и в ночное время, когда начальство отсутствовало, страж заводил машинную музыку. Это обнаружил один из дежуривших в ночь врачей, Александр Сергеевич Марин, который не только не запретил нововведение, но и вместе с санитаром стал слушать музыку. И однажды тонко залилась какая-то крохотная женщина, совсем игрушечная, однако такая уверенная и сильная, пылкая и неудержимая. Ее поющий голос независимо пронзал звериные вопли безумцев, исторгаемые из таких глубоких шахт ада, что могучая сила диких криков угасала на протяжении пустоты, которая лежала между бездной и жизнью.

Маленькая женщина в своей патефонной комнатке пела, опираясь руками на резной столик карельской березы, и вход в ее жилище начинался с той железной ямки, которая темнела с задней стороны патефонного ящика. Об этом ясно вспомнила лохматая, опухшая обезьяна, которая в подвале орала более грозно и громко, чем все остальные существа, тоже мало чем напоминающие людей. Она вспомнила и туалетный столик карельской березы, в столешнице которого было светленькое пятно, очень похожее на кудрявого младенца. Вспомнив эти две вещи: столик и железный провал сзади патефона, под его наклонной крышкой, — она как бы вклочила некий слабый, ниточный свет в своей голове.

Никому не дала знать, что услышала пение крохотной женщины из патефона, просто замерла, лежа ничком на полу, покрытом бугорками засохшего кала,— и в таком положении неподвижно, совершенно перестав кричать, она пролежала долго, несколько месяцев. Но для нее это было и не долго и не месяцы — было просто ожиданием. Тем временем старичок уволился, не выдержав условий новой службы, и патефон свой унес, но она не знала этого и ждала, притаившись на полу. И в этом ожидании стали возвращаться в ее сознание отдельные разрозненные предметы прошлого, удивительные частички чего-нибудь цельного, вроде белой щербины на переносице деда Венедикта Грачинского или одинокого облачка над крышею дровяного сарая. Она села на полу и огляделась. И увидела, среди какого ужаса и безобразия находится, осознала, что совершенно нагая сидит перед множеством прыгающих за решетками существ и эти страшные звери не что иное, как голые мужчины. Прошлое стало потихоньку оживать в ее испорченном сознании.

Каждая эпоха Леса человеческого содержит некое достоверное очарование для его молодежи. Это собольи шапочки и парчовый наряд или государевы ассамблеи, хождение в народ, выщипывание скрученной ниткой бровей, синкопы чарльстона, мотоциклы, Жерар Филипп или, наоборот, Бельмондо — быстротечные и легкие, бессмысленные и обольстительные, нужны эти чары для молодости как блеск волшебного зеркала, в котором всего на мгновение, но так весело и ярко отразится смеющийся лик целого человеческого поколения. Ночной домовою и разоблачение Флютина лишили Серафиму Грачинскую, красивую и сильную девушку, щедро оснащенную для любви и счастья, возможности выступить в живой пирамиде «Серп и молот», где она, дерзнула бы стоять самой верхней единицей пирамиды, подняв в руке картонный серп; не пришлось ей и прыгнуть с парашютом. Грачинская вынуждена была вернуться назад в поповский дом всего лишь со значком «Ворошиловский стрелок» на груди. В дальнейшем вся изумительная эпоха предвоенного энтузиазма молодежи пронеслась мимо нее, как проходит огромный корабль мимо выпавшего за борт и никем не замеченного человека.

Но всего этого не возникло в замерцавшей слабым светом прошлого памяти Симы Грачинской — бывшей Симы Грачинской, которой теперь было около тридцати трех лет, но и об этом она не знала. В глубокой задумчивости, прикрывшись скрещенными на груди руками, она просидела в углу своей клетки еще целый год, пока врачи не заметили резко изменившегося характера ее болезни и, какое-то время еще понаблюдав за нею, не решили перевести ее в общую палату для женщин.

Одна из них была чайником, другая помещицей, третья набита тараканами, четвертая — вспышкой ехидного смеха, который прятался у нее под кроватью, пятая была Совнаркомом, и ей подчинялся сам товарищ Фролов... и так далее до девятой. Серафима стала десятой, ждущей маленькую женщину из патефона,— однако об этом никому не говорила, она просто ждала, затаившись, когда опять раздастся этот голос:

Не пробуждай воспоминаний
Минувших дней... минувших дней...

И однажды явилось то, что никогда не умирало, ей исполнилось двенадцать лет, стояли жаркие дни июля с розовыми густыми вечерами, когда она гуляла по опустевшим дорогам, сворачивала на луга и далеко уходила от дома, наблюдая, как постепенно смуглеет и загорается сено в копнах и свеженаметанных стогах, наливаются светящейся зеленью темный лес за полем, а колокольня и купола храма, тонко и стройно приподнятые надо всем земным вокруг, струятся расплавленными золотыми потоками. Она, гуляя по полям и дорогам од-

на, задышалась от благодарного волнения, глядя окрест широко раскрытыми глазами, прижимая к твердым и нежным персям раннего девичества бесполезные васильки. Не разумом, а всем пробудившимся естеством Деметры понимала она, как чудесен дар этого мира, жизни и ее присутствия в этой жизни. И уже не девочка, не женщина, не просто человек — а душа неизмеримая, неопалимая, приникала она к ласковым рукам Отца, который трогал ее лицо и волосы. И с подобным приуготовлением в душе подошла девочка к какому-то дому в незнакомом селении, куда выбрела случайно из лугов. Еще издали услышала она звуки рояля и чистого женского голоса, такого же красивого и прекрасного, как золото лугов и теплое дыхание Отца в небесах. Она перекрестилась, улыбнулась и скорее побежала к дому, чтобы увидеть ту, которая поет, и вручить ей собранные в полях васильки.

На этом обрывалось то прошлое, что было возвращено ей, и Серафима Грачинская не знала всего, что последовало за этим июльским вечером и почему она оказалась в палате больницы, на скрипучей узкой железной койке. Ей неизвестно было, что маленькую женщину из патефона, которую она ждала, звали Анастасией Мариной — это ей подарила васильки незнакомая девочка с удивительными пепельно-золотистыми волосами, внезапно появившаяся откуда-то у рояля и столь же внезапно убежавшая из дома — в дверь, через двор и через выкошенное травяное поле, оборачиваясь на бегу и прощально махая высоко воздетой рукою. И все гости Мариных, и сама взволнованная Настенька стояли у распахнутого окна террасы и, растроганно улыбаясь, махали платочками вслед убегающей девочке. Теперь она лежала под страшным вытертым одеялом на железной кровати — страшным той бездушностью, которая видна на всяких предметах, употребляемых в человеческих местах, где не бывает любви.

Ей неизвестным оставалось и то, что племянник певицы Александр Сергеевич Марин подарил пластинку с голосом своей тетки дежурному санитару, когда во время ночного обхода обнаружил того сидящим на табуретке в дальнем углу подвала, где орали буйные, и слушающим патефон. Александр Сергеевич остановился в полутьме и, повесив на пояс халата связку ключей, закурил; под вопли идиотов старина услаждался пением Карузо. Любитель вокала, улыбнулся Александр Сергеевич и, докурив, пошел далее, а к следующему дежурству принес старику тетушкину пластинку с двумя русскими романсами. И под вой и рев буйнопомешанных они вместе прослушали нежное исполнение Анастасии Мариной. Так маленькая женщина из патефона вернулась из того золотистого летнего вечера в полуразрушенную душу Серафимы Грачинской.

Она не открыла в докторе Марине что-либо, относящееся к духу чудного пения, но, в п е р в ы е увидев его, то есть в первый раз обратив на него внимание как на нечто особенное, существующее отдельно и самостоятельно от всех этих горшков, клизм, смирительных рубашек, уколов в зад, санитарок и врачей в халатах, выделив его из ряда ужасной обыденности, почувствовала вдруг пронзительный импульс любви. Внезапно — ведь раньше он не раз на осмотрах подходил к ее кровати, но она не видела его, а тут совершенно внезапно — лицо его и серые глаза как бы впервые возникли в пространстве, где находились не только горшки, койки, мухи и страшные санитарки с широкими спинами.

К Серафиме Грачинской каким-то образом вернулась женская хитрость, с помощью которой она принялась потихоньку действовать, чтобы иметь возможность приблизиться к доктору Марину. Когда соседке по койке, чайнику, приходило в голову вскипать слишком часто, врач лишний раз приходил к ней, чтобы осмотреть ее, а после увести в процедурный кабинет. Учтя это, Серафима тоже стала мочиться под себя, сидя на матрасе, но ее поколотила санитарка, а врач

так и не пришел. И тогда она, совершенно убежденная, что женщина из патефона находится у врача дома, решила как-нибудь выйти из палаты и сходить к нему в гости. В ее разбитом сознании, где постоянно продолжало возникать что-нибудь по отдельности из прошлого, исподволь стали складываться системы понятий, которые в конечном итоге превращались в зачатки мыслей — все устремленные на поиск выхода из палаты.

Так она обратила внимание на толстую ногу в буграх и веревках синих вен, перегораживающую дверной проем,— это была Акулина. Для Грачинской Акулина была всего лишь ногой, закрывающей выход,— и пришло из прошлого смутное понимание, что если нога очень толста и ее нельзя одолеть, то надо чем-нибудь ее расположить к себе. И Грачинская впервые самостоятельно вылезла из-под одеяла, встала с койки. Пошла, озираясь вокруг себя, по палате, и ее провожали внимательными взглядами помещица, Совнарком, проснувшаяся чайник и та, чей злорадный смех прятался под ее кроватью. Когда Серафима Грачинская почти благополучно добралась до выхода, то вскочила помещица и, стоя на кровати, протянув указующий перст к беглянке, приказала: замучить в бане, накрыть половиками и поливать сверху кипятком. Приказ прозвучал слабым голосом, но палата словно взорвалась: кто-то в углу зарыдал от ужаса, и сразу же тонкий и покотливый, как горошек, смех выскочил из-под кровати и забился в гортань седой тощей женщины. Совнарком вскрикнула хриплым голосом: «Фролов! Вызывай команду!» — а чайник, воспользовавшись суматохой, мигом совершила свое дело, о чем возвестила ликующим возгласом, хлопая в ладошки: «Вскипятила! Вскипятила!»

Акулина просунула в дверь свое круглое очкастое лицо, наткнулась близоруким взглядом на Грачинскую и спросила у нее ласковым голосом: «Тебе чего, девушка?» Но тут же посоображала и велико удивилась: «Да никак ты сама гулять пошла? Милая ты моя! Ну-ко иди сюда, иди сюда!» И она вывела Грачинскую из палаты в коридор и усадила ее на стул рядом. Так началась их дружба, которая продолжалась несколько лет, но для Грачинской это было не долго и не коротко, санитарка же с добродушной ухмылкой хвалилась за чаем в комнате сестры-хозяйки: «Вот ведь как ее приручила! Водю землячку за собою, как собачку какую. Говорить понемногу учу. Я ведь знавала ее деда, поп был красивый, и мать ее знаю...» Серафима же только тем была озабочена, как бы расположить толстую ногу к себе по-лучше, чтобы однажды незамеченною юркнуть в дверь, куда обычно скрывался доктор.

И чтобы это сделать, она ждала, когда придет на дежурство Акулина, встречала ее, стоя у двери, целыми днями находилась рядом с нею, изредка посматривая на желанную дверь. Покорная своей идее, Грачинская все, что исходило от Акулины, воспринимала с бесконечным терпением, стала даже заново учиться говорить, хотя этого ей не хотелось. Какая-то невероятная тоска грубо схватывала ее сердце, когда она вдруг произносила какое-нибудь слово, которое словно воскресало на ее глазах из мертвых. Акулина, приходя домой, рассказывала своему брату Севостьяну Кондратьевичу, небольшому, сытому мужчине: «А сегодня, слышь-ка, Савося, моя-то повторила за мною слово в слово: мол, Валентина Сидорова сама кусок домой унесла. Сказала все это и заплакала...» На что Севостьян Кондратьевич, следя за тем, как Акулина режет хлеб некультурными толстыми ломтями, буркнул сестре через стол: «Нашла себе забаву, Лина. Лучше бы поросенка завела».

...Минувших дней... минувших дней...

Вместе со словами воскресало и прошлое, но только такое, где бывали радость и красота, мелькало присутствие Отца и все другое для возрождающейся жизни было мертво и не нужно. Таким обра-

зом, новое существование Серафимы Грачинской строилось из материала прошлого, которое равно могло быть отнесено к настоящему или к будущему,— ведь каждая любовь строилась из того же весеннего тепла и цветения, из той же никому не принадлежащей, но присутствующей всякой душе надежды, никем не постигаемой, но над всем довлеющей. Ничего не зная о том, что эта надежда существует, как океан, а любящие плавают в нем, как рачки или рыбы, скелетами своими устилающие толщу океанского дна, Серафима Грачинская вновь рождалась в мире, словно тот же рачок или рыба, наполненная световыми импульсами любви.

Но в отличие от первого второе рождение души Серафимы Грачинской происходило не в красивой, сильной девочке с пепельно-серыми, с золотым отливом, блестящими волосами, а в неопрятной идиотке с волосами седыми, в мутной перхоти и столь редкими, что сквозь них виднелась исцарапанная, в струпьях кожа на черепе. Много лет никто из окружающих не знал о том грандиозном процессе возрождения человеческой души, который начался от единственного сохранившегося в ее памяти атома прошлого: пения кукольной женщины, которая жила в железной ямке с задней стороны патефонного ящика. Но однажды врачи лечебницы увидели, среди них и Александр Сергеевич, что безнадежная идиотка ходит по коридору в тапочках, придерживает отвороты халата на груди и свободно вступает в разговор с санитаркой Акулиной, которая самодовольно посмеивалась и хвасталась, что это она выдрессировала больную и научила ее разговаривать.

Далее потянулось время, когда врачам представлялось, что на их глазах происходит редкостное в медицинской практике ренессансное зачатие нормальной психики из хаоса безумия, обусловленное загадочными ресурсами человеческой природы. Серафима Грачинская не только восстановилась в речевых навыках и вновь начала соблюдать гигиену, но и принялась помогать санитарке Акулине следить за поведением больных женщин в палате. И однажды она предотвратила суицидную попытку той, у которой внутри жили тараканы,— больная где-то нашла трехкопеечную монету, отточила ее о край железной койки, словно бритву, и пыталась этим оружием распороть себе живот, в котором кишмя кишели рыжие прусаки. Когда она, сидя на койке, задрала больничную рубаху и наклонилась меж своими широко разведенными коленями, Серафима Грачинская прыгнула на нее через кровать соседки, чей злорадный смех жил в отдельности от нее, прячась в темноте возле ночного горшка. Перелетев через соседку, Грачинская успела схватить руку тараканьей мученицы, которая, закрыв глаза от предстоящего ужасного зрелища, приложила лезвие монеты к туго обтянувшей живот бледно-синей коже. За этот поступок Акулина дала Грачинской сладкую ватрушку из своих припасов и погладила по голове. И тогда Серафима Грачинская попросила, указав пальцем на заветную дверь: пусти меня туда.

Незачем тебе туда, ласково отвечала Акулина, рассеянной рукою отстраняя от двери свою подопечную, которая вдруг уперлась и стала сильной, непоколебимой, словно Акулинина тетка, Царь-баба, которая недавно прислала из деревни письмо: «Привет и нижайший поклон мой племяннику Савостьяну Кондратичу, также племяннице Акулине Кондратовне. Кланяется вам тетка ваша Олёна Дмитриевна. Войну я пережила, слава Богу, не померла, как многие другие, потому работа была ужасная и всех гоняли на лесоповал, и девок, и баб нематошных, кому детей не кормить. А теперь, на счастье наше, война кончилась, и лес рубить гонят пленных немцев, которые ужасно как мрут, потому их летом комарик поедает, а зимою хворма ихняя не греет, больно сукно тонкое, и шапок на них нету...» Акулина с удивлением воззрилась сквозь очки на упертую перед нею, словно скала, небольшую женщину в больничном халате, с виду несколько

не напоминающую тетку Олёну, но такую же спокойную и такую же страшноватую в этом спокойствии неимоверно сильных, словно бы и не люди они, загадочных существ.

Однажды в девках подслеповатая Акулька, тогда еще не носившая очков, услышала на улице гармонию и, быстро схватив с печки платок, проскочила темные сени, сбегала с крыльца, барабаня пятками по деревянным ступеням,— мигом выскочила во двор и там со всего размаху налетела на Царь-бабу, которая только что вошла в ворота, пригнув голову. Акулина-девка была такою же упитанной и плотной, как и впоследствии всю жизнь, уже легко таскала на себе четырехпудовые мешки, к тому же вечерний разбег ее навстречу звукам гармонии был столь силен, что она могла бы, словно лесная веприха, пробить своим корпусом дыру в досках ворот,— однако отскочила, ударившись об тетку словно об каменную стену, и, отлетая обратно, наткнулась на старые сани, которые были от этого удара жестоко исковерканы. И, лежа на саях, Акулька расплакалась, потому что зад отшибла начисто, даже нечем было в этот вечер потрясти в пляске. Усевшись рядом с нею, Царь-баба утешала ее: «Ня мутайся, девка, ня ори, жопка твоя заживет. А ты глянь, чего я тебе принесла!»— и вытащила из-за пазухи огромной своей ручищею глиняного котика в шляпе, с высунутым красным языком, в полосатых штанах, с надписью на пузе: «Коть астраханской». «Глянь, Акулька, нахал какой!— умильно дивилась тетка на раскрашенную игрушку.— Нынче в Гаврине на ярмонке купила». Быстро вспомнив все это, Акулина махнула рукою, поправила на носу очки и молвила печально: «Иди прогуляйся, да недолго, девка».

Там, за дверью, был длинный коридор, все выходы из которого охранялись, на окнах стояли решетки, и, очутившись в этом коридоре, впервые попав в мир совершенно неизвестный и странный, Грачинская тихо пошла по нему, внимательно приглядываясь к тем разрозненным предметам и человеческим фигурам, что попадались ей навстречу. Длинный стол, на столе носилки с ремнями; существо в мужской пижаме, сторбленное и маленькое, не то старик, не то худенький юноша, одиноко стоит лицом к стене; полуприкрытая дверь, заглянув в которую она увидела такую же палату, в какой жила сама, но здесь на койках лежали молчаливые мужчины с неподвижными глазами, уставленными на нее,— некоторые лежали на газетных листах, брошенных поверх железных сеток кроватей. Пройдя до конца коридора, Грачинская заозиралась, не зная, что делать, куда еще попытаться заглянуть. Она полагала, что найдет Александра Сергеевича, как только пройдет сквозь заветную дверь, но все оказалось не так, и теперя стало совершенно непонятно, где его искать.

Она видела его достаточно часто у себя в отделении, но никаких особенных чувств при этом не испытывала, потому что это было одно, сей минуте принадлежащее, а то, что искала она, к чему стремилась, находилось где-то очень далеко. Он бывал на осмотрах вместе с другими врачами, приходил иногда один, что-то делал, с кем-то разговаривал, но она равнодушно посматривала на него со своей койки или проходила мимо, почти задевая его. Он был рядом, и можно было даже к нему притронуться,— но тот, которого она хотела достигнуть, к кому стремилась со всей своей затаенной страстью, находился далеко. И ему, наверное, это было известно также, поэтому он столь равнодушно смотрел в ее сторону, словно бы вовсе не замечал ее. Она должна была как-нибудь исхитриться и прийти домой к нему — тогда он и будет самим собою; а сейчас, почти ежедневно встречаясь с нею, он не тот, по крайней мере еще не тот, каким он будет впоследствии, когда она однажды обретет возможность прийти в его таинственный дом, где живет в патефоне маленькая женщина.

Она вернулась в свое отделение под надзор верной Акулины, которая удовлетворенно кивнула ей,— и прошло еще несколько лет;

Шли голодные послевоенные годы, народ страны был охвачен терпеливым страданием, но пациенты старинного монастыря мало чего смыслили в этом, пребывая в своем собственном придуманном мире. Тараканья бедолага так и умерла, не избавившись от лохматых полчищ коричневых прусаков, лазающих по всем ходам и изворотам ее внутренностей. Чайник продолжала свое кипячение, давно уже лишившись матраса и сидя на голой сетке кровати — ей только на ночь выдавали теперь матрас, и то не всегда вспоминали про это. Злорадный смех по-прежнему прятался под кроватями, но в последнее время иногда сбегал из палаты, прошмыгивал под ногами дежурных санитарок и, припрыгивая по каменным ступеням монастырских лестниц и переходов, разгуливал по всему сумасшедшему дому. Хозяйка этого смеха слышала его иногда в полночь или на рассвете — он звучал из раскрытой форточки окна, расположенного напротив того, за которым находилась потная, напряженная, как струна, женщина, чей смех самовольно сбежал по длинным коридорам монастырского здания.

Неизвестно было для них, какие благоденствия или великие преступления совершал огромный внешний мир, — но в их палате наступили тяжелые времена из-за голода и холода и, главное, из-за того, что помещица совершенно не давала другим житья. Днем при надзирающем медперсонале вела себя обычно: злобно сверкала на всех глазами, что-нибудь невнятное выкрикивала, словно трубила журавлем, и тут же отворачивалась лицом к стене и скрипела зубами. Ночью же, когда санитарки запирали двери палат снаружи швабрами и шли пить чай, помещица поднималась с койки и, расхаживая по проходу, как злой дух, отдавала свои ужасные распоряжения. «Вот эту макаку надо веревками распялить на полу в риге, — стоя над бедной трясущейся хозяйкой смеха, в подробностях объясняла помещица. — Растянуть за руки, за ноги и острым секачиком насесть ее вдоль и поперек. А потом принести ушат огуречного рассола и полить ее из ковшичка».

Над чайником приговорила: «Эту надо спереди зашить суровыми нитками, потом перевернуть и надавать сто ударов шомполами». «За что? Ай, за что?» — возопила тщедушная маньячка, мечась на скрипучей койке. «А за то, — криво усмехаясь, отвечала помещица. — Мешаешь мне обедать. В следующий раз, как сяду кушать, прикажу слугам, чтобы тебя на лавке растянули и утюг горячий на живот поставили». «Ай, не надо! Не надо!» — плакала чайник, закрывая руками свой живот. По углам палаты начинались всхлипы и роптание, и грозная помещица, довольная собою, переходила к следующей койке. За тот страх, который она нагоняла по ночам на больно народ, помещица получала с него продовольственный налог: каждая из безумных женщин что-нибудь припрятывала от своего обеда, хоть кусочек черствой каши на пальце, хоть пяток вареных горошин, завернутых в бумажку из-под порошков, чтобы дарами и пожертвованиями отвести от себя угрозы мучительной гибели, обещанной помещицей. А та, осуществляя подобным образом свои сословные привилегии, набирала весу, в то время как остальные многочисленные жители постепенно становились похожими на узников концлагеря.

В эти тяжелые для всех времена пришло к Серафиме Грачинской окончательное просветление. Началось с того, что она узнала свою мать, которая приехала навестить ее, и при их встрече в вестибюле отделения присутствовали все дежурившие врачи, сестры и санитарки. Некоторые даже прослезились, например Акулина и медсестра Хайруллина: «Надо же, маму родную узнала, а мама все ехала, ехала каждый год сюда, ай, все ехала!»

И в ночные часы она вскоре также привлекла к себе всеобщее внимание, на сей раз — больного народа палаты, устроив бунт против засилья помещицы. Запомнив, что именно Грачинская сдавала прод-

налог в виде завернутых в бумажки вареных горошин, помещица однажды не получила любимого кушанья и объявила, что прикажет слугам взять бунтарку в плети и надавать полторы тысячи ударов, чтобы спина ее превратилась в кровавую кашу, на что в голос зарыдало в углу какое-то робкое существо, а испуганная Совнаркомом разразилась набором команд: «Эй, пулеметчики, сюда! Усилить охрану в Совнарком! Фролов, ты куда отправил латышей? Немедленно сюда латышей!» Но Грачинская не дрогнула и объявила помещице: «Дура». Ощувив сильную угрозу своим сословным интересам, помещица пробудила в себе ту ненависть, лютее которой не бывало в практике существования человечества: ненависть богатого класса к бедным. И, шипя этой ненавистью, приказала своим палачам: повалить, развести пошире ноги... Однако закончить приказ она не успела, потому что сильная Грачинская вскочила с кровати и, схватив за волосы дворянку, рванула ее голову в правую сторону, потом в левую. На их дикие крики сбежались санитарки, и, скопом налетев на помещицу, и революционерку, повалили обеих и надели на них смирительные рубахи.

Но именно после этого случая произошли очень важные для Грачинской положительные события. Она призналась Акулине, которую все в больнице звали Линой, что очень хотела бы как-нибудь ночью сходить в гости к доктору Александру Сергеевичу Марину. Лина-Акулина поначалу уставилась с недоумением сквозь очки на сумасшедшую, затем смекнула, в чем дело, и широко заулыбалась, выдавив в своих тугих щеках глубокие ямочки: «Влюбилась, что ли, девка? Хорошо, что у доктора жены теперь нету, на курорт уехала жена, а то показала бы Инкери Урповна тебе любовь!» На что Грачинская ничего не могла ответить, потому что прошлое еще не вернуло ей таких понятий, как «любовь» или «жена». Объяснять же Лине про маленькую женщину из патефона Грачинская не стала. Ее свидание с Александром Сергеевичем было устроено с помощью Акулины-Линой ночью в пустынном монастырском переходе, когда дежурный врач со связкою ключей следовал из одного больничного корпуса в другой.

Она как будто вышла из стены или прошла сквозь стену — он мог бы всерьез это утверждать, мало того, в первую минуту он полагал, что разговаривает с юным монахом, который заблудился во времени и из прошлого шагнул прямо в сегодняшний день. Луч фонаря, с которым врач делал ночной обход, выхватил из тьмы молодое фанатичное лицо монаха в грубом темном подряснике. Но когда Александр Сергеевич, посчитав не деликатным столь упорно светить человеку в глаза, отвел луч в сторону, раздался голос женский, высокий и дрожащий:

— Доктор, вы сейчас будете разговаривать с человеком, который уже давно умер.

— Простите, уж не себя ли вы имеете в виду? — отвечал ироническим вопросом Александр Сергеевич. — Когда-то в ранней молодости я занимался всякой оккультичиной и мистикой в самом зверовидном выражении, крутил столы, но все это давно прошло. Так что говорите без всяких фокусов, что вам от меня надо.

— Александр Сергеевич, отсутствующий человек — одна, в общем-то, неплохая женщина просит передать вам, что очень, очень любила вас, когда была жива.

Врач при этих словах уже без всяких деликатностей, со всей решительностью направил луч прямо в лицо собеседнику — и вместо монашеского и впрямь увидел женское лицо.

— Грачинская? Вы что тут делаете? — вскричал он в замешательстве. — Что за фокусы, Грачинская?

— Александр Сергеевич, — отвечала та, подслеповато моргая под направленным в глаза ярким светом, — выслушайте меня. То, что я ска-

жу, так печально, что одно это дает мне право быть выслушанною вами.

Сказано было столь спокойно и убедительно, что Александр Сергеевич даже слегка смутился.

— Продолжайте... Я слушаю,— не совсем твердо произнес он и луч фонаря снова отвел в сторону.

Была пауза.

Вздохнув, Грачинская продолжала в темноте:

— Вся грусть, вся непоправимость в том, Александр Сергеевич, что та, которая теперь мертва, при своей жизни никогда не встречалась с вами, даже не знала о вас.

— Что вы говорите! — не выдержав, он вновь позволил себе иронию.— Это почему же?

— Потому что она жила совсем в другом времени,— был ответ.

— Но как же она... позвольте вас спросить, как же она, эта ваша протезе, могла бы тогда меня... любить?— с большим трудом выговорил он это слово.

— Она и сама всю прожитую жизнь не знала об этом,— ответил ему.— Ее только очень мучила эта жизнь. Там было много нехорошего, и надо было умереть, чтобы понять, как же она вас любила! Жизнь ее не состоялась, потому что она никогда не узнала, что любила вас.

— Ну вот что, Грачинская... Что вы хотите?— желая прекратить нелепый разговор с больною, потверже заговорил Александр Сергеевич.— Чтобы я тоже скорее умер? И та, которую вы представляете сейчас, могла бы со мною наконец встретиться?

— Нет, Александр Сергеевич,— прозвучал скорбный женский голос.— Она желает, чтобы вы долго и счастливо жили на свете.

— Спасибо.

— Она просит вас принять, если это можно... Умоляет вас, если это не будет вам противно... через то, что еще осталось во мне от женщины... после всего, что было...

Грачинская смолкла, и врач вновь направил луч света на нее и увидел, что она, распахнув полы серого халата, судорожными и неистовыми движениями рук пытается оттянуть вниз круглый вырез больничной рубахи и высвободить грудь.

— Грачинская!— прикрикнул Александр Сергеевич.

Она заплакала и, чувствуя, что не успеет, не сумеет, нагнулась, схватила подол рубахи и рывком подняла ее обеими руками к самому горлу. И в таком виде, выставив на оторопевшего врача свое избитое нагое тело, слепо двинулась к нему.

— Прекратите, Грачинская,— взяв себя в руки, профессиональным голосом молвил Александр Сергеевич; фонарь он погасил.— Уже в силу того, что я врач, а вы моя больная, ничего меж нами произойти не могло бы. Но знайте также,— мерно звучали его слова в темноте,— я христианин, Грачинская, и всякие прелюбодейские варианты для меня исключены. Однако я люблю вас — той любовью, какой учит нас любить Отец наш, и я тоже хочу научить вас любить такой любовью.

Когда он кончил говорить, наступила долгая тишина, и Александр Сергеевич вновь включил фонарь. Он увидел, как, отгораживаясь от света рукою, молодой монашек с реденькой бородкою на слабой челюсти вздрагивал ресницами, зажмурился и отступил в стену, совершенно скрывшись в ней. Врач подошел к стене вплотную и стал осматривать камни, светя фонарем, ничего особенного не заметил и отправился дальше. Но там раньше был ход, впоследствии замурованный, и оттуда, с другой стороны, высочил монах и, озираясь, крепясь на бегу, трусцою заспешил вперед по длинному коридору, где только что испытал дьявольское искушение: ему привиделась преподобная баба, задравшая подол рубахи выше груди и в таком виде

стоявшая на его пути. Только зажмурившись и трижды перекрестившись, смог он благополучно преодолеть проклятое место соблазна.

Врач уходил по другому переходу, и между ним и испуганным монашком все увеличивалось расстояние, умноженное на разделяющее их время. Еще мгновение — и никаких надежд, что два человеческих существа, занимавших одно и то же пространство, когда-нибудь снова столкнутся на путях своей жизни. А в обратном направлении от шагавшего по монастырскому проходу доктора Марина, звонко и нервически потряхивавшего связкою ключей на ходу, торопливо шла в темноте, придерживаясь одной рукой за стену, мертвая женщина, таившаяся в живой, которая только что, четыреста тридцать два года тому назад, до полусмерти напугала молоденького монашка видом своих больших ляжек, темноволосого лона и крутых грудей с темными бутонами сосков.

Она тихо вернулась в палату и легла в свою кровать, заливаясь бесшумными слезами, чувствуя сердцем, сколь тяжело и прекрасно то горе, которое испытывает сейчас мертвая женщина в ней. Александр Сергеевич поражался замечательной и очень точной образности, с которою большая сумела объяснить свою сложную трагическую ситуацию. Он даже не обратил внимания на свои галлюцинации, при которых женщина превращалась в молодого монаха, — последний же спустился по угловой лестнице в подвал, где среди многочисленных колодин с зимующими пчелиными семьями жил Прокопий, брат пасечник, молчаливый человек с такими мохнатыми ушами, что они казались звериными. Ему и решил поведать юный монах о том, что видел на повороте дальнего монастырского перехода.

Этот Прокопий к концу жизни совершенно вроде разучился говорить, только ворчал с ласковой улыбкой, и ни в одно его шерстяное ухо за всю жизнь в обители не вошло ни слова из Писания, но был он человеком святой незлобивости, и какая-то духовная мощь таилась в нем. Потому и тянулись к брату пасечнику многие из монахов, в особенности молодые, не забывшие еще мирских утех и родительской ласки. Вот и на этот раз инок отвел душу, рассказывая сатанинскую бль Прокопию, который с младенчески бессмысленным выражением синих глаз сидел на скамейке и парил ноги в деревянном ушате, беря длинными шипцами горячие голышки из очага и по одному подбрасывая в воду, чтобы не остывала.

Доктор Марин Александр Сергеевич, приобщенный к евангелической церкви, был последним живым отростком той ветви духовных людей, к которой принадлежал и пасечник Прокопий. Но в отличие от своего далекого предка Александр Сергеевич был интеллектуален, женат и, при сильном внешнем сходстве с пасечником, совершенно лишен волос в ушах и на темени. Пока юный монах рассказывал пасечнику, тараща глаза и показывая жестами, что он видел, Александр Сергеевич невдалеке от них через четыреста тридцать два года проходил по ступеням лестницы, под которой находилась каморка Прокопия. Доктор Марин вернулся к размышлению о том, что видел он, и, по глубокому анализу, сделал вывод: если был монах, то не было Грачинской, если она была, то не было монаха; а может быть, их обоих не было; но вернее всего — это меня там не было, нигде не было, потому что меня нет; а то, что кажется мною, — это вовсе не я, а неизвестно что такое.

Как уже и с самого начала видно, монашек Исидор сбежит из монастыря, одолеваемый блудливыми видениями, и, потерпев сокрушительное поражение в битве с дьяволом, окажется в мещерском краю и пустит там корень под именем Сидор Софронов; от него родятся Потап, Игнат и Каллистрат, от Каллистрата Левонтий и Клепак, от Клепакова, чье крещеное имя Абрам, родятся Силантий, Паисий, Лука и Митроха, чей зад был наполовину откушен медве-

дем — и мужик хромал; Лукины дети: Петрован, Славутий, Мишага, Ероха Жук, а уж от последнего пошли все эти Жуковы, лесные мастера, углежоги, скипидарщики, по дереву токари, в деревеньках лавочники, в больших селах печники, шерстобитчики, коновалы.

Алексашки Жукова племянница, из деревни, однажды явилась, посланная Царь-бабой в далекий от Мещеры край, в дурной дом при бывшем монастыре, чтобы навестить там Акулину, ныне Лину, любимую Царь-бабову племянницу. Постаревшая великанша наказывала своей подруге: «Посчитай, эвон сколь годов прошло! Я, чай, с самой леворюющей племяньюша с племянницей ня видела. Теперя, Маринушка, поезжай и скажи ей: отжила свое тетка Олёна, помирать собралась. Огрузла, разрослась, сама горой стала, уж ноги не держут. Приезжай, мол, Акулька, коли ты меня живой застать хочешь. Есть еще баранчик и поросенок есть. К мясоеду поспеет, так не без мяса же уедет». Услышав все это, Акулина горько расплакалась, а потом повела землячку в комнату сестры-хозяйки — чаем поить.

К этому времени у Акулины была уже новая сменщица — Серафима Грачинская, которая, после того как комиссия признала ее старой и выписала из больницы, никуда уходить не захотела и осталась работать в том же отделении санитаркой, сама села у входа на стул. Больше она не бродила по темным монастырским переходам, подстерегая ночами Александра Сергеевича. Он же не спешил выполнить свое обещание — научить ее любить по-другому, открыть ей любовь чистую, носимую христианами в душе по заветам их Отца, — и она снова ждала, и по-прежнему время для нее было не долгим и не коротким.

Сам же доктор Марин за это время сильно продвинулся к старости, благополучно поседел вокруг глянцевитой лысины, перенес операцию на желудке, сократившую оный на треть, летом уезжал с женою в отпуск, жил в своей неизменной квартирке во флигеле у дальней монастырской стены и Грачинскую ничем не выделяя, виду не показывал, что между ними был некий значительный уговор. Но вот однажды он пригласил санитарку посетить вечером его квартиру.

Всю жизнь сознанию доктора Марина представлялось одно и то же видение, которое волновало его душу, но было необъяснимым. В солнечный день где-то в Древней Греции забежал хорошенький крепкий мальчик в храм, исполосованный наискозь широкими полотнищами лучей, упавшими сквозь колоннаду. Разгоряченный только что прерванным бегом или буйной игрой, с живыми блестящими глазами и с отважным выражением на круглом лице, малыш остановился посреди портика и без страха заозирался. В храме было совершенно пусто, тихо и необычайно хорошо... Вот и все видение! Во все прошедшие годы, вновь и вновь представая перед ним, оно ничего ему не говорило, и только сегодня ясная мысль пришла к Александру Сергеевичу. Античная картинка являла собою символ всей его жизни: он должен был прийти к Богу — и столь же непосредственно и вольно, как этот мальчонка. И ему будет не страшно, а хорошо. Но полное безлюдье и тишина храма означали, что вся осязаемая жизнь его исчерпается до дна, так и не дав ему встречи с Тем, кто призвал его в свой дом. Хотя теплым движением Его доброты и благовониями отческой ласки наполнен был весь воздух храма.

И никому нельзя увидеть Отца, даже Сыну Человеческому нельзя было в день своего позора и вечной славы узреть хотя бы Его мизинец. Такими и надлежит нам всем быть в жизни — навсегда отчужденными от чудес и в чуде постоянно пребывающими. Об этом он и хотел сказать бедной женщине, которая жила теперь в той

полуподвальной каморке под лестницей, где когда-то была отдельная келья брата пасечника.

Но беседа получилась у них вовсе иная, чем он ожидал. Грачинская отдала торт с влажной пропиткой, выставленный на стол женой Александра Сергеевича, и затем попросила:

— Если можно, покажите мне маленькую женщину, которая живет у вас в старом патефоне.

— Откуда вы знаете, что у нас есть патефон? — удивилась Инкери Урповна, жена доктора. — Или вам Александр Сергеевич сказал?

— Нет, ничего подобного я не говорил, — внимательно глядя на гостью, молвил доктор Марин. — Показать женщину не могу, но можно будет ее послушать.

— Давайте послушаем, — воодушевилась Грачинская. — Вы не представляете, как это много значит для меня, — продолжала она, обратившись к Инкери Урповне. — Может быть, я никогда и не слышала ее, но я почему-то всегда так волнуюсь, когда воображаю, как она стоит у рояля и поет...

Александр Сергеевич принес из чулана старинный синий патефон и круглый чемоданчик для пластинок, поставил все это на стол, осмотрел с добродушной улыбкой, протер тряпкой пыль — и весь вечер они слушали шипучие старые пластинки с голосом Анастасии Мариной. За все время гостя только однажды пошевелилась — когда Александр Сергеевич локтем спихнул фарфоровую корейскую чашку и она полетела со стола, — Грачинская с невероятным проворством поймала вещь на лету и осторожно поставила на место. А все остальное время она неподвижно просидела в кресле, бережно и полно впитывая в себя не только голос певицы, но и каждый звук, даже пустой шорох крутящейся на патефонном диске черной пластинки.

Когда супруги вышли из дому проводить Грачинскую до хозяйственного корпуса, Александр Сергеевич попытался все же, испытывая укоры совести, завести разговор на душеспасительную тему, но взмолилась Инкери Урповна:

— Сашенька, умоляю, давай сейчас не будем говорить ни о Боге, ни о смерти, ни о спасении души. Такая чудная ночь, звезды какие!

— Ладно, Инночка, не будем, — легко согласился Марин. — А звезды, ты права, сегодня весьма впечатляющие.

— И все же я скажу, потому что говорю, может быть, последний раз с вами... — нарушила свое молчание Грачинская. — Скоро я уйду из больницы — поеду на родину, к матери, ей уже почти девяносто лет... Александр Сергеевич! Вы сегодня вечером словно распахнули мне двери — вот в эту ночь, к самому Богу. Спасибо вам! Ведь то, для чего живет каждый человек на свете, обычно ему неизвестно, — а вот мне сегодня стало известно, для чего я родилась на свет. Я родилась, оказывается, для того, чтобы один раз, всего один раз послушать, как поет Анастасия Марина. Вот для чего я должна была вылечиться и встретить вас, Александр Сергеевич. Я почти ничего не помню, что было со мною до болезни, но, мне кажется, помню все, что происходило со всеми людьми на свете. Я теперь поеду к своей матери, буду ухаживать за ней до самой ее смерти — пусть! А потом и я исчезну с земли — пусть, пусть! Зато я слышала, как поет Анастасия Марина.

Серафима Грачинская, крутоплечая, широкобедрая, с бесшумными и очень быстрыми движениями, отделилась от них и незаметно скрылась у кочегарки, в подъезде, где находилось ее жилье, — словно нырнула в потайную нору. Инкери Урповна крепко ухватила за руку мужа и с глубоким состраданием воскликнула:

— Мне очень жаль бедняжку Серафиму! Ведь она, кажется, Сашенька, не совсем еще нормальная. Как ты считаешь?

— Как я считаю?..— выждав время, не сразу отвечал Александр Сергеевич.— Я считаю, Инночка, что все мы без исключения не совсем нормальные. А о ней ради справедливости надо сказать, что она счастливейший человек. Ибо не каждому на этом свете дано узнать, в чем смысл его жизни, а она, видишь ли, услышала Анастасию Марину... Ах, тетя Настя, тетя Настя! Слышишь ли ты в своем раю, что говорят о тебе тут, на земле?

— Сашенька, ты опять за свое,— ласково упрекнула Инкери Урповна.

Серафима Грачинская вскоре и на самом деле оставила лечебницу, вернулась в родное село, которого почти уже не было, и последние избы, брошенные хозяевами, и деревянный храм, покинутый верующими, были охвачены мучительным процессом разрушения. С годами остатки изб окончательно растащили, церковь сгорела, и уцелел на краю огромного кладбища один лишь дом Грачинских. Туда и вернулась Серафима допокоивать свою престарелую мать, восемь лет ухаживала за нею, затем схоронила. И теперь с ее паспортом и со своим паспортом в сумочке возвращалась по лесной дороге из Гуся-Железного постаревшая Серафима Грачинская, в долгом пути позабывшая все огорчения дня и не заметившая того, как душа ее совершила еще более долгое путешествие, слетав за тридцать земель, в далекий монастырь, преображенный в приют сумасшедших, где погибла и вновь родилась ее душа и где она вновь пережила все отмеренные ей страдания.



Он шел с огромной корзиною, полной груздей, которых наломал у края березника, где тот сходится с сосновым бором, а на эту дорогу вышел случайно, решив напрямик пробраться к своей деревне; выбрался из сосновой чащобы на дорогу, пока еще смутно соображая, в какой стороне Лидина роща, и внезапно был охвачен сильным головокружением, отчего пошатнулся, уронил корзину и упал лицом на мох. И, находясь в состоянии, сходном с неподвижностью смерти, он увидел — вынужден был увидеть кем-то насильственно представленную его взору картину собственной гибели в море. Тело его почти бездыханным лежало на зеленом мху, головою в кустах бересклета, но сам он — подлинный он — плыл в огромных серых волнах, в смертельно холодной воде. Вскипали пенные барашки на гребнях раскатыстых водяных гор, которые неслись, дыбась, диким табуном по краю неба, то вдруг стремительно проваливались в преисподнюю, — и он так ясно увидел, как выглядит его смерть. Она была громадной водяной пустыней, где никого нет. И волны там были живыми существами. Он лежал под влажным кустиком не в силах шевельнуться, а тот, кто плыл по воде, охваченный ее леденящим холодом, почему-то изо всех неисчислимых жизненных видений в гибельный час остановился на этом: как он лежал, недвижимый, под нарядным кустом, и рядом на зеленом мху валялись, вывалившись из корзины, круглые большие грузди, студенистые сверху и чистые, белые, равнополосатые исподу. Глядя на эти грибы, он и пришел постепенно в себя, вернулся из водяной смерти на мягкий мох, под кустик бересклета.

Дома он нехотя сказал своему отцу, что в лесу с ним была падухая и он валялся на земле, но отец, огромный, кривой на один глаз Елисей, ничего на это не ответил, высморкнулся на землю и пошел в угол двора затесывать топором колья. Сын к этому больше не возвращался — а вскоре подошло время рекрутского набора, его признали годным для службы, и он с пьяными рекрутами, сам тоже пьяненький, отбыл на барже незнамо куда. Пройдя долгий кошмар карантина и обучения, он попал на морскую службу, его зачислили

матросом на миноносец, где новый дружок, белобрысый матросик Ляхов, сделал ему услугу: на тыльной стороне крепкой и красивой крестьянской руки выколочил якорь и синие буквы «Петръ».

Жил-был финский рыбак Юхани Бергстрём, прадед которого был чистым шведом. Он наткнулся на вымоченный в соленой воде белый труп, который прибило к берегу возле Кривой косы. Юхани похоронил найденного в прибрежном лесочке, ничего не сообщив об этом властям, потому что не хотелось ему дурной и долгой мороки с ними. Но через несколько месяцев, когда он повез сайру в Кеми, встретился там в таверне с русским кушцом Таратушкой и спросил у него:

— Скажи-ка, брат Таратушка, ты не знал никогда матроса по имени Петр?

— А фамилия какая? — недоверчиво косясь, как и всегда, молвил купец.

— Фамилия неизвестна, но известно, что он служил в русском военном флоте, — продолжая скрытничать, разъяснял Юхани. — Я подумал, что, может быть, совершенно случайно ты знаешь русского военного матроса по имени Петр.

— Так ведь сейчас у нас война с японцем! — воскликнул хмельной Таратушка. — Эвон сколько их, военных моряков, кругом стало. И каждого зовут то Петр, то Сидор, то Иван, как тебя. Ты бы, Иван, чего другое у меня спросил.

— Я ведь не совсем финн, Таратушка, — загадочно улыбаясь, сообщил Юхани. — Во мне есть шведская кровь, и фамилия у меня шведская — Бергстрём.

— Ну так что ж? — ничуть не был удивлен русский купец. — Я ведь тоже наполовину цыган.

— Мой прадедушка был уже чистым шведом. А его дедушка был личным камердинером короля.

— Ишь ты, — на сей раз удивился Таратушка. — Так ты, значит, не финн?

— Финн, — возразил Юхани, — но есть во мне четвертушка шведской крови.

— Ладно, — миролюбиво махнул рукою купец. — Сойдет и так, брат.

— Чистый финн не спросил бы у тебя то, о чем я сейчас спрошу.

— Давай спрашивай, Иван! Ничего не бойся.

— Настоящий финн не подумал бы сделать то, что собираюсь сделать я.

— Это почему же? — слегка обиделся за финнов русский купец Таратушка.

— Потому что слишком долго пришлось бы ему думать, чтобы до этого додуматься.

— Ага, — икая, произнес купец.

— Скажи мне, Таратушка, кто друг мертвому человеку? — со значением в голосе и в выражении лица спросил Юхани Бергстрём.

— Чего? — возмутился купец. — Да ты, брат, пьян. Поди проспись! Черт ему друг, а то кто же!

— Нет, Таратушка! — просветленно улыбнувшись и гордо выпрямив свой длинный корпус, молвил Юхани Бергстрём. — Мертвому человеку друг живой человек. И я друг матросу, которого звали Петр.

— Уби-ил?! — пригнувшись к столу, с придыхом спросил Таратушка. — Ну, Иван!! — погрозил он пальцем.

— Нет, этого не могло быть, — пренебрежительно отверг Юхани. — Я честный христианин, людей убивать не могу.

— Врешь, Ваня! Убил. Признавайся! — настаивал купец.

— Из нас двоих ты пьян, друг Таратушка, а не я вовсе, — спокойно ответил Юхани Бергстрём.

Он как был величественно прям, словно палка, так и повернулся на лавке, достал из своего дорожного мешка деревянный инструмент с натянутыми струнами и утвердил его на коленях.

— Теперь вижу, что ты и впрямь финн,— рассмеялся купец.— Каждый в твоей Чухне бренчит на этой самой бандуре.

— Да, финн. Теперь послушай, Таратушка,— призвал Юхани и запел, подыгрывая на кантеле: — У песчаной косы я нашел утонувшего человека. Он торчал из песка, одетый в русскую форму. Чайки выклевали ему глаза, соленая вода сделала его белым, как белый камень. Но на руке его, чисто омытой, виден был нарисованный якорь, под ним написано: Петр. Мне неизвестно, угоден ты был Господу или Он тебя отверг. Но я предал тебя земле и тихо постоял над твоей могилой, грустя, потому что человек ближе к человеку, чем Бог,— прости меня, Боже...

Звуки задумчивого инструмента постепенно стихли, выплеснув последние струи мелодии, и купец Таратушка вытер волосатым кулаком глаза.

— Иван, уж песня твоя больно хороша,— произнес он растроганным голосом.— Уж больно жалостлива. За сердце так и берет...

У рыбака Юхани Бергстрёма был единственный сын Сеппо, который имел четырех дочерей — Арию, Тарью, Лесну, Ирму, от Лесны и родилась Инкери, ее отец Урпо Паркконен был арестован в Карелии, а семья его перед самой войной выселена на Кавказ, в Северную Осетию, там и встретилась Инкери Урповна со своим будущим мужем — когда он, молоденький врач, недавно окончивший институт, в свой первый отпуск поехал в горы собирать лекарственные травы — он как раз в то время увлекся траволечением.

В роду русских крестьян Морозовых, что из деревни Курясево, старший брат Елисея, Еремей, был мужик рослый и на удивление красивый, силы непомерной, до семидесяти пяти лет на палках перетягивал всякого, — а уж тут старика перетянул продавец из кооперации Лапин, толстенный, как боров. Старшая дочь Еремея Морозова тоже получилась красавица отменная, Настя — золотая коса, и ее побужил горный инженер Евгений Марин, исследовавший в этом краю запасы болотной руды, — вышла славная свадьба между крестьянкой и дворянином, о которой вспоминали много лет в округе Гуся-Железного. Дети Евгения Марина и Настасьи были Сергей и Анастасия (по святцам выпало то же имечко, что у матери) — таким образом, кровь рода Морозовых, к коему принадлежал Петр, лежавший в одинокой лесной могиле, и кровь Бергстрёмов, к коим принадлежал его вечный упокоитель Юхани, соединилась в браке их потомков — Александра Сергеевича Марина и Инкери Урповны, урожденной Паркконен. Их детьми были две дочери, родившиеся поздно, но вместе, — двойняшки вышли совершенно непохожими, одна — высокая шатенка, с нежным ломким телом, другая — миниатюрная хрупкая блондинка, обе стали кандидатами наук по филологии.

Сестра их деда Сергея Евгеньевича, Анастасия Евгеньевна Марина, оказалась безмужнею, бездетною, потому и удочерила она сиротку из деревни рядом с поместьем Мариных. Девочку барынька взяла годовалюю после смерти матери и сама ее крестила, назвала также Настей — стала она впоследствии женою Степана Тураева. Свое господское житье в раннем детстве она не запомнила, потому что была по исполнению шести лет препоручена заботам одной крестьянской семьи, в которой и выросла. Самой же певице, подхваченной волной недолгого, но шумного успеха, возить с собою и воспитывать девочку было невозможно, а после революции Анастасию Марину подхватила другая волна, более грозная, катастрофическая для всей прежней русской жизни: на мутном гребне эмиграции умчало навсегда из России признанную певицу, и донесло до другого края земли — на островные Филиппины, и опустило посреди бревенчатых хором, принадлежащих

русскому хозяину. С ним Анастасия Марина познакомилась во французском Дьепе, где пела в дешевом кабачке. Доживая свой век кем-то вроде нахлебницы в доме покровителя (который был намного старше и умер за семнадцать лет до ее смерти), Анастасия Евгеньевна хлебнула горя, толчась среди его многочисленных наследников, из которых никто не говорил по-русски, никто не любил ее, всяк норовил выразить ей свое презрение, ибо хозяин, покидая мир, не удосужился подумать, каково придется его сожительнице, которую он приобрел во Франции и привез домой, чтобы она пела ему русские песни. И жизнь свою она считала ужасной и пустою, страшась предстать перед Господом после смерти в столь опустошенном виде: разорив и бесславно промотав свой талант, дарованный ей свыше. Но она не знала, что пластинки с ее голосом, записанные еще во Франции, когда богатый покровитель не жалел на нее денег,— пластинки будут размножены на ее далекой родине, что услышат ее вновь многие любители романтического вокала уходящей России и что ее мягкое пение, стихнувшее вместе с временем жизни, воскресит одну погибшую душу.

Я никогда не воскресал, потому что не умирал, я не умирал, а только менял дома, в которых жил, разнообразил свои повадки, менял походку, забавлялся сложной начинкою наций и рас, правой рукою покорял левую, императорствовал, диктаторствовал, размешивал эпохи, подливал в котел истории смуту и революции — делал все то, чего никогда больше не будет. Вручал шагающей по снегу вороне, важной и деловитой, верховную миссию объединения всех разумных существ на планете под эгидою послеобеденного сна. Давал имена и названия всему, что явлется мною самим и потому не может никак называться. Придумал добро и зло и долго этим забавлялся, провозглашая славу первому и проклиная второе, пока однажды дело не дошло до того, что я сам перестал различать предназначение каждого из этих начал. Я открыл способ высвобождения Огня сатаны из материи, а затем нашел еще более простой путь истребления себя в человеческом материале. А путь развития материи, явленный человеческой любовью, будет отвергнут, видимо, волею Вселенной, потому что любовь полностью зависит от такого ненадежного космического препарата, как род человеческий на Земле.

Испытав все то, что испытал Петр, тонущий в море, я не стану также утверждать, что мир создан для нужд моего потребления. Огромное серое море, отвратительное своей абсолютной пустотою, открыло мне всю никчемность и неприкаянность моих крохотных вождедений. Перед тем как навсегда исчезнуть из жизни, уйдя в соленую морскую пучину, я мгновенно просмотрел все свои поступки, совершенные в припадках неимоверных усилий, длившихся тысячами годами, и нашел, что целиком все это было нехорошо. Что меня заставляло так действовать? За тонкой пленочкой океанской поверхности я оставил всю кошмарную мешанину своих человеческих заблуждений, утонул в море, а затем вернулся на покой в Лес.

Увы, только теперь, в тишине длительного досуга, мне стало наконец понятно, почему все мои превращения завершились печалью и болью. Взлетев над глиняным гробом, выкопанным усердным финном, я замер в воздухе на целую минуту — длительностью в историю человечества. А затем минута сия миновала, как было ей положено, и я, очищенный раскаянием, отправился в беспредельное странствие, находясь внутри вырвавшегося из меня облака. И вот повлекло оно мою душу, как грозовая туча будущую каплю, которая вызреет на путях ее и выпадет где-нибудь на нечаянную землю. Лечу над пустым свинцовым морем своего прошлого и сам диву даюсь, как это я не заметил с самого начала, что, выйдя из леса на поляну, сразу же поставил себя на второе место, после Бога, но на самом деле мыслительность свою тайно направлял таким образом, чтобы постепенно убедить себя, что

человек есть, пожалуй, главная причина всего — причина даже Бога. Облако несет меня над мертвой землей, которая умерла потому, что Деметра не захотела больше жить. И вот ни одного дерева не зеленеет на материках земного шара. Отец-Лес переселился на другую планету, а Лес человеческий, отживший свои миллионы лет, весь уместился в моей душе. Я ОДИНОЧЕСТВО — миллионы миллиардов деревьев моего Леса прошелестели своими жизнями ни для чего. Нулевым вариантом — стружкой дыма, втянутой в черную дыру, — завершилась жизнь Леса на Земле.

Я вынужден взять на себя всю ответственность за пустую трату одной вселенской возможности, ибо моя вина, и только моя, в том, что деянием жизни Леса, через Большое Число ее возможностей, я попытался рассеять сверхплотность своего одиночества. Напрасным было мое бегство от самого себя в неисчислимый сонм бедных деревьев, которым казалось, что они есть, но которых никогда не было. Мне по-прежнему неведомы время, смерть, исчезновение, хоть все это я столь убедительно придумал для своих фантомов. Я сожалею теперь, что, вызвав взрыв зеленой жизни, я лишь понапрасну подверг ее неисчислимым страданиям, насылал мечты, которые сам и предавал глумливому осмеянию. Человека можно убить — это открытие было сделано людьми гораздо раньше, чем открытие, что его можно любить. И все, проистекло время всемирной истории Леса — она вся выстроилась на постижении первого открытия, на нем и завершилась.

У каждого в душе есть нечто чудовищное, но не каждый представлял это столь ясно, как Глеб Степанович Тураев: человек изобрел способ мгновенного уничтожения людей сразу тысячами миллионов — миллиардами. И надо было исходить из того, что являлось любовью и для такого количества людей; по определению этого удар наносится по общему психологу. И все до последнего человека, любившие это нечто, оказываются в пределах смертельного поражения.

Глеб Тураев постепенно начинал постигать, что это такое — вселенская жажда самоистребления. Человеческая мысль, вдруг прозревающая, нечто для себя непостижимое, наполнялась убедительной силой правоты и законности самоубийства. Ведь всякий непокой, всякое движение вещества уже есть поиск иного состояния, нежели то, в котором вещество пребывает. Жажда самоубийства, стало быть, освящена высшей волей, внушающей вечной Деметре желание небытия.

Но в ту секунду, как пришла эта мысль в голову Глебу Тураеву, он замер от ужаса, внезапно подумав: да ведь подобные желания не что иное, как убедительный признак того, что Оружие успешно завершено и, возможно, пущено в ход! И вот оно уже действует...

Его десятилетняя дочь Нина отказалась пойти в магазин за молоком, заявив отцу, что боится выйти на улицу, ибо час тому назад, когда она возвращалась из школы домой, в тамбуре входной двери, в подъезде, валялся некий старик, загородив своим телом проход, пришлось перешагивать через его ноги. Глеб Степанович с удивлением спросил, почему же она ничего ему не сказала, ведь он же был дома, на что девочка ничего не ответила и даже головы не повернула к нему, продолжая смотреть телевизор. Глеба Степановича привело в глубокое негодование то равнодушие, с которым дочь говорила о валяющемся на земле человеке.

— Неужели нельзя было помочь ему? Ведь ты уже большая и сильная.

Молчание, пауза.

— А вдруг он болен — сердце или что, или вдруг — умер?

Быстрый взгляд дочери в его сторону, но еще не на него; взгляд подбирающийся, звериный, озирающий ближайшие окрестности. И как странно воспринимается вид обычного поля, темной стены еловой опушки и розовой проселочной дороги, вьющейся по полю.

— Так я же боялась,— потупившись, ответила дочь.

— Понятно, боялась, но сказать-то мне можно было?

Что-то шевельнулось в кустах, нет, даже не шевельнулось, а внятно обозначилось за их неподвижной листвою — невидимое еще, но уже явно угрожающее, внятно опасное. Ты существуешь по-волчьи не одну тысячу лет, подобная опасность встречалась столько раз, что тебе вовсе не надо видеть ее, чтобы распознать.

— Могла бы сказать мне, что там, внизу, лежит на земле какой-то человек.

Стремительно выпрыгнул из кустов огромный борзой пес с лохматыми плоскими боками, в прыжках своих подбрасывающий себя выше далекого горизонта, отороченного голубым зубчатым лесом.

— Вот еще! Надо мне очень! Да он, может быть, пьяный валялся!

— Нина, дочка, нельзя перешагивать через лежащего человека...

— Слушай, чего ты ко мне лезешь?

— Это ты так с отцом?!

— А ты не лезь, если тебя не трогают.

— Вот как! — вскричал несчастный отец, начиная терять рассудок в беспредельном гневе. — Ты ходишь по человеку — и тебя еще обижают? Человек для тебя грязная скотина, о которую можно только юбку испачкать? Так? Так? Говори!

— Да, так! — с жалким привизгом выкрикнула девочка, вскакивая с кресла. — Я бы вас всех убила, понятно? — И слезами беспредельного ожесточения и безысходности завершились ее нестойкие действия в свою защиту.

Маленькую оборванную девочку легко и стремительно настигла крутобрюхая гигантская борзая, волчатник-кобель. И семенящий, вперевалку, неуклюжий бег девочки, кое-как обутой в драные лапти с выбувшимися лохмотьями онучей, — нелепый бег девочки по ровному пустому полю был страшным. Сироту-нищенку специально побили, напугали и выгнали из леса на край поля, и холоп по кличке Жвома, барский ублюдок, перед тем всю ее старательно потер свежей волчьей шкурой, недавно снятой с доски-распялки... В последнее мгновение девочка оглянулась на бегу через плечо, увидела собак и вдруг остановилась. Она нагнулась, подобрала с земли рогатую ветку и, повелительно вскрикивая, принялась издали махать ею на несущихся к ней зверей. Скакавший впереди на доброй лошади-вятке холоп Жвома видел, как волчатник с ходу взял девочку, словно куклу, и, не приостановившись, поволок ее дальше, подгоняемый лаем и завываниями подступавшей своры.

— Ладно, успокойся,— сурово произнес Глеб Тураев, глядя на плачущую дочь,— слезы твои никому не помогут.

— Опять у вас что-то случилось? — спрашивала испуганно жена, заходя в комнату.

— Стучилось то, Ирина, что у нас вырос не ребенок, а жестокий звереныш,— отвечал ей муж, неподвижный, бледный, как мертвец.

— Сам ты зверь,— отчетливо, спокойно выговорила девочка, вмиг перестав всхлипать, и, повернувшись к отцу, уставилась на него исподлобья горящим, неподвижным взглядом.

— Вот видишь, Ирина... — Глеб Тураев отвел, не выдержав, свои глаза в сторону. — И это наш ребенок.

Вернувшись однажды из поездки в город, мещерский помещик Полуторацкий велел растопить баню, кликнул Топташку, свою банную наложницу, велел ей взять сухих липовых веников и идти вперед. От этого раза Топташка, здоровенная не беременевшая девка,

понесла, но барин подозревал, что здесь могло обойтись и не без участия ублюдка Жвомы, который парился вместе с ними, а потом был удален в предбанник, ибо Топташка стеснялась его. Жвома благополучно прожил в дворне до самой глубокой старости, у него было много непризнанных детей от дворовых баб и на деревне. Дитя же, рожденное Топташкой (Авдотьей по-христиански), девочка-сирота, отданная в дальнюю деревню в дом многодетного — шестнадцать душ — лесника Шикина Зосимы, побиралась Христа ради. И это она была разорвана собаками помещика Полуторацкого при участии холуя Жвомы.

В доме Зосимы Шикина дети жили вольно, как зверята, за обедом хватили горячие картохи со стола и разбежались по углам, на пришлую девочку и внимания поначалу не обратили. Но когда ей исполнилось лет пять, к ней привязалась одна из белобрысых лесниковых дочерей, они и спали рядом на полатах, и ели в одном углу, ни на час не разлучались, пока курясевская нищенка Чуда Дикая не увела однажды девочку с собою в походы. Белобрысую же дочь лесника, когда она выросла, взяли в дворню — кто-то из людей барина вспомнил, что леснику была когда-то отдана дворовая сирота, дочь Топташки. Решено было ее вернуть, но никак не могли разобраться, какая из нечесаных, оборванных лесниковых девок она, — и взяли наугад белобрысую Феклушу. В дворне она прижилась, была потом выдана замуж за псаря Маркушу, от ее детей и пошло потомство, к которому принадлежала Ирина, жена Глеба Тураева, и, стало быть, его дочь Нина.

В глазах дочери отец увидел не просто ненависть к нему: это были концы двух оголенных контактов, направленных прямо в его зрачки; через эти контакты должен был выплеснуться прожигающий огонь и, пройдя по психическому полю любви, поразить мгновенно гибелью жизненные центры в нем. Это и было проявлением в действии того Оружия, в создании которого Глеб Степанович Тураев принимал участие как математик, вычислитель основных параметров поражения. Было только непонятно, почему это Оружие — должно быть, уже завершенное — действует сейчас в обратном направлении.

— Ты бы оставил девочку в покое, — натянуто проговорила жена и подошла к дочери, прижала ее голову к груди. — Ну чего вы вечно воюете?

Дочь снова завсхлипывала, уткнувшись лицом в надежное тело матери, прикикая к ней, как после бури трава к земле. И, глядя на них, таких любимых и безнадежных, Глеб Тураев до конца ясно осознал свою погибель.

— Имеются, Ирина... есть такие вещи на свете... Уже все это сделано, — с трудом заговорил Глеб Степанович. — С этим дальше нельзя... Невозможно...

— Глеб, дай нам жить спокойно, — перебила мужа Ирина, теснее обнимая стоящую рядом дочь. — Мы просто хотим жить, Глеб, а ты своими словами как будто стараешься нас отравить. Зачем ты это делаешь, Глеб?

— Да, ты права. Я вас убиваю... По закону я не имею права существовать.

— Какой закон, Глеб? Что ты такое говоришь...

— По закону Вселенной, где таким, как я, нет места.

— Не плачь, милая, успокойся, птичка моя, — стала покачиваться мать вместе с прикикшей к ней девочкой.

— Поэтому я уйду, Ирина.

— Почему? Что случилось? Ведь ничего не случилось, — говорила жена, виновато глядя на него.

— Я не могу больше оставаться.

— Почему?

— Потому что меня давно нет рядом с вами, Ирина. Я давно мертв. Я погиб раньше, чем пришла смерть. Неужели ты ничего не заметила?

— Не надо, Глеб, при ребенке... Она и так, бедняга, испугана.

— Ирина, неужели ты ничего не поняла?

— Почему же? Я поняла. Ты уходишь от нас. Но это не так. Ты вернешься еще, обязательно вернешься. Потому что никаких причин, чтобы уйти, у тебя нет. Тебе станет плохо, и ты вернешься.

Но дело в том, дорогая моя Деметра, что никто из нас никогда не хотел жить,— все мы, рожденные тобою, не хотели жить, поэтому звери беспощадно пожирали друг друга, а человечество создало ядерную бомбу. И вся подоплека кровавой, страшной истории человеческой в том и состоит, что с самого начала едва еще рожденный тобою человек страшно закричал, протестуя против того, что его ожидало,— рождаясь, он оплакивал себя. В дальнейшем он жил — это значит, что с самого первого дня и до последнего он умирал. И ты, Деметра, это видела, но не хотела знать трагической истины. Ты давала человеку жизнь, а он за это мстил тебе. Ты тяжело боролась со мною за право любить меня, но я надругался над тобою как только мог, осквернял твою поцелуи и твою красоту — и вот, кажется, я одолел тебя. Ты прижимаешь к своей груди нашего ребенка, дочь, маленькую Деметру, в которой уже восторжествовало и действует гибельное чувство.

Однажды во время летней грозы над немецким городом Потсдамом, когда несколько атомов Ральфа Шрайбера выпали во влаге щедрого ливня на завитую голову его дочери, сухощавой, подтянутой женщины, которая родилась в ноябре сорок первого года, в то время, когда отец воевал на скованных лютым холодом подступах к Москве,— раскрывая над собою зонт, Анна Мария Гундерт, в девичестве Шрайбер, вдруг увидела над собою, подняв глаза, не розовый купол зонта, а полыхающую в клочковатых языках адского пламени беспредельную сферу огня — сплошное Огненное Небо.

Анна Мария не придавала значения мгновенному видению, она быстро направилась по красиво обсаженной цветами дорожке парка Сан-Суси, не желая да и, во всяком случае, не умея себе объяснить, что значит подобное видение. Это было в июле, а в октябре этого же года Анна Мария Гундерт безвременно скончалась, прожив короткую, но содержательную и наполненную разумным трудом жизнь, воспитав троих детей и принеся много пользы музейному делу своей страны,— об этом сообщалось в траурной листовке, разосланной всем добрым знакомым, родным и близким усопшей.

Одна такая листовка попала в мещерскую деревню Курясево к сельскому учителю Василию Петровичу Неквасову, который когда-то отвечал на письмо Анны Марии Гундерт относительно захоронений немецких военнопленных бывшего лагеря за номером полевой почты 9405... Неквасов тогда кратко отписал по поручению председателя сельсовета, что как местный историк, изучавший архивные материалы и собиравший устную информацию от жителей, знает о существовавшем в послевоенные годы лагере военнопленных, но ничего не может сообщить о месте захоронения умерших. По некоторым предположениям, писал учитель, место это попало в зону лесного пожара, случившегося в сорок седьмом году, и стало неопознаваемым в силу того, что березовые кресты сгорели, а могильные насыпи постепенно заросли травой и кустарником.

Василий Петрович Неквасов был одним из сыновей бывшего председателя колхоза «Новый путь», тот самый, который первым приезжал из армии в отпуск, чтобы поискать в лесу запропавшую сестру (девушку-фельдшерицу в косо надетом темно-синем берете). Василий Петрович во время летнего отпуска съездил на велосипеде в лесную глушь, где когда-то был расположен лагерь для немецких военнопленных. Это находилось километрах в семи от ближайшей деревни Ушор,

на песчаных буграх между могучими болотами, там рос теперь густой тонкоствольный сосняк, весь заваленный жердевым буреломом. Неквасов прислонил велосипед к дереву и, чтобы не потерять из виду стоянку, сделал топориком белый затес на стволе сосенки и надломил еще ветку березы рядом, на чахлом обомшелом деревце с покорно склоненной вершиной. Устроив эти необходимые заметки, учитель пошел в глубину сосняка, внимательно разглядывая землю под ногами.

За сорок лет до этого по тому же месту, чуть наискось того направления, которого держался Василий Петрович, шла небольшая партия немецких военнопленных. Это были остатки контингента специально-го лесопромышленного лагеря, полевая почта 9405, которые сохранились за прошедшую зиму и весну,— три десятка истощенных немцев от двухсот пятидесяти, пригнанных в лес год назад. И теперь охраны стало больше, чем военнопленных, и надо было, очевидно, закрывать лагерь, однако этому мешало то обстоятельство, что все еще живыми оставались тридцать пленных.

Василий Петрович искал на земле каких-нибудь заметных следов лесного лагеря, что сгорел вместе со всеми своими заключенными, охранниками и вольнонаемными лесорубами, со всеми бумагами и тоскливым казенным имуществом, с костями людей и лагерных животных — конвойных собак, лошадей, крыс и полудиких кошек,— исчез в пламени, взметнувшись с оглушительным треском и гудом, где сгорело бледное отчаяние последних оставшихся пленных, коим в очень скором времени все равно надлежало бы погибнуть — в долгой, вялой прохладе голода, при отсутствии всякой пищи, как умерли за зиму и весну остальные две сотни человек, похороненные метрах в семидесяти справа от полянки, через которую проходил теперь учитель Неквасов. Он нашел бы в земле большое количество полуистлевших костей, кое-какое недогнившее тряпье и даже не превратившуюся полностью в землю черную, смрадную органику, в которой еще сохранилось неисчислимое количество атомов от людей, представлявшихся непритязательному сельскому историку сборищем мрачных арестантов, покорно несущих на сгорбленных спинах груз своих военных преступлений. Василий Петрович держал в сосуде своего разума, полученного им в эпоху полного и окончательного подавления личности, только такие слова, которые считались правильными: «А что их было жалеть? Фашисты бы нас не пожалели. Было их здесь всего двести пятьдесят душ, а из наших деревень не вернулись с войны тысячи».

...Купец Липонтий Сапунов ворочал тяжелые бочонки с остатками засохшей, окаменевшей замазки; в темном лабазе и так было мало места: колесное железо, печные дверки и выюшки, привезенные из Гуся, лежали навалом, громоздкими кучами, через которые надо было прелезать на четвереньках, обдирая колени; деревянные части для хомутов, кованые оси, пуды веревок, колодезные цепи — вся эта неразбериха, большая и железная, многотрудная и лязгающая, была в тягость Липонтию. Но он покорялся неизменному ходу житейских соображений: сухую замазку надобно отбивать с помощью зубила и как бы при этом не повредить бочки.

В том, что пленные немцы умерли все до одного, виноват прежде всего послевоенный голод сорок седьмого года, тогда и всем нашим по стране приходилось нелегко; в ходе истории нельзя обойтись без жертв — так думал Неквасов Василий Петрович. Неквасовский предок, тоже сельский учитель из тех русских людей восьмидесятих годов девятнадцатого столетия, которые хотели просвещать народ и шли работать в деревню, полагал: прав Герцен, сельская община — это и есть социалистическое будущее России,— звали того учителя Казимиром Степановичем, он был выходцем из поляков. А его потомок, тоже учитель, Неквасов уже ничего не думал о будущем социализме, потому что полагал себя пребывающим внутри его.

Сгоревший в этом лесу потомок лабазника Сапунова, сержант конвойной команды Обрезов, удобный себе социализм представлял весьма определенно: в виде продовольственно-фуражного склада, откуда можно получать все для жизни, предъявив только накладную, требование или какую-нибудь другую бумагу с печатями и подписями начальства. Казимир же Степанович однажды высказал мысль, что российское общинное землепользование при условиях, исключающих появление латифундий, и есть прообраз истинного социализма на земле. Купец Липонтий Сапунов в это время катал по лабазу бочки с засохшею замазкой. Его внучатый племянник, сержант войск охраны Обрезов, как-то сделал поразительное открытие в самом себе — он вдруг отчетливо и неспешно подумал: «Чего-то сегодня убить хочется». И с этого дня, когда он вполне осознал это подымавшееся время от времени в нем неодолимое желание, сержант стал уничтожать пленных немцев, сначала поодиночке, стреляя в конвоях на рубке леса, а затем и другими способами, которые постепенно и привели к полному уничтожению всех немецких военнопленных в лагере.

Теперь на месте этого лагеря росли чахлые сосенки в большой тесноте, земля была устлана желтыми иглинами палой хвои, и по ней пробирался, осторожно переставляя длинные ноги, оглядываясь вокруг, что-то приговаривая себе под нос, сельский учитель, любознательный историк периода великого застоя.

Василий Петрович Неквасов шел по лесу, то и дело оборачиваясь назад, стараясь не потерять из виду белый затес на сосне — единственный ориентир во времена чудовищной лжи, к которому можно было привязаться, — перешагивал через навал палых сосновых жердин, нигде не находил никаких трагических следов от бывшего когда-то здесь лагеря, и ему невесело подумалось: уничтожить двести пятьдесят человек — это такой пустяк. И он внимательно продолжал осматривать безответную землю, устланную хвоей чахлах сосенок, стоявших вокруг в таком же безрадостном молчании, как и те последние тридцать узников спецлагеря, подошедшие к шлагбауму, что толпились перед воротами жилой зоны.

(Окончание следует)

ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД

★

ВОЗВРАЩЕНИЕ

* * *

Олоферн изнемог в ожиданье любви
И бодрящим вином опьянен.
Ассириец беспечный, Юдифь не зови —
Тот, кто евнуху верит, смешон.

В золоченом шатре бархатисты ковры,
Словно кожа прекрасной вдовы.
Все рабыни отвергнуты. Пресны пиры.
Но хмельной не сносить головы.

Вот Юдифь на горячее ложе взошла,
И сверкнул неуступчивый меч.
Ветилую от жажды и мора спасла,
Но сумела ли душу сберечь?

Не убий!.. Но сородичей попрана честь,
И любимый в сражении пал.
Коль свершаешь по воле Всеvyšнего мечь,
Ты герой. Ты бездумен и мал.

* * *

Памяти мамы.

Даже песен твоих я забыла начала
И забыла концы — лишь обрывки звучат.
Смолкнув, слово родное ты мне завещала,
Мне об этом твердил пробудившийся взгляд.

Я, транжирия при жизни твоей, после смерти
Без подсказки едва ли словцо воскрешу.
Семью семь сургучей на заветном конверте —
Вскрыть не в силах сама, а кого попрошу?

Слово предков моих иссыхает, забито
Мощной осыпью речи, звучащей вокруг.
Только душу щемит тот напев позабытый,
Тот возлюбленный твой, тот задушенный звук.

* * *

Пространство смещено и время сбивчиво.
Назад ли пячусь иль бреду вперед —
Судьба моя в глаза глядит обидчиво
Который век, который час, который год...

Я — иудеянка из рода Авраама,
 Лицом бела и помыслом чиста.
 Я содомитка, я горю от срама,
 Я виленских местечек нищета,
 Где ласковые свечи над субботою,
 Где мать худа и слишком толст Талмуд,
 Я та, на чьих лохмотьях звезды желтые
 Взойдут однажды и меня сожгут...

Я дую в горн, и галстук цвета крови,
 Я комиссарша — грозен взгляд мой зоркий,
 И я же — заплутавшаяся в слове,
 Избравшая безлюдные задворки
 Российского стиха, и этой долей
 Вернуть бы мне себя, еще одну —
 Ту, что когда-то не своею волей
 Валила в снег таежную сосну.

Возвращение

Памяти отца.

...Стала в очередь за луком,
 Шелуха летит с прилавка.
 Выстроились друг за другом
 И молчим. Но вот затравка —
 Обличительным недугом
 Болен Некто. «Эй, не гавкай!
 Ишь какой — видать, не пуган...»
 Локти, зубы, крики, давка.

Изгнан критикан. И снова
 Касс клыкастых перещелки.
 Смолкли пересуды, толки.
 Шелуха летит в кошелки.
 Все кругом друг другу волки.
 Волк любезный! Молви слово!..
 Вот и дождалась улова.
 Лук, морковь и три свеколки.

Побрела назад с добычей.
 Кто-то, некогда знакомый,
 Встретился: «Как жизнь? Как дома?»
 За меня мое обличье
 Принял он. Я невесома.
 Весь мой вес — кошелка с луком,
 И привычным старым трюком
 Кажутся его расспросы.
 Что ему? Сам безволосый,
 Да и смотрит как-то косо:
 То ль затравлен, то ль затуркан...

Наконец подъезд мой темный —
 Лампочку ввернуть забыла.
 Я не волк, не пес бездомный,
 Просто утекает сила,
 Все, что на себе тащила,
 Стало трудно, неподъемно.

К восклицаньям я не склонна.
 Не взывать же о спасенье.

Но как долго я на стены
 Не смотрела. Взгляд свой сонный
 Поднимаю потрясенно:
 Красный тамариск в цветенье,
 Крыма солнечные склоны
 И оранжевые тени.

Дальше, дальше! Дворик детства
 Я в себя вбираю жадно.
 Было время беспощадно.
 Кисть в руках — одно лишь средство,
 Чтобы не было повадно
 Корчиться в немом унынье,
 Пестовать свою усталость.

Есть и у меня святыни,
 Прочее — такая малость!
 Не одна я, не в пустыне,
 И к себе постыдна жалость.

* * *

Бегут, черноволосы, чернооки,
 От черных смут, как сотни лет назад.
 Суха земля — лишь беженцев потоки,
 И, отгоргая древние уроки,
 Вновь камни отрясает Арарат.

Бегут, бежим, бежите — вдруг припомнив
 Зов предков, крови зов... Но позабыв,
 Где хоронили мать, себя хороним.
 Спасти ли от свистящей вслед погони?
 Ров позади, а впереди — обрыв.

Колокола

Колокола свезли в музей,
 Но в залах места не хватило,
 И на пригорке у дверей
 Они безмолвствуют уныло.

Какая жизнь у них была!
 Как им раскачивалось, пелось!
 Светало иль сгущалась мгла —
 Залиться звоном не терпелось.

От наших дел отстранены,
 Они венчали храм Господен,

Не думая, кому нужны,
 Кому их голос не угоден.

Но слышу — от небес вдали,
 Лишившись голоса и цели,
 Вблизи шоссе, в чаду, в пыли,
 Они не вовсе онемели.

Подрагивают и звенят,
 Едва прохожий их коснется.
 И я ловлю чуть слышный лад,
 Как слабый луч в глуши колодца.

НИКОЛАЙ СТРУЗДЮМОВ

★

ПРОПАЩАЯ НЕДЕЛЯ

Рассказ

Мы с приятелем что-то забарахтались на работе, и я возвращаюсь домой потемну. Скорым шагом иду от автобуса мимо девятиэтажки — голод подгоняет — и вдруг вижу: что-то там грохочется в темноте... Останавливаюсь и вглядываюсь. Ну да, автофургон. У дверей продмагазина. И легкая тревога поднимается во мне.

Вскоре вхожу я на свой этаж, открываю дверь квартиры и вижу мать. Она на кухне разговаривает с женой. С нехорошим предчувствием прислушиваюсь к их разговору. И наконец убеждаюсь, что тревога оказалась не напрасной: тот автофургон привез не рядовой продтовар, а мясо.

Я подсчитываю числа и дни. Ну да, пошла последняя неделя перед праздником — праздником Великого Октября, вот почему мать приехала сегодня на ночь. Она живет с моей сестрой на другом конце города, и когда приезжает к нам, то обычно с утра, до того, как мы уйдем на работу. И только в такие вот недели мясного ажиотажа — на ночь.

Так. Значит, все мои великолепные планы побоку. А они и в самом деле были...

На днях я пробивал один каверзный заказ — плакат для отдела техники безопасности (такие дела мне вменены в обязанность как неоплачиваемое приложение к основному делу — выпуску заводской газеты), и вот когда бегал по коридорам областного Дома печати, то натолкнулся на хорошего знакомого из тамошних сотрудников. Он залихватски мне подмигнул, отвел в один из кабинетов, представил меня гражданину внушительного вида, с бородкой, баками, в добротной импортной куртке — и убежал. Незнакомец оказался приезжим и разговор повел необычный, меня очень заинтересовавший. Мне предлагалось ту мою заметку, что прошла недавно в нашей областной молодежной газете, углубить и расширить до вещи значительной — чтобы с анализом, хорошо разработанными характеристиками, в лицах и диалогах. И если будет все о'кей, то они возьмут в журнал.

Замордованный всяческими спешными делами, информацией и прочей газетной чепухой да еще посторонними заданиями, подобными вышеупомянутому, я чувствовал себя чем-то вроде мизерного винтика какой-то бестолковой, суматошной машины. Теперь же вознамерился утвердиться человеком — для начала хотя бы в собственных глазах. Появился шанс выбиться в люди. Может, единственный.

Писать я наметил в эту вот начавшуюся неделю: заказчик через десять дней опять сюда наедет, и ему надо будет показать если не все, то главное. Стало быть, так: вечерами упираться, ночами отсыпаться, в рабочее время тоже прихватывать. И я решил: непременно

в эту неделю. Или никогда. Это уже стало для меня делом принципа, делом мужской чести.

Так вот. Вникнув в суть разговора на кухне, я убеждаюсь, что ничего в эту неделю не сделаю. А предстоит: с глубокой ночи — шебаршение матери, прерванный сон, хлопанье дверьми, шастанье из дома в очередь и обратно, потом разбирательства, кто где стоял, — это уж к утру, потом — толчея и давка, давка и толчея, рукопашная, новые разбирательства и приступы злобы к тем вон расхристанным дядькам и парням, которые только что пришли и уже прорвались. А днем — одурь в голове от недосыпания. А вечером — желание побыстрее улечься в постель. И так изо дня в день, из ночи в ночь вплоть до самых праздников. Пропащая неделя — какое уж тут, к черту, творчество!

Я все учел, все расчел, кроме мяса, о котором совершенно забыл. И все мои расчеты оказались попросту смехотворными. Я уже не рвусь к еде, как минуту назад, медленно переодеваюсь, развешиваю и раскладываю вещи.

А на кухне в это время праздничное воодушевление, семейная идиллия, душевное единение снохи и свекрови.

— Две с половиной тонны, говорят, завезли, — удовлетворенно, даже как-то интимно сообщает жена, освобождая от всего лишнего холодильник.

— Вот и хорошо, и слава богу, — отвечает мать пасхальным голосом, — если две с половиной тонны, то завтра раза по два обязательно всем достанется, а то и по три.

«Очень плохо, — с сердцем отмечаю я про себя, — если две с половиной тонны, то завтра раньше двенадцати с этим мясом не развжешься».

Пока мою руки в ванной, узнаю и еще кое-что: что фасованное, первой категории. Ну а то, что говядина — и так понятно, иначе у них не было бы такого вот праздничного воодушевления. Узнаю также, что списки не составляются, будет живая очередь. При слове «живая» у меня почему-то пробегает неприятный озноб по спине.

Я прохожу на кухню и, не поздоровавшись с матерью, сажусь за стол. Они обрушивают на меня ворох своих радостей.

— Знаю, — перебиваю я их.

Они уважительно замолкают. Они считают, что это я сам все разведал, своими путями. А то, что я здесь толкусь уже с полчаса и все узнал из их же разговора, — это до них почему-то не доходит.

Сажу, терпеливо жду, когда дадут поесть, и слушаю все одно и то же: про мясо и про очередь. Наконец не выдерживаю:

— Дождались своих денечков. До чего же вы, черт бы побрал, любите эту толчею в очередях. — Голос мой дрожит от злости.

Кажется, до них теперь дошло, что я — чужой человек на их семейном празднике. В голубеньких глазах матери появляется изумление с некоторой даже тревожностью. Лицо жены, обычно оживленное и очень подвижное, преобразуется в строгий, осуждающий лик. Наконец она холодно осведомляется:

— А ты не любишь толчею в очередях?

— Еще бы, конечно нет.

— А мясное есть любишь?

Я люблю мясное, поэтому молчу.

Дальше идет уже допрос:

— А сколько мясо на базаре стоит, ты знаешь?

Нет, я этого не знаю и опять молчу.

— А какое оно там, тебе известно?

Нет, мне это неизвестно.

— Да он, чай, на базаре-то ни разу и не был? — вопрошает мать.

Я действительно там не был ни разу. О чем тут же свидетельствует жена. Пригвоздив меня и, кажется, несколько удовлетворив-

шись этим, она уходит в комнаты к своим нескончаемым делам. А мать остается меня добивать. Сначала она выказывает свое неудовольствие по поводу моего неудовольствия, потом начинает втолковывать, что если уж я глава семьи, то должен беспокоиться о семье, что другие мужики сами все достают, блат заводят, а тут само в руки идет, она специально для этого приехала, для нас старается, а я...

Я кладу ложку и выхожу из кухни. Мать идет следом и садится в нашем зальчике за вязание. Я возвращаюсь на кухню и заканчиваю ужин. Потом переоборудываю кухню в рабочий кабинет — убираю посуду в раковину, мою, старательно вытираю стол. Я все же решил не поддаваться давлению обстоятельств и, несмотря ни на что, писать. Стало быть, надо отъединиться и в тишине собраться с мыслями, сосредоточиться. А в тех двух комнатах не получится. В зальчике мои женщины от полноты впечатлений молчать, конечно, не будут. Да еще там бубнит телевизор. А в спальне, точнее Вовкиной комнате, Вовка учит уроки. К тому же здесь я имею возможность курить, хотя бы возле форточки, а там мне не позволяют.

Я разыскиваю старые блокноты с записями — к своему удивлению, довольно быстро (ага, стало быть, предчувствовал, что придется к ним вернуться!). Внимательно просматриваю. Потом начинаю думать над чистым листом. Оказывается, это доставляет немалое удовольствие. Вскоре я делаю открытие: придется углублять и расширять то, что я старательно сокращал, выхолащивал и вылушчивал, когда делал этот материал для газеты. Вот, оказывается, в чем принципиальная разница — там сокращать, здесь расширять. Очень принципиальная. И ведь выхолащивал-то я в тот раз против души. Очень принципиальная разница!

Я слышу смех и вопрос:

— Ты с кем разговариваешь?

С трудом отстраняюсь от чистого листа, поднимаю голову и вижу Вовку. В глазах его лукавый черный блеск, что-то от солнечных южных широт уровня этак Крыма или Молдавии. Я досадливо морщусь — и уж нет того, на лицо сына набегают ключий северный холодок. Южный блеск у него — от жены, северный холодок — от меня. Первое мне больше по душе, я подмигиваю Вовке, шутливо гримасничаю — и оно возвращается.

— Ты зачем здесь? — спрашиваю я как можно миролюбивее.

— Есть хочу.

Он ест прямо со сковороды. Ему почему-то нравится. И мне это подходит, во всяком случае сейчас: не надо собирать бумаги, ждать, пока он поест, убирать со стола, снова мыть и вытирать. Потом он наливает чай и уходит с ним к телевизору.

Ел он жареную картошку. Завтра будет есть котлеты. А вернее всего — пельмени. Моя мать обязательно для него расстарается. Вообще-то не для него одного, а для всех. Но для него в первую очередь. Хорошо, конечно, что мясо завезли, но почему все же так рано, досадую я. Обычно завозили дня за два, за три до праздника. Я бы за полнедели успел сделать главное. А насчет закончить — само со временем закончилось бы. И вдруг меня осеняет: пораньше завезли, чтобы снабдить как можно больше людей. За неделю все успеют хорошо запасть, может быть, даже до следующего завоза. И все будут довольны. Один я недоволен. Н-да, все же нехорошо, эгоизм, соображаю я и возвращаюсь к своему делу.

Значит, так. Последовательности не получается. Я все-таки делал записи, ориентируясь на газету. Теперь приходится переориентироваться. Да еще вспоминать, что я выхолащивал и что после меня выхолостили. Вспоминаю. И веселею — приятно писать то, что еще тогда просилось на перо. Пусть нет последовательности. И не надо. Буду пока писать куски. Бабель, кажется, так писал: поначалу делал добротные куски, связывал их гнилыми нитками, а уж потом... Я же

и связывать не буду. Это, конечно, нахальство — такое сравнение, но ведь никто же не узнает.

Куски идут хорошо. Я разгоняюсь так, что слова начинают набегать друг на друга, иные и вовсе выпадают, но их не жалко — проходные. Попутно встают непредвиденные вопросы, обнаруживаются белые пятна, именно в тех местах, где хотелось бы так, чтоб — раззудись, плечо, размахнись, рука! Вопросы я выписываю на отдельном листке. За моей спиной время от времени слышатся шаги, порой укритизненные возгласы: «А накурил-то!», «У тебя совесть есть?» Потом — хлопоты и разговоры в связи с укладыванием на ночь. Наконец воцаряются сон, тишь и темнота. Мои куски иссякают до размеров фраз и отдельных слов. Зато число вопросов растет. Паузы удлиняются, увеличивается пустое хождение по кухне. Ноги начинают зябнуть. Смотрю на часы. Стрелка переползает за час ночи. Сгибаю бумаги и блокноты, выключаю свет, ныряю под одеяло. И тут же, довольный, проваливаюсь в благодатную обволакивающую черноту...

Но вскоре я ощущаю нерешительные мягкие толчки и слышу голос матери: «Боюсь я одна идти. Боюсь». Поднимаю голову, с трудом продираю глаза и вижу перед собой в полутьме что-то темное и массивное. Сажусь на постели, трясую головой, чтобы разогнать остатки сна, вглядываюсь. Темное постепенно приобретает очертания несурзано толстой бабы, повязанной теплым ношеным платком. Наконец я догадываюсь, что это мать, растолстевшая из-за множества напаленных одежд. А ночная полутьма еще и размыла контуры, раздавала в толщину. Приставляю будильник к глазам: четвертый час ночи. Ага, значит, все-таки не пять минут я спал.

Хмуро одеваюсь в сопровождении подробного материнского рассказа о том, как она проснулась и вот уж около часа мается — и будить меня жалко, и очередь хочется занять пораньше.

— Я бы и не стала поднимать, да боюсь одна идти. Район-то у вас беспокойный, — оправдывается она. Будто я делаю лично ей великое одолжение, провожая к месту, где она займет очередь за мясом, которое я же и буду есть, ну и все мое семейство. — Район-то у вас... — приговаривает она.

— Чепуха, район как район, — отзывается я, а сам потихоньку от нее сую в карман пальто плоскогубцы. С ними как-то все же... веселей, что ли.

Собираемся мы долго, я не могу найти ключ, наконец отыскиваю его и тут вдруг слышу:

— Мне тоже идти? Подождите.

Это жена подает голос. Он у нее томный со сна и звучит неуверенно. Идти ей не хочется. И ни к чему: чтобы занять очередь на семью, достаточно одного человека, а нас даже двое. Ей это известно, а спрашивает она или оттого, что запомнила спросонок, или из чувства солидарности к нашему общему кровному делу.

Я ей сердито кричу:

— Да спи, нечего тебе там делать!

Но она уже села на постели и нащупывает ногой домашние туфли. Я, не снимая шапки и перчаток, иду туда, окутываю жену одеялом и укладываю ее насильно. И неожиданно для себя целую. Она затихает, потом говорит:

— Можешь повторить. — Я повторяю. — Еще, — требует она.

Я намереваюсь было еще, но вдруг начинаю ощущать — и спиной и затылком — тишину, установившуюся в прихожей: там мать окончательно завершила свои сборы, ждет и, может быть, даже посматривает в нашу сторону. Я киваю по направлению к прихожей и говорю жене:

— Потом. Когда вернусь с победой. — И уже от порога добавляю: — Точнее с мясом.

По лестнице идем молча, я впереди, мать поспешает за мной. Попадают и совсем неосвещенные этажи, отставшие от пола плитки отскакивают от ног, и по всему подъезду разносится звонкое дребезжание. По мере того как мы спускаемся к первому этажу, к входной двери, все сильнее ощущается дыхание уличного осеннего холода. Я возвращаюсь мыслями к жене, к тому, с какой добровольческой самоотверженностью она вызвалась идти на этот холод, лишь бы запастись мясом, и меня начинает что-то тревожить. Вскоре я догадываюсь: это «что-то» — голос моей собственной совести. Все-таки я не какой-нибудь Змей Горыныч, чтобы ничего не понимать, и втайне глубоко жалею жену. Я вполне сознаю, что она достойна иной жизни — уж если не совсем беззаботной, то во всяком случае такой, в которой не было бы этой нескончаемой заботы о мясе.

Мать, правда, тоже достойна, но тут совесть моя не подает никакого укоряющего голоса. Может быть, потому, что мать, пройдя трудный жизненный путь своего поколения, со всеми военными и послевоенными невзгодами, лучшей жизни, чем сейчас, не знает. Она никуда не ездила, иных мест не видывала и плохо себе представляет, что кто-то где-то может жить по-другому. И она совершенно всем довольна. Очередь за мясом для нее — так, частное, кратковременное неудобство. А жена родилась на лучезарном побережье и в столице довольно пожила — не как я, не в общежитии иногородних голодранцев, а у состоятельных родственников, в тесном контакте с московским бытом и в нашем четвертьстепенном городе ей тяжковато. А тут еще мясо. И вообще, во всех бедах и несчастьях матери, во всяком случае минувших, виноват Гитлер, а в бедах жены — целиком и полностью я.

Ведь, как ни прикинь, все, что у нее могло быть без меня, было бы лучше, чем когда со мной, — и в смысле мяса и в смысле жизни вообще. Начну с того, что она еще студенткой подрабатывала в «Интуристе» — просвещала путешественников насчет истории и достопримечательностей столицы на иных языках. И не только из-за денег, а больше, может, ради языковой практики. Молодцом. Я-то подрабатывал то сторожем, то дворником, то на погрузке-выгрузке, а она вон в каких сферах. А сейчас вот больше всего озабочена мясом. Да еще хлопотами возле тринадцатилетней и пятнадцатилетней шантрапы — там, где не так уж надобно настоящее знание языков, которое у нее есть, зато очень потребны луженая глотка и настырность, которых у нее нет.

И с замужеством тоже... У нее наклеивалось немало иных, куда более выигрышных вариантов. Взять хоть того молодого туриста из Австралии. Он попал в ее группу, а потом писал ей два года с дальними намеками и фото слал. Я видел. На одном фото он возле своей виллы. Вилла там или не вилла — я плохо представляю себе, что это такое, — ну, в общем, загородный дом. Славное, нарядное сооружение. Если у него такая вилла, то уж мяса-то, наверное, хватает.

Тут же вспоминается Ломако. Мы с ним учились на одном курсе на филологическом. Он еще в институте стал определяться по общественной и партийной линии, а перед самым выпуском окончательно определился, остался в Москве и теперь недосыгаем. А я пошел по линии журналистики. Была возможность выбиться в люди, но я как-то не так пошел: вечно меня заносило на правдоискательство и правдо-строительство, в сторону от выигрышных, проходных материалов. Донкихотство. Но в те годы — шестидесятые — донкихотов и идеалистов вообще было густовато, они задавали тон. И к таким, как Ломако, державшим курс на столицу, иногородняя братия из общежитий относилась с подозрением, а то и открыто враждебно. Так что Ломаки были вынуждены подлаживаться, маскироваться, хотя потихоньку, конечно, устраивали свои дела. Он и со мной хотел управиться потихоньку, вот ведь хлюст; я его как друга познакомил со своей девуш-

кой, а он потом ее стал втайне от меня уговаривать, уламывать. Об этом я уже после узнал. Она не поддалась на его уговоры. И, оказывается, как я теперь понимаю, зря: если бы поддалась, то жила бы сейчас преспокойно там за ним как за каменной стеной и был бы у нее достаток во всем, не говоря уж о мясе.

Кстати, я тоже мог бы остаться — был такой вариант. Но вот встретил свою теперешнюю жену, и с той девушкой — хорошенькой, пушистенькой, как кошечка, — у меня все разладилось. А главное, я стремился вернуться в свой родной город. Теперь-то не знаю точно, на кой черт он мне был так нужен. Но иначе не мог и не хотел. Тут опять-таки — высокие помыслы в духе шестидесятых.

И вот иду ночной порою в очередь...

А, да что там, если уж говорить начистоту, то я и теперь имею возможность отовариваться мясом. Надо только наладить крепкий контакт с заводской столовой. Но их приходится время от времени стегать в нашей газете — и за воровство хоть того же мяса (отсюда — недовесы в порциях), и за гигиену, точнее за нарушение таковой. А как же я стегану, если буду принимать от них подачки? Теоретически я, правда, знаю как. Надо не стегать, а покритиковывать, этак виль-виль, юль-юль: с одной стороны, вроде бы покритиковал — это для вида, для начальства, а с другой — вроде бы погладил — это в угоду тем, от кого можно ущучить мясо. Тем, кто для тебя может что-то ущучить. Но то — теоретически. Правда, я знаю таких, которые делают это и практически. Они делают, а я не могу...

Мы идем вдоль нашего дома, и холод все крепче охватывает нас. На улице ни дождинки, ни снежинки. Не люблю такую осень — холод на голой земле. Он давит и гнетет. От вида стылой земли чувствуешь себя одиноко и неуютно, точно ты заброшен на Луну в единственном числе, и не на час-два, а на вечное поселение. Это ощущение неуютности особенно обостряется в такую вот глухую ночную пору. Стук моих шагов и шарканье материнных гулко отдаются под стенами каменных домов и слышны, наверно, далеко. Я невольно начинаю идти быстрее. Но тут же замечаю, что мать отстает. Приходится останавливаться и ждать. А вдруг там никого нет, никакой очереди, и мы вдвоем будем жаться на этом холоде, в этом пустынном квартале.

Наконец миновали всю длиннющую девятиэтажку, все ее шесть подъездов, огибаем последний угол, и первое, что приходит, — это чувство ликования: есть народ! Но вскоре оно сменяется досадой: народу много. Не то они с вечера здесь стоят — совсем уж с ума посходили с этим мясом, будто с голоду пухнут.

Правда, если судить по тому, сколько здесь людей, то очередь небольшая — человек двадцать. Но я знаю, что это здесь двадцать, остальные, занявши очередь, пошли греться. И каждый потом поставит перед собой как минимум двоих. Значит, цифру как минимум надо утроить. А каждый из тех законных двоих обязательно постарается втиснуть одного-двух незаконных. А там еще инвалиды Отечественной войны, которые проходят вне очереди. Потом просто инвалиды и калеки, которых в повседневности и не видно, а здесь наберется множество. Наконец, те, кто прорвется силой и нахрапом. Так что это только сейчас двадцать человек. А когда до мяса дело дойдет, перед нами выстроятся полторы сотни.

Стоят здесь в основном старухи. Одеты в очень толстые, ношенные пальто. Повязаны старыми, теплыми платками. Затем женщины среднего возраста. В самом малом числе — мужики и старики. Жмутся поближе к стене от ветра. Топчутся, переминаются. Просто стоят, засунувши руки в рукава. И молчат. Разговоры, словопрения, галдеж и гвалт — все это впереди.

Мать долго присматривается, потом спрашивает:

— Кто будет последний?

Ей не отвечают. Вопрос повторяется. Наконец одна из старух обращается и говорит:

— За мной пока держитесь. Здесь еще две занимали — одна в коричневом, другая в зеленом. Греться ушли.

— А вы за кем будете?

Та показывает.

И мы начинаем продвигаться дальше от хвоста с вопросом: «А вы за кем?» Это важно — запомнить человек пять—семь, стоящих впереди. Потому что потом будут уходить, приходиться, вместо себя кого-то ставить, преодолевать. Но я сильно затрудняюсь с запоминанием. Все они мне кажутся одинаковыми, эти старухи: одинаковые пальто, платки, и лица при рассеянном свете высоко висящего уличного фонаря мало чем отличаются друг от друга. Наконец я дохожу до приметного ориентира: красные брюки, поверх них — почти что новая дубленка, опущенная понизу белой овечьей шерстью. Я останавливаюсь возле красных брюк. Их обладательница — молодая девушка лет двадцати шести — стреляет в меня бойким серым оком и одновременно договаривает:

— ...а он мне: на х.., говорит, она мне нужна, твоя очередь. Тебе надо, так иди.

Я отмечаю про себя, что я, оказывается, не самый плохой муж, есть и похуже меня. Выждав подходящий момент, обращаюсь к молодой:

— Хочу вас попросить...

— О чем?

— Чтобы вы брюки не меняли, когда пойдете греться.

Можно бы, конечно, без этой просьбы и обойтись, но мне хочется поразвлечься разговором, а то уж очень тут уныло, возле старух, и вообще на душе как-то уныло. Она готовно скидывает ресницы и с усмешкой спрашивает:

— А почему это не менять-то?

— Очередь большая, могу сбиться. К тому же мне нравятся ваши брюки.

— Да?

— Да. И шубка тоже.

— А я?

— О вас я и лучше сказал бы, да стесняюсь.

Она прыскает в опущенный рукав, но ее напарница вовсе не расположена поддерживать разговор. Надо бы и в ее адрес комплимент подбросить, но ничего больше не приходит на ум. И я, заручившись обещанием, что брюки меняться не будут, отхожу.

Я толкаюсь около часа, и начинается это самое — руки стынут, ноги зябнут. Мать гонит меня домой, я самоотверженно сопротивляюсь. Она гонит все настойчивей:

— Тебе на работу скоро, надо хоть сколько-то выспаться, иди, иди.

Наконец я подчиняюсь ее настояниям.

Один, без матери, добираюсь до своего дома быстро и вскоре открываю... нет, не двери квартиры — врата квартирной рамы: там живое благодатное тепло, вкусно-душный аромат кухни, трогательное пощипывание из Вовкиной комнаты.

Я наскоро перекусываю по Вовкиному методу — прямо со сковороды. Закуриваю и ставлю чайник. Но меня тут же разморило, начинает клонить ко сну. Тушу сигарету, выключаю газ. Ставлю будильник на шесть часов, чтобы через час подняться и сменить мать. Раздеваюсь и ныряю в постель, норовя зарыться поглубже под теплый бок жены.

Перед глазами проплывают лица старух из очереди, лицо матери, мясные туши, и вдруг я вздрагиваю и просыпаюсь — вспомнил, что будильник не завел. Но заставить себя вылезти из-под одеяла не могу.

Я потихоньку торможу жену, она спит с краю (с того времени, как Вовка появился на свет), и будильник у нее под рукой. Она просыпается, переспрашивает, я повторяю, что надо завести часы.

— А, да зачем, у меня окно, я иду четвертым и пятым уроком, — бормочет она скороговоркой.

Я пытаюсь сообразить, при чем тут окно, но не успеваю, проваливаюсь.

Просыпаюсь я от какого-то тарахтенья. Хочу от него спрятаться, укрываюсь одеялом с головой, но спрятаться не удается, и я просыпаюсь окончательно. Тут же вспоминаю про будильник и спрашиваю у жены, завела ли она его. Она уже встала, набросила халат, включила свет и в свою очередь спрашивает:

— А на сколько?

— На шесть.

Она удивленно смотрит на меня:

— На шесть? Ты посмотри, сколько сейчас.

Я смотрю и отшатываюсь: стрелки показывают пять минут восьмого. Возобновляется тарахтенье, и до меня наконец доходит, что это тарахтит звонок над дверью. Иду открывать.

Входит мать. Щеки у нее посинели, под носом мокро и распухло. Она достает платок, вытирает нос и говорит с удовлетворенным вздохом:

— Тепло-то у вас как!

Меня разбирает злость на самого себя. Злость ищет выхода, я резко выговариваю матери, почему она не пришла раньше, не разбудила нас и дотянула аж до восьмого часу. Она спокойно выслушивает и простодушно спрашивает:

— А зачем вас будить-то? — И чуть погодя: — Ты-то выспался?

Я досадливо отмахиваюсь, иду в ванную. Наскоро ополаскиваю лицо, одеваюсь. Попутно выслушиваю наставления, как найти наше место в очереди. Найти, по словам матери, очень просто: надо разыскать бабушку, за которой мы ночью держались, и отсчитать назад от нее троих. Оказывается, кроме двух упомянутых — в коричневом и зеленом — появилась еще одна в зеленом. Вот за второй зеленой мы и стоим. Мать описывает ее приметы. А ту, за которой мы стояли ночью, я, по словам матери, и так помню. На самом деле я ее не помню, и приметы второй зеленой мне вряд ли чем помогут — слишком общие. Но я не очень озабочен этим, потому что все надежды возлагаю на красные брюки и дубленку. Ее-то я помню хорошо и по ней разыщу свое место.

Я выскакиваю на улицу. Теперь здесь не то, что ночью, — не удручающий холод, который давит и гнетет, а ядреный морозец, он веселит и бодрит. Во всем теле легкость, и я иду короткими побежками, бодро и резко, как поджарый гончий пес перед охотой.

Достигаю заветного угла и вижу, что на месте жиденской кучки, которая была ночью, густится внушительная толпа. Я начинаю искать в ней свое законное место. И не нахожу. Красных брюк и в помине нет. Пытаюсь определить бабушку, за которой мы держались ночью, и не могу разыскать. Все вокруг, как мне кажется, на нее похожи. Коричневых и зеленых пальто — уйма. Я в панике.

В конце концов очередь сама меня находит. Одна из бабушек подводит ко мне другую и говорит ей:

— За ним будете.

Я несказанно рад, что все наконец уладилось, занимаю свое место между бабушками и прислушиваюсь к тому, о чем рядом толкуют. Речь идет о тех, кому эта очередь не нужна. Обсуждают, кто, как и где достает мясо, как его привозят, а если на службе, то в какой зависимости от рода службы, от чина и звания получает. Особенно достается тем, кому прямо на дом приносят. Тут уж участники дискуссии прямо пляшут на костях. Точнее, участницы, потому что в таких

разговорах мужики обычно сдержанны, даже трусоваты, а женщины и развязнее и злей.

В итоге выходит, что обеспечивается все же большинство населения. То есть если мерить по мясу, то здесь, в очереди,— самые необеспеченные, самое низшее сословие, выражаясь языком дореволюционной градации. И я, стало быть, принадлежу именно к этому сословию. Ну а из-за меня и все мое семейство. Нечего сказать, веселенькая информация!..

Я терпеливо выстаиваю около часа. Теперь уж запоминаю в лицо и тех, кто впереди, и тех, кто сзади. И меня запоминают. Утвердив законное право на свое место, иду домой, чтобы погреться, позавтракать и поторопить своих.

Застаю я их всех за столом и с удовольствием к ним присоединяюсь. После завтрака Вовка начинает собираться в школу. Я ему веляю одеваться потеплее и объявляю, что он пойдет со всеми в очередь. Жена говорит, что нет, он пойдет в школу. Я говорю, что нет — в очередь.

Жена доказывает, что если он не пойдет на уроки, то отстанет и потом не наверстает. Я же подозреваю, что она просто хочет оградить его от простуды. Вообще, я глубоко убежден, что в каждой мамаше, как только речь заходит о ее детеныше, в той или иной степени просыпается госпожа Простакова. И моя жена не исключение. Сейчас я в этом лишний раз убеждаюсь. Я решаю стоять на своем до победного конца. Жена тоже не собирается сдавать позиции. А мать (тоже Простакова, только в большей степени, чем жена) становится на сторону противника. Тогда я объявляю ультиматум: если Вовка пойдет в школу, то я пойду на работу — и начинаю снимать теплый свитер. Скрепя сердце жена сдается.

Вскоре мы выходим на улицу. Возглавляет шествие мать, за нею иду я, за мной жена, последним — сын. Идем друг за другом, след в след. Со стороны, наверное, похоже на то, как гусыня выводит свой выводок на кормежку.

Когда мы огибаем надоевший мне угол девятиэтажки, бросается в глаза: первое — что народу прорва, второе — очередь омолодилась. Стало быть, все бабушки повытаскивали сюда свои выводки. Младенцев, правда, пока нет. Они появятся потом — когда уж ближе к мясу.

Отыскиваем «своих» бабушек, после долгих разбирательств занимаем свои места. Мать знакомит с нами двоих стоящих позади нас: вот это, дескать, сын, это сноха, а это внук. Знакомит отнюдь не для того, чтобы доставить им приятное, а с намерением показать, что все мы в тесном родстве и в очереди стоим на вполне законных основаниях. Я осматриваюсь. Вон и молодая в красных брюках, послушалась-таки, не поменяла. Киваю ей издали, она отвечает улыбкой.

Возле нас очередь сбилась в кучу. Здесь всюю заседает парламент. Скорей не парламент, а вече. На повестке дня один-единственный и самый злободневный вопрос: почему нет мяса? Тут, правда, надо оговориться: нет в магазинах по государственной цене, причем говядины. А свинина есть, по три пятьдесят — в кооперативных магазинах. Правда, она жирная. А говядину и баранину и частники мало продают. В общем, в принципе мясо все же есть, существует. Но нет такого, без которого никак не обойтись — говядины и по сходной цене, по два рубля за килограмм. Мне интересно, что они там толкуют, в чем видят причину нехватки, и я прислушиваюсь.

— Друзей да братьев слишком много,— заявляет дебелая старуха, повязанная платком поверх меховой шапки,— и каждому надо дать,

— Космос много жрет,— поступает новая версия.

— А вооружение, армия?

— Ну, без этого нельзя — задавят.

— Задавят, это точно.

— Вот уж кто много жрет, так это Москва.— На передний план выдвигается дед с голым бритым лицом. На этом лице выделяется хрящеватый синий нос.— Я этим летом был, видел, как из одного дома — здоровущий такой, напротив гостиницы «Москва» — вывалились... Ну прямо целая орда этих... кр-рашенных.— Он с нажимом раскатывает «р».— Ведь они там сидят, в госпланах этих, делают что или не делают, больше, поди, языками чешут, а есть каждой охота.

К Москве начинают предъявлять претензии и по более крупному счету. Интересы Москвы здесь защищать некому, и над нею изгиляются как хотят. Я понимаю, что все это, конечно, не всерьез, каждый делает свое на своем месте, даже и те крашенные, и все же внутренне я солидарен с дедом. Скорей всего это классовая солидарность.

А заседание продолжается. Разговор уже идет о кормах, о выпасах, о том, что заливных лугов не осталось — распахали, вообще слишком много распахано, из-за этого реки заносит землей да илом, мелеют и хиреют, и в первую очередь самая заглавная из них — Урал. (В иных местах заглавными считают Волгу или, скажем, Дон, а в наших — Урал.) Моя мать тоже начинает прислушиваться.

— А откуда ему быть, мясу-то,— вступает она вполголоса, потом расходится: — Раньше, бывало, каждый — бедняк ли, середняк ли — свою скотину имел, а чуть лишку выкроит — на базар. А теперь в города посбежали на асфальт да на железки. На них мяса не вырастишь. Бывало-то, горб гнули весь год от темна до темна, а теперь восемь часов отработал — и ноги кверху, телевизор смотрит. Да еще два выходных.

После мамашиного выступления «вечники» ненадолго замолкают, вроде бы обдумывают сказанное. И в самом деле, вопрос поставлен широко, с историческим размахом. И все, что сказано прежде, теперь кажется частностью, измельчением проблемы.

— И потом: уж больно много его сейчас едят, мяса-то,— слышится озабоченный голос того самого деда с лиловым носом.— Круглый год едят — прямо ужасть. В прежнее-то время одних постов, посчитай, сколько было. Рождественский — шесть недель, значит, полтора месяца — раз.— Он загибает палец.— От масленицы до Пасхи Великий пост — семь недель, это еще почти два месяца. Потом летом этот, как его...

— Госпожинки,— подсказывают из толпы.

— Вот, госпожинки — еще две недели. Сколько же всего?

— Четыре месяца без недели,— выкрикивает кто-то уже из молодых.

— Так, четыре. Да в оставшиеся месяцы каждую неделю по средам и пятницам иные, кто обет давал, не ели мяса и ничего скородного. Еще, стало быть, надо прибавить...— Он затрудняется, сколько надо прибавить.

— Две седьмых от восьми месяцев, значит, шестнадцать седьмых — две целых и две седьмых месяца,— рапортует все тот же резвый считальщик.

— Вот. Здесь два да там четыре — всего аж шесть месяцев в году одних постов. Шесть месяцев не ели мяса! — подводит он итог, торжествуя.

«Вече» взволновано, все мотают головами. Меня такое открытие тоже изумляет: ведь если знать общий расход мяса за год, скажем по городу, по сколько же тонн сэкономилось бы? А по области? Подсчет предельно прост: в году двенадцать месяцев, а постились шесть, значит, мяса тогда съедали ровнехонько в два раза меньше, чем сейчас. Точнее, даже так: если бы теперь постились, как тогда, то съедали бы в два раза меньше, чем съедают. Вот это экономия — прямо-таки дух захватывает. Начинаю прикидывать, сколько бы я лично мог сэкономить, если бы сам стал поститься и свою семью заставил бы.

Мои подсчеты прерывает мужской голос — отрывистый, требовательный и с веселинкой:

— Мужики, надо навести порядок в голове очереди. Там пробка и мордобой. Добровольцы, выходи сюда.

Я оборачиваюсь. А, это тот самый, я за ним еще раньше наблюдал, правда издали. Очень подвижный, молодцеватый мужик среднего роста, с коротко подстриженными усами.

Добровольцев выходит пятеро, я шестой. Все это напоминает сколачивание боевой группы в затруднительных ситуациях во время отступлений или окружений, насколько я себе представляю из книг о войне.

Мы приближаемся к голове очереди. К двери уже надо пробиваться. Перед нею возвышение — бетонная площадка высотой в десять ступенек. Эта площадка сейчас — ревущий вулкан, жерло которого — дверной проем. Только лава не оттуда лезет, а туда прет. Глаза вытаращили, голвы угнули, как быки, и прут, прут — можно подумать, с голоду пухнут и, если не вырвут это мясо прямо сейчас, попадают и перемрут.

— Вперед! — Наш предводитель первым врывается в слипшуюся массу людей, мы — за ним. Идем боком и плотной цепочкой, плечом к плечу. Отрезаем тамбур от напирющей толпы. Правый, головной конец нашей цепочки утыкается в начало инвалидской очереди, левый — в начало основной. Потом, упираясь в спины стоящих перед нами, начинаем отжимать тех, кто давит сзади. Образуется небольшой коридорчик. За тамбуром виднеется стол, возле него белые халаты продавщиц, а за ним — пакеты желанного, недосыгаемого мяса.

И вот все пошло ладом. В глазах тех, кто в очереди, читаем уважение, особенно в глазах женщин и старушек. Мы соблюдаем порядок. Мы — что-то вроде власти. Причем власти народной — наподобие рабочих-красногвардейцев в семнадцатом году.

По расчищенному нами коридорчику довольные люди несут пакеты с мясом. Каждый получает по одному весу. Один вес — два килограмма, три рубля девяносто копеек. Веселая цена! Хорошее мясо, первой категории. Мякоть. Фасованное. На каждом пакете штамп. Не мясо — загляденье.

Подходят с очередью мои. Я передаю по цепочке нашему предводителю, что мне надо замену. На мое место втискивается стоявший позади парень. Предводитель подзывает меня и шепчет:

— Бери два веса, мы же не только за спасибо здесь собачились.

Мои наконец подходят вплотную к двери. Увидев меня, веселятся, улыбаются. Я становлюсь перед матерью и беру у нее восемь рублей. Мне надо брать отдельно, так лучше получится. Когда подходит моя очередь, кладу на стол восемь рублей и говорю, что мне надо два веса, поскольку я соблюдал очередь. Я не прошу, а просто требую и сообщаю почему. Продавщица недовольно хмурит брови, что-то бормочет про себя и все-таки дает мне два веса. Довольный, я выбираюсь из тамбура на белый свет. Но вдруг цапнуло на душе — и раз, и другой: ага, вот оно, неравенство! Вот уже и ухватил больше других. Так-то.

Вскоре всей семьей сходимся в главном пункте нашего сосредоточения — на кухне. Женщины разворачивают бумагу, обстоятельно осматривают куски мяса, обнюхивают, ощупывают, поворачивают их так и сяк — тетешкают, как младенцев. Потом начинают одеваться и нам с Вовкой велят. Оказывается, надо опять идти в очередь, они заняли там новую задолго до того, как мы получили по старой.

Идем, отыскиваем свое место. Оно уж где-то посередине очереди. Надо бы позвонить на работу напарнику — приятелю-начальнику, что я сильно задерживаюсь. Но позвонить неоткуда. Ладно, в случае чего приятель что-нибудь за меня придумает. Вот за это мы с ним и любим

свою работу — за то, что у нас по-настоящему не нормированный рабочий день, мы располагаем собою как хотим.

Наконец подходит и эта очередь. Выкупаем каждый свой вес и выбираемся. Сложивши мясо в сетки, женщины просят меня — не заставляют, а просят! — стать в хвост очереди, сами же хотят идти погреться. «Ладно, — думаю я, — уж набраться в первый день, чтобы потом не возиться». И иду в хвост.

Через какое-то время приходит известие, что первосортное кончилось. Потом начинают поговаривать, что и второй сорт кончается. Наконец доходит и вполне определенное: кончилось. Очередь начинает быстро таять. Я иду к двери, чтобы уточнить, в самом ли деле кончилось мясо, узнать, что предвидится на завтра. Меня обгоняют другие — тоже туда спешат, толкаются. Я кричу: «Ну куда вы прете, а ну-ка давай вот в очередь!» Тянусь к кому-то, кто поближе, чтобы схватить за шиворот и отбросить. И тут же спохватываюсь: а чего я, собственно, ору, зачем за шиворот, какая очередь, ее же нет и орать не из-за чего. Да если бы и была, нельзя так, что это со мной, станю-люсь унтером Пришибеевым. Настроение портится, и я ухожу.

Дома прямо с порога иду на кухню. И замираю: оттуда пахло благодатным пельменным духом. Мать наладила настоящий конвейер: первую партию уплетает Вовка, вторая варится, третью она долепливает, для четвертой лежат готовые раскатанные лепешки и фарш. Я с трудом сдерживаю себя, чтобы не хватать пельмени прямо с Вовкиной тарелки. Наконец я дождался своей порции и начинаю ее заглатывать, как удав. Я тяжелею, добрею. С удовольствием посматриваю на Вовку. У него щеки так и горят, уши пылают. Говорю ему, какой он молодец — себе и бабушке заработал на пельмени.

— Он и делать помогал, — вставляет мать.

Спрашиваю о жене. Она, конечно, убежала на работу. Спыхватываюсь, что ведь и мне надо, смотрю на часы. Оказывается, второй час. С трудом отдираюсь от стула и, тяжело переваливаясь, иду переодеваться.

...Своего приятеля-шефа я застаю за столом. Он пишет, чуть нагнувшись над листом, время от времени посматривает в блокнот, лежащий слева. У него очень выпуклый лоб и тонкие нервические нос и губы. Сейчас у него строгий вид. Я с ним церемонно-шутливо здороваюсь, называю его по имени и отчеству. Он через силу отвечает, бросает на меня быстрый взгляд и тут же отводит глаза. Ему стыдно. За меня стыдно.

Я усаживаюсь за стол и бормочу, как будто сам с собой разговариваю:

— Увлекся, понимаешь ли, с этой писаниной для журнала, время-то поджимает.

— Да? — Он вскидывает голову. — А-а...

Я чувствую, что он несколько смягчился ко мне.

Этот момент надо пояснить. Если бы он не был мой приятель и благожелатель, а была бы просто начальник и коллега, я бы назвал любую причину в оправдание — очередь за мясом, пьянку или любовное свидание, но только не эту — писание для себя. Потому что за такие очерки на сторону во время рабочего дня в лице коллеги газетчика свободно можно нажать кровного врага. И чем очерки значительней, тем сильнее будет вражда.

— Ну и как у тебя получается с этим шедевром? — Он уже заинтересованно смотрит на меня.

— Да вроде получается.

И я начинаю рассказывать о кусках, как они хорошо писались — выдаю вчерашний вечер за сегодняшний день. А самому приходит в голову, что я сегодня, в сущности, о тех кусках и не вспомнил: был занят совсем другими кусками.

«Ладно, — успокаиваю себя, — сегодня вечером поднажму, и дело двинется». Бодро спрашиваю у шефа:

— Ну что у нас там на очереди?

Он подает мне листок с набросками, что-то вроде вопросника, и говорит:

— Доведи до ума.

Я вглядываюсь в листок, затрудняюсь и уточняю:

— Но ведь нужны хоть какие-то факты, фамилии, хоть что-то осязаемое.

Он поднимает голову от листа и раздраженно говорит:

— Какие, к черту, факты, какие фамилии — некогда! Рассуждай вообще, воды лей побольше — все равно читать никто не будет.

И я принимаюсь лить воду о воспитательном значении наглядной агитации — лозунгов, призывов, плакатов и прочем. У меня не клеится. К тому же после пельменей меня окончательно разморило. Голова тяжелеет, я ее подпираю левой рукой, а правой пытаюсь выводить буквы. Потом перед глазами поплыли головы, головы... Но что удивительно — ни шума, ни гама, никакой давки. Все ласковы, как телята. Стоят чинно, и если где закручивается толкотня, то лишь из-за того, что уступают друг другу, вроде как у Чичикова с Маниловым. И у всех благостные лица, все смотрят вверх, словно они не в очереди, а в церкви. Я тоже смотрю вверх и начинаю понимать, в чем дело: оказывается, по верху торцевой стены девятиэтажки развешена наглядная агитация — лозунги, призывы, всевозможные привлекательные графики и плакаты. И единственные, кто нервничает в этом царстве всеобщего благополучия и благорасположения, так это продавщицы: они хотят побыстрее распродать мясо, чтобы тоже насладиться созерцанием наглядной агитации. Вдруг раздается звон, я вздрагиваю. Звон продолжается. Осматриваюсь: в кабинете никого, только телефон надсаживается. Поднимаю трубку, отвечаю и вешаю.

Снова утыкаюсь в вопросник. Но мысли упрямо возвращают меня к недавним впечатлениям. Поворачиваюсь к своему напарнику и направляю разговор по тому же руслу, что утром в очереди: рассуждаю о кормах, о выпасах, о том, что заливных лугов не осталось — распахали, из-за этого реки заросли илом, мелеют и хиреют. Мой напарник воодушевляется, подхватывает тему. Потом я завожу речь о городах, опять-таки в связи с мясом: начинаю втолковывать коллеге, что на асфальте да на железках мяса не вырастишь — в общем, пересказываю выступление моей матери. Он подбрасывает свое, мы оживленно толкуем о проблемах экологии и наконец доходим до Льва Толстого с его решительным отрицанием цивилизации.

За время дискуссии к нам заходит зам председателя завкома, потом зам секретаря парткома — оба вовлекаются в беседу и, забыв, зачем пришли, исчезают.

В завершение дня напарник вспоминает о моей ночной писанине и просит ее показать. К моему удивлению, куски отыскались в портфеле — я их, оказывается, уложил туда минувшей ночью. Он стоя перелистывает страницы и, угнув выпуклый лоб, начинает читать, чуть заметно подергивая краешком нервического рта.

— Слушай, а ведь это жила! — восклицает он, пробежав страницу. — Золотая жила этот мужик, я его знаю. — Он уже читает, не отрываясь от листов. — И найдена жила, и написано живо, — приговаривает он — любит такие случайные рифмы. — Так, о наставничестве, значит... Ну понятно — злоба дня... Отличный производственник, та-ак... непосредственно наставник, тэк... агитатор, тэк-с... предцехкома...

Его голос отдаляется от меня, и сам он отдаляется. И тут я окончательно осознаю, что не буду этого писать. Он еще что-то говорит, но я уже не слышу. Все это некоторое время еще занимает мои мысли, но потом по дороге домой и дома постепенно забывается.

Следующий день проходит в мелкой суете и беготне. И вдруг среди этой суеты я слышу вопрос, который приводит меня в замешательство:

— Ну как продвигается твой шедевр?

Он сидит в кресле в свободной позе, покуривает, держит в руках свежую газету и поглядывает на меня с поощряющей улыбкой. Услышав мой ответ (я ныряю в него, как в ледяную воду), шеф отшвыривает газету и смотрит на меня с изумлением.

— Как не будешь? Почему?

— Не получается,— твердо говорю я.

— Как это не получается, если уже получается!

— Не то получается.

— Что значит — не то? А что тебе надо?

А я и сам не знаю, что мне надо. Он начинает втолковывать, что наметилось наконец большое реальное дело, другие к таким публикациям силой пробиваются, меня же повели за ручку, а я... Потом раскуривает погашенную сигарету и, обернувшись ко мне:

— Так будешь писать?

— Не буду.

— Ну и олух. Тюфяк. А, ч-черт...— Он отдергивает палец, уколол его о длинные ножницы.— И сиди здесь хоть до самой пенсии.— Встает, отбрасывает кресло, идет к двери. Обернувшись, добавляет: — Или до самой смерти.— И выходит, крепко припечатав дверь к косяку.

Я тоже встаю и начинаю ходить по кабинету. Н-да, а в самом деле почему? Ведь тот наставник — действительно отличный мужик. И время у меня еще есть. А вот не могу. Вышагиваю взад-вперед пять шагов отведенного нам свободного пространства от двери к окну, пытаюсь уразуметь. Да, он прав: тот наставник — отличный человек; и все-таки не могу я про это писать. Дело не в нем, а во мне. До очереди — мог, а теперь не могу. Вроде перескочил с прежней, старой орбиты на новую, и обратного хода нет. И никому ничего не объяснишь.

В пальто и в шапке стою я в своей квартире перед раскрытой балконной дверью. На балконе жена ведет смотр натасканным нами мясным припасам. Одни куски кладет у самого порога, другие передает мне и командует: это в морозилку, это просто в холодильник, а это на стол для варева и жарева. Главная забота дня — вовремя менять мясо, перетаскивая его с балкона, где оно может испортиться, в морозильную камеру и наоборот. Дело в том, что природа сработала в полном соответствии с законом подлости: пока мы толкались в очереди, был несусветный холод, теперь же, когда мороз нужен позарез, погода рассопливилась — плюсовая температура, все потекло, запотело и мясо под целлофаном.

Через открытую балконную дверь я обзираю наши богатства, среди которых озабоченно барахтается жена. Вон наши с Вовкой куски — чистая мякоть, вон еще, вон суповой набор — достали-таки они и суповой, а вон венец мясной декады, радость последних дней — куры, упитанные, крупные, бройлерные или бойлерные, черт их знает. Мясо, мясо, мясо... У меня такое чувство, что я родился посреди забот о мясе и посреди этих забот умру...



ЕВГЕНИЯ ПЕРЕПЕЛКА



СОВРЕМЕННЫЕ ЯМБЫ

Безумный таксист

Не заезжая в парк со смены,
Таксист «бомбит» четвертый день.
Еще у губ не видно пены,
Но уж в глазах — безумья тень.
Он не выходит выпить пива.
Он видит только знак «вперед».
И усмехается он криво,
И пассажиров вновь берет.
Не тормозя на перекрестках,
Он мчится в шуме и пыли,
И в пальцах сумасшедше-жестких
Хрустят суставы и рубли.
Его ГАИ не остановит,
Он — мастер, он — король дорог.
Его патруль три ночи ловит,
Но до сих пор поймать не смог.
Хитер, как лис, как барс, проворен,
Его мотор и здесь и там,
И в стеклах фар кроваво-черен
Весь город с адом пополам.
Таксист в машине — словно в танке.
Трещит и плавится салон.
На темной ветреной стоянке
Две закорючки видит он.
И, тормознувши что есть силы,
Он подбирает их, спеша.
Лицо безумного водилы
Уже бесплотно, как душа.
Хмельной от ночи и бензина,
Он громко дышит, озверев,
Как в клетке мечется машина
«Сорок один шестнадцать ЛЕВ».
...Еще одни проходят сутки...
Таксист давно уже забыл,
Что пустота в его желудке,
Что пассажиров не сменил.
Спидометр — в безумной фазе,
Бензин показывает «нуль»,
Таксист в мучительном экстазе
Жмет на педали, крутит руль!
Струей воздушной жук раздавлен
Напротив глаз, на лобовом,
И город в пропасть весь направлен,
А трасса — в небо напролом!
О Русь-такси! Куда ты мчишься?

Ответь, ответствуй мне: куда?
 Таксист, ты больше не случисься,
 Погибнув раз и навсегда!
 Но кто судья такому асу,
 Когда душа его поет?
 Внезапно вырвавшись на трассу,
 Таксист кричит: «Иду на взлет!»
 Машина, двигаясь толчками,
 Взлетает, будто жук большой,
 И поле с нежными стручками
 Ее встречает всей душой...

А утром краски были строги
 И город, словно небо, чист.
 В большой канаве у дороги
 Лежал безжизненный таксист.
 Хотел он славы, водки, денег
 И прочей радости земной,
 Но он не миновал ступенек,
 Ведущих в рай совсем иной.
 И колесо большой ромашкой
 В траве туманно распцело,
 А рядом — смятою бумажкой —
 Машины левое крыло.
 И я молчу по той причине,
 Что мертв таксист, как зимний сад,
 И пассажиром в той машине
 Сама была лишь день назад.

Водопроводчик Гудков

За грязным зданием, немножко
 Не доходя бачка большого,
 Есть в стенке скромное окошко
 Водопроводчика Гудкова.
 И как ни поглядишь в окошко,
 К нему нагнувшись невзначай,—
 Сидит Гудков, мешает ложкой
 Однообразный жидкий чай.
 С лицом обиженного гнома
 Он сам не больше чем бачок.
 Ему сантехника знакома:
 Он, словно мальчик-старичок,
 Корпит над фановой трубою
 В углу каком-нибудь невзрачном,
 Пугая публику собою
 И словом непотребным, смачным.
 Никто Гудкова не обидит.
 Подумав хоть одну минутку,
 В нем каждый человек увидит
 Природы ласковую шутку.
 Причудливей лесной коряги,
 Нелеп он, как мешок с цементом,
 Когда походкою дворняги
 Идет с известным инструментом.
 Гудков, вооруженный малым,
 Но с делом будучи знаком,
 Не раз затапливал подвалы
 И был обварен кипятком.

Он мог спокойно, без помехи
Курить, когда вокруг потоп,
Но все прощал ему огрехи
Начальник, благостный, как поп.
Своим жильем Гудков доволен.
Ему буфетчица — как мать,
Когда же он бывает болен,
Его приходят навещать:
Электрик, сварщик, кладовщица
И Коля, спившийся шофер,
Анюта, юркая, как птица,
И Левушка, районный вор:
Шофер несет в кармане сушку,
Анюта — банку творога,
Она пихает под подушку
Гудкову ломтик пирога.
И так лежит Гудков-малютка
И чувствует себя в семье,
И он цветет, как незабудка
На проштампованном белье.
Друзья, не ждите мыслей новых,
Такой сюжет давно не нов.
Мы все живем в семье гудковых —
И ты Гудков, и я Гудков.
А скоро — снег, и город зыбкий
Границы потеряет снова.
Природа с детской улыбкой
Разбудит поутру Гудкова.
Он выйдет важный, как проблема,
Приступит к делу не смеясь.
Водопроводная система
Сложна, как между нами связь.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ГЕОРГИЙ ШЕНГЕЛИ
(1894—1956)



ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

В Москву!

Да, поезд тронется — о, Боже мой, в Москву!
Где северная вновь восходит миру слава,
Где, корни в хлеб пустив, рабочая держава
Ввысь запрокинула упорную главу.

Где старый сонм богов неумолимо вымер,
Где на Москва-реке, железною рукой
Сплотив на берегу гудящих толп прибой,
Вторым крещением их жжет второй Владимир...

Там буду я — в Москве! Пройду по площадям,
Трепещущим в заре — в порханье флагов алых,
И на гробах царей в соборах обветшалых
Привет прошедшему в последний раз отдам.

Там под замасленной, под бедной синей блузой
Твердеют мускулы флорентского Кремля;
Исполненная тайн, нещедрая земля
Там не истоптана новорожденной Музой.

8 ноября 1920,
Одесса.

Витрина

За зеркальной литой плитой
Весь блистающий эталаж:
Медь буссолей и компасов
И хрусталь чечевиц и призм.

В них меняется луч и взор,
В них ломается путь и цель,—
И совсем по-иному мир
Понимает, кто любит их.

Надо мною лопочет дождь,
За спиною трамвай брюзжит,
А в глаза мне сияет спектр
От угасшей давно звезды.

Я пошел купить папирос,
А настойчивая буссоль

Вся играет в морях и льдах
Синевою и серебром.

Я в старинной книге прочел
Про китайский хрустальный шар,
Столь прозрачный и шаровой,
Что его увидеть нельзя.

Что его точили сто лет,
Шлифовали сто лет его,—
И китайцы гордятся тем,
Что не нужен он никому...

Я такой бы похитил шар,
Я на звезды в него б глядел,
И поверил бы я, что мир
Изменяется сам собой.

1933.

Максимилиан Волошин

И жил он на берегах Дуная,
Не обижая никого,
Людей рассказами пленяя.
Пушкин.

Огромный лоб, и рыжий взрыв кудрей,
И чистое, как у слона, дыханье...
Потом — спокойный, серый-серый взор
И маленькая, как модель, рука...
«Ну, здравствуйте, пойдёмте в мастерскую»,—
И лестница страдальчески скрипит
Под быстрым взбегом опытного горца,
И на ветру хитон холщовый хлещет,
И, целиком заняв дверную раму,
Он оборачивается и ждёт.

Я этот миг любил перед закатом:
Весь золотым тогда казался Макс...

Себя он Зевсом рисовал охотно;
Он рассердился на меня однажды,
Когда сказал я, что в его чертах
Остался след от выходки с Европой;
Он так был горд, что силуэт скалы,
Замкнувшей с юга бухту голубую,
Был точным слепком с профиля его!..

Вот мы сидим за маленьким столом;
Сапожничий ремень он надевает
На лоб, чтоб волосы в глаза не лезли,
Склоняется к прозрачной акварели
И водит кистью,— и все та ж земля,
Надрывы скал и спектры туч и моря,
И зарева космических сияний
Ложатся на бумагу в энный раз.

Загадочное было в этой страсти
Из года в год писать одно и то же:
Всё те же коктейльские пейзажи,
Но в гераклитовом движенье их;

Так можно мучиться, когда бываешь
 Любовью болен к подленькой актрисе,
 И хочется из тысячи ужимок
 Поймать, как настоящее, одну...

Пыль, склянки, сохлые пуки полыни
 И чобра, кизилóвые герлыги,
 Гипс масок: Достоевский, Таиах,
 Отломьши базальта и порфира,
 Отливки темноглазой пуццоланы,
 Гравюры Пиранези и Лоррена
 И ровные напластованья книг...

Сижу, гляжу... Сюда юнцом входил я
 Робеющим; сюда седым и резким,
 Уже на «ты» с хозяином, вхожу.
 Все обветшало; стал и он слабее;
 Но как мальвазия течет беседа:
 От неопровержимых парадоксов
 Кружиться начинает голова!

Вот собственной остроте он смеется,
 Вот плавным жестом округляет фразу,
 Сияя, как ребенок, — но посмотришь:
 Как сталь, спокойны серые глаза.

И кажется: не маска ли все это?:

Он выдумщик; он заговор создаст,
 Чтоб разыграть неопытного гостя;
 Он юношу Вербицкою нарядит,
 И будет гость ухаживать за ней;
 Он ночью привидением придет;
 Он купит сотню дынь и всех заставит
 Их выедасть, едва головку срезав,
 А после дынной кожицы шары
 Фонариками по саду повиснут
 И вечером, со свечками внутри,
 Нефритово-узлисто-золотые,
 Вдруг засияют сотней нежных лун...

Стихи читает, и стихи такие,
 Что только в закопченное стекло
 На них глядеть, — и он же, нарядясь
 Силеном или девочкой-подростком,
 Всех насмешит в шарадах, — а взглядишься:
 Как сталь, спокойны серые глаза.

Не маска ли?

Какая, к черту, маска,
 Когда к Деникину, сверкая гневом,
 Он входит и приказывает, чтобы
 Освобожден был из тюрьмы поэт, —
 И слушается генерал! Когда
 Он заступается за Черубину
 И хладнокровно подставляет грудь
 Под снайперскую пулю Гумилева!
 Когда годами он — поэт, мыслитель,
 Знаток искусства, полиглот, историк —
 Живет все позабывшим Диогеном,
 Чтоб коктейбельский рисовать пейзаж!..

И он прошел — легендой и загадкой.
 Любимый всеми и всегда один
 В своем спокойном и большом сиротстве,—
 «Свой древний град вспоминая» втайне...

Я не поеду больше в Коктебель!

1936.

Блерио

Он был милый и легкий,
 самодельный какой-то,
 из холстины и драпок,
 В перекрестах шпагата,
 с парой велосипедных
 многострунных колес.
 От земли отрываясь
 метров на двадцать к небу,
 он летал спозаранок,—
 И хрустальное утро
 на глаза наплывало
 поволокою слез.
 Не похож на машину,
 походил на пенал он,
 на коллекцию марок,
 На дорожную ванну,
 на словарь эсперанто,
 на мальчишья брелок..
 Утро пахло гвоздикой
 и перчаткою бальной,
 и — неожиданный подарок —
 Сотня флагов нерусских
 трепыхалась по ветру,
 натягая флагшток:
 Как нам весело было,
 как нам было завидно,
 и свободно, и гордо!
 Это новая эра
 нам себя показала
 и в себя позвала;
 Это молодость наша
 напряглась и запела
 как скрипичная хорда
 В резонаторе гулком
 полнозвучного неба,
 голубого стекла!
 Светло-желтым на синем,
 он шатался по небу,
 отвергая все грани;
 Он зачеркивал карту,
 он сближал континенты,
 он таможни сбивал.
 В мире больше не будет
 ни войны, ни проклятий!
 И, ликуя заране,
 Мы, как тысяча братьев,
 велодром облепили,
 замыкая овал...

Тридцать лет миновало..
 Я, седой и согбенный,
 прочитавший все книги,
 Повидавший поэтов,
 кардиналов, министров,
 девок и палачей,—
 Вспоминаю то утро
 со стыдом недоучки
 и с презреньем расстриги,
 Выходя на дежурство
 под железное небо
 бомбометных ночей!

1941.

* * *

Окна распахнуты, спущены шторы;
 Мрак, прорезаемый вдруг сквозняком;
 Полдень влетает и вносит просторы
 И обдает голубым кипятком.

Шахматный столик стоит в кабинете,
 В партию Стейница впился отец;
 Пахнет сигарой, и — резвые дети —
 Мы не дождемся: когда же конец?

Туго набиты бельем чемоданы,
 Гладок и свеж чесучовый пиджак;
 Лошади поданы. В дальние страны
 (То есть в Одессу) поедет чужак.

Едет без дела он — так, прокатиться,
 Ветра, и моря, и дали глотнуть
 В чудном безделье; он — вольная птица,
 Всюду ему — незаказанный путь.

Мягкий и толстый, из бархата свернут,
 В гавани встал пароходный гудок.
 Время!.. Садимся — и кони как дернут;
 И борода отвечается вбок...

Боже мой, боже мой!.. Все это было,
 Все это было — и хинью прошло:
 Где-то в Сибири отцова могила;
 Да и меня уж к моей подвело!..

19 июня 1946.

* * *

Он знал их всех и видел всех почти:
 Валерия, Андрея, Константина,
 Максимильяна, Осипа, Бориса,
 Ивана, Игоря, Сергея, Анну,
 Владимира, Марину, Вячеслава
 И Александра — небывалый хор,
 Четырнадцатизвездное созвездье!

Что за чудесный фейерверк имен!
 Какую им победу отмечала
 История? Не торжество ль Петра?

ПУБЛИЦИСТИКА

АРАЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА

Экспедицию «Арал-88» организовали журналы «Новый мир» и «Памир». В состав ее участников вошли писатели, публицисты, журналисты, ученые разных направлений: гидрологи, медики, географы, специалисты по сельскому хозяйству, биологи, философы, экономисты, юристы. Совместная экологическая экспедиция писателей и ученых проводилась впервые.

Москвичи, ленинградцы и харьковчане высадились в Душанбе в последние дни августа. Здесь к ним присоединились литераторы, журналисты, ученые из Ашхабада, Алма-Аты, Душанбе, Ташкента и Нукуса. Организаторам экспедиции помощь оказали ассоциация «Экология и мир» Советского комитета защиты мира, Госкомприроды, Исследовательский центр Госкомобразования, Рижский автозавод микроавтобусов (РАФ), газета «Воздушный транспорт», пилоты самолетов и вертолетов, члены Академий наук республик Средней Азии и Казахстана, местные партийные и советские органы, люди разных возрастов, привязанностей и взглядов, которым не безразлична судьба Арала.

Экспедиция поставила перед собой задачу: исследовать причины гибели Аральского моря и назвать виновников случившейся экологической катастрофы.

Писатели и ученые встречались и вели беседы с первыми секретарями ЦК компартий Таджикистана, Узбекистана и Туркмении К. М. Махкамовым, Р. Н. Нишановым и С. А. Ниязовым, с первыми секретарями обкомов КПСС, председателями облисполкомов и агропромов, руководителями водохозяйственных организаций большинства областей республик Средней Азии и Казахстана, с рабочими совхозов, колхозниками, специалистами, учеными, механизаторами, хлопкоробами, виноградарями. Участники экспедиции обследовали опытные сельскохозяйственные станции, гидросооружения и водохранилища, каналы и оросительные сети, знакомились с учебным процессом в школах и вузах, с положением в больницах и детских садах, с жизнью и бытом дехкан, посетив дома более 150 крестьянских семей.

Ниже предлагаем читателям выдержки из отчета и дневниковые записи руководителя экспедиции Г. Резниченко, материалы «круглого стола», проведенного журналистами «Новый мир» и «Памир» по результатам экспедиции, а также очерк одного из ее участников — публициста В. Селюнина «Время действий».

ГРИГОРИЙ РЕЗНИЧЕНКО



«МЫ ЗНАЕМ, ЧТО НЫНЕ ЛЕЖИТ НА ВЕСАХ...»

МАРШРУТ

Экспедиция прошла около 13 тысяч километров в бассейне Аральского моря, рек Сырдарья и Амударья. Взяв начало в Душанбе, маршрут наш проходил по иссохшим, почерневшим к осени мургабским долинам и перевалам Восточного Памира, киргизским пастбищам и хлопковым полям, по землям древней Ферганы и Ленинабадской области. Пересекли мы освоенные степи Мирзачуля и Джизака — гигантские плантации, где, кроме миллионов хлопковых коробочек да ершистых стеблей хлопчатника, высушенных дефолиацией, ничего не увидишь, ибо ничего другого там нет. Через земли Ташкентской области, полусушенные богарные холмистые чимкентские поля, через Арнасайские разливы и неупорядоченные водные поймы у Чардаринского водохранилища, через рисовые чеки Кзыл-Орды, минуя Байконур, к концу сентября добралась экспедиция до Арала.

Две недели провели ее участники на Арале и в Приаралье. Полуразрушенные, окруженные со всех сторон пустыней, города Аральск, Муйнак, Казалинск, поселок Учсай, катастрофически поредевшие рыболовецкие и чабанские поселения пока еще не сдались и продолжают борьбу за свое существование.

Бело-рыжим, вспученным солью предстало перед нами дно Аральского моря, ушедшего от своих, теперь уже бывших, портов на шестьдесят — семьдесят, а кое-где и на девяносто километров. Десятки ржавеющих, разрушающихся рыболовецких траулеров, катеров, моторных лодок, шхун, баркасов остались в прежних, засыпаемых песками портах. И среди них один сторожевик — легендарный катер «Лебедь», тот самый, который три года вел боевые действия на Черном море, а погиб в пустыне! В пути нам постоянно встречались дети и женщины, от восхода и до захода солнца собирающие хлопок. В пустынях Кызылкум и Каракумы мы часто натывались на озера с соленой коллекторно-дренажной водой. Большинство из них не имеют названия. А их, наверное, следовало бы для ясности обозначить как одна сотая, одна пятидесятая или одна двадцатая Арала. Ибо в них разместилась теперь добрая половина всех вод Аральского моря. И озера эти абсолютно ни для чего не пригодны.

Из Нукуса экспедиция повернула снова на юг. На границе Узбекистана и Туркмении, в Хорезмской и Ташаузской областях, мы изучали проблему водопользования и знакомились с проектом и строительством Ташаузского обводного канала.

В Туркмении участники экспедиции изучали проблемы Каракумского канала, Тедженского и Марыйского оазисов, хаузханского целинного массива, юго-западных земель республики. В Бухарской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях Узбекистана основное внимание мы уделили укладу жизни и быту переселенцев на новых землях. Изучалась в этом регионе и проблема засоления поливных земель.

Двадцать восемь часов участники экспедиции провели в воздухе на вертолетах и легкомоторных самолетах «АН-2». Мы пролетели около 5 тысяч километров. Ведя аэровизуальные наблюдения, высаживались в труднодоступных для наземного транспорта местах, изучали на земле и с воздуха Тюямуюнское водохранилище, строящийся Ташаузский обводной канал и часть русла Амударьи. Приземлялись на аральском острове-заповеднике Барсакельмес, который нуждается в экстренной помощи не меньше, чем сам Арал. Изучали с воздуха Арнасайские разливы, садились на берегу Сарыкамышского озера, образовавшегося в результате скопления воды, не дошедшей до Аральского моря. Начиная с Барсакельмеса, Сарыкамыша и до Душанбе брали по всему маршруту пробы воды.

По нашей просьбе в течение недели в Средней Азии работала исследовательская группа, которая на специально оборудованном самолете «ТУ-134» произвела радиолокационную съемку, сделала замеры потерь влаги в Каракумском, Аму-Бухарском, Каршинском магистральном каналах и в дельте Амударьи. Ее работа показала: потери в земляных стенках каналов и оросителей в полтора раза выше официальных данных Минводхоза.

Вместе с экспедицией работала киногруппа объединения «Экран» Центрального телевидения (режиссер С. Логинов, оператор М. Кармен), снявшая полнометражный документальный фильм «Диагноз».

Такова общая схема экспедиции, ее контуры.

Что же поняли и открыли мы для себя за время работы в Приаралье?

СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА

Ширятся, усиливаются разговоры об Аральском море. В редакционной почте «Нового мира» все больше и больше тревожных сообщений. Оголяется дно Арала... Берега от морских портов ушли на десятки километров... Меняется климат... Вымирают животные. Было 178 видов, осталось — 38... Гибнут тростниковые заросли и туган... Ухудшается жизнь людей... Что-то страшное происходит или уже произошло с морем?! Полной информации нет. Нет ее — и вроде бы ничего не происходит...

В начале июня в «Новый мир» зашли двое: Мумин Каноат и Масуд Муллоджа

нов. Поэт и публицист. Председатель Союза писателей Таджикистана и главный редактор журнала «Памир». Разговор был коротким. Наш главный, С. П. Залыгин, безоговорочно, словно бы давно был готов к этому, поддержал инициативу, родившуюся на Памире: организовать экспедицию и на месте разобраться, что произошло с Аралом. Кто повинен в его бедах?

20 августа, Москва.

Из Джиргатала посылаем телеграмму в адрес Политбюро ЦК КПСС: «Прежде чем принимать решение по Аралу, просим вынести его проект на обсуждение широкой общественности». Подписались все члены экспедиции, кроме представителя Минводхоза А. К. Кияткина. Он воздержался. Но о готовящемся постановлении мы узнали от него. Он же и познакомил нас с его проектом.

31 августа, Джиргаталь, райцентр.

Здесь, в горах Памира, мы слышали не раз: погибло, исчезло с лица земли уникальное море. И это на глазах у миллионов людей, обреченных быть лишь пассивными свидетелями происходящего, не могущих ничего предпринять.

А может, не стоит драматизировать? Существуют же горы, существуют вечные ледники. Они питают море, они хранят, берегут его жизнь. Но оказывается, и с ледниками не все обстоит благополучно... Нынешним летом с земли не всегда увидишь белоснежные вершины. Они потемнели: на них оседают аэрозоли.

Вспоминаются строчки Анны Ахматовой: «Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне».

1 сентября, Хорог.

В Мургаб приехали вечером, уже стемнело. Устроились в небольшой, скромной гостинице. Ужинали в маленькой столовке. Ели шурпу и пельмени, пили чай. Потом зампред Мургабского райисполкома любезно предложил мне:

- Закажите себе и всем на завтрак что хотите.
- Всем яичницу и масло...
- Нет, яйцо не бывает. А масло мы не знаем. Что это?
- Ладно, творог...
- Не привозят.
- Ну ничего, кашу молочную рисовую для всех.
- Молоко нет свежий, кислый можем.
- Тогда шурпу и кислое молоко.

Хозяин обрадовался:

- Очень хорошо. Спасибо вам!

3 сентября, Мургаб, райцентр.

ПЕРВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Верно сказано: жизнь в пустыне творит не земля, а вода. Специалисты из Минводхоза обычно приводят данные: в 1950 году в Средней Азии и на юге Казахстана орошалось 3,6 миллиона гектаров земли, а сейчас 7,2 миллиона¹. С них получают в год сельскохозяйственной продукции более чем на 15 миллиардов рублей вместо прежних 3,8. Продуктивность земли выросла в 4 раза. Страна обрела хлопковую независимость.

Заметим, что и энергетические возможности за это время возросли почти втрое. Однако сравнивать нынешние показатели с показателями почти сорокалетней давности и делать на основе такого рода сравнения далеко идущие выводы по меньшей мере недобросовестно, ибо пятидесятый год был для нашей страны годом экономического спада. Иное дело сопоставить те же показатели с достижениями года шестидесятого. Тогда нам сразу откроется, что продуктивность земли выросла не в 4, а лишь в 2 раза. И это без учета всех тех потерь и убытков, которые явились результатом острой экологической ситуации в Приарале.

¹ Статистические данные взяты из официальных документов Советов Министров, облисполкомов, водохозяйственных органов и Академий наук республик Средней Азии и Казахстана.

В 1960 году республики Средней Азии и Казахстан забирали на орошение 63,9 кубокилометра воды, в 1985-м — 117,4. За то же время резко увеличилось и применение минеральных удобрений, ядохимикатов. Министерство водного хозяйства и его подведомственные организации внедряли и продолжают повсеместно внедрять откровенно отсталый поверхностный способ полива по длинным бороздам. Бесконтрольный водозабор, отсутствие водомеров, завышенные, годами научно не проверявшиеся нормы полива привели к неоправданно большому перерасходу воды. По всему региону, согласно официальной статистике, в 1985 году на каждый из орошаемых гектаров выливалось в среднем по 16 тысяч кубометров воды. В том числе в Туркмении — 20, на юге Казахстана — 17,5, в Узбекистане — 15, в Таджикистане — 14,5 тысячи кубометров (при норме 7—10 тысяч кубометров). В Туркмении, Каракалпакии, Кызыл-Ординской области, в Ферганской долине мы видели поля (таких полей сотни тысяч гектаров), на которые выливают и 20 и 30 тысяч кубометров воды (это слой воды на гектаре высотой в два и три метра). Рисовые чеки в Каракалпакии и Кызыл-Орде пропускают через себя от 30 до 50 тысяч кубометров. Угодья же, где бы применялась водосберегающая технология, встречаются очень редко. В результате вода не облагораживает землю, а губит ее. Губит из-за отсталой технологии, несовершенных методов полива, низкой культуры орошения. Парадоксально, но факт: в Средней Азии нет недостатка воды, там ее переизбыток.

СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА

Узбекский ученый Б. Камалов провел исследования и показал: до 1960 года из рек Средней Азии без экологических последствий брали немногим более 50 кубокилометров воды и орошали 5,1 миллиона гектаров. С 1960 по 1986 год в регионе освоено почти два миллиона гектаров пустынных и степных просторов. На их орошение идет 60—62 кубокилометра воды.

Грубый подсчет позволяет увидеть, что с учетом вновь освоенных земель в Средней Азии на гектар выливается гораздо больше воды, чем до 1960 года. Кто-то ведь должен нести ответственность за такое расточительство!

6 сентября, Андижан.

Обсуждали вышедшее постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР по Аралу. По отношению к проекту, с которым мы знакомимся еще в горах, никаких практически изменений не внесено. Это постановление хотя и решает ряд социально-экологических проблем, однако обрекает море на медленную гибель, окончательное усыхание. По постановлению с 1990 по 2000 год в Арал должно поступать в среднем 12—15 кубокилометров воды в год, а к 2005 году — 21—25. Испаряет же море ежегодно от 34 до 37 кубокилометров. Простой арифметический расчет показывает: из нынешних 450 кубокилометров морской воды в Арале останется около 200 кубокилометров, а это уже менее одной пятой прежнего моря.

Этот документ отразил мнение в основном той части ученых и специалистов, которые все эти годы активно поощряли экстенсивное развитие орошаемого земледелия, насаждали монокультуру хлопка, вели дело к уничтожению моря, ставя страну перед фактом необходимости переброски сибирской воды.

В постановлении обойдены проблемы экологии, не обозначены место и роль в спасении Арала Госкомприроды. Одно этого постановления для спасения Арала, стабилизации обстановки в Приаралье явно недостаточно. Тем более что Минводхоз СССР — этот всеисильный ведомственно-монопольный комплекс, государство в государстве — получил к своим миллиардам еще сотни и сотни дополнительных миллионов бюджетных рублей, что скорее всего приведет к росту количественных, но никак не качественных показателей, к своеобразному финансовому обжорству, к снижению культуры в работе, в том числе и самого Минводхоза...

7 сентября, Фергана.

В Москве по завершении работы экспедиции выяснились некоторые деликатные подробности прохождения и обсуждения проекта постановления по Аралу. Председатель Правительственной комиссии по выработке постановления Ю. А. Израэль в интервью «Правде» сказал, что комиссия сознательно не прибегала к широкой огласке готовящегося документа. (Во времена гласности! Не странно ли?) А в беседе

с группой литераторов утверждал, что проект обсуждался широко с учеными и специалистами и их мнение учтено. Но вот что мне рассказал заведующий кафедрой ТИИМСХа (Ташкентский институт ирригации и мелиорации сельского хозяйства) профессор Мирзаев:

— 30 сентября 1987 года в Ташкенте проходило объединенное собрание Академий наук СССР, Узбекской ССР и Казахской ССР по вопросам использования водных ресурсов Средней Азии и по проблеме усыхания Аральского моря. С докладом на нем выступил Ю. А. Израэль. Тогда же организаторами собрания было составлено и оглашено решение. Обсуждали его долго и пришли к выводу — доработать. Но никто этого не сделал. И лишь три месяца спустя, то есть 30 декабря 1987 года, во время беседы со мной и профессором Рачинским вице-президент АН Узбекистана О. В. Лебедев случайно вспомнил о том решении и дал мне его на доработку. Я вернул доработанный документ в январе 1988 года в академию. Там он находится и по сей день. Организаторы собрания совершенно не учли мнений его участников, а руководствовались лишь своими соображениями.

4 ноября, Москва.

ОСТАНОВИТЬ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

Одна из причин потери плодородных земель и воды — в безобразно построенном и неумело используемом дренажном хозяйстве. Мало того что подведомственные министерству проектные организации и строительные тресты уклонялись от соблюдения норм дренажа на гектар — они грубо нарушали проектные требования при закладке дрен. Через год-другой дренаж выходил из строя, и земли приходили в негодность от чрезмерного засоления. Создавались комиссии, начинались разбирательства и проверки с привлечением специалистов. Однако дрены продолжали выходить из строя. Построенный Минводхозом СССР на десятках тысяч гектаров дренаж не действовал и не действует. А ведь дренаж — это легкое орошаемого земледелия, важнейшее звено в водохозяйственной цепи. Отвод с орошаемых полей дренажных стоков — проблема номер один (если под номером два считать проблему использования каналов и оросителей). Строя с грубыми нарушениями дренажную сеть, не заботясь особенно о судьбе коллекторно-дренажных вод, допуская повторное использование прошедшей уже раз через поля влаги (около 15 процентов от забора), Минводхоз ведет политику дальнейшего засоления земель. А они, эти земли, засоляясь, требуют все большего и большего количества воды для зимне-весенних промывок. И так без конца. Подобная политика и привела к гибели Аральского моря и может привести к деградации всего региона. Примерно двадцать лет назад на огромной (до полумиллиона гектаров) орошаемой пашне в Туркмении строился дренаж. Сегодня он уже требует реконструкции и ремонта. В бывшей Сырдарьинской, Кашкадарьинской областях и в ККАССР есть десятки вновь созданных водниками хозяйств, получающих на круг по 10 центнеров хлопка с гектара. На их строительство затрачено почти 3 миллиарда рублей. Но вместо прибыли эти хозяйства приносят 40—45 миллионов рублей убытка в год.

В 1987 году в одном только Узбекистане на промывку засоленных почв, а они составляют без малого половину пашни, расходовалось в среднем от 4 до 5 тысяч кубометров воды на гектар. Если считать, что на потери от источника орошения до поля уходит треть этих расходов, то воды на промывку почв тратится в 2 раза больше, чем нужно.

В настоящее время Узбекистан имеет 4,1 миллиона гектаров орошаемых площадей. Из них около миллиона потенциально низкоплодородные, а 700 тысяч — галечники, крутосклонные адыры, земли с мощным гипсированным слоем, заболоченные, сильно засоленные и песчаные почвы. Урожайность на таких землях низкая — от 5 до 15, самое большее до 18 центнеров с гектара. Такие земли приносят сплошные убытки. Но хлопок тем не менее сеют на двух миллионах гектаров.

СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА

До того как оказаться в Мургабе, не представлял, что есть у нас такие ночлежки, как мургабская гостиница. Комната на двоих, на втором этаже. Одно окно с дешевыми занавесками. Ниже — батарея в ширину окна. Две железные кровати, а между ними — старенький половичок. В левом углу решалка, в правом — стол.

Под потолком лампочка без абажура. Вот и все убранство. Ни тумбочки, ни настольных ламп. «Санузел» во дворе. Такие гостиницы на нашем пути встречались затем постоянно. Но эта была первая. Потому и запечатлелась в памяти. В Ташкенте, тоже в двухместном номере, я не раз ее вспоминал.

Неизвестно, по чьему указанию и по какой причине экспедицию разместили в «резиденции» Управления делами ЦК Компартии Узбекистана. Три окна в номере — от пола почти до потолка, — широченные, светлые, с двойными гардинами. Батареи закрыты деревянными фигурными решетками. Три комнаты. Огромная гостиная, большая спальня и такой же просторный кабинет, два туалета. В номере: два стола (обеденный раздвижной и письменный), мягкие кресла, мягкие кровати, восемь стульев, диван, два шкафа, сервант, телевизор, холодильник, телефон, кондиционеры, ванная с горячей и холодной водой, бухарские ковры, хрустальная люстра в гостиной, дорогие светильники в спальне и кабинете. И за все удовольствие — 7 рублей в сутки. Хотя, конечно, такой номер стоит не этих денег. Бери выше! 35—40 рублей еще куда ни шло. В столовой гостиницы-«резиденции» плотные, вкусные обеды не дороже тех обезжиренных, убогих, что готовят в затрапезных городских столовых. Все поставлено с ног на голову. Деньги тратятся здесь так же, как и вода. В Узбекистане потрудиться надо, чтобы найти район или область, где бы за последние десять — пятнадцать лет не было выстроено новое здание райкома партии, райисполкома, горкома или обкома, горисполкома или облизполкома. В первую очередь строятся здания для партийной администрации, во вторую — для советской. Какие мы видели дома политического просвещения! Сказка! Но вот пустуют. Пустуют и многие дворцы культуры, на которые затрачены миллионы народных рублей...

21 сентября, Ташкент.

Дни сбора хлопка в Средней Азии напоминают мертвый сезон. На два-три месяца закрываются двери школ, институтов, учреждений. В половину мощности работают заводы, фабрики, запираются двери райкомов и горкомов: все на хлопке, под палящим солнцем. И школьники, и студенты, и кормящие матери, и старики, и врачи, и учителя. Никому никаких поблажек и скидок. Уже в наше время в этом крае родились поговорки: хлопок не посадишь — тебя посадят, хлопок не уберешь — тебя уберут. В такие дни здесь все говорят о хлопке, все следят за сводкой выполнения плана. Газеты, радио, телевидение служат одному богу — хлопку.

В Средней Азии около 20 миллионов сельских жителей. Две трети их работают в хлопководстве. Больше практически нигде. Потомственный чабан, искусный садовод или виноградарь, отважный наездник-туркмен, гончар или чеканщик сделались поневоле хлопкоробами. Принуждение и страх гонят людей в поле. Страх и принуждение, но никак не заработок. У сборщика хлопка он очень низкий. А труд изнурительный, монотонный. 10—12 тысяч раз пригибается человек, пока выполнит дневную норму. Адская сорокаградусная жара, отравленные ядохимикатами земля и растения, безводье разрушительно сказываются на здоровье человека, особенно женщин и детей. Но ведь чем больше хлопка, тем счастливее и богаче страна! А на самом деле? На самом деле повсеместные болезни и нищета людей — плата за благополучие и процветание горстки безнравственных карьеристов.

22 сентября, Ташкент.

К ЧЕМУ ВЕДЕТ МОНОКУЛЬТУРА

Стратегия количественного роста вместо качественного обновления ведет к неоправданно большой хлопковости в республиках Средней Азии.

За последние пятнадцать — двадцать лет хлопчатник вытеснил почти наполовину овощеводство и садоводство, стал заметно ущемлять развитие животноводства, нарушил севообороты. В 1987 году в нашей стране было переработано 9,1 миллиона тонн хлопка-сырца. В результате на душу населения в СССР пришлось 10 килограммов волокна, в то время как в Египте — 6, в Японии, США, Англии — около 5. У нас производится 29 метров тканей на человека, в Японии, США и Англии — от 14 до 16 метров. Может быть, страна экспортирует много хлопкового волокна и на этом хорошо зарабатывает? В общем экспорте хлопковое волокно составляет от 1,3 до 1,9 процента — величина очень малая, почти исчезающая. А вырученная за хлопок валюта идет затем на покупку за границей мяса, сыра, сухого молока, масла, пше-

ницы, то есть как раз тех продуктов, нормальному производству которых в среднеазиатском регионе и мешает хлопок.

А рационально ли ведется хлопковое хозяйство? Почему в республиках Средней Азии перерабатывается лишь 2—8 процентов волокна, а остальное везут в центр?! И почему туда же, в центр, и в Прибалтику перевозится ежегодно до 4 миллионов тонн жмыхов для скота? Вопросов возникает множество, а ответ напрашивается один: все дело в сверхцентрализации, которая, как удавка, нашей экономике дышать не дает. Сверхцентрализация насаждается Госпланом, Госагропромом, Минводхозом, другими ведомствами-монополистами. И никто не может призвать их к порядку, никто, получается, не вправе указать тому же Минводхозу, что он не благо людям и природе несет, а могилу им роет. Поищите в Средней Азии водосберегающие технологии на поливе. Вы вряд ли их найдете. Ирригация и мелиорация здесь по-прежнему зависят лишь от экскаватора, скрепера, бульдозера, водомерной линейки да кетменя. Гидро-мелиоративной науке, видно, не пробиться в минводхозовские кабинеты.

Из года в год, скрывая фактическое положение дел на своих объектах, Минводхоз СССР рапортовал о передаче в эксплуатацию новых земель. Министерства сельского хозяйства Среднеазиатских республик в свою очередь тоже рапортовали (в том числе и за счет приписок) о выполнении планов и обязательств по сдаче государственным хлопка-сырца, покрывая тем самым и неблагоприятные действия водохозяйственных организаций. Рука руку моет... Народному хозяйству ежегодно наносилась миллиардный ущерб. Эти потери включают в себя и отнятые у Арала кубокилометры воды. По самым усредненным подсчетам, на орошаемых землях Средней Азии и юга Казахстана ежегодно теряется, перерасходуется от 28 до 32 кубических километров влаги.

Но у Госагропрома СССР, у Госплана страны сложились свои мерки. Требуя вала, требуя хлопка во все возрастающих количествах, стремясь к так называемой хлопковой независимости, они вынудили сельское хозяйство довести хлопковость до 70—75 процентов.

Отрицательные, уродливые последствия изнурительной гонки за «хлопковой независимостью» сказались не только на воде, но и на состоянии пашни, на плодородии почвы. Многолетние научные исследования заведующего лабораторией органических удобрений Всесоюзного научно-исследовательского хлопкового института кандидата сельскохозяйственных наук Курбана Мирзаевича Разыкова показывают, что хлопковость выше 50 процентов, наблюдавшаяся в течение последних тридцати лет, привела к растрате до 30—40 процентов гумуса и снижению плодородия почв до критического уровня. С увеличением использования минеральных удобрений увеличивались и расходы воды, но урожайность хлопка-сырца не поднималась, напротив, снизилась за последние двадцать лет с 25,2 до 23,6 центнера. Стала падать урожайность и на плодовоовощеягодных плантациях. Средняя урожайность винограда по всему региону в семидесятом году составляла 80 центнеров, а сейчас еле достигает 75 центнеров с гектара.

СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА

Семеро детей в среднем рождается в здешних крестьянских семьях. Но могут ли все они выжить, если с первых же дней отказываются от материнского молока? Ведь содержание соли в нем в 3—4 раза выше нормы. Не организовано в сельской местности и детское питание. Каждое утро 8, а во многих районах 9 из 10 матерей вынуждены решать головоломную задачу: чем накормить годовалого ребенка? Лишь раз-два в неделю в детском саду детям дают мясные блюда.

Не успев родиться, многие дети заболевают гепатитом. 80 детей из 100 заболевших на всю жизнь становятся инвалидами второй группы.

В Узбекистане лишь каждая пятая больница обеспечена горячей водой, а 7 из 10 не имеют канализации. 87 тысяч детских и акушерских коек недостает в республике. Не хватает и детских врачей.

23 сентября, Чимкент.

Почти месяц работает экспедиция. Проезжая хлопковые поля, останавливаясь у полевых станов, мы встречаемся с детскими пронзительными взглядами. И удивляем-

ся.. Беседовали с ответственными работниками в Андижанском обкоме партии, затем в ЦК КП Узбекистана.

— Принято решение школьников на сбор хлопка не привлекать,— говорили в один голос партработники.

А на полях их — десятки тысяч... И так во всех Среднеазиатских республиках.

Нет, не дошла до этих мест перестройка и гласность. А поэтому все идет по-старому. Принято решение: с самолетов хлопок не опылять. Но мы своими глазами видели — самолеты с ядохимикатами летают, опыление с воздуха продолжается.

И о детском труде в каждой из республик принимаются высокие постановления. Но дети, начиная с шестого класса, как работали в поле, так и работают. По два-три месяца в году. Особенно на сборе хлопка. Взрослые и те не всегда выдерживают. А дети? У ребят слезают ногти на руках. У многих молодых парней медики обнаруживают импотенцию. Причина все та же — работа с детского возраста на хлопке. Из десяти лет занятий в школе и институте два вычеркиваются.

24 сентября, Чимкент.

За реконструкцию старого орошения Минводхоз не берется. Невыгодно. Не разгонишься: кропотливая очень работа. Реки поворачивать, перекрывать их, каналы и дамбы строить — сколько угодно! Большой выдумки не надо. Но те же каналы, оросители строятся без бетонной облицовки, без пленки. И воды в них теряется до 40 процентов. А водохранилища? Построенные порой грубо и наспех, лишь бы с рук сбить, с огромными мелководьями, они скорее тратят попусту, нежели хранят драгоценную воду. И тем не менее с упорством, достойным лучшего применения, Минводхоз строит еще 8 водохранилищ и 16 проектирует.

25 сентября, Чардара, райцентр в Чимкентской области.

ЧТО УВИДЕЛИ МЫ НА АРАЛЕ

За двадцать лет Аральское море лишилось 640 кубокилометров воды. Сейчас в нем осталось около 450 кубокилометров. Море потеряло больше половины объема и более трети площади. Соленость воды в пресном когда-то море достигла ныне 27 граммов соли на литр. Уровень моря упал на 13 метров. Оголившееся дно — а это, по уточненным данным, 2,6 миллиона гектаров — превратилось в рукотворную пустыню, получившую уже название Аралкум. В Арале накоплены миллиарды тонн ядовитых солей, попавших сюда вместе с водой. По предварительным оценкам, с пустынного дна моря в воздух поднимаются десятки миллионов тонн солено-ядовитой пыли, которая уносится ветром на далекие расстояния. На полях Средней Азии десятилетиями против вилта (болезнь хлопчатника) применялся ядохимикат ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан). Это очень стойкое химическое соединение, опасное для человека. ДДТ в природе практически не разлагается. Этот и другие ядохимикаты многие годы, смываемые с полей, накапливались в море. Теперь идут над нами ядовитые дожди. По данным науки, минерализация осадков над Ташкентом в 1980 году достигла 157 миллиграммов на литр. Дисперсная солено-ядовитая пыль попадает в атмосферу Земли. Это уже замечено в Белоруссии и Латвии.

За последние годы высохли десятки, сотни естественных водоемов и озер Приаралья, дававших пищу скоту, рыбе, птице, кормивших людей. Прекратили существование разветвленные дельты Сырдарьи и Амударьи. Рыба для двух консервных комбинатов в Аральске и Муйнаке последние десять лет завозится с Дальнего Востока и из Прибалтики, а лес для Кзыл-Ординского целлюлозно-картонного комбината, потреблявшего исчезнувший вместе с усыханием дельты камыш, доставляют из Сибири. Термическое влияние моря распространялось на двести — триста километров, а его влияние на влажность воздуха достигало трехсот — трехсот пятидесяти километров к югу. По существу, вся территория Каракалпакии, Хорезмской и Ташаузской областей раньше испытывала благоприятное воздействие Аральского моря. Теперь же, с усыханием моря, амплитуда летних и зимних температур увеличилась на 1,5—2 градуса, суше стал воздух, сократился на двадцать дней безморозный период. И это уже отрицательно влияет на вегетацию сельхозкультур, на урожайность и продуктивность сельского хозяйства. Потеря Арала негативно сказывается на экономике, социальном устройстве и здоровье населения Приаралья.

Аридизация и острый, убийственный для всего живого недостаток воды обусловили почти полную деградацию природных экосистем региона, привели к ускорен-

ному развитию процессов опустынивания. Особенно сильно пострадала дельта Амударьи. Погибли массивы тростниковых зарослей на площади 800 тысяч гектаров, на грани исчезновения оказались уникальные реликтовые туранговые леса вдоль русла реки. Исушение дельты привело к резкому обеднению животного мира, который уменьшился почти в 5 раз. В числе наиболее крупных экологических нарушений, порожденных усыханием Арала и дефицитом пресной воды,— засоление биоценоза.

На Арале и в Приарале произошла экологическая катастрофа. Ученые называют такое положение региональной критической ситуацией, поскольку она затрагивает весь среднеазиатский регион. О складывавшемся тяжелом положении знала определенная группа государственных и партийных деятелей, в том числе и в высшем эшелоне. Знали ученые, специалисты. Знали и сознательно скрывали от народа информацию о надвигающихся неблагоприятных, кризисных явлениях в экономическом и экологическом развитии республик Средней Азии и юга Казахстана, о недопустимо расточительном использовании водных и земельных ресурсов. Не случайно поэтому в Минводхозе СССР Арал назвали ошибкой природы и объявили о неперспективности его возрождения.

Иные радетели чистоты ведомственного мундира стремятся представить дело так, будто бы журналисты и публицисты все выдумали, лишь бы очернить Минводхоз и его руководителей. Но никто ничего не выдумывал.

Года три назад журналист Юрий Лушин на встрече прессы с коллективом Минводхоза СССР спросил у министра Васильева²:

— Николай Федорович, вы прекрасно знаете, что Аральское море мелеет, что реки до него не доходят — их вода разбирается на орошение,— что исчезла рыба и тысячи рыбаков остались без работы, что в заповеднике на острове Барсакельмес гибнут куланы и джейраны. Как вы оцениваете потерю Арала?

— Очень просто,— хладнокровно ответил министр,— подсчитано, что море стоило девянсто миллионov...

Такой вот ответ.

СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА

От Памира до Арала — нигде не можем добиться данных о воде, гидрохимического анализа ее состава. Или его вообще нет, или не дают. Секрет, говорят. От населения тоже скрывается химический состав питьевой воды. Начиная с Арала, решили сами брать пробы. Бутылки отправили в Ленинград, чтобы к концу экспедиции получить анализ той воды, которую пьют люди, особенно в Приарале.

25 сентября, Кзыл-Орда.

Усыхание Аральского моря стало причиной гибели всего живого на сотни километров вокруг него. Приморские, в прошлом портовые города и поселки Аральск, Муинак, Казалинск, Учсай оказались в пустыне.

Когда-то очень давно, лет тридцать с лишним назад, московский поезд, среди пассажиров которого был и я, остановился на берегу Арала, синего, без конца и края моря. Рыбаки предлагали нам жирных лещей и огромных усачей, крестьяне — дыни, арбузы, помидоры, огурцы. В торговых рядах слышен был веселый говор. Еще не представляя богатств ташкентских рынков, мы накупили арбузов и дынь, а на рыбу даже не посмотрели. Бывал я на Арале и позже, в шестидесятом и шестьдесят втором годах, когда строился в стране первый трансконтинентальный газопровод Бухара — Урал. Перелетая от одного строительного участка к другому, я добрался на «АН-2» до плато Устюрт, отвесными берегами подступившего к Аралу. Поднимаясь и снижаясь, самолет делал широкие круги над морем. Оно казалось действительно гигантским, это море в пустыне. Природой созданное и ею же оберегаемое. Второе, после Каспия, бессточное море в стране, на одной шестой земной суши.

Как бы высоко ни поднимался «АН-2» и какие бы широкие круги ни делал, мне ни разу не удалось увидеть тот город, где я впервые встретился с Аралом, где вместо усача покупал дыни, — так далеко Аральск находится от Устюрта. От Муинака до Аральска тогда ходили корабли. Море ежегодно отдавало рыбакам до полумиллиона центнеров вкусной рыбы. На берегу работали рыбокомбинаты. Строились новые поселки, города, расширялись старые. Поговаривали: если на Арале открыт международный

² Министр МВХ СССР Н. Ф. Васильев освобожден от занимаемой должности в марте этого года в связи с уходом на пенсию.

курорт (а это действительно было возможно, ибо климатические, бальнеологические и другие природные данные в ту пору соответствовали высшим мировым стандартам), то он даст такие доходы, на которые хлопок-сырца можно будет купить за границей сколько хочешь. Курорт не построили, а хлопок покупали и до сих пор покупаем. Несмотря на свои почти 9 миллионов тонн ежегодных. У нашего хлопка качество не то.

И вот десятилетия спустя я снова оказался на Арале. Пусто кругом, безлюдно. Разрушены, брошены поселки рыболовецких артелей. В Учсае проживало 10 тысяч человек. Осталось — около тысячи. Появилась самая настоящая безработица. В когда-то процветавшем Аральске сегодня 5 тысяч безработных. Учитывая традиционную многодетность, это означает, что примерно каждая третья семья в тридцатитысячном городе не имеет источника доходов. Безработным не помог и недавно введенный районный коэффициент к зарплате.

Удручающее впечатление производит и внешний вид города: ободранные, съедаемые солью здания, возле которых теснятся разнокалиберные по форме и высоте телеграфные, радио- и электрические столбы, опутанные и обвязанные мириадами тянущихся в разные концы города проводов; плохо ухоженные улицы; рядом с мертвым морем бывший городской порт, где ржавеют два десятка заброшенных рыболовецких судов; чахлая, погибающая зелень; заметно участившиеся с усыханием моря пыльные бури. Но город существует, в нем живут тысячи людей. Живут, правда, хуже некуда. В магазинах острый дефицит товаров, отсутствует зеленый рынок, кооперативная и индивидуальная торговля. В аптеках нет необходимых лекарств. Зимой люди испытывают хронические трудности с углем для отопления. Часты перебои с электроэнергией, слаба коммунальная служба. На территории Аральска возникло 29 зловонных солончаковых озер. В них население сбрасывает бытовые отходы. Из них же пьет воду домашний скот. Канализации нет. На одного человека в городе приходится одно ведро питьевой воды в сутки.

В 29 раз увеличилось количество больных брюшным тифом, в 7 раз — гепатитом. Более 100 детей из 1000, родившихся живыми, не доживают до года. Около 15 тысяч человек уже покинули город и его окрестности. Аральск находится в эпицентре экологического бедствия. Город, его жители нуждаются в скорейшей, неотложной помощи.
26 сентября, Аральск.

Конец сентября — начало октября, золотая пора в Средней Азии. А цены? На рынках Ташкента, Ферганы, Самарканда, не говоря уж о Кызыл-Орде, они такие же примерно, как летом в Москве. Арбузы, килограмм, — 50 копеек, килограмм дынь — 60 копеек, винограда — 1—2 рубля, яблок — 3 рубля, помидоров — 1 рубль, груш — 3 рубля, пучок зелени — 20 копеек; сухофрукты: урюк — 7, черный кишмиш — 7, миндаль — 12 рублей килограмм.

26 сентября, Кызыл-Орда.

КТО ПОГУБИЛ АРАЛ?

В конечном счете Аральское море погубила административно-командная система и созданная этой системой экстенсивная, убыточная, прозатратная экономика. Главную же роль в уничтожении моря и Приаралья играл и продолжает играть один из самых могущественных, влиятельных представителей нашей административно-командной системы — Минводхоз СССР. Это гигантское ведомство сосредоточило в своих руках огромные людские и денежные ресурсы (два миллиона человек и 10 миллиардов рублей годового бюджета), множество (более 150) научных и проектных учреждений. Чем больше тратилось средств, тем лучше выглядело ведомство. Соединив накрепко свою политику с аппаратной деятельностью высших государственных учреждений и органов, Минводхоз был и остается тайной за семью печатями для всех, кто желал бы разобраться в его деятельности. До сих пор существующая безгласность, отсутствие действенного контроля за его работой позволяют Минводхозу продолжать свою порочную практику в орошаемом земледелии. Гибель Арала на совести чиновников и функционеров Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР — к такому выводу пришли участники экспедиции. Минводхоз, его организации допустили здесь небывалую бесхозяйственность: грунтовые воды с тридцатиметровых глубин поднялись до критических отметок — двух, полутора, одного метра от поверхности земли. Вода, эта драгоценная влага, заливают подвалы домов, корбит фундаменты

зданий, затапливает пустыни, губит пастбища. Солеными, зараженными и непригодными для питья оказались подземные воды в бассейнах Амударьи и Сырдарьи. А выявлено их в свое время было около 16 кубокилометров. Но настоящая трагедия этой земли, боюсь, еще впереди — когда сомкнутся грунтовые и поверхностные воды...

СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА

По мере усыхания Аральского моря научные организации сворачивали или сокращали научные исследования. С 1970 по 1980 год прекратили работы на Арале: Институт географии и Институт биологии внутренних вод АН СССР, Институт ботаники и Институт почвоведения АН Казахстана. Аральское отделение Казахского НИИ рыбного хозяйства преобразовано в Лабораторию по изучению пресных водоемов Казахстана. За тот же период резко сократили исследования на Аральском море Зоологический институт и Институт эволюционной морфологии и экологии животных АН СССР, Институт естественных ресурсов Каракалпакского филиала АН Узбекистана, Ленинградский государственный педагогический институт имени Герцена.

30 сентября, Нукус.

Коскуль — пригород Нукуса. В домах, где я был, живут уже не крестьяне, но еще и не горожане. А сам этот пригород ничем, собственно, не отличается от большинства приаральских кишлаков.

Многим удалось перебраться сюда, построить мазанки, найти какую-то работу. А дальше? Дальше остается только ждать и надеяться: а вдруг повезет. Ни там, в колхозе, ни здесь, в городе, себя не проявишь. Может быть, и нашли бы себе дело сильные руки, может быть, и выбрались бы люди из беды. Да система не пускает. Скользает инициативу. Вяжет по рукам и ногам. Держит! Принято считать, что человек свою судьбу вершит сам. Но здесь человек совершенно беспомощен и потерян.

Хлопок людям счастья не принес. И город ничего не судит. Не ищите здесь водопровода, не спрашивайте о центральном отоплении, газе, не рассчитывайте на другие удобства или хотя бы на незначительное социальное благополучие. Ничего этого здесь нет. И не было. Ни тогда, когда Сталин объявил, что социализм у нас победил окончательно и бесповоротно, ни тогда, когда Хрущев пообещал поколению 60-х жить при коммунизме. Не пришел сюда социализм и в пору, когда Брежнев назвал его развитым и реальным.

На призывном пункте полковники и подполковники на вопрос о местных призывниках отвечают стандартно: все они пойдут служить в стройбат. Тут ничего не попишешь: плохо знают здешние юноши русский язык, мало у них сообразительности да и здоровье слабое. Но в армию-то их надо призывать — по конституции положено. Может быть, они язык там и выучат? Может быть. А здоровье? Его как поправишь? Оно ведь не только от качества питания зависит. Что делать с уровнем культуры? Что видели эти будущие солдаты в своей жизни, кроме хлопка? В Каракалпакии каждый пятый, а есть районы, где и каждый четвертый призывник не подходит к строевой службе из-за малого веса и низкого роста.

1 октября, Нукус.

Арал кормил и поил почти три миллиона человек...

Муйнак. Город, рядом с которым, по словам многих ответственных работников Минводхоза, море никогда больше плескаться не будет. А был город как город — рыбацкий, портовый. Хороший, зеленый город. На полную мощь работал рыбоконсервный комбинат. Район ежегодно сдавал государству десятки тысяч центнеров рыбы. И климат был чудесный: в ноябре купались.

Муйнак располагался сначала на острове. Затем на полуострове. А теперь оказался в пустыне. До моря пятьдесят километров. Люди уходят из города, покидают район. Разорены рыбацкие артели, давно сгнили сети, брошены рыболовецкие суда. Брошены в полной исправности... Как музейную редкость хранят в Муйнаке консервные банки с надписями «Жерех», «Судақ», «Лещ», «Осетр», «Сом». Эту рыбу прежде вылавливали в Арале. Теперь консервный комбинат обрабатывает привозную атлантическую. Производство сокращается. Людям негде работать. Почти половина жителей — моряки, учителя, врачи, инженеры — уже уехали из Муйнака. Но 17 тысяч еще оста-

лись. Могилы предков не отпускают их. Оставшиеся ежегодно обновляют лозунг в городском аэропорту: «Добро пожаловать в город рыбаков Муйнак!»

2 октября, Муйнак.

ВОКРУГ КАРАКУМСКОГО КАНАЛА

В ходе экспедиции мы, преодолевая молчаливое сопротивление местных бюрократов, исследовали самые неблагополучные водохозяйственные объекты в зоне Амударьи: Каракумский, Аму-Бухарский, Каршинский магистральный и Ульяновский каналы с оросительной сетью, дельту Амударьи, часть реки от Чарджоу до Нукуса, Сарыкамышское озеро.

Вокруг Каракумского канала сложилась чрезвычайно неблагоприятная обстановка. Забирая из Амударьи 12 кубокилометров воды в год, канал теряет на фильтрацию и испарение, по одним расчетам (туркменских специалистов), до 3 кубокилометров, а по другим (узбекских специалистов) — от 5 до 7 кубокилометров. Академик Яншин заявил недавно: «От Амударьи до Мары годовые потери воды в канале составляют 6 кубокилометров». Одни уверяют — в акватории Келифских озер канал проходит без потерь, другие, напротив, доказывают, что на подпитку этих озер, которые сопровождают его на протяжении десятков километров, ежегодно попусту расходуется более полутора кубокилометров амударьинской воды. Стенки канала, протянувшегося более чем на тысячу километров, не бетонированы. Через них-то и уходит вода. Вдоль Каракумского канала на площади 80 тысяч гектаров скопилось и испарилось 225 кубокилометров воды, а это пятая часть бывшего Аральского моря.

Множество разногласий, приводящих к жестоким межреспубликанским и международным спорам, взаимным упрекам и даже оскорблениям, возникало и возникает, когда речь заходит о строящемся Ташаузском обводном канале. 150 километров этого канала из 180 проходит в мертвой зоне песков. Весь канал строится в земляном русле и пролегает почти параллельно Озерному коллектору, что в двенадцати километрах от Хивы. Уровень воды в канале выше уровня коллекторной на три-четыре метра. Ученые считают: с пуском канала потери амударьинской воды еще более возрастут.

Конечно, выверенное решение проблем Ташаузского обводного канала, добросовестное изучение обстановки вокруг Каракумского и Аму-Бухарского каналов — дело специалистов. Мы же пришли к выводу, что по этим объектам, а также по Чардаринскому и Тюямуюнскому водохранилищам должна быть проведена государственная экспертиза и ее результаты обнародованы, опубликованы в широкой печати.

СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА

Там, где были когда-то сады, теперь растет хлопок. Мне рассказывали: в Кашкарарьинской области лет пять назад под него передали землю сразу четырех садоводческих совхозов. Нужда заставила? Вряд ли. У самого порога крестьянских домов зеленеют кусты хлопчатника, он заглядывает к ним прямо в окна. Хлопком в Средней Азии засевают каждый клочок земли, занимают даже междурядья в оставшихся еще садах. Сотни килограммов минеральных удобрений, десятки — ядохимикатов вносятся на гектар земли, по две нормы воды выливается, чтобы получить с него 23 центнера хлопка. Урожай по мировым стандартам невысокий. Да и тот за последнее время начал падать. Качественные показатели уступают показателям количественным.

У нас толком никто не знает, сколько хлопка вообще требуется стране. 9 миллионов или 5? Может быть, и 9. Но тогда зачем 2 миллиона тонн идут на технические нужды, превращаясь в третьесортную продукцию? Расточительству нет предела! Металл — ради металла, станки — ради станков, хлопок — ради хлопка. Экономика наша словно осатанела! Получается: чем выше экономические показатели — тем людям хуже.

Шесть соток земли имеет многодетная крестьянская семья. А в маловодные годы и того меньше. Воду прежде всего отдадут хлопку. Скотины нет, овечка в хозяйстве — редкость. В многодетной семье работник практически один. Его заработок в 200—250 рублей делится на семь-восемь ртов. Тонны хлопка растут, а стандарты жизни стремительно падают.

В подавляющем большинстве крестьянских семей на завтрак, обед и ужин одно и то же: чай да лепешка. Половина общепринятой у нас нормы молока приходится

здесь на душу населения. В стране общегодовое потребление мяса на человека составляет 65 килограммов. А в Средней Азии в сельской местности приходится 8—10 килограммов.

19 октября, Карши.

В Таджикистане крестьяне и горожане потребляют лишь половинную медицинскую норму овощей и фруктов. Больше просто нет. Все вытеснил хлопок. В Джилкикульском районе давно, относительно, конечно, ставится вопрос перед областью: снимите 1400 тонн хлопка-сырца с плана — освободится 500 гектаров земли, будут сады, виноградники, овощи. Нет, не снимают. Хлопок тут дороже, чем люди.

26 октября, Джилкикуль, райцентр.

«Тигровая балка» — один из старейших заповедников в низовьях реки Вахш, в месте ее слияния с рекой Пяндж. Здесь фактически берет свое начало Амударья. Экосистемы заповедника площадью в 47 тысяч гектаров пока еще находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Но есть немалые участки деградации туранговых лесов. Это результат изменения водно-солевого режима после строительства Нурекской ГЭС. Уже сейчас необходимо принимать срочные меры по спасению заповедника. Что же будет с ним, когда завершится строительство Рогунской ГЭС и водохранилища, плотину которого намерены поднять до 335 метров?

26 октября, заповедник «Тигровая балка».

ЧТО ОЖИДАЕТ АРАЛЬСКОЕ МОРЕ?

Критическая экологическая ситуация сложилась и складывается не только на Арале. Но Арал стал символом беды, дыхание которой уже ощутимо на всей Волге, Байкале, Ладоге и Днепре, который насильно пытаются соединить с Дунаем, на орошаемых черноземных землях юга России и Украины... Список с индексом «Арал» сегодня длинен. И страшно, что и сам человек скоро может оказаться в этом списке. Арал, а вместе с ним и человека способны спасти новое экологическое мышление и гласность, которые дают хотя и небольшую, но такую насущную для всех нас надежду, дают шанс на выживание.

Развитие неблагоприятной ситуации в Средней Азии может остановить возвращение садов, виноградников, овощных плантаций на прежние места, возрождение коневодства, гончарного дела, резкое сокращение площадей под посевы хлопчатника (на 30—40 процентов), введение нормальных научно обоснованных севооборотов, наращивание и воспроизводство плодородия почв, повышение культуры орошения, передача земли в аренду и в собственность крестьянам, разработка и введение новой структуры промышленного и сельскохозяйственного развития республик Средней Азии.

Спасем ли мы Арал? Удастся ли общественности сломать ведомственно-монополистический механизм уничтожения природы? В прошлом году план по хлопчатнику был снижен. Но уже в этом году его снова повысили, восстановили в рамках прошлых лет. К тому же на тринадцатую пятилетку планируется освоение 300 тысяч гектаров новых земель. Значит, снова все пойдет по-старому? Опять землю будут рыть и деньги закапывать?! Минводхоз СССР за последние двадцать лет оставил в Средней Азии не один десяток миллиардов рублей...

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ЖУРНАЛОВ «НОВЫЙ МИР» И «ПАМИР» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕДИЦИИ «АРАЛ-88»³

ТУРСУНОВ А. А., заведующий лабораторией Института географии АН Казахстана, доктор географических наук.

Высохшее дно Аральского моря ныне простирается на 26 тысячах квадратных километров. Две трети этой площади — солончаки, засоленные пески и земли.

³ Стенограмма заседания «круглого стола» печатается с сокращениями.

По данным Госкомгидромета, с этой площади во все стороны от Аральского моря уносится ежегодно до 75 миллионов тонн песка и пыли. Но это видимые крупные частицы. Со дна Аральского моря ежегодно выносятся еще и 65 миллионов тонн тонкодисперсной пыли и солей, что подтверждают новые исследования Института почвоведения нашей академии. Высохшее дно Арала становится одним из основных поставщиков аэрозолей в атмосферу Земли. Дальность переноса этих твердых мелкодисперсных частиц беспредельна.

Соли и мельчайший песок переносятся с аральского дна на юг и запад, легко преодолевая плато Устюрт, и попадают на Каспий, где встречаются с вертикальными копаниями поверхностного испарения воды. И тут образуются хорошо известные климатологам и метеорологам пыле-солевые облака, которые поднимаются на большие высоты и переносятся на большие расстояния. Особую опасность представляют пыль и соль, достигающие ледников. Ледники как раз находятся на пути переноса солей. Неудивительно поэтому, что во всем Приаралье за последнее время минерализация дождевой воды увеличилась почти в 2 раза, а на непосредственно прилегающей к Аралу территории — в 7 раз. Кстати говоря, минерализация осадков возросла и в Литве и в Белоруссии. Соли и пыль, срываемые ветром с пустынного аральского дна, увеличивают загрязненность атмосферы Земли более чем на 5 процентов. Это обстоятельство дает мне право сказать: в Приаралье мы имеем дело не с экологической напряженностью, а с глобальной экологической катастрофой. Ее границы в будущем, если продолжится меление Аральского моря, еще больше расширятся, а число жертв увеличится, особенно если учесть, что соли, о которых я говорил, химически очень активны.

Итак, с экологической катастрофой в Приаралье мириться далее нельзя. Нельзя спокойно взирать на процесс усыхания моря, на процесс уничтожения экосистемы. Нужно принять все меры и эти процессы остановить.

Что конкретно делать? Прежде всего начиная уже с этого года урезать лимиты всем водопотребителям региона — и верховым и низовым. Мое предложение основано на мнениях многих местных жителей — от рядового поливальщика до секретаря обкома, — с которыми мы встретились и беседовали во время экспедиции и которые утверждали: в Средней Азии можно безболезненно сократить лимиты водопотребления на 20 процентов. Это даст Аральскому морю около 20 кубокилометров воды в год. И это можно сделать довольно быстро.

Второй источник дополнительной воды для Арала — бесчисленные разливы, образовавшиеся и в низовьях рек и в среднем течении Амударьи и Сырдарьи. Я бы хотел особо обратить ваше внимание на разливы, которые образовались именно в 1988 многоводном году благодаря тому, что русла Амударьи и Сырдарьи в нижнем течении за многолетние безводные периоды не пропустили долгожданную воду в Арал. Вода ушла в песок, создав огромные разливы, из-за которых были потеряны сенокосные угодья. Юрий Антоневич Израэль, председатель Госкомгидромета СССР, демонстрировал нам прекрасную карту. Мы увидели, сколько площадей окрашено на ней в голубой цвет. За счет экономии воды на разливах, за счет обвалования рек можно получить около 3 кубических километров влаги в год.

И третий момент. Мне кажется, у нас слишком много построено водохранилищ, особенно на Сырдарье. Суммарный их объем уже сопоставим со средним многолетним стоком реки. Что это значит? Это значит, что в безводные годы ниже Чардаринского водохранилища в Аральское море не попадает ни капли влаги. Роль таких водохранилищ, как Чардаринское и Тюямунокское, представляется мне негативной. Видимо, нужно пересмотреть политику регулирования воды, а названные водохранилища ликвидировать.

Я думаю, если принять эти три момента, то к 1990 году мы будем располагать для моря не 8,7 кубокилометра воды, предусмотренными правительственным постановлением, а 30 кубокилометрами, позволяющими стабилизировать отметку уровня Аральского моря. Стабилизировав ее, мы тем самым остановим процесс выноса солей с Арала. Обнаженные солончаки постепенно отдадут всю свою соль атмосфере, и начнется процесс их опреснения. В конце концов уменьшится и количество соли, поступающей в атмосферу. Уменьшится пагубное влияние Аральского моря на климат Земли.

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ В. И., старший научный сотрудник Института международного рабочего движения, кандидат экономических наук, демограф.

В течение многих лет со многих высоких трибун я слышал утверждение, что не все районы страны должны быть промышленными, пусть Средняя Азия останется регионом, основное назначение которого — производство сельскохозяйственной продукции. Так, мне думается, что, исходя из этой стратегии, ничего иного кроме того, что случилось, и случиться-то не могло.

Обычно ведомственные и местнические интересы противоречат друг другу, а вот здесь, в Средней Азии, получилось так, что интересы руководства Средней Азии, а точнее Узбекистана, и интересы Минводхоза совпали. Мы имеем по этому поводу документы. ЦК КП Узбекистана направлял в Москву записки, в которых показывал якобы бедственное положение с водой в Средней Азии, требуя привести сибирскую воду до 1990 года. В том же направлении действовал и Минводхоз СССР. Та бедственная экологическая ситуация, о которой мы сейчас услышали из отчета руководителя экспедиции, нагнеталась сознательно, и тут надо еще разобраться, где было недомыслие, а где были прямые преступления. Я несколько раз говорил в Средней Азии, что надо бы составить сборник документации по тому, что и как там делалось, завести «белую книгу» по Аралу. Надо привлечь опытных юристов и работников архивов. Тогда мы увидели бы, как все происходило.

Минводхозовцы без конца нам говорят, что они ни при чем, что их заставляли, что они выполняли постановления, решения высоких инстанций и поэтому какой с них спрос! Я думаю, положение несколько иное. Минводхоз настраивал высшее руководство страны, давил на него, давал неточные сведения, страшая, что если не придет сибирская вода в Среднюю Азию, то всем будет очень плохо, утверждал совершенно необоснованно, что только за счет орошения можно поднять сельское хозяйство. А потом, когда на самых высоких уровнях решения принимались, он, естественно, их выполнял. Но ведь сами-то решения готовились, провоцировались именно Минводхозом!

Теперь минводхозовцы пугают нас тем, что в Средней Азии через двадцать пять лет население удвоится и составит 60—65 миллионов. Я как демограф полагаю, что в этом прогнозе заложена большая ошибка. В Средней Азии происходит быстрое падение рождаемости, этого неспециалисты не видят, поскольку судят по общему коэффициенту рождаемости, то есть количеству рождений, приходящихся на тысячу человек населения. Демографы применяют другие, более точные показатели: например, возрастной коэффициент. Руководствуясь этим коэффициентом, давайте и посмотрим, как реально обстоят дела, например, в Узбекистане.

В среднем у тысячи узбекских женщин в возрасте от 30 до 35 лет рождалось в начале 70-х годов 248 детей, а в середине 80-х — всего 183 ребенка в год. У женщин в возрасте от 35 до 40 лет в те же периоды родилось соответственно 202 и 102 ребенка. (Видите, рождаемость уменьшилась почти вдвое!) В целом же за пятнадцать лет рождаемость в Узбекистане упала примерно на 20 процентов. Если молодые женщины пойдут из кишлаков в города, если они будут работать на промышленных предприятиях и в учреждениях, то у них уже будут иные представления о жизни, иные потребности, иные установки, и они уже не будут стремиться к многодетности. И вот здесь свою роль должна сыграть социально-экономическая политика. Но она сегодня неэффективна. Сейчас Средняя Азия — самый отсталый в социально-экономическом отношении район страны, отсталый и продолжающий отставать от других районов. Это можно увидеть в официальных наших справочниках, где, конечно, многие цифры требуют весьма критического отношения. Национальный доход на душу населения в Средней Азии падает, в то время как по стране в целом он продолжает расти.

На последней сессии Верховного Совета СССР было сказано впервые, что республики Средней Азии получают дотации и в будущем году эта сумма общесоюзного бюджета составит 5,9 миллиарда рублей. Не от хорошей это жизни происходит. Но кое-кто по-своему обыгрывает сложившуюся ситуацию. Два года назад на Дальнем Востоке мне довелось услышать выступление писателя П. Прокурова. Он говорил: «Нас обвиняют в национализме; но если мы утверждаем, что жизненный уровень в Средней Азии в три-четыре раза выше, чем в России,

разве это национализм?» Повторю еще раз: Средняя Азия сейчас очень отсталый район. Нам надо об этом знать, помнить и не кричать, что, мол, республики Средней Азии необычайно расцвели.

КИЯТКИН А. К., начальник отдела перспективного планирования Союзгипродхоза, представитель Минводхоза СССР в экспедиции.

В экспедиции мне пришлось работать со многими специалистами. Работа была интересной. Участники экспедиции убедились в том, что основным недостатком в Средней Азии является плохое качество воды. Значит, первоочередная работа, которая там будет выполняться согласно постановлению правительства от 19 сентября 1988 года, это строительство водопроводов и подача воды как по магистральным водопроводам, так и по разводящей сети.

Вторым крупным мероприятием будет выполнение мелиоративных работ, улучшение мелиоративного состояния земель в низовьях Приаралья. Но для того чтобы улучшить качество воды и получить дополнительную воду, будут выполнены крупные мероприятия по реконструкции большинства орошаемых земель в бассейне Амударьи и Сырдарьи. В низовьях Амударьи намечается строительство регулирующей системы, емкостей в низовьях Амударьи и Сырдарьи, в дельтовых участках. В настоящее время создана крупная строительная организация Аралводстрой, которая будет выполнять все хозяйственные работы в низовьях Сырдарьи и Амударьи.

В этом же постановлении ЦК КПСС и Совмина СССР намечено выполнение схемы комплексного использования, а главное, охраны водных и земельных ресурсов бассейна Аральского моря. Это работа очень серьезная и большая, потому что мы совершенно по-другому должны смотреть на эту проблему. Основное внимание будет уделено реконструкции большинства оросительных систем, которые находятся в бассейне Амударьи. Для того чтобы правильно решить все эти вопросы, сейчас составлена программа. Будет привлечено большое количество среднеазиатских организаций и институтов. Я не могу согласиться с теми данными, которые высказаны в выступлении товарища Турсунова. Во время работы экспедиции, на многих встречах с партийными, советскими работниками водохозяйственных организаций мы задавали один и тот же вопрос: чем вы можете помочь Аральскому морю? Все говорили, что им самим не хватает 20 процентов воды. Но Турсунов почему-то говорит, что у всех 20 процентов лишней воды.

Теперь я хотел бы внести предложение. Приказом Генерального прокурора СССР создана Аральская межрайонная природоохранительная прокуратура со «сферой влияния» в Каракалпакской АССР и Хорезмской области Узбекской ССР. Если по-настоящему заниматься природоохранными мероприятиями, то необходимо создать межреспубликанскую природоохранительную прокуратуру с подчинением ее Генеральному прокурору СССР. Санитарная и экологическая обстановка в Приаралье и ее улучшение в основном зависят от приведения в порядок земель в верхнем и среднем течении Амударьи.

МОНИН А. С., член-корреспондент АН СССР (Москва).

Я не участвовал в вашей экспедиции, но я бывал раз пятнадцать во всех среднеазиатских республиках и своими глазами многое видел. Я полностью поддерживаю предложение о необходимости сокращения хлопковых площадей. Мне думается, что чрезмерное расширение этих площадей оказалось одной из причин усыхания Аральского моря, других многочисленных экологических бедствий в этом регионе.

Вода для орошения раздается без измерения и бесплатно. Никто не знает толком, сколько воды пропадает. Нет измерительных пунктов. Нет измерительных приборов — водомеров, влагомеров. Фактически вода берется без всяких ограничений. На гектар рисового поля выливается ежегодно пятиметровый слой воды. Не административным приказом надо уменьшать подачу воды на поля, а ценой на воду. Прекратить бесплатную подачу воды и ввести цену, дифференцированную в разных районах и для разных полей. По-моему, это нужно срочно сделать. Цена должна быть высокая, чтобы нелегко было получить эту воду и чтобы потом оплатить ее собственными доходами.

И последнее, о чем мне хочется сказать. О науке. К сожалению, наука в этих делах практически не участвует. Крупномасштабные мероприятия по расширению площадей орошаемых полей осуществляются без какой-либо научной основы. Возьмите важнейшую проблему орошения — происхождение процесса засоления. Засоление начинается или от грунтовых вод и поднимается вверх, или же оно начинается с вод поверхностных и опускается затем в глубину. Институт водных проблем, работы которого я хорошо знаю, никакими данными на этот счет не располагает. У них нет никакой научной основы. Долгие годы институт занимался «научным обоснованием» проекта переброски северных рек. На самом же деле он занимался пропагандой переброски северных рек. В результате полноценными научными работами институт не располагает.

ОЛЕЙНИК В. И., помощник прокурора РСФСР.

Необходима разработка комплекса правовых мер защиты как природы, так и всего живого на Земле, и прежде всего человека. В ином случае все издаваемые в последнее время Красные книги превратятся (и превращаются) в реестры уничтоженных видов и популяций.

Мне представляется необходимым создание института экологического права внутри нашего единого социалистического права. Точно так же как с древних времен существовало и существует гражданское право, право войны и мира, семейное право и затем уже родившиеся земельное, трудовое право, законодательство о здравоохранении, уголовное право.

Экологическое право должно охватывать в отдельном кодексе все гражданские и уголовно-правовые проблемы, проблемы водопользования, воздухопользования, землепользования. Определять оно должно не только права должностных лиц и ведомств, государства, граждан, но и их обязанности по взаимодействию с природой, определять правовые последствия, материальную, уголовную ответственность, причем не на словах, а на деле. Особыми полномочиями должен быть наделен и Госкомприроды. Он должен иметь возможность сосредоточивать у себя все основные материальные и интеллектуальные силы, которыми располагает общество, страна. Не Минводхоз, а именно Госкомприроды должен распоряжаться этими средствами, как мне представляется. Он должен быть заказчиком, плательщиком за качество всех переустройств и исправлений хозяйства региона. То, как до сих пор распоряжался имеющимися у него ресурсами и средствами Минводхоз, мы увидели, побывав в экспедиции. Да и один ли Минводхоз. Идет, по сути дела, закапывание народных денег в землю, их разбазаривание.

Хотел бы коснуться и такой проблемы. Существуют в Средней Азии так называемые инициативные поливы. Что это такое? Это очень удобная форма укрывательства преступления. Это прежде всего приписки без учета состояния полей, без учета посевов, без учета расходования воды.

Существуют в Уголовном кодексе две статьи, которые применимы к виновным за создание того положения, которое мы наблюдали в Средней Азии. Это статьи, касающиеся халатного отношения к своим должностным обязанностям и так называемой бесхозяйственности. Они подразумевают ответственность того или иного конкретного должностного лица. Если должностные лица в силу каких-то объективных или субъективных обстоятельств небрежно, спустя рукава относились к своим обязанностям и причинили государству и людям материальный или моральный ущерб, они должны отвечать по всей строгости существующего закона. Но у нас персональная ответственность обыкновенно подменяется ответственностью коллективной. Разработчик проектов того же Минводхоза или так называемые государственные эксперты не несут фактически никакой персональной ответственности за свои заключения, за точность и полноту изысканий. А должны, просто обязаны нести!

АЛАДИН Н. В., научный сотрудник Зоологического института АН СССР, кандидат биологических наук (Ленинград).

Ученые начали исследовать Аральское море еще до революции. До сих пор отличная, написанная еще в начале века монография по Аралу сотрудника Зоологического института Льва Семеновича Берга не только не утратила своего значе-

ния и ценности, но служит своеобразной точкой отсчета, основой для тех, кто занимается исследованием аральской проблемы сегодня.

После войны наши руководители заболели идеей преобразования природы. И на свой лад стали природу перекраивать. Так и Аральское море превратилось в море подопытное. Ученые принялись искусственно насаждать там одни биологические виды, другие, третьи. В первые два года все вроде бы шло хорошо, потом ситуация резко ухудшилась. Сложившуюся экосистему начало лихорадить. Фактически к моменту, когда Аральское море стало мелеть, мы уже не знали точно, кто же, собственно, в нем живет. Мы не обеспечили изучения системы Аральского моря, не провели нужных исследований, а взялись за переустройство природы. И когда произошло то, что произошло сейчас, биологическая наука не нашла ничего лучшего как отвернуться от моря, прекратить его исследование. Немногие попытки продолжить изучение биологии Арала лишены необходимой материальной базы. По ориентировочным подсчетам, приблизительно 70 процентов обитателей Аральского моря погибло, оставшиеся 30 процентов — это не коренные жители моря, не его аборигены, а сравнительно недавние подселенцы. Аральское море как своеобразная экосистема фактически погибло тринадцать — пятнадцать лет назад.

Исследование биологических систем Арала необходимо незамедлительно возобновить.

ДЕРИГЛАЗОВ А. Д., доцент 2-го Московского медицинского института.

Как надо было планировать развитие народного хозяйства, чтобы оказаться перед таким фактом: на сегодняшний день 80 процентов населения Средней Азии не имеют стакана чистой воды в день! Извините за фразу, но скажу: в Ташаузской области пьют ту воду, которую пили четыре-пять дней назад в другом регионе. Кому нужен рис Каракалпакии, когда в Бозатауском районе умирает каждый девятый ребенок, не дожив до года? Уж очень горький привкус у этого риса. А посмотрите, что делается со здравоохранением. В том же районе Агропром должен был построить в двенадцатой пятилетке 8 сельских участковых больниц, 20 врачебных амбулаторий и 50 фельдшерско-акушерских пунктов. Три года пятилетки минуло, но ни один из объектов не имеет даже проектной документации. Лично для меня какая бы красивая, яркая рубашка ни была сделана из узбекского хлопка, она будет всегда иметь траурный оттенок, потому что цена этому хлопку — 280 тысяч переболевших только в 1987 году инфекционным гепатитом (а это 80 процентов пожизненных инвалидов). В Туркмении за последние пять лет на лечение инфекционных болезней израсходовано 128 миллионов рублей. Матери госпитализированных детей спят на полу в палатах или в коридорах. Этого нигде, по-моему, не встретишь, даже в слаборазвитой стране.

Несколько слов скажу о постановлении ЦК и Совмина по Аралу. Если это постановление останется единственным, если оно будет претворяться в жизнь так, как намечено, то оздоровить ситуацию по самому простому арифметическому подсчету удастся через пятнадцать, а то и двадцать лет. Это непозволительно долго. От Арала к тому времени ничего не останется.

Мы знаем авторов чернобыльской аварии. Они названы и понесли наказание. Будут ли всенародно названы имена авторов гибели Арала? Ведь это кровоточащая рана всего среднеазиатского региона.

БУРХАНОВА М. А., ведущий научный сотрудник Совета по изучению производительных сил (СОПС) АН Таджикистана, кандидат экономических наук.

Чтобы решить проблему Арала, необходимо изменить стратегию развития производительных сил Средней Азии. Из сырьевого придатка, существующего на государственные дотации, среднеазиатский регион должен стать районом, полностью или почти полностью перерабатывающим свое сырье. Для создания перерабатывающей промышленности надо включить в производство как можно большую часть населения Средней Азии. Подъем производительных сил должен идти по пути развития трудоемких производств. Региону необходима комплексная программа развития, которая отражала бы и замену хлопка в научно обоснованной разумной пропорции другими культурами.

МУРАДОВ Г. М., директор Института экономики АН Туркмении, кандидат экономических наук.

Почему все-таки хлопок стал королем орошаемых земель? История эта длинная, но я скажу коротко: нужно было создать хлопковую независимость. Потом хлопок стал отовариваться продуктами питания, в первую очередь хлебом. И это, конечно, подталкивало хлопкоробов расширять земли под хлопок. Вот и получилось так, что основу дохода Средней Азии, особенно Каракалпакии и Туркмении, составляет доход от хлопка. Хлопок — это и темпы развития, и рост национального дохода в Среднеазиатских республиках.

Кроме того, по уровню развития хлопководства судили об уровне компетентности и способностей руководителей сельских районов и областей. За развитие хлопководства людей награждали, за неуспехи снимали с работы. Хлопок практически вытеснил все другие культуры. В ряде районов республик Средней Азии даже прекратилось развитие животноводства.

Из года в год рос план, лучшие земли занимал хлопок, худшие засеивались люцерной. И огромный регион начал постепенно терять свое значение как производитель лучших сортов абрикосов, яблок, винограда, гранатов, дынь. Поэтому не случайно сушеный урюк сегодня стоит в 50—60 раз дороже, чем хлеб.

Сегодня мы должны точно знать, сколько же стране нужно хлопка и какого. Ситуация, при которой сколько хлопка ни производи, его все мало, не может далее сохраняться.

КРУПЕНИО Н. Н., заведующий лабораторией Всесоюзного научно-исследовательского центра «Агроресурсы», кандидат физико-математических наук.

По заказу экспедиции «Арал-88» мы выполнили радиолокацию и аэрофото съемку Каршинского, Аму-Бухарского и Каракумского каналов, а также русла Амударьи от Чарджоу до Аральского моря и Сарыкамышской впадины. Одновременно со съемкой в Бухаре была высажена группа, которая провела наземные обследования вдоль Аму-Бухарского канала и получила профили влажности в десяти- и двадцатисантиметровом слое почвы от борта канала. Исследования показали, что влажность в двадцатисантиметровом слое выше, чем в десятисантиметровом, что и должно быть в принципе. Увлажнение очень медленно убывает от бортов канала, и мы обнаружили практически неизменную влажность в десяти-двадцатисантиметровом слое на расстоянии до шестисот — восьмисот метров. Это совпало с результатами дистанционной радиолокационной съемки, которая показала наличие зоны повышенного увлажнения до двух километров от канала. Съемки проводились в октябре. Летом же, когда уровень воды в канале поднимается метров на пять, зона увлажнения достигает нескольких километров.

Схожая картина с потерями воды наблюдается и на Каракумском канале. Правда, там есть участки с более интенсивным просачиванием влаги. Исследования показали: через необлицованные стенки каналов фильтруется очень большое количество воды — в 1,5 раза больше официальных данных Госкомгидромета.

КУЗИН А. К., заместитель директора Всесоюзного научно-исследовательского института охраны вод, доктор географических наук (Харьков).

Я бы поставил такой вопрос: гора или мышь родилась в результате нашей экспедиции? Уверен, гора. Гора проблем, которым нет конца. Экспедиция в точности выполнила свою задачу и наметила тот круг вопросов, который определяет критическое положение в Средней Азии. Позволю себе провести аналогию с другим регионом, где мне недавно пришлось побывать, — с байкальским.

Мы говорим, что Средняя Азия — вотчина не умеющего хозяйствовать Минводхоза. На Байкале своя проблема — там вотчина бумажной промышленности. Это еще одно ведомство, которое не умеет рационально управлять. Проблема не в воде, которой не хватает в Средней Азии и которой в избытке на Байкале. Проблема общая — наша неспособность рачительно использовать свое богатство. У нас отсутствует региональный механизм управления, у нас нет даже научно разработанной концепции экономического развития того или иного района. Только на месте можно разобраться и решить, какие выращивать культуры, какой слой воды надо наливать на гектар. Если бы мы умели хозяйствовать, если бы мы

умели управлять экономикой, на Арале не было бы того, с чем мы сейчас столкнулись.

По поводу постановления. В нем регионы не учитываются. Говорится о воде, констатируется, что Арала и не будет. Значит, постановление отвечает только нескольким вопросам и является весьма локальным, не освещая общую экономическую политику в регионе. Поэтому необходима дальнейшая его корректировка, переориентировка, увязка с комплексным развитием производительных сил для всего региона.

АБДУСАЛЯМОВ М. А., главный сотрудник СОПСА АН Узбекистана, доктор экономических наук.

Существующая сегодня система цен является одним из самых больных мест в нашей экономике. Она сложилась еще в 20-е годы и строится по принципу перекачки денег из сельского хозяйства в промышленность. А в промышленности — из легкой и пищевой в тяжелую, оттуда в оборонную. Поэтому сырьевые и сельскохозяйственные районы, сколько бы в них ни вкладывали денег, сколько бы ни увеличивались там поля, ни перебрасывалось туда воды, будут все хуже и хуже жить. Пример тому — положение дел в Средней Азии: люди работают на износ, но полноценной отдачи нет, потому что нерешенным остается вопрос ценообразования. Ведь трудоемкость производства тонны пшеницы в 5 раз меньше производства тонны хлопка, а цены на нее всего в 3—5 раз ниже.

Теперь о том, как мы используем воду у себя. На хлопок уходит 32 кубокилометра воды из 54. Мы отдаем странам СЭВ и вывозим в капстраны 600 тысяч тонн волокна. Если эту продукцию приравнять к затраченной на ее производство воде, получится соответственно 12—14 кубокилометров воды. Взамен мы получаем всего 1,5 процента валютных поступлений по стране. К сожалению, и эта валюта в республику не поступает. Госагропром забирает ее себе. У республики нет никакого интереса к вопросу сбыта хлопка. Нас очень долго учили тому, что существует интернациональный долг, и мы, узбеки, как и таджики, туркмены, — мы все воспитаны таким образом, что прежде всего интернациональный долг, а потом уже все остальное.

По моему убеждению, наша республика несет какую-то странную повинность перед Госагропромом и Минлегпромом СССР. До такого плачевного состояния экономику Средней Азии не государство довело, а ведомства: Минводхоз, Агропром, Минлегпром.

АБДИРАХМАНОВ О., директор студии документальных фильмов, писатель (Нукус).

Осушение Арала, как подтверждают историки, бывало и раньше. Впервые уровень моря понижался во времена нашествия Чингисхана. Старший сын завоевателя после долгих осад не смог покорить народы Приаралья. Тогда он построил плотину на Амударье, и вода ушла в сторону Каспия. Второе осушение моря было совершено Тамерланом, и тоже в результате перекрытия Амударьи. Третье, нынешнее осушение, как известно, совершено Минводхозом СССР совместно с сильным и влиятельным компаньоном — Минэнерго. Минводхоз, это детище времен застоя, был и остается вдохновителем и одновременно исполнителем идеи уничтожения Арала. Хотя при желании это министерство могло бы не только спасти, но возродить Арал!

Судьба каракалпакского народа целиком связана с Аралом. Каракалпаки, в древности черные клобуки России, кочевали, переселялись не по своей доброй воле. Бесконечные войны привели к разорению некогда сильного, многочисленного каракалпакского народа. Только после Октября мы обрели свою независимость. Но из истории 20—30-х годов известно, что автономия Каракалпакии сугубо формальная. Иначе как объяснить, что автономная республика входила в состав то Казахской ССР, то Российской Федерации, то Узбекской ССР. За эти годы более десяти раз менялись наши границы. И всякий раз без ведома и согласия самого народа. Эту несправедливость усугубила экологическая катастрофа Арала и Приаралья, нанеся непоправимый урон здоровью людей и экономике целого региона.

В прошлом году в Советском Союзе зафиксирован наивысший результат рождаемости — 5 миллионов 600 тысяч новорожденных. В Каракалпакии в том же году рождаемость, напротив, снизилась на 2 процента. Средняя детская смертность в автономной республике ныне одна из самых высоких в Союзе. В ряде районов она составляет 92—118 смертей на 1000 новорожденных.

Сейчас раздаются голоса, что в высокой детской и, кстати, материнской смертности повинны сами каракалпакцы с их низкой культурой земледелия и гигиены. Однако причина, по-моему, в другом. Медики показали: 94 процента женщин Каракалпакии страдают анемией, то есть малокровием, многие юноши призывного возраста непригодны к военной службе. Тут дело не столько в гигиене, сколько в постоянном недоедании, постоянном недоборе необходимых человеческому организму калорий. Массовое голодание приводит к массовому малокровию.

Парадокс состоит еще и в том, что ради увеличения посевных площадей хлопка и риса мы освоили новые земли и потеряли море. А надо ли вообще было осваивать новые земли, если мы еще не научились эффективно использовать старые? И кому нужен наш хлопок с низким качеством волокна?

У нас совершенно загублено животноводство; земли, занятые прежде садами, виноградниками, бахчевыми, овощами, были легкомысленно и поспешно отданы под хлопок.

ЧЕРВАНЕВ И. Г., заведующий кафедрой Харьковского государственного университета, доктор технических наук.

В документе, который обсуждался в ООН, есть буквально следующая фраза: «Постепенное разрушение природы, приобретающее на протяжении последних десятилетий все более угрожающий размах, отличается от ядерной катастрофы только тем, что оно приводит к постепенному подрыву основ существования человечества, а не уничтожает их в один миг». Проблема аральского региона имеет непосредственное отношение к этим словам. Все, что сегодня известно об Арале, является прямым упреком всем нам, долгое время кичившимся своим будто бы чрезвычайно бережным отношением к природе.

С моей точки зрения, процесс разрушения окружающей среды затронул уже механизмы саморегулирования природы, механизмы природного самовоспроизводства. Этот момент ускользал и ускользает от внимания общественности, и потому я хотел бы особо выделить именно его. Для технократического мышления природа — только вместительное неисчерпаемых ресурсов. А между тем, дабы не утратить последнего, нам крайне необходимо отрегулировать нарушенные естественные природные механизмы механизма восстановления почвенного плодородия, механизма самоочищения вод, в частности коллекторно-дренажного стока. На этой основе и должна осуществляться идея восстановления жизни на Арале. В аральском же регионе нет даже наблюдательной сети. Но ведь без наблюдения за состоянием и процессами изменения окружающей среды невозможно делать какие-либо выводы и принимать конструктивные решения...

ТИХОНОВ В. А., академик ВАСХНИЛ (Москва).

Народное хозяйство страны продолжает, я думаю, сохранять ту же самую тенденцию «развития», которую недавно мы назвали тенденцией застоя. Действительно ли мы сумели остановиться у края пропасти экономического кризиса, как это официально утверждается, или же все-таки вступили в кризисную полосу и последние два с половиной года существенно не улучшили положения? Речь сейчас идет в том числе и о самой главной, жизненно необходимой для людей продовольственной проблеме, а стало быть, о сельском хозяйстве. Некоторое улучшение в производстве сельскохозяйственной продукции я по-прежнему склонен объяснять скорее случайным стечением определенных объективных факторов, нежели коренным изменением основных принципов нашего хозяйствования.

Однако же огромные, все возрастающие средства продолжают вкладываться в земледелие. Теперь вот собираемся направить 77 миллиардов рублей на раз-

витие перерабатывающей промышленности. А у меня нет никакой уверенности, что и эти 77 миллиардов опять не уйдут в те же совершенно неведомые резервуары, в которые уходят вложения, в частности, на мелиорацию. Трагедия Арала — это лишь одно из наиболее, по-моему, ярких проявлений общей трагедии нашего сельского хозяйства, трагедии, в данном случае обусловленной так называемой мелиорацией, которая в основном сводится либо к орошению, либо к осушению земель.

В печати неоднократно уже приводились данные о том, какова эффективность этих вложений. Минводхоз — автор всех основных мелиоративных программ — признает, что срок окупаемости вложения в мелиорацию в прошлом пятилетии составил не менее двадцати пяти лет. Четверть века — это жизнь поколения! Если же подсчитать точнее и добросовестнее, что мы и попытались с моими коллегами сделать, реальный срок окупаемости составляет не четверть века, а сто четыре — сто семь лет! Может ли страна продолжать вкладывать нарастающие ресурсы, притом что окупаются они только через столетие?

Кто может сказать, что происходит с тем хлопком, который выращивают на водах, не попадающих в Арал? И потом, обеспечила ли себя страна хлопчатобумажными тканями при ежегодном производстве более 8 миллионов тонн хлопчатобумажного сырья? Сколько я ни пытался выяснить, куда расходует мы выращиваемый хлопок, ответа на этот вопрос получить не могу.

Сегодня мы прежде всего должны понять, что же такое наш ведомственный монополизм, столь высокой концентрации которого не знала и не знает ни одна другая страна мира. Почему он возник? На мой взгляд, потому, что ведомственные монополии срослись с государственным аппаратом и мы имеем дело сейчас уже не с отдельными отраслевыми монополиями. У нас сложился строй государственно-монополистической экономики. И до тех пор, пока этот строй государственно-монополистической экономики в нашей хозяйственной системе будет существовать, народ не получит возможности противодействовать даже самым неразумным хозяйственным решениям. Поэтому, думается мне, настала пора смотреть на перестройку значительно шире и серьезнее, чем прежде. Самое главное направление, которое могло бы нам создать фундамент нормально развивающейся экономики, — это преодоление ведомственного монополизма в нашей хозяйственной системе.

Недавно мне довелось познакомиться с новыми предложениями Минводхоза. Если они будут приняты, можно не сомневаться: судьба Арала постигнет и многие другие водные резервуары страны. Минводхоз предлагает к 2005 году увеличить площадь орошаемых земель до 40 миллионов гектаров; предлагает интенсифицировать забор воды из имеющихся водных артерий для того, чтобы обеспечить задуманную программу мелиорации; предлагает за шестнадцать лет вложить еще 240 миллиардов рублей в орошение и немного в осушение. Кто может воспрепятствовать этому? Государственный аппарат, очевидно, этого уже сделать не может. Если бы он мог это сделать, вероятно, эти программы не принимались бы всерьез. Очевидно, самой главной силой, способной противостоять монополизму ведомств, является наша общественность, уже показавшая себя в борьбе с проектом переброски северных рек.

ДЖУМАЕВ М. Д., преподаватель Высшей школы Агропрома Таджикистана, селекционер, доктор сельскохозяйственных наук.

Беда Арала, аральского региона и его тридцатидвухмиллионного населения — это результат волонтаристского, недопустимого отношения к людям и природе. Я сам из садоводческого края, но занимаюсь селекцией хлопчатника. Многолетние анализы, научные исследования показывают, что в условиях Таджикистана и Узбекистана выращивание фруктов выгоднее выращивания хлопка в 5—7 раз, а плодов субтропических культур в 15—17 раз. Но тем не менее хлопчатник — это стратегическая культура. Если это так, значит, к нему и относиться надо стратегически. А что получается? В Таджикистане хлопчатник на 30—35 процентов стал убыточным. Почему? Потому что закупочные цены устарели. За килограмм хлопчатника колхозы получают 70 копеек. Дехкане, работающие на хлопке, в среднем за месяц зарабатывают от 40 до 80 рублей. Понятно, что при таких мизерных заработках в поле работают в основном дети. Хотя с

высоких трибун секретари ЦК и говорят, что школьники в поле не работают, это неверно. Работают почти круглый год. Мы видели их на полях на протяжении всех дней работы экспедиции.

Но вернемся к крестьянскому заработку. Супруги тридцати — тридцати двух лет в течение года зарабатывают в хлопковом колхозе от 1400 до 2300 рублей на двоих. Едят они и одеваются все двенадцать месяцев, хотя работают с марта до ноября. У них в среднем пятеро детей. Значит, не на двоих надо делить заработок, а на семерых. Значит, среднемесячный доход на душу у них составляет 18—27 рублей. При таком минимуме невольно начнешь спекулировать или воровать. Вынуждают ведь!

АЙМАТОВ Ч. Т., главный редактор журнала «Иностранная литература», писатель.

Катастрофа Арала — не локальное бедствие одного района. В этом я солидарен с академиком Тихоновым, предложившим взглянуть на нее в контексте всего нашего социального бытия, которое во многом определяют ведомственный диктат и монопольно-государственная экономика. В результате нашей неразумной, непомерной пропаганды несуществующих достижений, наших социальных амбиций, претензий на то, что мы самая ведущая сила в мире, что у нас самый прогрессивный строй, родилось чудовище, которому мы можем дать название — ведомственная монополия. Подобный вывод подлежит, видимо, очень серьезному анализу историческому, социальному, научному, чтобы прочувствовать, увидеть и убедиться, насколько это оказалось губительно и насколько это имеет сейчас огромную реакционную силу.

Аральская трагедия, мне представляется, должна заставить нас всех еще раз осознать, что нельзя приносить в жертву даже экономически вроде бы целесообразным проектам человеческие жизни, судьбы и здоровье людей. Иная логика порочна, преступна. Проблему Арала надо рассматривать не только как экологическую, но и непременно как социально-нравственную. Положение сложное. Если русские деревни обезлюдели, если не осталось хозяина, земледельца, мужика, который мог бы кормить страну, и мы сейчас горько за это расплачиваемся, то надо знать, что у русского деревенского жителя все-таки была дорога в крупные индустриальные центры. И он там приспособился, сейчас является главной действующей рабочей силой. В среднеазиатском регионе людям некуда даже податься, у них почти безвыходное положение.

Мы дети одной страны. Плохо нам будет или хорошо — мы все разделим поровну. Никто из нас в стороне не останется. Арал — это бедствие всего нашего народа. Крупный водоем, он занимает четвертое место в мире, но чиновничье мышление пытается и сейчас нас успокоить и утихомирить своими расчетами: что на что мы меняем, что теряем, что приобретаем. Но нельзя с этим мириться, ибо это дьявольская логика, против которой перестройка должна бороться до конца.

ОРЕШКИН Д. Б., старший научный сотрудник Института географии АН СССР, кандидат географических наук.

Коснусь одного болезненного вопроса, о котором у нас прежде предпочитали не говорить. Я имею в виду межнациональные и межреспубликанские отношения, во многом обусловившие региональный экологический кризис.

Хорезмская область Узбекистана граничит с Ташаузской областью Туркменской республики. Так сложилось, что вода из Амударьи поступает в Ташаузскую область, пройдя земли Хорезма. Народное хозяйство Ташаузской области зависит от качества, количества и сроков подачи воды через Хорезм. И выходит, в Ташаузе получают воду низкого качества, не в срок и не в том объеме, в котором нуждаются. Хотя на этот счет существует официальная договоренность.

Я далек от того, чтобы выносить вердикт, кто здесь прав, кто виноват, но я однозначно могу констатировать, что подобное неумение решать возникающие в отношении между двумя республиками, двумя областями проблемы привело к тому, что туркменские строители начали строить длинный — 180 кило-

метров — Ташаузский обводной канал, который идет в обход Хорезма, по территории Туркмении. Делается это для того, чтобы подать ту же самую воду, но уже по своему водозабору прямо в Ташауз. Стоит ветка около 200 миллионов рублей. Если разложить все деньги на 4 миллиона населения Туркмении, то получится, что каждый житель Туркмении, включая младенцев и стариков, платит за строительство по 50 рублей из собственного кармана. Какой вывод? Очень простой. Неумение решать социальные, политические, межреспубликанские проблемы приводит к снижению жизненного уровня людей и насильно над природой. Было смешно и обидно наблюдать, как умные, квалифицированные специалисты убеждали членов экспедиции в том, что ташаузская ветка, которая вытянута параллельно Хорезмскому каналу, обеспечит водопотребление Ташаузской области и при этом снизит потери воды. Как будто в двух каналах воды будет теряться меньше, чем в одном сейчас, как будто уменьшится количество дренажных стоков благодаря введению дополнительного канала.

Вот тут я бы хотел коснуться такого аспекта проблемы, как тенденциозность в подаче научного материала. Мы имели массу поводов убедиться в том, что научное толкование происходящего круто меняется при переезде из одной республики в другую. Взять, например, случай переноса солей с высохшего дна Арала. Непосредственно в Приаралье, если мы имели дело с представителями Казахской республики или Каракалпакии, нас пугали максимальными цифрами выноса солей. Если речь об этом заходила в Туркмении, то данные эти занижались на порядок, на два. И выглядело это по-детски наивно. Но кое-кому казалось, что приумножение отрицательных экологических процессов в Приаралье уменьшает угрозу Каракумскому каналу. Нам приходилось читать и слушать очень многое о канале, который забирает половину стока и является виновником кризиса. А забирает он в среднем одну пятую воды из Амударьи. Тоже, конечно, немало.

И еще. Создается такой прецедент, при котором очень трудно доверять научным данным. Скажем, в Туркмении в беседах о Каракумском канале нам говорили, что канал теряет около 2 кубокилометров воды в год. В Узбекистане ученые эти потери оценивают в 7 кубокилометров воды. Где же здесь истина? Получается так, что приходится брать какие-то средние данные. Чтобы доверять цифрам, надо прежде всего возратить чувство достоинства науке, понять, что она должна служить не интересам республики, а интересам истины.

ШИЛО Н. А., академик АН СССР (Москва).

Был поставлен вопрос: вышла наша страна из предкризисного состояния? Такая постановка вопроса представляется не совсем верной. И вот почему. Само определение предкризисного состояния неточно.

Наша страна испытывает настоящий тяжелый кризис — кризис перепроизводства ненужных товаров, отвергаемых обществом. Это самая типичная характеристика кризисного состояния. В результате чего это произошло? Когда началась гибель Аральского моря? Я считаю, что корни катастрофы уходят в 1927 год, когда принималось решение об отторжении средств производства и земли от непосредственных производителей и передаче этих средств в руки государства. Государственный административный аппарат, получив гигантские средства производства, землю с ее недрами и богатством, со своей задачей не справился. Объявив их всенародными, он должным образом не организовал передачу этих средств в руки непосредственных производителей. Тот восемнадцатимиллионный аппарат, который сейчас занимается управлением, хозяйством и культурой страны и тратит на свое содержание 40 миллиардов рублей, не способен решить даже элементарных проблем, которые ныне стоят перед нашим обществом. Пока не будет кардинально решен коренной вопрос передачи средств производства непосредственно в руки самих производителей, мы, очевидно, не решим и экологических проблем. Ибо экологические проблемы у нас теснейшим образом увязаны с проблемами социальными.

Мелнорацией, улучшением плодородия, орошением должен заниматься непосредственный производитель, а не министр Васильев. Под руководством Васильева Министерство мелнорации за двадцать лет затратило 130 миллиардов

рублей. Подсчеты показывают, что эффективность вкладываемого в мелиорацию рубля очень низкая, а проекты, выдвигаемые Минводхозом, гигантские, капиталоемкие. И они возникали не случайно. Они иницировались огромным аппаратом Минводхоза, подчиненными ему институтами, проектными организациями, не учитывавшими социального аспекта мелиоративных работ.

Работа по мелиорации, повторюсь, работа еще и социальная, и должна она вестись непосредственными производителями, владеющими средствами производства. Только тогда все встанет на место.

ЯРОШЕНКО В. А., заведующий отделом публицистики журнала «Новый мир».

Аральская трагедия — это свидетельство не только экономического, экологического, но и политического кризиса нашей системы.

Есть знаменитый плакат 1948 года: Сталин в форме генералиссимуса над картой страны, на которую нанесены планы преобразования природы. Я недавно просмотрел изданную в 1951 году книжку, рассказывающую об этом плане. Так вот, мы сейчас ругаем Минводхоз, но это эвфемизм, поскольку Минводхоз все время реализовывал планы, которые рождались и утверждались соответствующими съездами партии. Другое дело, как качественно выполнял эти планы Минводхоз, особенно в последние десятилетия...

Еще в плане ГОЭЛРО было заявлено, что чрезвычайно большая надежда возлагается на роль мелиорации и энергетики. Слишком большая, как потом оказалось. Уже в 20-е годы основная ставка была сделана не на свободный, инициативный труд народа, а на подневольный труд лагерных заключенных, который удобнее всего было использовать на строительстве дамб, плотин и каналов. Строительством Беломорско-Балтийского канала было положено начало того плана преобразования природы, который и сейчас продолжает осуществляться, скажем, на канале Волга—Чограй. На том плане нанесены и каналы Днепр—Дунай, Волга—Урал и Арал—Каспий, и Большой туркменский канал, и многие другие каналы, еще не построенные. Я думаю, в недрах соответствующих министерств все эти обоснования преобразований природы хранятся до сих пор. В своей идеологической основе подобные обоснования настолько устойчивы, что даже цифры их совпадают. Скажем, в сталинском плане 1950 года говорилось об орошении 28 миллионов гектаров, а в долговременной программе мелиорации К. Черненко — о 30 миллионах гектаров. Приходят новые поколения, меняется мир, а мы все продолжаем эту землеройную вакханалию И сейчас, когда мы говорим о катастрофах на Арале, Байкале, в Белоруссии, на Украине или Урале, следует всерьез рассмотреть вопрос о существовании не только ведомственного государственного монополизма, но и о существовании монополизма идеологического.

МИНАШИНА Н. Г., заведующая сектором Почвенного института имени В. В. Докучаева ВАСХНИЛ, доктор сельскохозяйственных наук (Москва).

Чтобы разрешить проблему Арала, надо все-таки разобраться в прошлом. Куда девалась вода и что мы получили за эту воду, за потерю Арала? В Минводхозе СССР говорят, что получено очень много сельскохозяйственной продукции. Берут обычно 1950 год и результаты 1987 года сравнивают с его результатами. Получается в 3—4 раза больше. Причем сравнение проводится в рублях. Непонятно, почему берется 1950 год. Ведь план «покорения» Арала стал широко осуществляться начиная с 1965 года. Стало быть, должно рассматривать эти двадцать—двадцать пять лет, когда сток в Арал составлял 60 кубокилометров, а в 1985-м совсем иссяк. Этот сток израсходован на орошение 2,5 миллиона гектаров. До 1965 года в регионе орошалось 4,5 миллиона гектаров и расходовалось на это 50 кубокилометров воды. Теперь на 2,5 миллиона гектаров расходуются почти 60 кубокилометров. Если сопоставить эти цифры, то и выводов уже можно не делать.

Следующий вопрос: какие же мы получили продукты? Говорят, мы получили много хлопка. Если взять производство хлопка до 1965 года и сравнить с последними данными, окажется, что орошаемые площади возросли в 1,5 раза, а произ-

водство хлопка — только на 15 процентов. Вот такой разрыв. И если эти 60 кубокилометров разделить на 15 процентов прироста хлопка, то и будет видна вопиющая бесхозяйственность. Цифры эти доступны любому человеку. Откройте справочник ЦСУ «Народное хозяйство СССР за 70 лет» — и вы увидите их там и узнаете, на что истрачена вода, не поступавшая в Аральское море. Гибель Арала — это гибель Приаралья, а затем и всего региона.

Теперь, каким же образом спасать Арал? Надо прекратить все утечки воды, перестать сбрасывать ее в пустыню, сократить поливные нормы, перестать делать переполив, прекратить сбрасывать оросительную воду в коллекторы, понизить уровень грунтовых вод. Водопотребление можно и нужно резко сократить, доведя его до уровня 1960 года. Если ознакомиться со специальной литературой того времени, легко узнать, сколько воды расходовалось тогда на орошение: 4—6 тысяч кубических метров на гектар. А сейчас — 10 тысяч кубических метров, кроме того, еще 5 тысяч на промывку. Прибавим к этому потери в самой оросительной сети — и цифра вырастет до 30 тысяч кубометров на гектар. В общем, резервы есть...

И еще. Ни в коем случае не допускать в Арал грязную воду, эти коллекторные отравленные, соленые стоки.

ШЕРМУХАМЕДОВ П., председатель комитета по спасению Арала Союза писателей Узбекистана, доктор филологических наук, писатель.

Сегодня в качестве единственного способа спасения Арала предлагается его заполнение сбросными водами. Да, Арал во что бы то ни стало надо заполнить. Но чем? Тем, что перенасыщено высокотоксичными ядохимикатами? Почему-то об этой «мелочи» серьезно не думают. А ведь именно здесь главное, отчего зависит не только судьба моря, но и судьба региона.

Уже долгое время в республиках Средней Азии и Казахстане усиленно используются пестициды с высокой физиологической активностью, крайне отрицательно действующие на живые организмы, густо загрязняющие окружающую среду. Сотрудники Гидрометеоцентра Узбекской ССР, анализируя состав воды, пришли к выводу, что до сих пор, несмотря на некоторые запреты, усиленно используются пестициды типа Б-58, метафос, которан, бутифос, гексахлоран, линдан, ДДТ, ДДЕ. Особенно высокое загрязнение водотоков наблюдается по гексахлорану и линдану. В 1988 году было отмечено 82 случая высокого загрязнения (свыше 10 ПДК) гексахлораном и 32 случая линданом. Больше всего загрязнений этого типа отмечено в одной из двух основных артерий региона — в Сырдарье (20 гексахлораном, 12 линданом).

Серьезную тревогу вызывает и проблема захоронения запрещенных, но накопленных ядохимикатов типа бутифос. Оказывается, в СССР пока нет научно разработанных методов их ликвидации. Советский Союз не раз обращался к Финляндии, которая такими достаточно эффективными методами располагает, с просьбой о продаже технологии уничтожения бутифоса и других препаратов. Однако нам предложили неприемлемые финансовые условия, и в результате запасы ядов продолжают накапливаться и расти...

Теперь представим, что все сбросные воды попадают в Арал. Каковы будут испарения, что будут разносить и уже разносят ветры? Воистину такое спасение «любой ценой» может дать лишь один результат: довершить беду, превратив ее в необратимую катастрофу для людей, земледелия, остатков заповедной природы...

ЧЕРНИЧЕНКО Ю. Д., секретарь правления Союза писателей СССР, публицист.

Кажется, экономисту Л. И. Абалкину принадлежит новый термин «васькизм» — «Васька слушает да ест». Это очень часто встречающаяся ситуация в сегодняшней общественной, политической жизни. Прежде ему нечего было слушать, цензура затыкала рот, теперь же он внимает критике, но ест по-прежнему с большим аппетитом. Три года все громкогласно говорят, что Минводхоз зарыл 130 миллиардов, за эти три года издержано еще множество миллиардов! Взять тот же канал Волга—Чограй. Я там был в комиссии, но до наших подписей (я не

подписал!), оказывается, 50 миллиончиков уже истрчено, канал роют, техника занята. «Васькизм»! Если сейчас мы эту теорию не расшифруем, если методологию «васькизма» не предадим гласности, не назовем его выдающихся мастеров, то свобода мнений, плюрализм, просто не для нас, нам нужно оставаться при монополии ведомств!

Цена воды и земли — это ныне главная опасность для «васькизма». До тех пор не будет ничего, пока действительно каждая капля воды не будет ценной, а каждый гектар — бесценным. Проблема давняя, с бородой — и статьи уже выходили, и телепередачи, и даже фильмы. И все ни с места! Скрипучая машина торозит платность ресурсов умело. Минводхозу в сто раз выгоднее быть благодетелем, милостивцем и — поглотителем миллиардов. Саботаж осознан и по-своему логичен: при плате за воду все стало бы с головы на ноги. Мне в прошлом месяце довелось быть в долине Сан-Хоакин, самой большой долине в Калифорнии. Там вода делает чудеса, помогая выращивать очень вкусный миндаль, виноград, фишашку и хороший хлопчатник. И оказывается, нет никакой необходимости в дренаже, в отводе грунтовых вод, потому что вода дорога, до 300 долларов в сезон за акр, и никому в голову не приходит поливать больше, чем нужно растениям, никто и не помыслит прудить в пустыне озера бросовой воды. Ведь наша Средняя Азия — страна озер! Спровоцированных озер! А если избиратели Каракалпакки решатся пожаловаться в нынешний Верховный Совет в Москву на «каракумскую Карелию», на осушение Амударьи, на соляные ветры с новой пустыни Аралкум, то жалобы попадут депутату Васильеву, министру водхоза, который считается избранником каракалпаков, и депутату Израэлю, начальнику Госкомгидромета, тоже как бы посланцу Приаралья. Только наш парламент может держать таких депутатов.

Теория клада — она стоит рядом с «васькизмом». Я был пионером «под сапотом всех вождей», когда очень широко, всенародно культивировался вот такой подход: клады лежали веками, природа таила их, у царизма были коротки руки, а вот пришли большевики — и сейчас начнется! Взять сокровища у природы — наша задача. «Аж за Байкал отброшенная, откатится тайга», — читаем у Маяковского. Что взято, то свято, отвечать не перед кем — это теория оккупанта, воцарившегося на некоторое время. Он вынужден скорее хватать, радоваться кладу, хапать и уносить ноги, потому что может явиться не к то и поколотить.

Литература долго, энергично и вдохновенно распространяла эту теорию даровых ничейных сокровищ. Даже у Паустовского поэтичнейшая его вещь «Кара-Бугаз» в основе своей имеет теорию никчемного, пустого, лежащего в забросе богатства. До большевиков и хозяев не находилось. «Набросимся!» Набросились...

Если в сегодняшней нашей литературе мы не противопоставим этой теории «клада» теорию бережливости, теорию скупости, теорию действительно невозобновимого ресурса, то грянет даже большая беда, чем видим сейчас. Что вывозим? Что распродаем? Нужна общественная «проходная» против ведомств «несунов», мы обязаны поставить под национальный общественный контроль экспорт.

В 1918 году поэт Максимилиан Волошин провидчески написал:

А вслед героям и вождям
Крадется хищник стаяй жадной,
Чтоб мощь России неоглядной
Размыкать и продать врагам:

Сгноить ее пшеницы груди,
Ее бесчестить небеса,
Пожрать богатства, сжечь леса
И высосать моря и руды.

Поражает детальная точность: будто специалист по экономической географии рассказывает, что, где и когда. Мы сейчас вывозим 200 миллионов тонн нефти ежегодно. Дело не в том, что у самих стоят трактора и комбайны с пустыми баками, на то мы такую пропасть машин и делаем, чтобы они стояли. Мы ведь производим тракторов в 6,5 раза, комбайнов в 16 раз больше, чем Штаты, но хлеб покупаем у них. Мы живем с базара. С какого? Международного. Национальное достояние растрывается по методике, описанной Волошиным, а потом берется заем у природы — дальше, больше, дороже... Ведь чтобы получать методически, уже двадцать пять лет, «их» хлеб, мы должны отправлять на западные

рынки тюменскую нефть. Это методика переброски: раз нужно оттуда, необходимо и туда. Как с каналом из волжской дельты: раз нужно перекачивать в Чограй, в Калмыкию, то надо подать и в дельту. Значит, заем из Сухоны неотвратим, государство поневоле вернется к переброске северных вод! Методика распродажи чужого...

При чем тут литература, это ведь дело парламента! — возражают писателям наши западные коллеги. Зачем очерки, статьи и фильмы, когда избиратели теребят своего парламентского представителя, тот делает запрос правительству, поправка к закону — и дело с концом, никаких книг-очерков: А нарушат поправку — будет суд, адвокаты потянут во Дворец юстиции.

Да, существует суд как способ решения споров. Если мы живем в правовом государстве, мы обязаны не говорить споры кончать, а решать вполне официально, юридически: мы имеем дело либо с чьим-то преступлением, либо с чьей-то клеветой. Но вот и я хочу попробовать сейчас как неудачливый член комиссии по каналу Волга—Чограй обратиться в суд, в обыкновенный районный народный суд города Москвы, где расположена главная контора Минводхоза РСФСР, с иском о 50 миллионах: почему они истрачены до завершения споров ученых и общественности? Разве это не отставание науки, не монополизм? Разве это не растрата: ведь проекта еще нет, а денег уже нет!

И наконец, как Минводхоз сорит народы. Я немало поездил по Приаралью. Ярость у туркмен и узбеков, жителей оазиса Хорезмского, по отношению друг к другу чудовищная. Никогда еще не было такой. Если у хана хивинского кто-то вздумал бы шалить и выливать отравленные воды назад в канал, из которого внизу пьют люди, расправа была бы короткой: палки, плети заподозренным в пакости — и примерное отстранение от ханской службы двух-трех недалевидных беков. Мягкие места нарушителей были бы обработаны так тщательно, что с водохозяйственным хулиганством было бы покончено раз и навсегда. Но пороть сейчас директора совхоза бессмысленно, казнить на площади секретаря обкома незачем, поскольку они будут думать, что жертвуют собой, своими ягодицами и шеями за идею туркменского благополучия. Пороть нельзя (демократия!), но отдать 200 чужих миллионов рублей за обводной канал по пескам пустыни, канал, смысл которого только в том, чтобы вода для Ташаузского оазиса Туркменистана не проходила через земли узбекской Хивы, а поступала прямым назначением! Следуя этому правилу, каждая республика должна иметь персональные железные дороги, свой воздушный флот и т. д. Я проехал почти двухсоткилометровой трассой этого канала и уверяю: нигде в мире нет более шизоидного с точки зрения логики «произведения». И никогда бы ни эмир бухарский, ни хан хивинский не допустили таких фортелей: они были менее феодалы, чем «министерство канализации».

КУРОЧКИНА Л. Я., заведующая лабораторией Института ботаники АН Казахской ССР, доктор биологических наук.

Экспедиция «Арал-88» прошла успешно. Прежде всего потому, что ей сопутствовала гласность. Экспедиция провела экологическую экспертизу. Было взято множество интервью не только у жителей и ученых, но и, образно говоря, у самой природы. Такого экспедицию с бассейновым подходом могли провести именно литераторы, и они в этом отношении, думаю, были лучшими экологами, чем иные экологи-профессионалы.

Вслед за Аралом в Казахстане грядет еще одна катастрофа. Она может оказаться даже большей, нежели аральская. Это катастрофа Прикаспия, назревающая из-за нефтегазодобывающей промышленности. Сейчас планируется трехсоткилометровая дамба по Каспийскому морю, огораживающая нефтепромыслы. Но разве можно бороться с морем и его приливами? Это будет, пожалуй, второй Кара-Богаз-Гол, а то и похуже. Перелетные птицы гибнут там тысячами. А это уже, как вы понимаете, задевает экологию и других континентов.

ТИМИРБАЕВ Т., первый секретарь Муйнакского РК КП Узбекистана.

Наверное, трудно встретить такой район или такое место, которое за столь короткое время в геологическом исчислении, буквально за одно мгновение, изменило бы свой внутренний и внешний облик. Аральская проблема, возникшая вна-

чале как Экологическая, быстро переросла в проблему человеческую. Нам в Муйнакском районе стало трудно жить, работать и хозяйствовать. Море на глазах у двадцатипяти тысяч населения района продолжает медленно умирать. Берег от центра сначала острова, затем полуострова Муйнак, а в данный период уже от материка ушел уже на пятьдесят километров. Хладнокровно переживать эту трагедию просто невозможно.

Поддерживаю предложение, высказанное в отчете экспедиции: необходимо объявить Муйнакский район, Аральский район и Казалинский район зонами экологического бедствия и незамедлительно в обязательном порядке направить в эти районы соответствующие медикаменты, продукты питания, решить проблему снабжения.

Нам нужна экстренная помощь.

РЕЗНИКОВСКИЙ А. М., заведующий лабораторией института Энергосеть-проект, профессор, доктор технических наук (Москва).

Я хотел бы конкретизировать то, о чем говорил доктор Турсунов, и предложить в соответствии с правилами пользования ресурсами водохранилищ следует ввести лимит водопотребления по режиму маловодного года, снизив норму на 20 процентов. Такая мера позволит получить для Аральского моря дополнительно и без особого ущерба сельскому хозяйству до 15 кубокилометров воды.

Реки Средней Азии образуются за счет водяного пара, в основном атлантического. Этого пара над Средней Азией проходит 2700 кубокилометров в год. А в Аральское море попадает в естественных условиях лишь 80 кубокилометров, то есть 3 процента от общей массы. Надо подумать, а нельзя ли интенсифицировать выпадение осадков в осенне-зимний период в горах Средней Азии и тем самым увеличить сток среднеазиатских рек, сделать этот сток каждый год многоводным.

Существующий опыт мировой и советской (в Советском Союзе такие работы ведутся больше тридцати лет) показывает: технические средства активных воздействий у нас есть и применение их даст возможность увеличить сток рек на 20 процентов в год. Это соизмеримо с тем количеством воды, которое получит Аральское море к концу века в соответствии с недавно принятым постановлением ЦК. Удельная стоимость оперативных работ по воздействию на облака не превышает 3—4 миллионов рублей за кубический километр воды. Это на три порядка дешевле, чем стоимость кубометра воды по проекту переброски части стока рек из Сибири в Азию.

В интервью газете «Правда» Ю. А. Израэль на вопрос корреспондента об этой идее ответил, что пока рано говорить об активном воздействии на осадки в масштабах, обеспечивающих существенное пополнение Арала. Я думаю, что Юрий Антониевич не прав. Эти работы надо было начать еще лет пятнадцать назад. Юрий Антониевич не хочет этими работами заниматься. Но это неверная позиция.

Все разговоры о спасении Арала без обеспечения финансирования останутся разговорами. Поэтому я предлагаю записать в нашем решении: просить Совет Министров СССР выдать межотраслевой государственный заказ соответствующим организациям на спасение Аральского моря.

ДОРОДНИЦЫН А. А., академик АН СССР (Москва).

Сегодня уже собран обширный и убедительный материал о пагубных последствиях перекрытия Амударьи. В 1971 году, еще до окончания строительства плотины, я пытался прогнозировать последствия этого мероприятия. Мой прогноз был далеко не оптимистическим, но действительность, к сожалению, оказалась еще хуже.

Теперь перед нами стоит уже другая задача: не накапливать информацию о печальных фактах, а принимать решения об их устранении, при этом решения нужно принимать самые срочные. Одно из них напрашивается само собой: открыть плотину и дать Амударье свободный доступ к Аральскому морю.

Конечно, эндемичную фауну Аральского моря уже не восстановить. Думаю, что шиги сохранились сейчас лишь в некоторых зоологических музеях в виде чу-

чел, но если удастся восстановить тот десяти-пятнадцатиметровый верхний слой пресной воды, который существовал на Арале сотни тысяч лет, то изобилие судаков и сомов огромных размеров, которыми так славен был Арал, в принципе восстановить еще можно.

Меня удивляет, что о таком естественном решении не говорят. В чем дело? Честь мундира пострадает? Конечно, вопрос требует изучения, но его нужно прорабатывать.

Второй, более общий вопрос, на котором я хочу остановиться: умеем ли мы извлекать уроки из тяжелых последствий нашей собственной деятельности? Каракумский канал ничему не научил. Перефразируя Гераклита — все течет, но ничто не меняется. Не далее как в прошлом году нас попросили проанализировать (с точки зрения воздействия на окружающую среду) проект освоения литорали Балтийского моря для добычи нефти. Нам предъявили том проекта, толщина тома не менее десяти сантиметров. А вопросу защиты окружающей среды было отведено полторы страницы. Никаких расчетов, никаких цифр! Все содержание этих полутора страниц можно передать одной фразой: «Все хорошо, прекрасная маркиза». А ведь этот район шельфа непосредственно примыкает к заповедной Куршской косе!

Сейчас литовским товарищам удалось задержать осуществление проекта. Но пройдет некоторое время, раздел о влиянии на окружающую среду с полутора страниц расширится до трех — и все начнется снова. Ведь нефть — это валюта.

А дальневосточные лесоразработки? Теперь у нас уже создана ассоциация «Экология и мир». Я бы очень советовал членам ассоциации внимательно ознакомиться с тем, как ведутся лесоразработки в этих реликтовых лесах.

И последний вопрос. В статьях, которые написаны об Арале и в газетах и в журналах, намечается тенденция: превратить Рашидова в козла отпущения. Чем опасна такая тенденция? Она позволяет уйти от ответственности другим — непосредственным виновникам безобразий, происходящих с орошением.

ЗАЛЫГИН С. П., главный редактор журнала «Новый мир», писатель.

Очень часто приходится слышать, что мы дилетанты, не понимаем дела, суемся не в свои проблемы. Но вот что я хотел бы сказать. Почему же ни одно министерство, ни одно ведомство не организовало вот такую же группу и такую же поездку, такую же экспедицию, как наша? Потому что ведомство ничего, кроме своих интересов, знать не желает. И естественно, оно заинтересовано, чтобы никто, кроме его собственных представителей, не ездил в большие районы. Ответственность же в подавляющем большинстве случаев оказывается права, поскольку для того, чтобы отличить здравый, нравственный поступок от поступка безумного и безнравственного, каких-то особых, специальных знаний, особой подготовки не требуется.

Думаю, если доходит дело до такого всплеска общественной мысли, общественной тревоги, который мы сейчас наблюдаем, значит, дело обстоит очень плохо. Наш терпеливый народ чего только не вынес. И если сейчас на каждом углу мы говорим о наших бедах, значит, дальше мы действительно терпеть уже не можем. Все! Потенциал нашего терпения исчерпан. Что-то надо делать. Мы должны прежде всего определить, кто виноват. Почему-то часто думают, будто мы крови хотим мести. Нет, не в этом дело. Мы против безответственности, против того, чтобы авторы проектов, приносящих ущерб и потери народу и народному хозяйству, оставались безымянными. Ибо чем надежнее безымянность, тем безответственнее можно действовать.

Я не однажды уже говорил о том, что Минводхоз совершает государственные преступления. Повторяю это и сейчас. И не раз предлагал — если я не прав, меня можно привлечь к уголовной ответственности. Рассудим открыто, на чьей стороне истина.

Два-три года назад я впервые поднял вопрос о цене на воду. Мне ответил в «Литературной газете» министр водного хозяйства Васильев. Он обвинил меня в полнейшей безграмотности и утверждал, что отсутствие цены на воду — это величайшее достижение и преимущество социализма. Сегодня этот деятель высту-

пает уже за введение такой цены. Спрашивается: что можно ждать от человека, как можно ему доверять, если он вчера говорил одно, а сегодня прямо противоположное? Кстати, а что сделал Минводхоз для введения цены? Да ровным счетом ничего, значит, и последнее заявление Васильева не более чем камуфляж.

С некоторых пор в нашем сознании произошел перелом в силу тех причин и обстоятельств, которые мы недавно пережили, — понятие «идея» было у нас подменено словом «идейность»! Мы забывали, что такое идея, зато говорили: «идейный человек». И все ему прощали, любое преступление. «Идейность» как бы освобождала человека и в его собственных глазах, да и в глазах общества, от самых обыкновенных, элементарных нравственных понятий. Нам нужно возвращаться к человеку идейному, но такому, которого его идейность не освобождает от элементарных, изначальных, вечных понятий нравственности и здравого смысла, представлений о том, что такое благо, а что такое вред, что такое хорошо, а что такое плохо. Мы вырастили целое поколение людей, которые этого не понимают. И, к сожалению, некоторые из этих людей до сих пор руководят нами и, похоже, собираются продолжать делать это и в будущем.

Вы посмотрите, до чего дошло дело, если еще два-три года назад ни одного слова о деятельности Минводхоза нельзя было написать в печати, потому что нужна была виза того же самого Минводхоза! А живи мы при гласности уже лет десять—пятнадцать, да разве бы случилось то, что мы сейчас видим? Мы давно бы знали, что происходит, и действовали бы в соответствии со своим знанием. Разве не преступление перед обществом такое вот умолчание, такая цензура? Может быть, Минводхозу цензурные его обязанности кто-то когда-то навязал? Да ничего подобного! Он сам себе их присвоил.

Вот сегодня у нас выступал представитель Минводхоза. Товарищи, ведь это же детский лепет! Это же только для того говорилось, как я понял, чтобы потом доложить своему министру: «Вы знаете, я говорил... я защищал... я там произнес...» Неужели у человека не нашлось минуты, чтобы как-то объяснить создавшееся положение изнутри ответственного министерства? Ведь это же страшно! В Министерстве мелиорации занято почти два миллиона человек. Это когорты людей с чиновничьим мышлением!

Мы сегодня видели фильмы. И меня больше всего поразили лица людей, какалалаков. Мужественные люди, они живут в пустыне. Им совсем немного надо для жизни, они ничего не требуют, только воды, которая была и которую у них отняли. Они так мало требуют от нас, от своего общества, от своего государства. От нашего сегодняшнего социализма. Они просто хотят жить нормально, по-человечески, хотя бы даже так, как жили их отцы.

Нам, экологам, приходится начинать сейчас с нуля. Нет, даже не с нуля, а с какой-то отрицательной величины, чтобы продвигнуться вперед. Абсолютное значение этой отрицательной величины потерь в природе мы до сих пор не знаем и потому не представляем, какой именно путь нам следует преодолеть, дабы устранить препятствия, мешающие нам заниматься нашим истинным делом. Мы же ведь не занимаемся делом до сих пор. Мы занимаемся только устранением тех препятствий, которые мешают нам заниматься делом. И наш небольшой пример такой общественной работы — наша экспедиция «Арал-88» все-таки что-то значит. Все эти наши маршруты, встречи, разговоры, общественные организации вроде «Экологии и мира», где мы не имеем ни одной штатной ставки. В то время когда у министерств миллионы этих ставок.

Я не очень верю, говорю откровенно, в скорый и положительный результат нашей деятельности, нашей экспедиции. Мой опыт последних лет показывает, что обольщаться не следует. Но не надо быть и пессимистами. Уверен: пока у нас есть общественная энергия и гражданское сознание, мы не можем поступать по-другому. Иного выхода у нас нет. И, руководствуясь этим сознанием, мы будем и дальше продолжать нашу борьбу.

Материалы «круглого стола» подготовили
С. НИКОЛАЕВ и Г. РЕЗНИЧЕНКО.

ВАСИЛИЙ СЕЛЮНИН



ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ

В меня хорошая новость, читатель: Сырдарья и Амударья впадают в Аральское море. Сам видел с самолета, сам пошлепал ладошками по воде — впадают, как и положено по географии. В последнее десятилетие это случается не часто, только в многоводные годы. И хотя разум осознавал, что немошные, ленивые струи не напоят море, впервые за эти недели отпустило сердце, притупилась тревога. Наверное, у каждого бывало в детстве: натворишь непоправимое и хоть вешайся — что же мне теперь за это будет? Пусть придет чудо, пусть станется, что мне это приснилось. В младости так оно в конце концов и выходило. В нашем возрасте чудеса перестали случаться.

Надо идти навстречу беде. Кто бы и как бы ни заварил тюрю, расхлебывать нам с вами — мы в ответе за все, что произошло при нас. А для начала предстоит оценить масштабы бедствия, стало быть, и объем предстоящей работы.

В старой книге, не помню теперь какой, вычитал однажды: в период расцвета страна рождает певцов и героев, в период упадка — чиновников и много пыли. Почему пыли? При чем тут пыль? Слово затесалось в максимум вроде как не из той кассы. Но нет, не ошибся мудрец. От Арала осталась, считай, половина, и с обсохшего дна, как утверждают ученые, поднимается 75 миллионов тонн мельчайших частиц песка и соли в год. Участились песчаные бури. От них не укрыться, не убежать — пыль забивает глаза, уши, дыхалку, ее не успеваешь отхаркивать, она проникает в наглухо закрытые окна домов, в салон машины, губит на корню все живое.

На стыке великих пустынь Каракумы и Кызылкум рождается третья, получившая уже имя — Аралкум. Пыль и пески приканчивают город Аральск. Без малого половина его жителей разбежалась — ушло море. Нависла над песками на века построенная пристань. Поникли клювы порталых кранов. Громадные корабли, выстроившись гуськом, бороздят киями песчаные волны. Так что же нам за все это будет? Мужайся, сердце. Прямо сейчас предстоит выслушать, что скажут нам глаза в глаза уцелевшие жители сего града Китежа навыворот.

Ветеран войны Утебай Келимбетов:

— А нас кто-нибудь спросил, согласны ли мы жить без моря? Девять тысяч девятьсот мужчин ушли из нашего города на войну, половина не вернулась. Так то война. А теперь за что люди гибнут? Мне восемьдесят лет, успею умереть, где родился, а другие?

Худайберген Засекенов, краевед:

— В нашем краю был в ссылке Тарас Шевченко. Оказывается, он в раю жил — рос камыш, была рыба. Деревья сажал, и прижились. Теперь засохли. Мы как в концлагере, только колючей проволоки нет.

Будат Альсейтов, врач:

— Из тысячи новорожденных сто умирают, не прожив года. Стали рождаться уроды. Какие? Разные. Без анального отверстия. С укороченным кишечником. С врожденным слабоумием. Без одной конечности. Без черепа — в лицевой части кости есть, на затылке кожа, и все. Я здесь двадцать три года, раньше этого не было...

Мы еще разложим горести по полочкам, не отмахнувшись ни от одной, — пока тут все свалено в кучу. Однако мужайся, сердце, до конца, мы едва еще начали инвентаризацию свалившегося на нас наследства. Гибель Арала — не вся беда, а лишь малая ее толика. Все видят: было море — и вот исчезает. Не столь заметен постороннему более грозный процесс: деградирует среда обитания 30 миллионов человек, населяющих Среднюю Азию.

Перед отъездом в экспедицию я имел обстоятельную беседу с первым заместителем министра мелиорации П. А. Полад-заде. Он заверил:

— Вы не найдете в Средней Азии площадей, окончательно погубленных. Неблагополучные земли есть, однако ни одного орошаемого гектара не списано.

Докладываю читателям, что это неправда. В одной Кызыл-Ординской области списано 28 тысяч гектаров, или десятая часть орошаемых земель. В Каракалпакии выпало из оборота 100 тысяч гектаров — каждый пятый поливной гектар. Сам видел эти земли с самолета, походил по ним, пощупал, попробовал на зуб — на них во веки веков чего-либо полезного не произрастет, голая соль. Бросовые затраты государства и хозяйств только в двух областях близки к миллиарду рублей.

Это бы еще ничего. Хуже, что на миллионах гектаров уровень соленых грунтовых вод поднялся с прежних 30—50 метров до критических отметок — где полтора метра, где метр, а где и того меньше. Деревья на той земле гибнут — их корни проникают в мертвый слой, и сразу засыхают верхины, соль выступает на ветках. Хлопок, арбузы, овощи пока растут — у них корешки покороче. Но все равно плодородие поливных земель падает. В 1976—1980 годах с гектара брали по 28,1 центнера хлопка, в следующем пятилетии — по 25,6, в 1987 году — меньше 23 центнеров. Урожай кукурузы упал за десятилетие с 48 до 40 центнеров. Да и такое, в общем-то, скудное плодородие поддерживается крайней мерой: приходится промывать почву, причем делать это надо постоянно, чтобы подушка пресной влаги давила соленую воду, не давала ей выйти на поверхность.

Вода, истраченная на полив и промывки сверх меры, стекает в низины, будучи уже соленой и ядовитой. Удручающее зрелище — Средняя Азия с самолета! Аральское море не исчезло бесследно, оно разлито теперь по всему региону. Возникли дикие моря. Мы побывали на Сарыкамышской впадине, это к западу от Арала. 5 миллиардов кубометров мертвой воды стекает сюда ежегодно. С аэроплана «аннуншка» другой берег не виден — чем не море? Садимся и пробуем подойти к воде — нельзя, топкое соленое болото. А на нем ни камышинки, ни бубочки — земля пропитана ядами. Кое-где пробивается бурая солянка — это растение способно прозябать хоть в банке с купоросом. 40 новых озер столь велики, что удостоились названий. А которые помельче — кто их считал? Средняя Азия — это губка, пропитанная соленой влагой.

Безмерные поливы вымывают из почвы гумус. Его приходится компенсировать ударными дозами удобрений. Земля стала банги (наркоманом, по-нашему), без химии не родит. И в довершение бед, когда десятки лет сеют хлопок по хлопку, неудержимо плодятся сорняки и вредители. Их глушат ядами. Если в целом по стране на гектар пашни расходуют два килограмма химикатов, то в Средней Азии — около 50.

Земля в беде, у последнего предела. Если дальше так хозяйничать, нетрудно рассчитать, когда люди очутятся среди марсианского пейзажа.

1

С самого начала была выбрана порочная стратегия освоения новых земель. Так считает, так говорит, так пишет Л. В. Эпштейн. Человек он заслуженный, в регионе известный, да и пост занимает видный — начальник отдела комплексного использования водных ресурсов в ведущем проектно-институте с трудным названием Средазгипроводхлопок. С болью и тревогой сообщает Лев Владимирович через журнал «Звезда Востока» (1987, № 12) о том, что крупные массивы вводились без добротного дренажа, с примитивной водоразводящей сетью, а староорошаемые земли тем часом вообще приходили в упадок. «И не вина, скорее беда Министерства мелиорации и водного хозяйства в том, что были допущены диспропорции между освоением новых земель и водосберегающей реконструкцией систем на староорошаемых землях». Что же касается Арала, то еще в 1949 году институт предупреждал правительство о возможной печальной его судьбе.

Что ж, примем это мнение за рабочую гипотезу. Ирригаторов сегодня только ленивый не костерит, а к фамилиям руководителей Минводхоза за их страсть к переброскам и каналам досужие остроусловы прилаживают титул Канальский (как Семенов-Тянь-Шанский или Муравьев-Амурский). И если впрямь хотя бы в среднеазиатском регионе у работников министерства и его институтов прочное алиби, то я первый готов тому порадоваться. Но здесь нам придется засесть за архивы.

В конце 60-х Минводхоз поручил институту Средазгипроводхлопок составить схему комплексного использования водных ресурсов бассейна Аральского моря. Этот основополагающий документ передо мною. Проектанты предложили довести площади

орошения к 1990 году до 10 миллионов гектаров, а в перспективе аж до 23,5 миллиона (столько поливных земель нет сегодня во всей стране). Откуда взять воду для исполнения таких сногшибательных замыслов? У ирригаторов тут был выбор, причем выбор стратегического свойства. Без малого 5 миллионов гектаров, то есть 90 процентов всех используемых в ту пору площадей, находилось в районах относительно старого орошения. На каждый гектар здесь лили 22 тысячи кубометров воды в год (слой в 2,2 метра высотой), что по крайней мере вавое больше разумной нормы. Вывод напрашивался сам собой: привести эти земли в порядок и таким образом спасти их от деградации, а сбереженную воду расходовать на новых массивах. Простенький расчет показывает: в этом случае удалось бы, ни на литр не увеличивая потребление воды, дополнительно освоить еще 5 миллионов гектаров.

Рассмотрев этот вариант, авторы схемы отвергли его. Дело в том, что в ту пору Минводхоз начал проталкивать «проект века», то есть переброску сибирских рек в Среднюю Азию. Проектировщикам велено было доказать, что своя вода в регионе скоро совсем кончится. Поэтому реконструкцию земель они отложили на четверть века — все средства следовало направить на новое освоение. В этом случае вода обеих великих рек, впадающих в Арал, была бы разобрана уже к 1980 году, еще через десятилетие не доставало бы примерно 5 кубокилометров, а на 2000 год запланирован дефицит 44 куба, каковые и намечалось подать из Сибири.

С сознанием хорошо исполненного долга авторы передали проект своему министерству, однако заказчика нисколько не удовлетворили. Минводхоз вернул схему на переработку. Что же не поглянулось начальству? Руководство отрасли сочло, что слишком маленькие грядущие дефициты воды заложены в схему — ради каких-то жалких 44 кубокилометров переброску могут и не начать. Как простодушно объясняется в переработанном варианте, министерство подсказало, каким образом этот дефицит можно увеличить: надо отнестись реконструкцию старых земель (значит, и сбережение воды) не на четверть века, а лет на сорок. Так проектировщики и поступили, доложив по команде, что теперь «собственные водные ресурсы бассейна будут исчерпаны в период 1975—1980 гг., дефицит в 1980 г.— 2,2 кубокилометра, в 2000 г.— 83,2 кубокилометра», а не 44 куба, как предусматривалось прежде. По максимальному варианту разработчики предложили перебрасывать из Сибири 210 кубокилометров, что равно всему стоку Оби в ее низовьях.

Между прочим, сегодня авторы и инициаторы «проекта века» жутко обижаются, когда их называют поворотчиками: помилуйте, какой поворот сибирских рек — речь-то шла всего-навсего о 30 кубокилометрах. Но, как говорили древние, письмена остаются. Хотя бы и упрятанные в архивах. Великая заслуга общественности в том, что, надеюсь, забит осиновый кол в проект поворота. Во время дискуссии много говорили об экологических последствиях переброски для Сибири. Земля вдоль Оби я не раз видел с самолета и ногами по ней походил. Может, и не было бы беды, если изъять оттуда часть стока, судить не берусь. Но что в Средней Азии произошла бы катастрофа, это теперь ясно. Если хищническое использование местных водных ресурсов губит край, то можно представить себе, к каким последствиям привело бы исполнение «проекта века»; ведь 210 кубокилометров — это два годовых стока Амударьи и Сырдарьи, вместе взятых.

Схема детально рисует перспективы использования пришлого богатства: тысячи и тысячи километров каналов избородят Среднюю Азию вдоль и поперек, вода поступит к нагорьям на высоту 480 метров, в верховья великих рек, на Мангышлак, к южным берегам Каспия... Здесь пришлось остановить полет фантазии — карта кончилась. При всем том Аралу не посулили и литра, поскольку, как сказано в схеме, «уменьшение площади Аральского моря или его полное исчезновение не вызовет изменения макроклиматических условий в сторону их ожесточения, а, наоборот, можно ожидать изменения в сторону комфорта, особенно в южных районах».

Пора назвать авторов. Схему составил главный инженер проекта К. Ракитин, написал главный инженер института Л. Литвак. Это был их звездный час — оба круто пошли в гору. Константин Алексеевич Ракитин из скромного проектанта вырос в первого заместителя председателя Госкомводхоза Узбекистана. Лев Семенович Литвак поднялся до поста начальника Главного технического управления Минводхоза СССР — заправляет, стало быть, технической политикой мелиорации в стране.

В начале 80-х общественность стала выступать против проекта переброски. По тем

временам это было необычно, и Минводхоз решил упредить нежелательные события. Тогдашний заместитель министра Б. Г. Штепа поручил тому же Средазгипроводхлопку в экстренном порядке разработать проект, который «побуждает к осуществлению заблаговременной подготовки к полноценному использованию сибирской воды и предопределяет соответствующие темпы строительства новых систем». Новые земли, изнывающие в ожидании пришедшей влаги, стали бы козырной картой в азартной игре поворотчиков. Институт послушно исполнил приказ, запроектировав удвоить площади орошения, воды для которых в регионе уже не было. Чем же поливать их в течение двадцати пяти — тридцати лет «переходного периода»? А оказывается, соленой водой, однажды или дважды уже использованной. Люди опытные, специалисты института, разумеется, понимали, какая авантюра затеяна, и честно предупредили: «Использование минерализованных вод может привести к серьезному мелиорационному неблагополучию, последующее устранение которого потребует значительных затрат труда, средств и ресурсов, в первую очередь водных». С приходом гласности удалось притормозить реализацию проекта — иначе «переходный период» стал бы для региона переходным с этого света на тот.

Мне опять осталось назвать авторов этого поистине безумного предприятия: главный инженер проекта Г. М. Дегтярев, начальник отдела института Л. В. Эпштейн. Да-да, тот самый Лев Владимирович Эпштейн, который так убедительно критикует теперь гонку за новыми площадями, усматривая в том, однако, не вину, а всего лишь беду родного ему Минводхоза. Впрочем, не он один доказывает фальшивое алиби. С К. А. Ракитиным мы изрядно поколесили по Средней Азии, вместе сокрушались, глядя на порчу земли. Сегодня Константин Алексеевич не считает, что жить без Арала гораздо уютнее. Напротив, он издаёт вздохи, едва разговор заходит о бывшем море, и достаточно твердо поносит блузороуких, но, правда, безымянных деятелей:

— Они забывали проводить мероприятия, компенсирующие усыхание Арала.

Да и другие перестроились. А напомнишь о документах, ими составленных, — человек поглядит на тебя с мягким укором: вот, мол, сидели милые, интеллигентные люди, вели милый, интеллигентный разговор касательно некоего, как бы сказать, экономического нонсенса, и какая, право, жалость, что один из собеседников оказался дурно воспитанным и перешел на личности.

Давайте-ка напрямик. Не знаю уж как там в общефилософском смысле, а в этой истории роль личности велика. Приговор Аралу подписали К. Ракитин, Л. Литвак, Г. Дегтярев, Л. Эпштейн. Их имена стоят под еще более страшным приговором — всей среде обитания 30 миллионов человек. И пусть их подписи не единственные, пусть не главные, но они первые. Ведь руководители мелиоративного ведомства вправе сказать: мы верили нашим специалистам, мы только скрепляли подписями их проекты, сулившие скорые и обильные блага.

Отвага исполнителей повергает меня в трепет. О них хочется говорить торжественными словами, каковыми в свое время аттестовал себя их идейный учитель: это люди особого склада, они сделаны из особого материала, и нет таких крепостей, которые они не смогли бы взять. Арал так Арал — побоку его. Обь на глаза попалась — повернуть ее в тартарары. Великие реки отравлены — туда им и дорога. За душой ничего святого, заветного. Прикажите — и устремятся куда глаза глядят.

Негоже, однако, сводить причины катастроф к невысоким нравственным качествам исполнителей. Надо понять главное: отчего именно они оказались вершителями судеб региона, какая сила подняла их?

На мой взгляд, принятая у нас отраслевая структура управления как важнейшая составная часть всей командно-административной системы может действовать лишь при условии, когда на всех ступенях иерархии подбирались работники, способные пренебречь государственными, общечеловеческими и какими угодно интересами, если они противоречат выгоде их конторы. Отраслевое управление давно выродилось в ведомственность. Нет больше единого организма экономики — он разъят, анатомирован хозяйственными министерствами, цели которых объективно противоположны в главнейшем вопросе — в дележе казенного пирога.

Много писано про непомерные аппетиты Минводхоза, вот и я свое словечко добавил. Но чего же вы хотите? Страсть к массивированному освоительству, каналам, переброскам — она что, у работника министерства врожденная, так сказать, влечение, род недуга? Что-то я не слышал, чтобы теперешний министр хлопотал о каналах, будучи

первым секретарем Белгородского обкома партии (и, говорят, дельным секретарем). Испортился в новой должности? Маловероятно. Ему поручена мелиорация, и чудно было бы ожидать, чтобы в Госплане, в правительстве, на сессии Верховного Совета он заявил: дайте нашей отрасли денег меньше, у страны есть заботы важнее. На моей памяти подобных речей не звучало. Любой министр считает свою отрасль важнейшей (а иначе что он за министр?) и рассуждает, если хотите, логично: я поскромничаю — другие захватят казенные денежки. А дальше любые ухищрения хороши, цель оправдывает средства. Поменяйте людей, обновите весь аппарат — будет то же самое.

В этих заметках Минводхоз — именованник. А завтра начнем разбираться с энергетиками, химиками, лесорубами, металлургами — вы думаете, другое обнаружим? У мелиораторов хоть удобная отговорка наготове: еще не всех переплонули по площадям орошения, в США таких земель больше. Возрази, что за морем мелиорация в согласии со своим назначением улучшает, а не губит земли, — их опять не смутит. Не постыдились же три ведущих ирригатора Средней Азии в ответ на обвинение в порче земель тиснуть в печати («Сельская жизнь» от 15 сентября 1988 года) завистливое рассуждение: «Кстати, в Индии, где из 65 миллионов орошаемых гектаров 12 миллионов га засолены и заболочены, правительство утвердило гигантскую программу работ, согласно которой до 2000 года будет орошено 50 миллионов га новых земель, а реконструировано 6 миллионов». Видать, авторы долго мотались по свету за казенный счет, пока сыскали подходящий пример для подражания. Превзойдут Индию — составят новую «гигантскую программу». Такова природа ведомства. Металла, древесины, станков, тракторов, комбайнов, нефти, газа, удобрений производим больше всех в мире — и что? Успокоились министерства? Умерили запросы к бюджету? В точности наоборот.

Пока есть ведомства, будет и ведомственность. Рубить ее надо под корень вместе с хозяйственными министерствами. Я, например, вообще не возьму в толк: чего ради существует Минводхоз? Одни его организации обводняют Каракумы, другие осушают белорусские болота — что у них общего? Какие такие хитрые связи между ними, что иначе их и не наладить кроме как через кабинеты на Ново-Басманной? Начальники этих организаций встречаются-то, может, раз в году на каком-нибудь совещании, но у тех же ирригаторов Средней Азии живые контакты с заказчиками, с металлургами Магнитки и Новокузнецка, с цементниками, с поставщиками леса. Никому, однако, еще не пришло в голову объединить всех их в суперминистерство. Достаточно, если партнеры станут договариваться между собой, не испрашивая на то позволения из столицы. Такой порядок — составная часть экономической реформы, о которой мы много и умно говорим, только дела пока не видно.

Так что же, ведомство мелиорации виновно во всем? Так, да не так. Оно, конечно, обладает разрушительной мощью, однако же не всесильно. И маленький, суетливый человек из этой заурядной конторы не очень похож на демоническую фигуру, которой по плечу учинить катастрофу едва ли не глобального масштаба. В предпринятом разыскании нужен мне фигурант покрупнее. Попробуем поискать его совсем в других сферах.

2

Разобраться в здешних делах крепко помог мне профессор Сайдирахман Мирзаев, заведующий кафедрой Ирригационного института в Ташкенте. Спросишь — и на память выдаст цифру, давний факт. Я пробовал проверять за ним — зряшная трата времени. Его справки о людях, сколько-нибудь значительных, точны и остры. Словом, не себе-седник — находка для журналиста. И когда на представительном совещании в Ташкенте по аральской проблеме профессор взял слово, я схватился за блокнот.

— Арал погублен Каракумским каналом, — заявил профессор. — Туркмены теряют в нем восемьдесят процентов воды.

В Ашхабаде мы потом два дня разбирались со специалистами, считали так и этак — потери в самой магистрали составляют самое большое 18 процентов, что совсем неплохо даже для бетонированных каналов, а здесь русло земляное. Мы проехали и пролетели вдоль всей тысячакилометровой трассы, проплыли изрядный перегон на катере, побывали на головном сооружении, где амударьинская вода начинает свой путь в Туркмению, — никак, ну никак не мог канал погубить Аральское море хотя бы по той причине, что забирает он менее одной пятой стока могучей Аму. Однако эти

общеизвестные факты мало кого интересовали на данном симпозиуме — все равно виноваты туркмены.

Примерно через месяц мы попали на такое же совещание в Ашхабаде. Старый ирригатор Б. Ф. Дмитриенко, главный инженер ведущего проектного института, сообщил о сваре в Ташкенте. Не берусь описать ярость зала. Участники встречи потребовали, чтобы мы, приезжие журналисты, поклялись, что печатно опровергнем инсинуации в адрес Туркмении.

Еще недели через две — совещание в Душанбе. Председатель узбекского общественного комитета по спасению Арала писатель Пирмат Шермухамедов резонно заметил, что не стоило бы винить во всех бедах один Минводхоз, гораздо опаснее межнациональные распри. Писатель рассказал о встречах с руководителями четырех республик — все за спасение Арала, только начинать должны соседи.

Не подумайте худого — в каждой республике признают и собственные промахи, но примерно так: и у нас есть отдельные недостатки, а у них сплошные безобразия. Ситуация тревожная. Оно бы спокойнее отвернуться, сделать вид, что ничего такого не произошло. Только произошло ведь, и прятаться от беды не в наших правилах.

Сами участники дискуссий искренне полагают, будто спор идет о дележе воды — кто у кого ее перехватит. Однако во всем регионе и в каждой республике по отдельности воды сегодня мало сказать в достатке — в избытке. Истина всегда конкретна: сегодня, сейчас избыточное водопотребление — бич Средней Азии, ближайшая причина деградации земель. Подоплека распри иная. В последнем счете это варварская командно-административная система, способная всех перессорить в общем нашем отечестве. Она проста, как чугунный уют: предприятия республик складывают прибыль в общий котел, а центр делит ее потом по ведомствам и регионам пропорционально ширине начальнических глотков. Мы толковали уже, что ведомства хватаются за грудки на подступах к государственной казне. Руководители регионов умеют работать локтями не хуже. Это вульгарное, давно известное нам местничество во многонациональном крае принимает лишь форму, видимость, обличье межнациональных коллизий.

Принято противопоставлять ведомственность местничеству. Глубочайшее заблуждение! Тот же Минводхоз выколачивает деньги под проекты, которые намерен осуществлять не на Луне ведь, а в точно известных районах. Их начальники не менее страстно желают получить бесплатные капитальные вложения в свои «вотчины». Логика вещей бросает хозяина региона и хозяина отрасли во взаимные объятия, чтобы, облобызавшись, в две тяги опустошать казну. Общий знаменатель ведомственности и местничества — иждивенчество, презрение к общенародной выгоде. Поодиночке им несподручно. Руководитель региона ищет богатое ведомство, министр приглядывает себе сановного партнера, ногой открывающего двери в любые кабинеты. В этом смысле не имел себе равных достопамятный «хозяин» Узбекистана Шараф Рашидов. Кандидат в члены Политбюро, личный друг тогдашнего Генерального — это сразу давало ему фору перед конкурентами. Сегодня мы знаем, что он просто покупал людей, от которых так или иначе зависела дележка ресурсов. Да что там, он материально помогал вконец отошавшему семейству Брежнева. И в благодарность получал все, кроме разве что дубликатов ключей от банковских сейфов.

Он, Рашидов, и был инициатором, вдохновителем, толкачом неподъемной программы ирригации региона с перспективой орошения 23 миллионов гектаров. Разумеется, программа была ориентирована в первую очередь на Узбекистан — «вотчину» Рашидова. С таким прицелом замысел и проводили. Вот некоторые расчеты по статистическим справочникам. За 1971—1985 годы, то есть в период массового освоения новых земель, в Узбекистане вложено в мелиорацию 20,4 миллиарда рублей, в Таджикистане, Туркмении и Киргизии, вместе взятых, — 7,9 миллиарда. Сколько из этих денег освоено, а сколько присвоено, который уж год выясняют криминалисты. На душу населения в Узбекистане пришлось на этот период в 1,75 раза больше инвестиций, чем в трех других республиках.

Но, быть может, природные условия в Узбекистане более благоприятны для ирригации и деньги приносили здесь наивысшую отдачу? Нет, статистика отвергает такое предположение. Годовой чистый доход с рубля капиталовложений в Узбекистане составил 2,2, в Туркмении — 4,3, в Таджикистане — 4,9, в Киргизии — 11 копеек. Статистика оживает, когда видишь воочию, во что превратились народные деньги.

Мы на головном водозаборе Аму-Бухарского канала, о котором написаны повести, очерки и оды. Что ж, вполне XX век. Самая современная техника поднимает в два

приема 5 миллиардов тонн воды на умопомрачительную высоту. Канал протянулся на 233 километра, пересекая по пути два водохранилища. Проедем двести километров холостого хода и заглянем хотя бы в несколько хозяйств, ради которых строительное чудо создано. Председатель Кызылтепинского райисполкома Ш. Исламов везет нас в совхоз «70 лет Октября» и по пути рассказывает совсем другие чудеса. По проекту ирригаторов в районе освоили 11 тысяч гектаров и прекратили дело — не родит земля. 4 тысячи гектаров вконец засолились, их пришлось бросить. Остальное пока засевают, да что толку? Проектанты, правда, на многое и не рассчитывали: по их наметкам, надо получать по 15 центнеров хлопка с гектара. Больше 12 не выходило, а бывало и по 5 центнеров на круг. Во что обошлось освоение? Кто знает. Те деньги казенные, их не считали. Хуже, что хозяйства понесли 26 миллионов рублей убытка.

..Совхозный поселок Куюмазар на 45 семей. Для каждой построен отдельный коттедж. В домах газ, ванны, кондиционеры, рядом обязательно гараж. Но две трети домов брошены — во многих повыбиты стекла, квартиры заносит песком. Осталось 16 семей.

— И эти уедут, — предрекает хозяин одного из особнячков Халмурат Таиров. — Работа ёк, а за так деньги не платят. Хотели здесь растить виноград, только оказалось, что на метровой глубине лежит камень. Гибнут виноградники.

Однако здешняя строительная опупея — мелочишка сравнительно с двумя миллиардами рублей, вложенными в освоение Каршинской степи. Это, говорят, было любимое детище Шарафа Рашидова. Он отобразил освоение массива в романах и иных жанрах, в кои-то, как тонко подметил бывший вице-президент АН СССР П. Н. Федосеев, «художник, теоретик и публицист выступают в неразрывном единстве». В качестве композитора, либреттиста и балетмейстера он, честно говоря, в единстве не выступал, это за него сделали другие, сочинив по его книгам балет на водохозяйственную тематику. (Кстати, странная вещь: почему-то все деспоты, начиная с Нерона, воображают, будто необычайно сильны в искусствах.)

Итак, Каршинская степь. Описанный выше Аму-Бухарский канал в подметки не годится Каршинскому. Мощности, равные половине Днепрогэса, шесть последовательно расположенными насосными станциями поднимают воду на высоту небоскреба. На одной из них с самоуверенностью дикаря начертано: «Мы покорили тебя, Амударья!» Что правда, то правда — отъятая у реки вода переброшена на триста километров. А урожай рекордно низкие по республике — земля не та.

Не поленимся, глянем на сотни тысяч освоенных гектаров с самолета. Под крылом поля, на которых где треть, а где и половина земли — мертвые, засоленные проплешины. Это, видимо, потеряно навсегда. Цепь озер, громадная впадина, наполненная водой. Сверяюсь со схемой, любезно врученной мне проектировщиком, — никаких водоемов тут быть не должно, а полагается расти хлопку, винограду, садам.

Что же осталось от вбуханных миллиардов? За 1976—1984 годы в сельское хозяйство Джизакской, Кашкадарьинской областей и Каракалпакской АССР вложили 8 миллиардов рублей, а сбор хлопка за те же годы здесь уменьшился (что не помешало освоителям получить Государственную премию СССР).

Как должны были действовать руководители других республик, когда всесильный сосед опустошал общие для всех реки? Да точно так же, если они не желали попасть на пиршество к шапочному разбору. Однако у них таких связей в верхах не было. В сущности, им доставались обеды с рашидовского стола. Получив относительно скромные суммы, ирригаторы других республик тратили их по преимуществу на примитивные каналы и арыки, мало заботясь о самой земле. Расчет прост: главное — застоять воду, привести ее на поля, потом уж ее не отнимут, а планировку площадей, дренаж, современную разводящую сеть делаем когда-нибудь после.

Как видно из мелиоративного кадастра (а надо иметь крепкие нервы, чтобы читать этот документ), более 52 процентов поливных площадей Туркмении засолено и подтоплено, причем доля мелиоративно неблагополучных земель растет год от году. Протяженность коллекторно-дренажных сетей в 2,5 раза меньше нормы. Не собираюсь оправдывать разнузданного хозяйствования, но надо и то взять в расчет, что в 1966—1985 годах Туркменистан вкладывал в освоение одного гектара 5,8 тысячи рублей, Узбекистан — 11,5 тысячи. Иначе говоря, сумму, истраченную на узбекистанский гектар, соседи размазывали на два гектара. Естественно, новые туркменские массивы вдвое хуже оснащены современными средствами поддержания плодородия.

Впрочем, если земля в Узбекистане пока и получше сохранилась, то ненамного. Сколько здесь неблагополучных площадей, точно неизвестно. В Комплексной программе научно-технического прогресса до 2005 года на одной страничке сказано, что таких площадей в республике 750 тысяч гектаров, через десяток страниц эта цифра поднята до 790 тысяч, а затем до 1 200 тысяч. (Хороша, видать, программа, когда в ней такие вольности в цифрах.) Академик АН Узбекской ССР С. Камалов объявил в печати, что засолено 60 процентов земли, стало быть, примерно 2,5 миллиона гектаров.

Так какую республику осчастливили рваческие миллиарды и хищнически взятая вода?

3

Насколько неплодотворны споры вокруг того, кто урвал больше, а кто меньше, мы поймем до конца, когда взглянем на ситуацию не с позиции республик, а глазами сельского жителя. Что принесли ему все эти каналы, гектары, рубли инвестиций?

Среднестатистическая душа населения съедает за год не более 30 килограммов мяса, причем этот деликатес потребляют в основном горожане. На сельского жителя приходится 8 кило в год (напомню: в среднем по Союзу — 65 килограммов). Знаменитый восточный плов известен крестьянской семье больше по запаху, нежели по вкусу. Душевое потребление молока чуть превышает половину общесоюзной нормы, яиц — 41 процент нормы. В это трудно поверить, но плодов, ягод, винограда, овощей, арбузов, дынь житель съедает тоже гораздо меньше. Базарные цены практически на все продукты выше, нежели в столице. Семья считается благополучной, если на человека приходится 30 рублей в месяц. Но и этот нищенский доход сокращается — даже по официальным данным, в последнее время в Узбекистане он падает на 1,1 процента ежегодно. Ситуация была бы еще тяжелее, не будь поставок из общесоюзного фонда. Из него поступает в Среднюю Азию каждый третий килограмм мяса, весомая доля молока, масла, яиц. В регион завозят даже карамель и халву.

Довести до голода благодатнейший край — это надо было уметь. В сущности, произошла экономическая катастрофа, дополнившая и продолжившая бедствия экологические. Отчего же не кормят людей миллионы освоенных с такими затратами гектаров? А все они ушли под хлопок, снабдив крестьянскую семью вдоволь разве что ядохимикатами в земле, по которой она ходит, в воде, которую она пьет, в воздухе, которым она дышит.

Когда собственными глазами видишь горькую нужду, пугливую и безнадежную, какими-то невсамделишными представляются наши споры и страсти вокруг многомандатных выборов, плюрализма мнений, гласности. Не то чтобы эти диспуты не нужны или не важны, нет, но именно здесь, наблюдая во всей доподлинной натуре вечные, как мир, заботы бедняка, не сердцем, не разумом, а потрохами чувствуешь неоглядную дистанцию между столичным мыслителем и этим вот кормильцем страны, который мало сказать не верит больше словам и посулам — он просто не понимает, чего еще от него хотят начальники или заезжая «комиссия» вроде нашей.

И сегодня еще не забыто, как объявили войну осликам. Дело было так. Путешествовал в этих краях Н. С. Хрущев и между прочим бросил свите через плечо: для чего, мол, такая прорва ослов, только корм изводят. Ему бы кто растолковал, что кормить ишаков испокон считается развратом, они найдут пропитание сами. Да только смелого человека в свите не случилось, и вскорости вышел по всей форме приказ ликвидировать ослов как класс. Бывало, немалыми партиями депортировали ослов в необжитые места, однако привязчивые животные находили дорогу обратно. И что вы думаете? Организовали команды ворошиловских стрелков...

Вдруг опять некую светлую бюрократическую голову (теперь уж не узнаешь чью) посетила идея: а чего это дома крестьянские отгорожены от улицы дувалами? Средневековые получается или того хуже — индивидуализм. Советской семье нечего прятать за забором. Не нами заведено, что инструкции о том, как жить эскимосам, пишут обычно папуасы. Воспоследовало указание, и бульдозеры на манер танков прошли по кишлакам. Мы это тоже проходили, только раньше. В моей вятской деревушке кузнецом работал Юлис Пулли, ссыльный латыш. Его за что выкорчевали с семьей? А проходила расхуторизация. Пригнали к нему на подворье трактор, велели

разбирать дом и грузить на тракторные сани (это два бревна с перекладинами). А он не сдержался да топором по тем саням.

Есть в Средней Азии милый обычай: вблизи святого места, на худой конец на кладбище, повязать на дерево ленточку и загадать желание. Главный идеолог Узбекистана Абдуллаева усмотрела тут пропаганду ислама и велела деревья спилить. Сейчас она, правда, под следствием, но не за этот же подвиг. Ислам она жутко не любит — при ее правлении за обрезание крайней плоти младенцам мужеска пола отцов исключали из партии. Беспартийным — тем, конечно, послабление.

Новые времена начались вовсе уж дикой выходкой: топор трезвенника погулял по виноградной лозе. В одном Ура-Тюбинском районе Таджикистана погублено 1000 гектаров, и теперь за килограмм винограда на местном базаре в сезон сбора просят и два и три рубля — сам приценился.

Подозреваю, однако, что такого рода кампании не столь бессмысленны, как это может показаться. Исподволь, годами, из поколения в поколение они меняют стереотип человека, воспитывают покорность воле начальства. Человек начинает чувствовать себя не творцом, но податливым материалом в руках экспериментаторов. А покорный человек сам, своего вроде бы охотой признает право распоряжаться им как работником. После разыщачивания и раздувализации как-то меньше ропота и протестов вызывает даже труд малолетних на хлопке, этот позор Средней Азии. Формально он запрещен, а на деле? С секретарем Марьинского обкома по сельскому хозяйству Ю. А. Арестовым едем по землям совхоза «Захмет». Юрий Александрович клятвенно заверяет, что уж в нынешнем-то году школьников в поле не увидишь. Но чьи это черные головки высываются из хлопчатника? Подходим, расспрашиваем. Третью неделю учителя и ученики двух школ на уборке. Рабочий день — с десяти утра до шести вечера. Еда своя — лепешки и конфеты. Здесь только чай греют, но после обеда чаю не остается, пьют из арыка. Заглянули в арык — вода застойная, рваный ботинок туда брошен, ржавая консервная банка. Секретарь обкома к ребятам не подошел, ждал нас в машине. Рассказали ему что и как, обещал немедленно разобраться.

Министр народного образования Туркмении М. Алиева, вместо того чтобы либо пресечь издевательство над малолетними, либо сложить с себя полномочия, гуманно жалуется в печати: «Горько осознавать, но сегодня для многих сельский школьник — это прежде всего производственная единица, а уже потом ученик, ребенок. Не считая каникул, он в течение четырех-пяти месяцев после уроков — на поле. Ему достаются наиболее трудоемкие операции — прополка, чеканка, сбор урожая». Все верно, кроме одного: отнюдь не после, а вместо уроков ребятки в поле. Есть в Туркмении районы, где в минувшем перестроечном году во время уборки хлопка в классах училось 15,5 процента школьников.

Бывает, сами родители не пускают детей в школу. Их можно понять. Условия труда известно какие: палящий зной, пестициды и дефолианты на всем, к чему прикасаются ребячьи руки, питание всухомытку да впроголодь — такого и взрослый не выдюжит, а некрепшему организму как избежать дистрофии, малокровия, рахита, желтухи? Да пропади они пропадом, и ваш хлопок, и ваша школа, — здоровье ребенка дороже.

Чуть ли не бытовым явлением стали жизненные трагедии. Об одной из них рассказал мне мой друг, известный в Узбекистане журналист Мурад Абдуллаев. Человек вьедливый, он с добросовестностью патологоанатома исследовал случай самосожжения — в колхозе имени Энгельса покончила счеты с жизнью двадцатидвухлетняя Гульчахра Кучманова. В пятнадцать лет, как ее сестры и братья, Гульчахра бросила школу и с той поры мало чего повидала на свете, кроме хлопкового поля. Семь лет, как все, подчинялась простому режиму: девушки и бездетные женщины должны трудиться с шести утра до восьми вечера, женщины, имеющие детей, — на два часа меньше. Книжки, развлечения, кино — все это осталось в другой, школьной жизни. Хотя и там был хлопок, но детство беззаботно.

В тот день к концу работы в поле прибыл нарочный с приказом из райкома: сто человек от колхоза, десять от бригады — на окучивание в Каршинскую степь. «Ты, ты, ты... — отсчитал бригадир, — завтра быть готовыми». Что там за рай земной, девушка знала не по бессмертным творениям Рашидова и не по балетам: две недели в условиях вахтового метода — не шутка, а домой привезешь хорошо если четвертную. Она бы и тут не отказалась, да замучила аллергия от проклятой химии. Словом, утром не пое-

хала Гульчакра с подружками, а вышла в поле, как обычно. Учетчик прогнал ее — посмела, мол, ослушаться бригадира. Не допустили ее к работе и после, когда подружки вернулись с вахты. А дома, сами понимаете, лишний рот — не подарок.

Потом прокурор выяснит, в чем было нарушено трудовое законодательство, кто из начальства превысил власть. Порок будет наказан, но торжествует ли добродетель? В одном Узбекистане в одном 1987 году было больше ста случаев самосожжения. Причины разные. Я вообще думаю, что нормальный человек на самоубийство не способен, однако есть ведь от чего свихнуться.

Когда труд не кормит, когда человек низведен до функции говорящего орудия производства, объективно необходим хорошо организованный аппарат принуждения, построенный по иерархическому принципу: каждое его звено отвечает только перед вышестоящим, получая свободу действий в отношении нижестоящего. Иначе система действовать не способна. Она предъявляет к аппаратчикам совершенно определенные требования: это должны быть люди решительные до беспощадности, дисциплинированные — команду надо исполнить любой ценой, методы исполнения не имеют значения. Аппарат отторгает, выталкивает из своей структуры всякого, кто руководствуется иными соображениями — скажем, писанным законом, нравственными нормами.

Но то, что мы изобразили, есть портрет мафии — замкнутой преступной организации. Сегодня достаточно известно, что мафиозные формирования действовали в Средней Азии целыми десятилетиями под покровительством столичных чинов. Если судить по заграничным образцам, неперенный признак мафии — тайная связь с властями: преступный синдикат нанимает разложившихся чиновников, не смыкаясь, однако, с официальным административным аппаратом. Напротив, мафия противостоит госаппарату как единому целому. Во всяком случае, крестные отцы государственных постов не занимают, у них в подчинении своя организация.

Недавно в нашей печати появились шумевшие публикации, из которых видно, что и у нас дело обстоит примерно так же. Время уголовников-кустарей прошло, преступный мир создает свои синдикаты. Кланами, утверждает известный криминалист А. И. Гуров, руководят или бывшие спортсмены, или профессиональные рецидивисты, или незаметные, серенькие хозяйственники, или, скажем, официант пиццерии. Но у него и охрана, и разведка, и своя система контроля над территорией. Видный государственный деятель никогда не является крестным отцом мафии. Чиновные преступники, например Чурбанов, имели вес только в своем кругу, среди своих подчиненных. Руководители кланов не считали их равными себе, а так, шестерками.

Очень красивая и, я бы сказал, уютная теория! Преступники есть в любой стране, ибо человек по природе несовершенен. Повсюду они стремятся создать организацию, у нас тоже. Везде глава клана ищет и находит продажных чиновников — почему у нас должно быть иначе?

Я попробовал примерить теорию к среднеазиатской действительности — не налезает она на реалии жизни, трещит по всем швам, как мальчишковый костюм на баскетболисте. Главный постулат изящной теории — это, конечно, утверждение, будто лишь отдельные, пусть и высокопоставленные, чиновники продаются преступным кланам, существующим в стороне от партийного и государственного аппарата. Но как тогда объяснить простой факт: в Узбекистане привлечены к уголовной ответственности 98 процентов бывших руководителей областных управлений внутренних дел, заместителей министра и сам министр Яхъяев? Если это отдельные разложившиеся аппаратчики, то где стойкое руководящее большинство? За четыре года в республике смещены 58 тысяч ответственных работников, причем процесс продолжается, со многих постов смещают уже по второму и третьему разу. Практически поголовно заменены председатели колхозов и директора совхозов. Опять отдельные неустойчивые личности?

Бывший председатель Госплана Узбекистана, а ныне первый секретарь Кашкадарьинского обкома И. Каримов рассказал нам: в 1983 году здесь приписывали к отчету каждую третью тонну хлопка, а деньги разворовывали. Приняв область, он был в отчаянии: не с кем работать — все замараны, идут повальные аресты. Потом, правда, одумались, отпустили большинство арестованных. Нет, вины их секретарь не отрицает, но надо же отличать рядового исполнителя от организатора махинаций.

Приходится признать, что иерархический партийно-государственный аппарат одновременно являлся и управленческой структурой преступной организации. Для какой-то посторонней мафии здесь просто нет места. Действительно, для чего нужен в этой си-

стеме всемогущий крестный отец, прикинувшийся сереньким хозяйственником или официантом пиццерии? В растленных заграницах его роль ясна: оберегать подпольную империю от конкурентов, уничтожать тех, кто чем-либо опасен клану. У нас оберегать владения не надо, они четко и логично поделены административно: республика — область — район — хозяйство. В чужую зону никто не полезет, своей хватит. Наемные убийцы — опять архитектурное излишество. Имея в полном своем распоряжении репрессивный аппарат, партмафия весьма успешно и бесхлопотно отправляла противников в тюрьму через обычный суд.

Зачисленным в аппарат надо было лишь усвоить правила игры и либо подчиниться им, либо отступить в сторону. В эти правила посвятил меня член ЦК КП Узбекистана Ибрагим Буриев. Мы проговорили с ним в Ташкенте ночь напролет, а потом продолжили беседы, когда он приехал по делам в Москву. О нем можно написать, ничего не приисочиняя, детективный роман на тему «бодался теленок с дубом». Но я пишу не роман и потому приведу лишь несколько эпизодов.

Партийную карьеру Ибрагим Камалович начинал в Бухаре под опекой первого секретаря обкома К. Муртазаева, человека неуступчивого, нетерпимого к фальши, и успел продвинуться до поста первого секретаря Зеравшанского райкома. Когда Рашидов формировал кадры будущей своей организации, он не мог, конечно, оставить в должности К. Муртазаева. Создали комиссию искать недостатки в области и компромат против первого секретаря лично. В общем, дело рутинное. Буриева включили в состав комиссии, но он отказался предать учителя. (Это задание с блеском исполнил начинающий функционер Н. Раджабов, после чего совершил головокружительный взлет. В наши дни он успел перестроиться и стал руководителем партийной организации Самаркандской области, где мы с ним и познакомимся. Он буквально очаровал нас умом, тактом, прогрессивными взглядами. Через неделю после встречи его арестовали. Полагаю, что своим рассказом не нарушаю презумпцию невиновности — ведь предательство наставника не является уголовным преступлением.)

Новый хозяин области Каримов (тот самый, которому на нашей памяти расстрел заменил длительный заключение) не принял всерьез упрямства Ибрагима Камаловича — образумим, не таких ломали. И просчитался. По правилам организации секретари райкомов обязаны были давать взятки руководителю области. Собственно, это скорее налог, чем взятки. Доходы на каждой должности более или менее точно известны, поэтому фиксировалась довольно устойчивая ставка налога снизу доверху. Ну а за орден, за геройскую Звезду, за повышение по службе — тут уж отдельная плата. Из Зеравшанского райкома от Буриева деньги не поступали. Обкомовские работники внесли было конструктивное предложение: мы, мол, соберем свои деньги и вручим Каримову от твоего имени, он и не узнает. Ибрагим Камалович опять отказался, да еще написал Рашидову о взяточниках. Нашел кому жаловаться! Хозяин Узбекистана получил из Бухары, как теперь установлено, 300 тысяч рублей. Естественно, Рашидов передал жалобу на Каримова самому Каримову. Позднее это повторялось и на более высоких уровнях. Ибрагим Камалович писал о рашидовской мафии Брежневу, Черненко, Андропову, Капитунову, Долгих, Пельше, писал со знанием дела, приводил неопровержимые факты — послания неизменно переправлялись Рашидову.

Строптивного секретаря сняли с поста и отдали на выучку знаменитому Адылову, ближайшему другу Рашидова, хозяину Ферганской долины, — от этого не вывернешься. Тот устроил так, что либо бери пачку денег в счет будущих услуг, либо смерть. Буриев выбрал первое, а потом на самолет и в Москву на Лубянку: так и так, оприходуйте невольную взятку. Там с любопытством выслушали, посоветовались где-то в недрах органов и велели сдать деньги в своей республике. Ибрагим Камалович — в Комитет партийного контроля. Результат тот же. Он еще в Москве, а Рашидову все известно. Надоел этот упрямец, не опасен, но надоел. Ну, натурально, комиссия по буриевскому делу (возглавляла ее будущий преемник Рашидова Усманходжаев), арест, следствие, суд, тюрьма, как положено. Спустя годы чуть ли не прямо из тюрьмы Ибрагим Камалович попадает делегатом на XXVII партийный съезд. Учиняет в перерыве скандал титулованным преступникам, называет имена их московских покровителей... Не хочу делать из него икону — резок, иной раз импульсивен до необузданности. Что ж, живой человек. Но речь-то о другом: его судьба — прямо-таки наглядное пособие для изучения анатомии организованной преступности.

Жили аппаратчики широко, доходов не прятали — кому по чину, строили себе особняки из «Тысячи и одной ночи». В подражание Брежневу коллекционировали на-

грады (у Рашидова, например, было 10 орденов Ленина, две Звезды Героя Труда, а в Джизаке — мемориальный комплекс с памятником еще при жизни). Захотелось Каримову, чтобы и у сына награда была, — посадил парня на комбайн хлопок убирать, а в бункер сыпали белое золото сборщики из фартуков. Специально для сына скачки устраивал, но так, чтобы никто не посмел обогнать лихого наездника. (Эти факты рассказал мне один из нынешних бухарских руководителей. Просил не называть его: узнают — съедят.) Потревожим еще раз тень Нерона: как повествует Светоний, тот по тем же правилам становился олимпийским чемпионом, только не в верховых скачках, а на квадригах.

Сегодня на виду такое не творится. Но вот мы проехали по всей Средней Азии, и почти везде — дастарханы (угощение, по-нашему). За столы садилось вместе с сопровождающими да встречающими и по 30 и по 50 человек. Одного мяса съедали зараз не меньше годовой нормы крестьянской семьи. Спиртное поначалу подавали в чайниках, разливали по пиалушкам, а как с октября перестали унижать достоинство советского человека очередями за водкой, тогда уж бутылки на стол выставляли. Пользовался, не отпираюсь, да и мудрено отпереться, если иной раз после застолья хозяева настоятельно просили расписаться в книге почетных гостей с указанием должности. Однако не было у меня другого способа узнать быт начальства. Откуда все это берется, не манна же небесная? Но хозяева держались, как партизаны на допросе, секретов не выдавали, хоть и в основательном поддатии. Как действовали, так и действуют бонзарии — это заведения, где бонзы развлекаются, отдыхают, принимают нужных людей (официально такие райские уголки числятся ведомственными гостиницами, охотничьими домиками или как-то еще). Особняки бывших хозяев края по большей части за ними и сохранены. Бывает, центральная газета упрется, два раза, три раза напишет о каком-то очень мозолящем глаза мини-дворце — тогда, случается, и отберут. Продолжается взяточничество и казнокрадство. В первой половине прошлого года в Узбекистане привлечены к ответственности 58 должностных лиц, в их числе партийные, советские работники, сотрудники МВД и прокуроры. Недавняя проверка на хлопкоочистительных заводах Сырдарьинской области выявила те же махинации, какие были и прежде, — 13 миллионов рублей разворовано здесь уже в период перестройки.

А офисы! В каждой области, в любом райцентре стоят как вызов окрестным домам. В той же Бухаре в двенадцатизэтажном здании обкома при нужде можно хоть ООН разместить, от кабинета до кабинета идти устанешь. Неподалеку больница разваливается, в детском отделении, рассчитанном на 60 коек, лежат 110 ребятишек. Хорог, столица Памира, уж на что невзрачен, а не обжитое пока здание обкома — для описания нужен восточный панегирист. Бронзовый Ленин, смахивающий на горного орла, вроде как намекает своим авторитетным присутствием: все, мол, правильно, так и надо. Я со своей стороны тоже намекнул первому секретарю обкома товарищу Солибназару Бекназарову: на что вам такие палаты, у вас и эти просторны, отдали бы под школу, ведь в классах теснота, учатся в три смены, есть по два класса в одной комнате. Офисом вы вряд ли кого удивите, есть и величественнее вашего, а будь здесь школа, самый злобный заморский гость понес бы по свету: мудрый народ живет на Памире — лучший дом отвели детям. Обиделся секретарь: «Карательные органы имеют лучшие здания, чем обком». По поводу такого соцсоревнования возразить нечего.

Одной из самых основательных причин бедствий в огромном регионе я считаю расслоение, раскол общества на касту управляющих и массу управляемых. Дом, расколотый в себе, как устоит? Они живут словно в разных мирах. На одном полюсе — голод, бедность, покорность судьбе, тупой труд, на другом — роскошь, вседозволенность, психология нувориша, дорвавшегося до власти. Надо видеть великолепное презрение последнее в касте избранных к «низам».

Вспоминаю встречу в пути с двумя заграничными журналистами — с редактором международного журнала «Современная высшая школа» и его замом. Они якобы небрежно сообщили: журнал расходуется в 73 странах. Я заглянул в выходные данные: тираж не дотянул до 4 тысяч. Негусто для всего мира и его окрестностей. Впрочем, издатели этого капустного листка рассуждали вполне по-европейски: все беды Средней Азии — от бытовой и иной-прочей некультурности тутошних народов; старая культура разрушена, а из новой усвоены одни вершки. Совсем как у мольеровского персонажа, который полагал, будто распри сограждан и даже войны происходят оттого, что люди не умеют танцевать. Местные организаторы встречи на международном уровне поддакнули культуртрегерам: да, не доросли, не поднялись до высот, где им... Некультурность

крестьян — излюбленная тема разговоров начальства. И примеры приведут, чтоб нагляднее было.

Куда как благородно — сначала отравить воду, а потом культурно сетовать: колодец роют рядом с нужником, нелюди. Сперва обобрать до исподнего, а после самих же ограбленных и попрекнуть: спят на половиках, вповалку — старики, молодожены, ребята. Сызмальства гонять подростков на хлопок, так что школьники и студенты не проходят путем и половины учебной программы, а следом бросить свысока: не та интеллигенция пошла. В Голодной степи нас завели в прелестный семейный коттедж и с юмором показали: в ванне арбузы, в клозете сено. А что воду подают раз в сутки, что канализационная труба тупиком кончается за околицей — это мы потом сами узнали.

Не раз замечал: заведут нас сопровождающие в семью, встанут в сторонке и с плохо замаскированной гадливостью поглядывают на нас: чуют москвичи, в народ подались. Да спросили бы нас — мы бы рассказали, что этим людям нужно. Однажды с каракалпакским писателем Оразбаем Абдирахмановым забрели в первый попавшийся дом. Ясно, что через минуту из воздуха материализовался председатель колхоза помогать нам. Спрашиваю попутчика шепотом:

— Что-то больно долго переводит председатель мои вопросы?

Оразбай (он по-узбекски сечет) хорошо поставленным голосом объявил:

— А он учит, как надо отвечать.

Разумеется, с началом перестройки власть предрержащие стремятся сузить или хотя бы замаскировать пропасть между управляющими и управляемыми. В духе времени много и хорошо говорят о человеческом факторе, об извечно присущих партийцам демократизме и личной скромности. Но если бы все до единой привилегии были отменены (чем пока и не пахнет), при командно-административной системе раскол общества сохранился бы в наиболее важной ипостаси: труд и управление им разделены, «низы» по-прежнему только инструментом в руках верхов. Это даже язык уловил. В деловых бумагах то и дело встречаешь: таким-то колхозом проведена большая работа, на сегодняшний день хлопкоробами области собрано столько-то... Тут не просто бюрократический оборот. Умница язык выдает чиновника с головой: творительный падеж означает, как известно, орудийность — хлопкоробами собрано, они всего лишь орудие в распоряжении руководящей и направляющей силы.

Да ведь и прямее говорят. Послушаем руководителя Узбекистана. В содержательном, пожалуй что и глубоком докладе касательно спасения Арала Р. Н. Нишанов счел необходимым дать указания и по текущим делам. Отметив, что уборка хлопка ныне идет не в пример лучше, чем прежде, оратор тем не менее распорядился: «Резервы для ускорения страды имеются во всех областях. Задача партийных, советских и хозяйственных органов заключается в том, чтобы подчинить интересам уборочной всю организаторскую и политическую работу, выставить на сбор все трудоспособное население колхозов и совхозов, создать условия для высокопроизводительной работы сборщиков».

Может быть, кто-нибудь внятно объяснит мне иные варианты исполнения этой директивы помимо, на мой взгляд, единственной: названные в докладе могучие органы гонят в поле неподатливое людское быдло, простите, стадо, простите еще раз, выставляют «трудоспособных человеческих факторов» на уборку от мала до велика? Вот теперь сказано совсем перестроечно.

Правда, в беседах с нами Р. Н. Нишанов пояснил, что руководству не чужды и модные ныне экономические методы управления: прежде за килограмм хлопка сборщику платили пятачок, теперь — гривенник, а где и пятнадцать копеек. Только у меня как у экономиста сильные сомнения: неоткуда взяться добавочному пятаку, разве что из другого кармана того же сборщика.

Много говорено о приписках хлопка в Среднеазиатских республиках. Вникнем, однако, в экономическую, стоимостную подоплеку аферы, чего пока никто не сделал. Генетическим, не поддающимся изменению свойством хлопчатника определенного сорта является содержание волокна в сырце. Колебания могут быть лишь в долях процента. В Таджикистане, например, в 1962 году в сырце содержалось 34,4 процента волокна. В 1984 году вопреки биологическим законам этот показатель упал до 29,4 процента, а известный селекционер Мусо Джумаев обнаружил хлопкоочистительные заводы, где из сырца получали всего-навсего 18 процентов волокна. В целом по Кашкадарьинской области Узбекистана в 1983 году выход волокна скукожился до 21 процента.

Чудес не бывает, они происходили только на бумаге. Представьте себе, что переработана тонна сырца. Из нее получают, как и всегда, 330 килограммов волокна. Но если в приемочной накладной написать, что сырец содержал 25 процентов волокна, завод обязан будет передать потребителям не 330, а только 250 килограммов конечного продукта. Образовалось лишнее, неучтенное волокно. Надо объяснить, откуда оно взялось. А это проще простого: достаточно показать в отчете, что принята не тонна сырца, а больше, то есть приписать несуществующий хлопок, за который платят, однако, сдатчикам настоящие рубли. Эти деньги приемщики и сдатчики делили меж собой. Рассказывают, что место приемщика на хлопкозаводе до недавнего времени стоило миллион. Понятно, жулики недолго продержались бы без опеки аппарата.

Кому это выгодно? Не спешите с ответом. Давайте немножко поработаем с цифрами. В 1983 году в Узбекистане по отчетам выход волокна составлял 26,6 процента, а в 1987-м, когда приписок, будем считать, не стало, — уже 32,2 процента. Несложные выкладки показывают: в республике раньше приписывали как минимум каждую шестую тонну. Глядите теперь, что выходит. Тонна сырца стоит в среднем 700 рублей. Сдашь 5 тонн — получишь за 6, то есть 4200 рублей. Фактическая закупочная цена за тонну станет уже не 700, а 840 рублей. Если же приписок нет, номинальная и фактическая цена будет одинакова — 700 рублей. Иными словами, с ликвидацией приписок выручка за тонну сырца упала с 840 до 700 рублей, или на 140 рублей. Эти лишние рубли платило государство, а в конечном счете все граждане страны. Оседали же эти деньги в хлопкосеющих республиках.

Устранение обмана, говоря словами старого поэта, ударило одним концом по бабину, другим по мужику. Когда в Узбекистане приписывали миллион тонн хлопка, незаконно выплачивалось по 700 миллионов рублей ежегодно. Не всю эту чудовищную сумму прикарманивало начальство, что-то достигало колхозных и совхозных касс и перепало крестьянину в виде зарплаты. Теперь таких поступлений нет или, скажем аккуратнее, почти нет. Откуда, спрашивается, взялся лишний пятак, который платят ныне сборщику за килограмм сырца? Его можно сыскать, только недоплачивая хлопкоробу за какие-то другие операции. Как видим, изобретена хитрая система: работник сам себя стимулирует, собственноручно финансируя повышенный заработок на уборке. В действительности возможности стимулирования сократились.

Господи, да что же это за невезенье такое! Ведь вот доброе, святое дело — погнать жулье. Любой скажет: давно пора. А обернулось опять против человека, во вред бабам и ребятишкам, хотя им и без того живется навряд ли много слаще, нежели тем африканцам, которых в прошлом веке завозили на хлопковые плантации Нового Света.

Ладно, об этом уж нечего. Продолжим урок статистики. Незаконная стосорокарублевая намазка к цене тонны сырца каких-либо затрат не требовала — она достигалась росчерком пера. Если предположить, что половина этой суммы перепала хозяйствам (а по мнению криминалистов, так оно и было), хозяйство имело 70 рублей добавочной прибыли с тонны. Много это или мало? Я взял данные по Андижанской области: теперь, без приписок, хозяйство получает 60 рублей прибыли на тонну. Значит, в итоге борьбы с коррупцией рентабельность производства хлопка снизилась в два с лишним раза! Хлопчатник и раньше был невыгодной, низкорентабельной культурой, а сейчас и вовсе не выдерживает конкуренции с овощами, фруктами, виноградом, бахчевыми. Многие хозяйства, сводившие посредством приписок концы с концами, перешли в разряд убыточных.

И можно понять, отчего у руководителей новой волны слово опять расходится с делом. С одной стороны, в духе времени они обязаны издавать строжайшие запреты на детский труд, проявлять отеческую заботу о человеке, а с другой — гласно или негласно поощрять грубое насилие над работниками, потому что сдать хлопок они тоже обязаны. План приходится выколачивать в условиях, когда материальные интересы включены еще слабее, чем в добрые старые времена. Кто-то может подумать, будто я оправдываю насилие, приписки, даже воровство. Ничего я не оправдываю, но надо же наконец выяснить, откуда ноги растут, постичь истину во всей ее неуклюжей конкретности: перестройка в регионе остается игрой, причем игрой, чрезвычайно опасной для реформаторов. Административный аппарат, эта единственная покамест опора центра, поставлен в противоестественную позу: план выжми, но не любой ценой, как раньше, а чтоб и люди были в восторгах. Аппаратчики перестали понимать, чего же от них в конце концов хотят.

Впрочем, насколько я заметил, они не унывают. В доверительных беседах, не под

блокнот, прощупывали: должны же понять там, в столицах, что управлять этим народом можно только через нас; ну да ничего, мы не в обиде — посуетсяя, набьют шишек со всякой там гласностью, распустят людишек, а потом нас же и призовут наводить порядок, не впервой такие повороты. Закономерно, что скомпрометированных чиновников, как правило, не изгоняют из аппарата, а лишь переводят на более низкие посты — пусть пересидят, благо жить есть на что, а там видно будет, могут понадобится.

Думаю, ясно: управленческая каста никогда не станет социальной базой перестройки, опорой перемен революционного свойства. Вот когда безгласный ныне исполнитель почувствует: это моя власть, это угодный мне порядок жизни, — тогда перестройка станет необратимой, тогда и только тогда хилые победы демократии и правового государства станут набирать силу не на гидропонике столичных теплиц, но на мощном черноземе новых производственных отношений. Такой вариант, теперь я это знаю уверенно, существует.

4

С неперменным членом нашей экспедиции Гельды Мурадовым, директором туркменского академического Института экономики, я познакомился год назад, в предыдущей своей поездке по его республике. На сей раз наши планы и интересы совпали. Дело в том, что, не сговариваясь, мы пришли к одному выводу, вернее, пока предположению: судьбоносным новшеством, ключом к решению острейших проблем региона, а то и страны в целом может стать передача земли в аренду работникам. Гипотезу надо было проверить. В трех республиках мы спрашивали у знающих людей, есть ли в пределах досягаемости такая форма организации производства. Разумеется, нам отвечали: есть, как не быть, не отстаем от других, установку исполняем. Мы тут же в машину — и на место события. В экспедиции к этому привыкли. По приезде на новое место нас уж и не спрашивали, чем станем заниматься, — экономисты опять к арендаторам.

Но раньше того мы сговорились, что же конкретно ищем, чтоб не вышло по при словью: поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что. Мне нравилась в Гельды его крестьянская основательность. До того как стать директором института, он поработал на земле, побывал в колхозных председателях с вытекающими отсюда последствиями. Например, на короткое время его исключили из партии — он как-то по-своему, не буквально, а разумно исполнил приказ об урезании приусадебных участков. Высокие руководители это вскрыли, дали принципиальную оценку. К счастью, вскорости поступило указание противоположного смысла, и Гельды Мурадович из-под копыт опять взлетел на коня.

Итак, мы условились: если семья берет землю в аренду на длительный срок, это будет семейная ферма, а еще проще — единоличное в основе своей хозяйство. Ничего другого это понятие не обозначает. Первым делом предстояло выяснить, возможны ли иные, не семейные формы аренды. Ответ мы, похоже, нашли в каракапакском совхозе имени XXII партсъезда. Хозрасчетная бригада из 24 человек взяла в аренду 210 гектаров поливной земли на пять лет и объявила себя кооперативом. Председатель кооператива Сарсенбай Назарбаев обстоятельно рассказал о системе оплаты. Она довольно сложна: за плановый урожай — одна цена, за сверхплановый — другая, из выручки коллектив рассчитывается с совхозом за износ техники, горючее, удобрения, вносит свою долю в общие расходы совхоза, платит налоги району. Остаток после всех расчетов опять-таки не принадлежит кооперативу — жестко определено, сколько можно пустить на зарплату, какая доля пойдет в фонды соцкультбыта, развития, на премии по итогам года.

Собеседник терпеливо просвещал нас, и часа через два мы настолько овладели условиями оплаты, что решили проэкзаменовать комбайнера, который убирал рис на соседнем поле. Вышла, однако, осечка. Механизатор знал одно: в полевой сезон ему платят по полтора в месяц, деньги хорошие. Но сезон — это семь месяцев, а есть надо весь год. Кое-что семья на зиму откладывает, а кроме того председатель-ака обещал платить за так, когда работы в поле не будет. Жить можно, не то что раньше. Здесь, бывало, по полгода не давали денег, а работать заставляли. Теперь тех начальников посадили в тюрьму. Нет, жить можно. А опять обманут — подается куда-нибудь. Руки есть, голова есть, не пропадет.

Механизатора ждет приятный сюрприз. По нашим расчетам выходило: по итогам года каждый член кооператива получит больше 3 тысяч рублей. Не предполагаем, что

работников обманут, — не те времена. И все-таки ничто не связывает человека с кооперативом, кроме заработков. Есть заработок — вот он я, нет — была без радости любовь, разлука будет без печали. По разным причинам уходят люди — в армию, на учебу, да мало ли куда. Уже в первый год состав бригады заметно обновился. С чем уходит человек? Вот решено выкупить технику у совхоза — рис уродился, деньги есть, если и дальше так пойдет, года за три рассчитаются за машины без натуги. Детский садик можно построить, полевой стан. Только зачем это уходящему? Свой пай он ведь не получит на прощанье. Общее имущество как было казенным, ничьим, так и осталось — лишь в конторе по бумагам оно теперь числится кооперативным, вот и вся разница. В таких условиях опасно доверять арендаторам дележку общего дохода: расхватают живые деньги на руки. Поэтому-то и пришлось утверждать сверху обязательные нормы фондов развития производства и соцкультбыта. В сущности, опять получился колхоз, только маленький.

Чужой остается и земля. Не случайно арендаторы взяли поле на пять лет. Такой срок можно сеять рис по рису. Это культура выгодная. А дальше по плану севооборота здесь будет люцерна. На ней не заработаешь, и кооператив скорее всего распадется: поденная работа в совхозе (куда пошлют) будет выгоднее. Собственно, это не предположение, а живые наблюдения. Мы объездили довольно много хозяйств, где, по мнению начальства, аренда внедрена. Почти повсеместно кооперативы, а лучше сказать — небольшие бригады, берут землю на год, после уборки хлопка коллектив распадается.

Устойчивой, надежной ячейкой общества является семья, в особенности среднеазиатская семья. И если она арендует землю, то становится одновременно и производственной единицей, прочной настолько, насколько крепки родственные узы. Интересы личные, семейные, производственные нерасторжимы. Есть смысл приумножить имущество — трактор ли, культиватор ли останется в семье, если кто и подался в город. Нельзя будет истощать землю — она должна кормить и этих, что по дворику ползают.

Но я тут все об экономических материях, а между тем есть еще таинственное нечто, быть может, более важное, чем рубли и гектары. Будучи в Наманганской области, мы с корреспондентом «Правды» Акрамом Муртазаевым, можно сказать, случайно завернули в один хуторок. С нами был еще председатель колхоза «Комсомол», одноклассник Акрама по школе. Издалека мы заметили переполох — мальчишка хворостинной погнал куда-то небольшое стадо. Позднее за дастарханом хозяин признается: думал, опять какая комиссия, станут спрашивать, зачем держишь трех коров, овецек. Носыржан Назруллаев не арендатор, подрядчик. С женой и тремя детьми шестой год обрабатывает гектар виноградника, гектар персикового сада, два гектара хлопчатника, но хлопок не здесь — в общем поле, это вроде как нагрузка. С точностью до рубля он рассказал нам условия пудрата, как на свой манер он называет подряд.

Если свести полтора десятка видов заработка к общему знаменателю, суть дела проста: с рубля плановой продукции Носыржан получает 8,7 копейки, зато весь сверхплановый урожай его. Иначе говоря, сперва человек обязан за символическую плату потрудиться на благо колхоза, а после может и на себя. Будет неугоден — надо только повысить план, и подрядчик сам уйдет, гнать не надо. Порядок нехитрый, давно известный и, в общем-то, этому мужику подходящий. Достаточно глянуть на его ручищи, босые ноги (обувь излишня, потому что кожа наверхья прочнее подметки) — такой заработает сколько надо при любой обдиравке.

Мне кажется, не деньги его заманили сюда, во всяком случае не одни деньги. Дом в кишлаке он оставил старшему сыну, а здесь, на отшибе, построил себе двухэтажный особняк. Все сам, даже рамы и двери не покупал. Лоскутка земли без пользы не пропадает. Под персиковыми деревьями взлелеян огород, это уж вовсе свое — по плану огорода не существует. Виноградник — такие раньше на картинках рисовали, когда изображали рай. А в центре всей красоты он — творец, хозяин, вольный человек на почтительном расстоянии от догляда райсов.

Почему бы ему не взять землю в аренду — по сути, тут готовая семейная ферма. Да, он читал про аренду в газете, и по телевизору показывали. Это бы всего лучше. Он уж и к трактору приценялся. «Беларусь» и культиватор — для начала достаточно. Тогда не надо будет ходить на поклон в колхоз, просить одно-другое. В сад и виноградник он чужих, конечно, не пускает, а на хлопке без машин нельзя. Купить в складчину? Можно и так, но лучше свои машины. У него бы они не стояли: у себя управится — на чужом поле поработает.

Тогда зачем колхоз? Собеседник покосился на председателя, помялся (неловко все же сказать в лицо человеку, что тот лишний на земле), однако в конце концов нашел и председателю применение: пусть колхоз покупает у него плоды, только цену дает хорошую, сам он торговать не любит. Это будет уже не колхоз, а посредник, сбытовой кооператив? Может, и так, только и там председатель нужен. (Комизм ситуации заключался в том, что, когда Носыржан не мог найти подходящего русского слова и перешел на узбекский, переводил нам председатель колхоза Валиджон Урунов, славный, впрочем, мужик. Он пообещал, что Носыржан станет у него первым настоящим фермером, и неожиданно добавил: «Я буду прогрессивным председателем». Мы с правдивостом неприлично хохотнули.)

Такие встречи, а их было несколько, — они как якоря надежды, как сигнал спасения. В чудовищном переплетении бед — экологических, хозяйственных, политических, правовых и не умею сказать, каких еще, — когда огромный край словно бы сползает в бездну и, кажется, нет даже намека на силу, которая удержала бы его на краю пропасти, когда с отчаянием наблюдаешь легкомысленную суету власть имущих и усталую покорность вверенных им людских особей, равнодушных уже, на то похоже, к вырождению и гибели, в те воистину роковые минуты, когда впору смиренно молвить: «Прими наши души, Господи!» — тут-то чудесным образом приходит спасение или хотя бы вера в него. Есть твердь под ногами, сохранено вечное, и пока оно с нами, не все потеряно, события обратимы.

Непостижимая, не заслуженная нами удача: после всех экспериментов над живым организмом народа здесь выжил крестьянин, желающий и умеющий работать, строить семейное гнездо. Он покамест запуган, робок, так ведь и есть отчего — страхи начинаются с пеленок, потому что на отравленной земле самое молоко материнское стало ядовитым, страхи сопутствуют ему до могилы. Одного он не боится — работы. Мы в России такого крестьянина потеряли, развеяли по свету не за понюх табаку и теперь аукаем: приди, возьми землю, бери сколько хочешь, бери хоть на сто лет, только бери, хороший ты наш, — да то беда, что братя некому, и зов умирает в пустоте. В Средней Азии, к счастью, не поздно звать. Мечта о вольном труде жива в землепашцах, о том много переговорено в семьях, и я довольно быстро научился отличать, когда человек говорит, что думает, а когда поддакивает из вежливости.

То еще удача, что семьи здесь большие. В Голодной степи, в совхозе «Страна Советов» мы побывали в семье Абдуфаттах Тазиматова — 15 работников взяли на подряд 64 гектара хлопчатника. Они и трактористы, и комбайнеры, и поливальщики, на все хватает рук и сноровки. Я взял фартук и пошел пособирать хлопок. Восьмидесятидвухлетний патриарх Абдуфаттах-ака двинулся следом и удостоил конфиденциальной беседы: правда ли, что землю будут раздавать насовсем? Насколько я понял, он прислушивался к нашему разговору с главным экономистом совхоза и вообразил, будто я начальник, облеченный правом на месте решить дело. Убедившись в ошибке, старик потерял ко мне интерес — условия аренды ему известны и без нас. Понятно, не в каждой семье по 15 работников, но 5—6 — обычное дело, и редко в какой нет механизаторов, хотя бы и без прав. Чем не производственная единица!

Мы проехали все без исключения области Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, побывали в трех областях Казахстана и Киргизии, у нас была редкая возможность поговорить с первыми руководителями областного, даже республиканского масштаба, и, само собой, обязательно расспрашивали о семейной аренде. Если отбросить пустословие, смысл ответов один: дело хорошее, только у нас это не пойдет. Возражения не все вздорные, их стоит разобрать.

Пожалуй, самый сильный довод — так сказать, гуманистического порядка: орошаемой земли мало, сильные, уверенные в себе первые арендаторы расхватают ее, а чем кормить остальных? Что ж, опасность не из пальца высосана. Но какова тогда перспектива? Сегодня в Узбекистане приходится 22 сотки поливной земли на душу населения, в Таджикистане и того меньше — 14. К 2000 году население региона увеличится с нынешних 30 до 50 миллионов человек. Тогда сколько падет на душу, даже если мы сумеем возродить плодородие земли, подорванное горе-иригаторами (а это сказать легко, надо еще сделать)? Что же, спрашивается, человечнее: загодя создавать рабочие места в других отраслях экономики или ждать еще одной беды? И вообще можно ли нарочно тормозить производительность труда, держать на земле двоих там, где споровит один умельый?

А чтоб никому не обидно, предоставим для начала всем равный шанс — разделим землю по едокам, как поступили китайцы в первом приступе к своим замечательным реформам. 22 сотки драгоценной орошаемой земли на душу в республике — это не так уж мало. Исключите городских жителей, сельских непашных людей — на крестьянскую семью придется гектара 3, а на новых землях и 10 и 30. Если сегодня половина семейного дохода проистекает с жалких 16, а чаще 8 соток личного огорода, то это ж надо вовсе безруким быть, чтобы не прокормиться на 3 поливных гектарах да заодно не прокормить с выгодой несколько городских семей. Кстати, любопытный разговор на сей счет был у меня с Овлякули Ходжаковым, первым секретарем Ташаузского обкома партии. Принял он дотла разворованную область и вот с чего думает начать восстановление: семье дадут, допустим, 10 гектаров под хлопчатник; подрядчик вправе занять этой культурой 9 гектаров при условии, что план по сырцу исполнит; на остальной площади сей что хочешь. Спрашиваю:

— Можно сказать, что вы на целый гектар расширите семейный огород?

Секретарь глянул опасливо (не провокация ли?), но решился:

— Да, можно и так сказать.

Не будем упрощать. Весь мировой и отечественный опыт учит: при единоличном хозяйствовании неизбежно начнется имущественное расслоение деревни — кому-то тесно на своей усадьбе, а кто-то не сладит с доставшимся участком. На одном полюсе будет крепкий хозяин, фермер, это кому как любо, на другом — наемный работник или потенциальный кадр для индустрии. Вас это пугает, читатель? Меня — нет, ибо такой вариант сулит стране достаток хлеба насущного с маслом.

Возникает занятая коллизия: мы уходим от теперешних крупных хозяйств к мелким, чтобы впоследствии опять вернуться к солидным фермам. Так нельзя ли миновать этот неприятный отрезок пути и сразу получить конечный результат? С постоянным моим спутником Гельды Мурадовым перебрали все мыслимые способы — нет, не получается. Законы экономики не перехитришь, не объедешь на кривой.

— Фермерами нельзя назначить, — формулирует Гельды Мурадович. — Председателем колхоза можно, министром можно, фермером — нет. Только жизнь выявит, кто крепкий хозяин, а кто должен подыскивать другое занятие.

Кому неволегу слушать эти суждения, кто все еще держит в уме колхоз, как-то хитро перестроенный, или, на худой случай, согласен смириться с кооперативом (про них все-таки Ленин говорил похвальное), таким читателям без лукавства скажу: как раз в системе фермерских хозяйств кооперация и заиграет. Взять сбыт продукции. Председатель Ленинабадского облизполкома А. В. Беляев рассказывает довольно обыденную историю. Область отгружает в общесоюзный фонд, а конкретно — в Москву, превосходный виноград. С вагонами-рефрижераторами приходится направлять сопровождающих с пачкой денег — в столице надо нанять грузчиков, найти и оплатить автомашину. Работники торговых баз тут не помощники. Зачем им лишние хлопоты — ваш товар, вы и беспокойтесь. Без взятки они добро вообще не примут — не то, мол, качество. Пробовали отправлять самолетами — та же морока. Экипаж в пути не раз меняется, и всем дай по ящику винограда.

Владельцы личных огородов даже и не пробуют обращаться к штатным закупщикам. Их обслуживает частник. Никто не знает, где этот человек добыл авторефрижератор, да это крестьянина и не касается. Таких перекупщиков остроумно прозвали поливальщиками: перевоза фрукты в Сибирь, они поливают дорогу денежками — откупаются от ГАИ и прочих чинов. Доставив товар, допустим, в Омск, поливальщик передает его своим агентам, а сам едет за новой партией. Если вдуматься, действует готовый, отлаженный налаженный сбытовой кооператив. только незаконный. Сейчас он взимает в качестве бонуса дополнительную плату за страх и деньги для компенсации взяток. Так давайте узаконим его — и всем будет выгода, кроме взяточников.

Вполне мыслимы кооперативы сельских механизаторов. Эти люди сами могут и не вести хозяйство, а за плату обслуживать фермеров: пахать, убирать урожай, перевозить грузы, ремонтировать технику. Уже приживаются строительные кооперативы. Короче говоря, будущее села представляется мне как сложная комбинация семейных ферм с кооперативами самого различного назначения.

Собственность на землю останется скорее всего государственной, но надо различать право собственности и право владения. В жизни эти вещи расчленились явочным порядком, только теоретики этого не заметили. Действительно, разве до нынешних экономических реформ коллективы владели предприятиями? Никоим образом! Средства

производства были для работников чужими, а раз так, то и отношение к ним соответствующее. В Средней Азии, да и не только там, ими владела скорее партийно-государственная олигархия, сбитая в мафию. Она не могла их продать, подарить, передать по наследству (не ее собственность), но в качестве коллективного владельца отлично умела выкачать из якобы общенародного достояния миллиарды в свою пользу. Семья тоже не получит землю в собственность, а лишь возьмет в аренду на условиях, установленных государством-собственником. Суть дела в том, что земля из фактического владения олигархов перейдет в фактическое и юридическое владение работника без каких-либо перемен в правах собственности. Вот почему семейная аренда мало сказать не противоречит социализму — она социалистична по глубинному своему смыслу, ибо реализует не сегодня выраженное желание трудящихся: владеть землей имеем право, а паразиты — никогда.

Большие люди выдвигают против раздачи земли и такой довод: на мелких участках трудно соблюдать научные севообороты, почва станет деградировать. Тогда объясните мне простую вещь: в Узбекистане в личном пользовании находится 2,6 процента пашни и садов, а, по подсчетам члена-корреспондента ВАСХНИЛ С. Н. Усманова, личное подсобное хозяйство дает четверть всей сельскохозяйственной продукции республики. Если эта земля в 10 раз продуктивнее общественной, значит, она в порядке, не так ли?

С суеверным ужасом нам толковали далее: ни за какие коврижки семья не станет сеять ненавистный хлопок, а он нужен державе. Это еще почему? Как товарный продукт хлопок совсем неплох для земледельца — он не портится, его легко перевозить, сбыт гарантирован. Что невыгоден в производстве, так это от цены — зависит. По 700 рублей за тонну добровольно производить сырец никакой дурак, конечно, не будет, особенно если ввести плату за воду и орошаемую землю. Нужна, стало быть, договорная цена.

Сознательно не называю оппонентов — иначе пришлось бы переписать справочник о руководящих кадрах Среднеазиатских республик. Когда резоны в спорах кончались, я ставил вопрос на попа: Генеральный секретарь ЦК КПСС заявил, что никто не вправе отказать человеку, если он решил взять землю в аренду, а по-вашему, здесь это не пойдет. Саботаж получается. Да разве проймешь их словами? Тут не аргументы, не теории, их можно повернуть так и этак, теперь все ученые, — тут интересы правят. Спутник мой Гельды Мурадов, неистощимый рассказчик, все объяснил одним фактом. Приехала в колхоз очередная комиссия. Дастархан, тосты — это как заведено, но надо же и в багажник гостям знаки любви положить. Посылает председатель своего шофера на лучший виноградник, а шофер вместо пяти ящиков привозит один.

— Так это при подряде. А отдай им землю насовсем, они ж меня узнавать перестанут, — закруглил председатель.

А что? Свободно перестанут.

Владельцу земли излишен неслыханный по численности и уступающий лишь сараян по прожорливости административный аппарат. Условие сохранения этого аппарата — сохранение административной системы с ее плановиками, контролерами, штатными погонялами и прочим служивым людом. Именно здесь, к слову сказать, главная трудность и опасность для реформаторов. Явный пока неуспех перестройки в экономике, в производственных отношениях тем и объясняется, что инициаторы реформ пробуют провести свои замыслы через чиновников, по определению, заинтересованных в консервации существующего порядка вещей. Слов нет, в партии, в ее номенклатуре разные люди. Мне, беспартийному, лично известны такие, для кого судьба отечества дороже собственного благополучия. Другие в условиях революционной ситуации готовы поступиться частью прав и привилегий. Однако в массе своей управленческая иерархия — глубоко консервативная сила. Реформаторы останутся ее заложниками, пока не подыщут себе иную социальную базу. Их поддерживает, правда, интеллигенция, но до чего же тонка эта пленочка на поверхности общества! Серьезные политики, не пренебрегая ни одним сторонником, просто обязаны создавать более надежную опору реформам — в толще трудящихся масс.

Фермеры, или по слову выдающегося реформатора начала века П. А. Столыпина, крепкие люди земли, по логике вещей станут опорой перестройки. Имя Столыпина я помянул не всуе: разрушая изжившую себя общину и насаждая сельское товарное производство, он решал задачу, в чем-то существенном сходную с нашими

сегодняшними заботами. Тогда возник класс, слой российских фермеров, чье хозяйство по эффективности и сегодня могло бы служить образцом. Впоследствии этих людей так и не удалось вписать в коллективистскую систему. Их уничтожили в два приема: сперва в период «военного коммунизма», а затем случайно уцелевших и тех, кто пошел по их стопам, перебили на рубеже 20—30-х годов.

Я так думаю, что в среде крестьянства мы быстрее получим поддержку, чем со стороны рабочих. Реформы в промышленности, даже если вести их энергично, принесут отдачу не вдруг. В сельском хозяйстве достаточно года, чтобы умелый хозяин пожал плоды своего труда.

С чего, же начать? Держу за непреложную истину: местная власть землю крестьянам не отдаст. На практике она сильнее первых лиц в государстве и сколь угодно долго может саботировать их указания. К тому же сами указания (скорее пожелания) выхолащиваются уже в столице. Действительно, Госплан Союза увеличил на 1989 год план по хлопку. Республиканским иерархиям не оставалось ничего другого как разверстать его вплоть до колхозов и совхозов. Семейной аренде снова нет места. В который уже раз мы наблюдаем бессилие реформаторов в проведении спасительных для страны мер.

Раз не выходит сверху, не попробовать ли снизу? Давайте скажем каждому крестьянину простые вещи. Ты голодаешь? Так кто ж виноват? Разве земля вокруг тебя плохая? Бери ее, она твоя, она полита твоим потом. И все, что нажито в общем хозяйстве, тоже твое, там есть твой пай. Бери его и хозяйствуй, как тебе любо.

Но демократия — это процедуры. В нашем случае они должны быть предельно упрощены. Любой счетовод без труда вычислит, сколько земли положено семье, пожелавшей выделиться, каков по стоимости ее пай в орудиях и предметах труда. Сельский сход определяет, какие конкретно участки отойдут арендатору, в каком виде вернуть его долю неделимого фонда — деньгами или натурой, потребительными стоимостями. Если жители кишлака решат прекратить общее хозяйствование — на доброе здоровье. Решение схода окончательное, оно не подлежит чьему-либо утверждению, разве что регистрации. Как мне представляется, тут нужен только пример, запал, а там дело не остановишь.

Семейная аренда — ключ к решению острейших проблем угасающего региона. Этот шанс последний. Другого не будет.

Теперь нам предстоит разобраться, как вызволить край из беды.

5

Чернобыльская катастрофа обошлась в 8 с лишним миллиардов рублей. «Тихий Чернобыль» в Приарале будет стоить много дороже. По прикидкам специалистов, понадобится не менее 35 миллиардов (укажу для сравнения: Волжский автозавод построен за 4 миллиарда). Называют цифры и крупнее. Первый секретарь ЦК Узбекистана Р. Н. Нишанов сообщил: чтобы привести в порядок среду обитания, в регионе предстоит освоить столько капитальных вложений, сколько было израсходовано за все годы советской власти.

Пока никто не знает, где изыскать такие средства, когда экономика страны стоит на грани развала. На сессии Верховного Совета СССР в октябре прошлого года впервые было прямо сказано: бюджет 1989 года не сбалансирован. По честному счету, доходы будут на 20 процентов меньше намеченных расходов, что само по себе не оставляет каких-либо надежд на исполнение плана. Но это не все неприятности. До сих пор расстыковка между приходной и расходной частями бюджета неизменно углублялась в процессе выполнения планов.

При верстке программы на год ли, на пятилетку ли действует нехитрое правило. Предположим, решено начать строительство автозавода. Проектировщики обещают, что новый завод будет не дороже старого. Цель одна: втиснуться в план, получить первую порцию денег, а там казна оплатит истинные расходы — не брошишь же стройку. Помянутый Волжский автозавод планировали соорудить за 800 миллионов, фактически истратили 4 миллиарда. Не подумайте, что исполнители действовали расточительно. Завод создавала лучшая по тем временам строительная организация страны, дешевле никто не сделал бы, но таковы правила игры.

А теперь мысленно поставим себя на место финансистов. Они обязаны отпустить деньги на все плановые объекты. Между тем едва ли не каждая стройка в

смету не влезает, требуется двойная, тройная, пятикратная порция капиталовложений. Не умея пятью хлебами накормить тысячи алучших, финансисты, так сказать, нарезают хлеба на тонюсенькие ломтики — всем понемножку.

Вам еще не расхотелось пребывать на посту министра финансов? Тогда продолжим. Ясно, что в таких условиях реалистичного строительного плана быть не может. Власть вынуждена в обход плана оперативно регулировать ход дела особыми постановлениями, которые издаются пачками (ускорить строительство таких-то предприятий, подтянуть такую-то отрасль, повысить, углубить, расширить хорошее и уменьшить дурное). В экономике, однако, никто не обладает даром творить добро даром. По долгу службы я уже тридцать пять лет читаю постановления по хозяйственным вопросам, но ни в одном не увидел пока самого нужного пункта: деньги, необходимые для исполнения данной директивы, снять с такой-то отрасли, с такого-то проекта. К плановым заданиям просто добавляют новые. При верстке очередных планов обычно не удается обеспечить ресурсами все чрезвычайные директивы, а ведь есть еще и текущие нужды. Академический Институт социологических исследований однажды выявил: из каждого десятка решений Совета Министров СССР исполняется в лучшем случае одно. Дело было в застойные годы, и результат обследования немедленно засекретили. С тех пор возможности государства воздействовать на события несомненно стали меньше. Как это ни парадоксально, нередко директивы надо понимать наоборот: велено, скажем, увеличить производство чего-то полезного — жди снижения. Поверьте, тут нет злобствования и наигранного пессимизма. Авторы директивы используют достоверную информацию, поэтому постановление точно указывает на изъян в хозяйстве. Но коль скоро власть не владеет событиями, негативный процесс продолжается. Все чаще важные директивы — лишь знаки, символы, адреса бед, не более того.

На этом неприятном фоне и надо рассматривать способы преодоления среднеазиатских катастроф. В сентябре прошлого года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по коренному улучшению экологической и санитарной обстановки в районе Аральского моря, повышению эффективности использования и усилению охраны водных и земельных ресурсов в его бассейне». Готовила документ комиссия во главе с председателем Госкомгидромета Ю. А. Израэлем. Когда дело было сделано, председатель объявил в печати: «Мы сознательно избегали широкой информации о нашей работе... пока не будут приняты необходимые решения по нашим предложениям...» Метода, согласитесь, странная: за спиной общественности, в обстановке глухой секретности было погублено море, теперь втихаря прописаны рецепты спасения. Деньги-то будут тратиться народные, наши, и нам тоже интересно знать, куда они пойдут.

Наша любознательность тем более оправдана, что оздоровление региона поручено Минводхозу — тому самому ведомству, которое и натворило бед. Тон работе комиссии бесспорно задавало оно. Еще до выхода постановления Минводхоз представил в Госплан технико-экономический доклад (ТЭД) «О комплексе мероприятий по регулированию водного режима Аральского моря и предотвращению опустынивания дельты Амударьи и Сырдарьи». Как видно из названия, упор сделан на мероприятия, касающиеся непосредственно Арала и его побережья. Спасение всего среднеазиатского региона помянуто мельком. Составили доклад в том же институте Союзгипроводхоз и те же специалисты, которые проектировали переброску сибирских рек. Стоимость только строительно-монтажных работ они оценили в 35—37 миллиардов рублей. Значит, общие капиталовложения (с учетом стоимости оборудования) будут никак не меньше 55—60 миллиардов. Мы достаточно знаем авторов. Бесконтрольно им нельзя доверить копейки щербатой, а тут счет на десятки миллиардов.

Между тем республиканские да и центральные ведомства считают доклад рабочей программой к недавнему постановлению об Арале. Как только доклад будет утвержден (а это вопрос месяцев), начнется финансирование работ. Впрочем, не дожидаясь утверждения, Минводхоз фактически уже начал тратить деньги не только на проектирование им же предусмотренных объектов, но и на строительство. Трудно сказать наперед, как пойдут дела в экономике и, значит, какие средства страна сможет выделить для зоны бедствия. Ясно, однако, что деньги будут даны огромные. Работа предстоит длительная, и есть еще время гласно обсудить ее, то есть сделать то, чего сознательно избегала комиссия Ю. А. Израэля.

На мой взгляд, если принять программу Минводхоза, государство окажется втя-

нутым в заведомо обреченную затею. Круглым счетом из 1000 кубокилометров своего первоначального объема Арал потерял на сегодняшний день 600 кубов. Чтобы восстановить море, этот объем надо влить в него, а затем ежегодно подавать 60 кубокилометров для компенсации испарения. Такого количества воды нет и не будет никогда. Такова реальность. Ежели мы хотим не восстановить, а сохранить море на нынешнем его уровне (именно так и трактуют правительственное постановление пессимисты), нужно ежегодно вливать в него 40 кубов. А согласно постановлению лишь в отдаленной перспективе, к 2005 году, подачу воды в Арал намечено довести до 20—21 кубокилометра. Что при таком варианте произойдет с морем, подсчитано точно: к 2005 году объем его составит 17 процентов от первоначального, Арал распадется на три небольших озера. Это при пунктуальном исполнении директивы. Моей фантазии, однако, не хватает, чтобы представить себе такую картину: стремительно растущее население региона безмолвно взирает, как по двум великим рекам утекает живительная влага, а тронуть не смей — вода нужна для продления агонии нескольких соленых луж. Не будет так. Чует мое сердце, не будет. Правда неприятна, но рентабельна. Обещать, что Арал спасут, — значит, обманывать людей.

По-человечески можно понять, почему никто слышать не желает этой горькой истины. Я рассказывал уже о драматической встрече с жителями Аральска. Несколько месяцев раньше нас здесь побывал большой начальник. Не сомневаюсь, у него тоже обливалось сердце кровью, когда ему рассказывали про ужасные болезни рожениц и младенцев, когда он видел корабли на суше. Но в отличие от нас он мог принимать решения. И принял: ладно, будет вам море. Обязательство не пустое — в программном докладе Минводхоза такой объект предусмотрен, начальник велел лишь ускорить его проектирование.

Взгляните на карту Арала. Восточная, казахстанская его часть как бы отгорожена островом Кокарал. Карта устарела. В 1977 году остров соединился с сушей с севера, а в мае прошлого года — с юга. Арал распался на Большое и Малое моря. Мелководное Малое море стремительно усыхает, жить ему осталось три-четыре года. От города Аральска вода ушла окончательно. Идея проекта заключается в том, чтобы повернуть реку Сырдарью в отчленившийся водоем. А поскольку ничтожных стоков недостаточно, чтобы наполнить Малое море, решено обнести дамбами клочок обнаженного дна близ Аральска и хоть туда напустить воды. По расчетам авторов ТЭДа, устройство моря имени Большого Начальника будет стоить 470 миллионов рублей, но мы знаем, как умеют считать в Минводхозе, — хорошо, если уложатся в миллиард.

Я спросил у представителя Минводхоза А. К. Кияткина (он участвовал в нашей экспедиции), каково назначение будущего водоема. Оказывается, экологической, экономической, санитарной или какой-либо иной пользы от него не будет, водоем сырает психологическую роль: у граждан Аральска возникнет иллюзия, будто они опять живут на берегу моря. Вид из окошка на море — дело хорошее, только нет у казны денег на баловство. К тому же вряд ли удастся сократить забор воды на орошение из Сырдарьи — боюсь, что к Аральску подступит сухое русло. Тогда дамбы, в которые запланировано уложить свыше 300 миллионов кубометров земли, станут перегораживать пустыню и войдут в анекдот. Вот такой могучий дар предвидения мне даден.

Отлично сознавая, что море неспасаемо, авторы доклада подыгрывают общественному мнению и рисуют захватывающие картинки. Пока по их проекту Казахстан спасает свою дольку Арала, в Узбекистане будут заботиться о своей части акватории. По замыслу проектантов, предстоит отчленить солидный кусок обсохшего дна моря за устьем Амударьи двумя рядами дамб и оборудовать там за счет предположительного притока речной воды нечто вроде филиала рая. В жизни не читывал более увлекательной фантастики! В теперешней ядовитой пустыне возникает всесоюзная здравница. Только в районе Муйнака одновременно будут отдыхать 125 тысяч человек, а по всему побережью новых ведомств — 371 тысяча. Стало быть, ежегодно здесь станут поправлять здоровье миллионы граждан. В дальнейшем Муйнак, очевидно, переименовывается в Нью-Сочи, а Сочи — в Старый Муйнак.

В новые аэропорты прибывают толпы курортников. Среди прочей публики по трапам сходят мордатые иностранцы. Комфортабельные автобусы по современным автострадам уносят приезжих к санаториям из стали и стекла, а желающих — к дворцам в восточном стиле. По пути гости любуются стадами съедобных скотов, которых

пасут пейзажу в национальном платье. В хрустальных водоемах нагуливают тело деликатесные рыбы («...ежегодный улов — 200—250 кг с га»). В камышах плодятся и множатся ондатры («...25 особей на га, а всего 90—130 тыс. штук. При цене 5 руб. за шкурку доход составит 300—400 тыс. руб. в год»). Под тяжестью диковинных плодов сгибаются ветки деревьев, зреют словно бы обтянутые полосатыми халатиками арбузы, разлеглись длинные, как лошадиный череп, дыни и всякий иной полезительный овощ. Везде следы довольства и труда.

Великий комбинатор, рисовавший потрясенным васюкинцам весьма похожие картинки, взял на реализацию проекта 26 рублей с копейками. Минводхоз просит несколько больше. На создание курортных зон он намерен истратить 920 миллионов. а различные разгораживания моря на клетушки будут стоить еще 5 миллиардов, что совсем недорого, если учесть, что объем одних земляных работ превзойдет миллиард кубометров. Примем в расчет и другое возможное благо: получив новое заделье, Минводхоз авось забудет о гибельном повороте сибирских рек.

Не Арал спасают проектанты. Они спасают лицо, выдвигая одну за другой идеи, в реальность и пользу которых не верят сами. Еще в 1981 году все тот же Союзгипроводхоз разработал диковинный вариант подпитки моря. Я упоминал уже огромное Сарыкамышское озеро, наполненное стоками с поливных земель. Проектировщики предложили перехватывать эти стоки и отводить в Арал. Институт Средазгипроводхлопка составляет обоснование канала для переброски 3—4 кубокилометров стоков. Моря это — что слону груша, причем груша отравленная: годовой сток содержит более 20 миллионов тонн солей и ядохимикатов. Ежегодно такая порция будет выпадать на сухое аральское дно после неминуемого испарения переброшенной воды. В самом Сарыкамыше растворено сейчас не менее 400 миллионов тонн всякой отравы. Как только стоки, питающие водоем, потекут в Арал, Сарыкамышское озеро высохнет. Образуется еще один рассадник ядовитой пыли площадью 2,5 тысячи квадратных километров. Тракт переброски длиной 240 километров с подъемом воды на полтора метра будет стоить по явно заниженной оценке 170 миллионов рублей.

Сейчас, когда вы читаете мой отчет, Минводхоз успешно втягивает экономику страны еще в одну более чем сомнительную затею. Правительство обязало мелиораторов в ближайшие годы прекратить сброс в Амударью и Сырдарью минерализованных ядовитых вод с полей. По-умному, по-хозяйски как бы надо сделать? Первое — меньше сыпать химии на землю, особенно ядов. Так зарубежные земледельцы и поступают. Таджикский ученый Шалкат Умаров рассказал нам о поездке специалистов в соседний Афганистан. Делегация пропагандировала химикаты против вредителей растений. По словам Умарова, неграмотный дехкан объяснил ученым, что этого добра не надо, и показал листочек хлопчатника с крохотными букашками — те пожирают вредных насекомых. Наука пошла впрок — биометодом в Средней Азии защищают уже весьма значительную часть посевов. При правильной агрономии отпадает нужда в гербицидах. Не будет ядов на полях — не будет и в реках.

Того лучше — подавать на поля столько воды, сколько надо растениям, а не двойную и тройную дозу, как теперь. Тогда грязные стоки иссякнут сами собой. Побывавший недавно в США специалист с удивлением рассказывает, что не обнаружил на огромных массивах дорогих систем для отвода использованной влаги. Вода там не бесплатна, как у нас, и фермеру разорительно лить ее сверх меры.

Нашему Минводхозу чужой опыт не указ. Он задумал мероприятия пограндизней: по обоим берегам Сырдарьи и Амударьи прорыть искусственные реки для перехвата порченных вод. По правому берегу Амударьи русло уже копают шагающими экскаваторами. Новая тысячекилометровая река будет до того могучей, что на ней проектируются гидростанции. Как сообщили мне разработчики Средазгипроводхлопка один этот коллектор потянет на полтора миллиарда рублей. Стоимость всех четырех будущих рек неизвестна — видно, на табло ЭВМ не хватило места для цифр. По расчетам авторов, какая-то часть стока, возможно, достигнет Арала и несколько продлит его агонию.

Где пахнет миллиардами, там Минводхоз времени не теряет — технико-экономический доклад, составленный его головным институтом, уже стал программой действий. Опять назву лиц, поставивших автографы на титульном листе пухлого тома директор Союзгипроводхоза Н. С. Грищенко, главный инженер института О. А. Лентьев, главный инженер проекта П. И. Гунько и, увы, начальник отдела перспективного планирования А. К. Кияткин, тот самый Азарий Кузьмич, который с солдат-

ской прямой, подкупившей меня, объявил жителям Аральска, что надо привыкать жить без Арала. Выходит, у него есть свое мнение, но он с ним не согласен: с одной стороны, спасать море поздно, с другой — подпись под важнейшим документом, предreshающим колоссальные затраты на явно безнадежное дело. «Нам приказали — мы сделали», — только и мог ответить специалист.

Прошу понять меня правильно: отвергая проектировки, высиженные ведомственным вдохновением, я отнюдь не предлагаю бросить Арал на произвол судьбы. После долгих бесед с настоящими учеными обрел контуры достаточно эффективный и подьемный по затратам план.

...Мы на острове Барсакельмес. (Читателю он известен по отличному фильму «Сорок первый», снятому по рассказу Б. Лавренева. Домик, где обитала съемочная группа, сохранился.) Морское дно, обнажившееся в последние годы, словно по линейке отчерчено от старой суши. На нем ни травинки — сыпучий песок, коренной же берег основательно зарос. Профессор Л. Я. Курочкина из казахстанского академического Института ботаники дает пояснения: с таких вот новых площадей и взмывают мертвящие соляные бури. Их не будет, если закрепить дно растениями. Какими? Лидия Яковлевна тридцать пять лет занимается Аралом, и ей известно, что может прижиться на миллионах гектаров обнаженного дна. Надо только не терять времени — фитомелиорацию легче проводить сразу, пока подземные воды близки к поверхности. Тогда Арал сохранится — правда, уже не в качестве цельного водоема, а как сложная биологическая система, как зеленый барьер, способный защитить близлежащие оазисы от наступления пустынь. Эти же мысли высказывали нам президент Академии наук Туркменской ССР О. Г. Овезгельдыев, другие авторитетные ученые. Тогда обретает смысл и решение правительства о подаче в Арал в будущем до 20—21 кубокилометра воды. Моря эта вода не наполнит, а вот для фитомелиорации огромных площадей ее хватит.

Но ученым некому предложить свои идеи — нет заказчика. В командно-административной системе любой план может быть проведен в жизнь лишь через управленческий аппарат. Однако не существует ведь таких должностей: начальник Аральского моря, директор Волги, председатель Каспия. Власть кончается на берегах этих объектов, а сами они ничьи, судьба их тревожит разве что писателей.

К тому же авторам плана фитомелиорации все время не везет, они никак не изловчатся попасть в жилу. Когда Минводхоз решил пожертвовать Аралом, та же Лидия Яковлевна устно, письменно и печатно предупреждала: будет худо. Да кто ее слушал? В ту пору исследователей гнали с Арала, чтобы не сеяли паники. В Институте географии АН СССР аральскую тему закрыли напрочь. В низовьях Амударьи и Сырдарьи Госкомгидромет упразднил станции наблюдения — раз вода перестала поступать, наблюдать нечего. Институт ботаники АН Казахской ССР прекратил финансирование изысканий, и лишь снизойдя к заслугам профессора Л. Я. Курочкиной, академическое начальство сквозь пальцы смотрело на ее отлучки к морю. В ленинградском Институте зоологии, где всю жизнь проработал основоположник науки об Арале Л. С. Берг, тему тоже прихлопнули. Впрочем, в Приаралье мы встретили сотрудника этого института Н. В. Аладина. Вот уже десять лет подряд зиму он копит деньги, чтобы в свой отпуск вырваться к объекту исследований. Другого такого знатока здешнего животного мира нет. Николай Васильевич считает, что изучение гибели экосистем имеет фундаментальное значение для экологии — ведь со временем придется возрождать живое. Поистине, когда переведутся донкихоты, закройте книгу истории, в ней нечего будет читать.

Сегодня исследователи-добровольцы опять не в чести. Они предлагают открыть сеть станций в Приаралье, у них есть план научных и прикладных изысканий. Но какие станции? Зачем станции? К чему изучать обсохшее дно? Что еще за фитомелиорация? Вот придет вода, наполнит море — и все само собой образвется как надо. А не придет — разве кого потянут к ответу?

Что же, спрашивается, переменялось после всей шумихи вокруг Арала? Ученым, озабоченным судьбами региона, как не давали, так и не дают работать. Более того, они теперь вроде как противники спасения моря — хотят, видите ли, превратить наш прекрасный Арал в какую-то зеленую зону, сукины дети. Зато деятели, сделавшие себе имя и карьеру на жертвоприношении моря, снова в первых рядах — теперь они завзятые спасатели, ведь дальше предстоит рапортбальное.

Итак, столкнулись два плана. По глубокому моему убеждению, единственно реалистичным является вариант зеленой зоны. Главное его достоинство — он дает отличный шанс на спасение всему среднеазиатскому региону. Поясню. При всех условиях государство выделит зоне экологического бедствия громадные, однако же не бессчетные суммы. Поскольку альтернативный вариант относительно дешев, основная часть средств пойдет на то, чтобы создать нормальные условия жизни населению Среднеазиатских республик. Тогда выстраивается совсем не та цепочка действий, какую предлагают Минводхоз и его союзники.

6

Первая забота — здоровье людей. Жители побережья напрямую связывают болезни и эпидемии с усыханием моря. Специалисты-медики из нашей экспедиции после тщательного обследования всего региона такой связи не установили. Да, на побережье девять рожениц из десяти страдают малокровием. Но немногим лучше положение во всей Средней Азии. Причины малокровия известны: скудное и скверное питание — раз, ослабление женского организма почти что ежегодными родами — два. Эти вещи связаны: во все времена и у всех народов неразлучным спутником бедности была высокая рождаемость. Есть Арал или нет Арала, пока эти причины действуют, будут и анемичные роженицы и слабые дети.

Да, объективные данные говорят о том, что вырождение людей собственно в Приарале подходит к критической черте и процесс стал неуправляемым — медики могут лишь регистрировать события. В Каракалпакии заболеваемость паратифом в 2 раза выше, чем в целом по Узбекистану, и в 23 раза выше, нежели по всей стране. За последние десять лет общая смертность в автономной республике поднялась в 1,5 раза, сердечно-сосудистые болезни участились в 1,6 раза, туберкулез — вдвое, желчекаменная болезнь — в 5 раз, рак пищевода — в 7—10 раз. В Кызыл-Ординской области только за пять лет заболеваемость брюшным тифом возросла почти в 20 раз. Желтухой здесь переболели 60 тысяч человек. Эти люди, как уверяют врачи, на всю жизнь остались инвалидами (поражена печень). В Приарале свирепствует дизентерия, обывденными стали болезни, о которых давно забыл цивилизованный мир. Детская смертность здесь выше, чем в каком-нибудь Парагвае, и в 20 раз выше, нежели, к примеру, в Японии.

Все так, только при чем тут море? По несчастью, население Приаралья живет в низовьях великих рек и вынуждено пить воду, которая вобрала в себя пестициды, гербициды и прочую мерзость. Это уже не реки — это клоаки Средней Азии. Я написал из официальных отчетов содержание вредных веществ в пробах, взятых в створах Сырдарьи и Амударьи и от верховий до дельты. В горных истоках вода чистойшая, да это и без анализов ясно — мы проехали по Памиру и каждодневно наслаждались хрустальными источниками. В пробах, взятых в среднем и особенно нижнем течении обеих рек, по экспоненте возрастает содержание ядов, включая давно запрещенные к применению дуст и гексахлоран. Поскольку по невежеству своему оценить цифры я не умею, посадил рядом доктора наук, заместителя директора Всесоюзного института охраны водных ресурсов А. К. Кузина и попросил его комментировать анализы. Он не был многословен: «Убойная доза, убойная доза». Выписываю, а сам поглядываю на собеседника — мой Саша побелел от страха. Ведь эту воду пьют, другой нет.

Ядохимикаты, смертельно опасные сами по себе, подавляют способность к самоочищению бытовых и фекальных стоков. Эта отвратительная смесь просачивается в колодцы, а практически все сельские жители пользуются колодцами. По деликатному выражению нашего врача кандидата медицинских наук А. Д. Дериглазова, люди пьют воду, которая несколькими днями раньше была уже выпита.

Иолотанский район Туркмении далеко от Арала, но здесь тоже пьют отраву — из реки Мургаб. И статистика болезней в точности повторяет цифры Приаралья. Я попробовал это пойло, так нашему доктору пришлось потом опустошить для меня свою походную аптечку. В небольшом районе 800 детей болеют желтухой, участились смертельные исходы (царство им небесное, невинным душам).

Растворенные яды проникают в продукты. В Чимкентской области, как показали анализы, содержание пестицидов в мясе превышает безопасную норму в 8 раз, в овощах и фруктах — в 16 раз. На такую ерунду, как нитраты, здесь уж и внимания

не обращают. Как известно, запрещено пасти скот в восьмиметровой полосе от шоссе — на траву оседает свинец из выхлопных газов. В густонаселенных районах Средней Азии личный скот пасут только при дорогах, больше нигде. Рассадники болезней — хлопковые поля, напичканные химией. В США хлопчатник сеют не ближе чем в трех километрах от жилья, хотя ядохимикатов на гектар там употребляют в десятки раз меньше. В Средней Азии хлопковые деревья зачастую подступают к крыльцу, заглядывают в окна, а ведь обрабатывают поля дефолиантами сплошь и рядом с самолета — проще сказать, сыпят отраву на голову.

Что в такой обстановке может медицина? Слов нет, обеспеченность врачами, а также больничными койками в зонах бедствия много хуже, чем в среднем по стране. В сельских больницах и поликлиниках нет водопровода, канализации. В душанбинской инфекционной больнице, кратко прозванной заразкой, матери малышей-пациентов спят на полу в коридоре... Все это надо поправлять, и немедленно, нет у страны забот более спешных. Но построй больниц хоть дворцы, не уступающие помпезностью и комфортом офисам для местного начальства, дай каждой семье по доктору — мало что изменится к лучшему. Нужен капитальный ремонт всей среды обитания. Сюда-то и надо устремить львиную долю инвестиций, которую государство выделит под программу «Арал».

Будь моя воля, я бы поставил программу обеспечения региона добротной питьевой водой на первое место. Кое-что, правда, делается. В нынешнем году будет закончен шестисоткилометровый водовод из специального водохранилища в Каракалпакию. Но чистую влагу вкусят только жители столичного Нукуса. О разводке его по автономной республике пока одни разговоры, а между тем эта работа по объему втрое больше, чем прокладка трассы до Нукуса. Она займет годы, которых в запасе нет, и всего бы лучше разместить пока в Приаралье опреснители. Специалисты утверждают: дело реальное, если, конечно, промышленность быстро их изготовит. Но это опять время. Его можно еще поджать. В Ашхабаде, в Институте гидротехники и мелиорации В. В. Жарков показал нам свое изобретение — ведро «чашме» (родничок). Пройдя через угольные фильтры (они служат год), вода неплохо очищается даже от ядохимикатов. При массовом производстве ведерко обойдется в 25 рублей, но если будет и дороже, все равно надо быстро обеспечить новинкой каждую семью в зонах бедствия, пока в дома не придет водопровод.

Еще больше средств понадобится, чтобы спасти землю-кормилицу. Специалисты Минводхоза называют цифру — 28,5 миллиарда рублей. Думаю, однако, что сумма завышена, если, конечно, считать на сегодняшние деньги (не принимая в расчет постоянное падение покупательной способности рубля). Дело в том, что ирригаторы на сей раз заинтересованы в завышении будущих затрат, а в такой ситуации они хоть таблицу умножения перекроют. В чем этот интерес? Минводхоз все время связывает две цифры: истратим 28,5 миллиарда и в итоге сэкономим лишь 10 кубокилометров поливной воды. Значит, каждый кубометр сэкономленной влаги будет стоить 2 рубля 85 копеек. Показатель безумный. А отсюда вывод: много дешевле подать сибирскую воду. (Это у них пунтик, как у того клиента желтого дома, который извлек из жениных трусиков резинку и сделал-таки рогатку.) Подгоняя решение задачи под ответ, наши стратеги исказили базовую цифру.

Объем возможного сбережения воды, наоборот, занижен в 4—5 раз. Эту цифру я не выдумал, а рассчитал по документам, составленным самими ирригаторами. В Узбекистане сейчас расходуют 17,2 тысячи кубометров воды на поливной гектар (по моим расчетам, не менее 19 тысяч, ну да ладно, остановимся на официальной цифре). В предстоящем десятилетии норму намечено снизить до 10,6 тысячи кубов. Экономия на 4 миллионах гектаров орошаемых площадей — 26,4 кубокилометра, по всей Средней Азии — 45 больших кубов, а не 10, как утверждают руководители ирригационного дела.

Но суть-то не в сбережении воды. Землю надо так и так приводить в божеский вид — иначе она деградирует вконец. В регионе в комплексной реконструкции нуждаются примерно 3 миллиона гектаров. Значит, если мы желаем управиться хотя бы за десятилетие, ежегодно нужно освобождать от посевов и приводить в порядок 300 тысяч гектаров. Задача, в общем-то, посильная: были годы, когда в регионе вновь осваивали по 200 тысяч гектаров, а мощности строительных организаций с тех пор уж во всяком случае не сократились. В начале 1988 года один из руководителей Госагропрома Узбекистана объявил в печати: наконец-то впервые за всю историю ир-

ригации на 65 тысячах гектаров ничего высеваться не будет — площадь отдана под реконструкцию. Немного, однако лиха беда начало. Эту же цифру повторил в беседе со мной генеральный директор САНИИРИ В. А. Духовный, добавив, что дела идут бойко. И присочинил, по обыкновению (такого фантазера еще поискать). Мы проехали по всем областям Узбекистана, всюду я спрашивал. сколько земли ныне выведено из оборота и передано строителям? Ни одного гектара, дорогой товарищ Духовный, ни одного! То, что вы называете реконструкцией, в действительности баловство: там арык подлатали, здесь бульдозером прощлись. Впрочем, мне нет нужды давать тут свою оценку. В «Комплексной программе научно-технического прогресса до 2005 года» о косметическом ремонте земель сказано: «Ежегодно расходуемое на эти цели большое количество средств (в целом по региону более 360 млн рублей в год)... не дало должной отдачи. Так, в среднеазиатском регионе за годы XI пятилетки мелиоративно улучшено 973,9 тыс. га, а площадь мелиоративно неблагополучных земель уменьшилась лишь... на 273 тыс. га». Автор этого пассажа — В. А. Духовный. Если из каждых четырех отремонтированных гектаров три как были, так и остались с брачком, с изъянцем, то это сколько угодно можно извести втуне казенных денег. По приведенным цифрам школьник посчитает: по существу, впустую в каждый гектар вложено по 1848 рубликов, причем, как справедливо пишет в том же документе В. А. Духовный, при такой работе «требуются многократные повторные реконструкции на одних и тех же землях».

Ирригаторы Среднеазиатских республик в один голос жалуются: Госплан год от года сокращает ассигнования на реконструкцию. Правда, да не вся — неточно назван виновный. В действительности Минводхоз Союза от своих миллиардов отщипывает на эти цели крохи. Там убеждены, что больше и не надо. Первый заместитель министра П. А. Полад-заде уверял меня, что по стране лишь 2 миллиона гектаров из 20 требуют сегодня устройства дренажа, остальные земли в порядке. А по данным САНИИРИ, в одной Средней Азии предстоит дренировать 3 миллиона гектаров из 7. Простите, но я верю последней цифре — сам видел состояние земель.

Настрой умов в Минводхозе по-прежнему на освоение новых площадей. И понятно почему. Реконструкция лишь сохраняет плодородие почв, оздоравливает среду жизни, сберегает воду, но не дает немедленных заметных прибавок продукции. Если казенные деньги тратить на это, все увидят: министерство исправляет собственный брак, возвращает долг, накопившийся за годы хищнического освоительства. А оно уже отпартовало, какие неисчислимые выгоды вечно будет получать народ от 130 миллиардов, вложенных в мелиорацию только за два десятилетия. Если же гнуть прежнюю линию, то сборы продукции с новых массивов станут компенсировать потери от снижения урожайности на старых землях и сверх того дадут все же прибавку продукции. Возникнет видимость какой-никакой эффективности капитальных вложений. А что достигнута прибавка за счет подрыва плодородия земель, так о том пусть болит голова у потомков. Расчет неглубокий, да вот беда: деградация земли идет стремительнее, чем предполагали ушлые ирригаторы.

Нет, как хотите, а было бы легкомыслием доверить Минводхозу золотой дождь инвестиций под аральскую программу. Он опять сделает все не то и не так. Как поступить, теперь мы знаем. Поищем другие варианты исполнения программы, минуя Минводхоз.

7

На встрече с нами первый секретарь Центрального комитета Компартии Туркмении С. А. Ниязов настойчиво возвращался к одной на первый взгляд странной мысли. Почему, спрашивал он, руководители Каракалпакии решают вопрос о судьбах Арала через Москву? Добились в 1986 году одного постановления, теперь вот вышло другое. Москва воды не добавит ни в море, ни в реки. Такие дела лучше вершить на месте, по договоренности между республиками. Пусть первые руководители Среднеазиатских республик съезжаются время от времени и решают в принципе, как поделить воду и сколько ее дать Аралу. Лишь в случае разногласий арбитром станет центральная власть. Раз в месяц или в квартал может заседать постоянно действующий Совет по Аралу и рекам — исполнительный межреспубликанский орган.

Поразмыслив на досуге, я, кажется, понял смысл и замечательную практичность этой идеи. А вот так и надо делать, как сказал Ниязов. По букве конституции все

республики, конечно, равны, но на практике некоторые, так сказать, равнее. В регионе до сих пор с ужасом вспоминают, как всеильные временщики творили что хотели именем Москвы. В 1976 году хозяин Казахстана Кунаев добился разрешения перебросить воду из Кайракумского водохранилища в Чардаринское (оно на территории Казахстана). Открыли створы. Этого показалось мало, тогда демонтировали турбину гидроэлектростанции. В дырищу хлынул поток, Сырдарья вышла из берегов, потом жители собирали рыбу на полях. В другой раз Рашидов вызвал из Москвы министра мелиорации и министра энергетики и велел пробить дыру в плотине Токтогульской ГЭС, чтобы перегнать воду из Киргизии в свою вотчину.

Всем нам выгодно равноправие. Взять ту же дележку воды. Как бы справедливо Госплан Союза ни распределил водные ресурсы между республиками, обязательно кто-то сочтет, что его обделили. Для чего центру принимать удар на себя? Пусть делают на месте, а там у каждой республики только один голос из пяти. Опыт показал, что вовсе не трудно выдать местнический интерес за общесоюзный и вырвать ресурсы для себя хотя бы и в ущерб другим. Куда как сложнее нахальничать на встрече руководителей пяти республик, глядя глаза в глаза коллегам.

Я чего боюсь? При массовом освоении новых земель рваческим методом бестолково истрочены средства. История может повториться. Сколь ни безрадостна ситуация в экономике, ресурсы выделим и уже выделяем. А дальше? Центральная власть будет считать, что этот вексель погашен, долг исполняется. Для местного же руководства ассигнования вроде как с неба упали, они ничьи, и не возникнет ли искус пустить их на второстепенные, местного значения проекты? Не начнется ли опять рвачество — кто смел, тот съел? Скажем, руководители Каракалпакии желают любой ценой восстановить Арал. Они прекрасно понимают, что предусмотренная директивной подача в отдаленном будущем 20—21 кубокилометра воды не спасет моря, но в разговоре со мной первый секретарь обкома К. С. Салыков буквально умолял не охаивать постановление: для начала и этот документ неплох, придет время — добьемся от центральной власти большего, ведь за Арал горой встала вся страна. Если спасти море все-таки не удастся (а помяните мое слово, так и будет), от бросовых затрат автономная республика пострадает не больше других. Прогадает среднеазиатский регион в целом, упустивший шанс на спасение с помощью всего советского народа. Не окажемся ли мы снова у разбитого корыта — и деньги израсходованы, и людям не стало лучше?

А такое обязательно произойдет, и к гадалке не ходи, если сохранится нынешний порядок финансирования: сперва республики сдают прибыль в общесоюзную казну, а уж та от щедрот своих делит денежки на манер сороки-вороны: всем дала без какой-либо связи с вкладом республики в общий котел. Думствующие экономисты региона вынашивают идею территориального хозрасчета. Как он мыслится? Предприятия областей, краев, республик по-прежнему вносят некоторую часть налогов в союзный бюджет. И не только на такие нужды, как содержание армии или, скажем, государственного аппарата. В центральной кассе надо иметь средства для поддержки программ общенародного масштаба. Однако основная часть налогов должна поступать в местные бюджеты, а Средней Азии я бы оставил на длительный срок отчисления от предприятий полностью — они все равно возвращаются в регион в виде «дареных» инвестиций, да еще с добавкой. Тогда республики, отчасти даже области и районы смогут финансировать жизненно важные проекты в основном из собственных средств. А за свои кровные навряд ли стали бы в Туркмении копать нелепый Ташаузский канал. Вот тогда-то и объявился бы интерес к межреспубликанским проектам на паях к взаимной выгоде участников. Это ведь иллюзия, будто централизованное финансирование пресекает местничество. Жизнь каждодневно опровергает такую догму.

Рискну предложить для размышления еще более радикальную мысль. Думается, впереди у нас длительный период, в течение которого республики будут добиваться большей самостоятельности. Разумно ли пресекать это стремление и тем самым вызывать эксцессы? Не лучше ли сразу и резко пойти навстречу законным желаниям народов? Попробуем вычленив дела, которые безусловно останутся в ведении сообщества. Не надо, чтобы каждая республика имела свою армию, — иначе во что могла бы вылиться, скажем, коллизия вокруг Нагорного Карабаха? Только сообща наше содружество заключало бы международные договоры. А из хозяйственных функций, пожалуй, лишь транспорт и связь требуют единого управления, что, кстати, не вызывает чьих-либо протестов. Все остальное на усмотрение республики. В политике

опасно опаздывать. Сегодня такая программа устроила бы всех, завтра и она может показаться недостаточной.

Предложенное устройство упредило бы вспышки национализма — не за что сражаться. Экономические связи, конечно, не ослабнут. У нас сложился единый народнохозяйственный комплекс, вырвать из него какой-либо регион можно только с мясом. Однако покамест мы регулируем хозяйственные связи по преимуществу сверху — из центра и через ведомства. В результате реформ они перейдут на уровень предприятий. При выборе партнеров производителю безразлично, находится ли поставщик в родимой республике или за ее пределами, — тут диктует экономический интерес. Лишь налоги предприятия платят в основном в местный бюджет, а все взаимные расчеты за продукцию производятся минуя как республику, так и Москву. Рынок — великий объединитель народов. С развитием рынка националисты будут изолированы самой жизнью — им нечего предложить трудящимся, кроме пустых фраз. Отодвинутой в сторону окажется и бюрократия центра. Она вызывает всеобщее раздражение, но для меня, русского, бюрократ есть лицо без национальности, а коренной житель республики неосновательно отождествляет его с администратором из русскоязычной Москвы.

Территориальный хозрасчет — первый шаг к самостоятельности республик. Однако сразу же выясняется, что мы не можем шагнуть, пока не изменен порядок ценообразования. Впрочем, об этот порог мы спотыкаемся при любой попытке экономических реформ. Вот я толковал о самофинансировании. Но как можно самофинансироваться, когда во всем среднеазиатском регионе доходы меньше расходов? Республики производят меньше национального дохода, чем потребляют. Совершенно неверно предположение, будто здешнее трудолюбивое население живет за счет других, с такими разговорами пора кончать. Все дело в том, что на основную продукцию, а именно на сельскохозяйственное сырье, назначены несообразно низкие цены, зачастую не покрывающие затрат. Точнее, оптовые цены на сырье пребывают стабильными по пятнадцать—двадцать лет, в то время как техника и все другие ресурсы, потребные для производства сырья, непрерывно дорожают. В таких условиях даже Западная Сибирь работает вроде бы в убыток, хотя за счет сибирской нефти целые десятилетия жила и развивалась экономика державы. Не будь нефтедолларов, мы с вами сидели бы на хлебных карточках.

Узбекский экономист М. Абдусаломов сделал убедительные расчеты. Сельское хозяйство, будучи сырьевой отраслью, убыточно по стране в целом — дотации превысили 80 миллиардов рублей. Узбекистан производит около 6 процентов сельскохозяйственной продукции Союза. Естественно, он вправе претендовать на такую долю и в дотации, то есть на 4,8 миллиарда рублей. В действительности использованный в республике национальный доход больше произведенного лишь на 1,5 миллиарда. Так кто кого кормит? Работник, занятый в промышленности республики, производит за год 8,5 тысячи рублей национального дохода, сельский труженик — лишь 3,5 тысячи. А поскольку аграрный сектор занимает в экономике Узбекистана гораздо более солидную долю, чем в целом по стране, республике трудно тягаться с промышленно развитыми регионами — это было бы соревнование козы с коровой.

Если мы хотим не говорить о реформах, а делать их, пора наконец понять: то вар стоит не столько, сколько декретировали чиновники, а сколько за него дают покупатели. Договорная, или, что то же самое, рыночная оптовая, цена — первое условие перемен в производственных отношениях.

Общий знаменатель всех бед, постигших Среднюю Азию, — командно-административная система. Негативные ее стороны раскрылись здесь раньше и полнее хотя бы по той простой причине, что среда обитания создана в регионе не матушкой природой, а руками человека и потому более хрупка, ранима, уязвима к воздействию волюнтаризма. Опоздаем со сменой системы — Средняя Азия станет моделью, генеральной репетицией тотального распада. Отсюда не следует, будто люди обречены ждать, пока скажется эффект реформ. Мы еще великая держава, могучее содружество, и народы, попавшие в экологический концлагерь, могут быть уверены: в беде не бросим, что в человеческих силах — сделаем. Говорю это не от имени власти — таких полномочий не имею. Смее думать, что выражаю волю сограждан.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. СЕРБИНЕНКО



ТРИ ВЕКА СКИТАНИЙ В МИРЕ УТОПИИ

Читая братьев Стругацких

...общественная жизнь, возрастая стройно, не разрушает каждым успехом прежних приобретений и не ищет ковчега спасения в земных расчетах промышленности или в надзвездных построениях утопий...

И. Куреевский.

Двадцатый век скомпрометировал утопию, как, вероятно, никакой другой. Роковая, по Бердяеву, способность утопических прожектов «сбываться» проявилась уже в первой половине столетия — диагноз, поставленный утопическому сознанию авторами знаменитых антиутопий, подтвердился едва ли не в деталях. Значит ли это, что человечеству остается окончательно довериться расчетливому практицизму, а на утопическое наследие вправе претендовать только футурологи с их «строго научными» прогнозами? Искусственность этой дилеммы очевидна. И не потому лишь, что утопическая идеология как будто бы сдает ныне свои позиции, но вряд ли окончательно канет в Лету: корни ее глубоки, а способности к социальным метаморфозам практически беспредельны. Дело в другом. Мы не можем считать подлинной альтернативой утопизму здравый смысл, возведенный в абсолют. Какой резон делать выбор между Маниловым или Шигалевым — и Собакевичем? Но именно утопическая идеология, претендующая на роль единственного и подлинного общественного идеала, навязывает подобный выбор: или «надзвездные построения утопий», или уж ничего, кроме «земных расчетов промышленности». Либо парим, либо ползаем.

В свое время Вл. Соловьев, много сделавший для утверждения ценности и необходимости общественного идеала, резко противопоставил «людей факта, живущих чужой жизнью», и ее подлинных творцов — «людей веры», тех, «которые называются мечтателями, утопистами, кородивыми,—

они же пророки...». Апология утопизма? Нет, высочайшая оценка веры и мечты в духовной истории человечества, а это далеко не то же самое. Но, как бы ни были ценны эти качества духа, если они, по Соловьеву, направлены на ложный «внешний общественный идеал», то итог оказывается катастрофическим. Вслед за Достоевским Вл. Соловьев предупреждает, что тот, кто подчиняется «внешнему общественному идеалу» и берет на себя право «действовать и переделывать мир по-своему, такой человек, каковы бы ни были его внешняя судьба и дела, по самому существу своему есть убийца; он неизбежно будет насилловать и убивать других и сам неизбежно погибнет от насилия».

Превращение утопической мечты во «внешний общественный идеал», требующий «переделки» мира и человека, в сущности, означает отрицание самой мечты. Рождается идеологическая схема, под покровом научности программирующая и расчерчивающая «светлое будущее». И реально противостоят этому эрзацу мечты не тотальные расчетливость и практицизм, а общественные идеалы, учитывающие несовершенство мира и человека и не отрицающие во имя рационалистически-фантастических планов прошлого и настоящего истории. Может быть, наибольший оптимизм в нашей нынешней общественной ситуации вызывает как раз то, что отказ от утопических иллюзий сопровождается пусть не легким и, возможно, не столь решительным, как хотелось бы, но обращением к подлинным общечеловеческим ценностям и идеалам.

Подвижна и трудноопределима грань, разделяющая утопизм как элемент культуры и человеческого сознания вообще и утопизм как факт идеологии. Многие так или иначе препятствуют превращению утопических мечтаний в предназначенные к исполнению идеологические инструкции. Скрытая ирония, пронизывающая знаменитое произведение родоначальника жанра литературной утопии Т. Мора, например. Или постоянно сопутствующая утопическим идеалам в истории культуры и корректирующая их негативная утопия. В наше время роль «предохранительного клапана» нередко выполняет научная фантастика, ставшая своего рода полигоном для массового испытания самых разнообразных утопических проектов. Немало о природе утопизма успела поведать и отечественная разновидность жанра, во всяком случае в наиболее ярких образцах. К числу последних безусловно принадлежат многочисленные книги братьев Стругацких. И ясно, что в «философской фантастике» писателей обрел для себя умственный пищу не только так называемый массовый читатель. Об этом свидетельствует хотя бы обращение к их творчеству ведущих представителей нашего «интеллектуального» кино — А. Тарковского («Сталкер») и сейчас А. Сокурова («Дни затмения»).

Время и место

Когда Б. Стругацкий в интервью журналу «Даугава» говорит, что ответ на «вопрос, который интересовал нас всегда... куда мы идем... после XX съезда» казался найденным: появилась вера, что «вот-вот наступит светлое будущее», — то эту характеристику собственного «начала» воспринимаешь как нечто само собой разумеющееся.

Творчество братьев Стругацких всегда проходило под явственным знаком 60-х. Утопический пафос, так много значивший в мировоззрении поколения, быстро утратил в их творчестве свои непосредственные, «наивные» черты, но тема утопии писатели остались верны, создав под вывеской фантастического жанра целый мир-лабораторию, где с поразительным упорством и изобретательностью подвергались испытаниям «на прочность» утопические идеи.

И надо заметить, что мир этот в общих чертах возникает уже на страницах первых книг. Четко очерчивается временной интервал, в котором и впредь будут происходить невероятные и захватывающие приключения персонажей. Время ранней фантастической прозы Стругацких включает в себя ряд взаимосвязанных циклов: это более или менее условная современность ру-

бежа 50—60-х годов («Извне»), ближайшее «светлое будущее» («Страна багровых туч» и примыкающие к ней рассказы); XXI век — век «бури и натиска» коммунистического завтра, постепенно наступающего в мировом масштабе («Стажеры», «Путь на Амальтею», рассказы «Частные предположения», «Чрезвычайное происшествие» и др.); и наконец, век XXII — время осуществленной утопии, «полдень» ее космической эры («Попытка к бегству», «Полдень, XXII век»). То, что Стругацкие жестко ограничивают время действия тремя столетиями и в дальнейшем так и не нарушают ими же самими установленными границ (пока, во всяком случае, они этого еще не сделали), говорит о многом. И может быть, в первую очередь о том, что уже изначально их мало привлекали предоставленные фантастическим жанром неисчерпаемые возможности временных игр. Они отказываются разрабатывать эту тему, а ведь она является поистине золотой жилой современной фантастики. Все традиционные космические атрибуты жанра в ранней прозе Стругацких налицо: встречи с пришельцами и первые попытки контакта, полет на Венеру и героическое освоение Солнечной системы, за чем следуют подвиги уже на галактических просторах. Однако у космизма Стругацких своя специфика. Они создают и постепенно обживают свой особый мир, делая его вполне представимым как во времени, так и в пространстве. Не только герои первых повестей и рассказов возвращаются вновь и вновь (как, например, Иван Жилин, герой «Стажеров» и «Пути на Амальтею», и в дальнейшем «Хищных вещей века»), но сбегают и пространственные очертания Утопии, намеченные в ранней прозе. Кажется это и Земли, чей образ сохраняет свое центральное значение в предложенной Стругацкими модели Вселенной (которая в этом смысле вполне геоцентрична), и областей периферийных, казалось бы, несущественных. Пандора, родина страшного ракапаука и таинственных тахоргов, постепенно превращающаяся в курорт-заповедник для землян, раз-другой упомянутые Яйла, Леонида, Тагора — их немало, таких планет, образующих своеобразный космический ландшафт утопического мира Стругацких, и каждая из них — это еще один штрих, позволяющий писателям придать вселенским просторам, на которых происходит действие, черты знакомой и уже довольно-таки обжитой страны.

Для того чтобы оценить путь, избранный писателями, бесполезно хотя бы в общих чертах представить те дороги, которыми

они отказались следовать. Одна из них увела в неопределенный безликий мир, где осуществляют бесконечные перемещения во времени и пространстве неисчислимые армии героев современной научной фантастики (НФ). Для Быкова, Юрковского, Жилина и других персонажей Стругацких существовала реальная опасность легко затеряться в этой «дурной бесконечности», утратив едва только успешную наметиться индивидуальность. Стругацкие пришли на помощь своим героям, с одной стороны, решительно возвращая их из галактических странствий на Землю, с другой — с каждой новой книгой все откровеннее включая дословный планетарный мир космических приключений в орбиту земных идей и проблем.

В поисках «нового человека»

Стругацкие приступили к созданию своего космического эпоса с изображения его начального этапа. В описании полета Быкова и его друзей на Венеру и в чертах земной жизни, представленных в «Стране багровых туч», а затем в «Стажерах», отчетливо отзвуки той идеологической волны нетерпеливого и приподнятого ожидания фантастических успехов в ближайшем будущем, что захлестнула наше общественное сознание на рубеже 50—60-х годов. Венерианская эпопея Стругацких рассказывает о поколении, которому по официальной версии предстояло активно «жить и работать» в наступающем уже в ближайшие десятилетия «коммунистическом завтра». Впрочем, само это близкое будущее описано в «Стране багровых туч» весьма сдержанно. Собственно информация о достигнутых успехах практически исчерпывается строками сообщений газеты, которую Быков просматривает перед стартом и собирается взять с собой в космос как «символ дыхания Земли, могучего пульса родной планеты»: «Смелее внедрять высокочастотную вспышку» — передовая, «Исландские школьники на каникулах в Крыму», «Дальневосточные подводные совхозы Аадут государству сверх плана 30 миллионов тонн планктона», «Запуск новой ТЯЭС...», «Гонки микровертолетов...», «На беговой дорожке 100-летние конькобежцы»...

Лаконизм в описании социального и технического прогресса свидетельствует, что Стругацкие, отдавая долг идеологическим клише тогдашней НФ, всерьез решали в своей первой большой книге совсем другую задачу. Из весьма многообразной системы утопических прожектов их внимание привлекала одна, основополагающая идея —

идея «нового человека». Эта идея не только всецело определила пафос их раннего творчества, но и в дальнейшем сохранила значение едва ли не ведущей и самой постоянной темы. Первые «новые люди» Стругацких, вся эта команда покорителей Солнечной системы — нормальные «положительные герои», не слишком выразительные, но и не иконописные, мало чем отличающиеся от таких же положительных персонажей обычной, на особую фантастичность не претендующей советской прозы тех лет. Вот только свою положительность им приходилось демонстрировать в уже окончательно бесконфликтной социальной ситуации коммунистического завтра. Задача, что и говорить, архисложная. Придав некое жизнеподобие характерам своих героев и срочно отправив их на Венеру для борьбы с «реальными» трудностями, Стругацкие в какой-то мере с ней справились. Во всяком случае, на фоне той вереницы персонажей, облаченных в белоснежные одежды и наделенных всеми возможными добродетелями, которая заполонила книги советских фантастов, занявшихся будущим, Быков и его друзья казались людьми из плоти и крови. И это, естественно, было замечено благодарными читателями НФ.

Однако Стругацкие слишком всерьез и искренне взялись за утопическую тему, чтобы, приняв к сведению версию о неизбежном и скором рождении «нового человека», ограничиться воспеванием его подвигов и достоинств. Они рискнули предложить свой вариант реализации советской утопии образца 60-х годов, дав достаточно широкую и связную картину жизни при развитом коммунизме — в XXI и XXII веках¹.

В «Стажерах» Быков, Юрковский, Жилин уже не те, что прежде. Конечно, как того требует жанр, они остались людьми действия, ежесекундно готовыми жертвовать собой (героический апофеоз повести — гибель Юрковского где-то в районе Сатурна). И все же их ампула существенно изменилось, это уже не отобранные для космических свершений рядовые новобранцы. «Двадцать лет спустя» от них самих многое зависит, а Юрковский, наводящий порядок в космических владениях Земли в ходе инспекционного полета, явно представляет высший эшелон земного руководства. Правда, сам герой скромно име-

¹ Естественно, они не были одиноки. Наиболее масштабным и прониженным образом утопической идиллии в советской фантастике и по сей день остается знаменитый роман И. Ефремова «Туманность Андромеды».

нует себя и своих соратников стажерами, но имеет в виду нечто универсальное: «Мы все стажеры на службе у будущего». Лозунгами, однако, дело не ограничивается. Обретя статус лидеров, немногословные герои «Страны багровых туч» не могут избегнуть и роли идеологов, отстаивающих и пропагандирующих утопические идеалы. Недостатка в слушателях они не испытывают. Одному из таких слушателей, и, кстати сказать, юному стажеру в буквальном смысле, Юре Бородину, Стругацкие отвели роль традиционного «вожатого», проводника по Утопии.

Каков же он, этот «прекрасный новый мир», по которому уверенно ведет читателя «русский мальчик» Юра Бородин? Это — наконец наступивший мир без войн, без ядерного оружия, мир с открытыми границами и с безграничными перспективами в освоении космоса. Победа коммунизма в мировом масштабе уже окончательно предрешена, во всяком случае не возникает сомнений, что задача «догнать и перегнать» давно утратила всякую актуальность: «Да, да, коммунизм как экономическая система взял верх, это ясно,— признает в повести один из «западных» специалистов.— Где они сейчас, прославленные империи Морганов, Рокфеллеров, Круппов, всяких Мицуи и Мицубиси? Все лопнули и уже забыты. Остались жалкие огрызки вроде «Спэйс Пёрл», солидного предприятия по производству шикарных матрасов узкого потребления» (герои повести «XXII век» будут еще с некоторой грустью вспоминать об этих «замечательных матрасах», окончательно канувших в прошлое вместе с подвизавшимися в Северной Америке (так называемыми фирмами и монополиями). Правда, быстро догнивающий Запад еще оказывает некоторое идеологическое сопротивление: по советскому интернациональному ракетодому бродят толпы пьяных «варяжских гостей» («Пьяные иностранцы брели по тротуарам, обнявшись... горланя незнакомые песни»), ничего, кроме омерзения, ни у кого не вызывающих (Юре даже на минуту расхотелось лететь в космос, захотелось надеть красную повязку и примкнуть к патрулю, «к этим крепким, уверенным молодым ребятам» со «скучающими брезгливыми лицами»); не могут справиться со своими собственническими инстинктами и даже бунт поднимают западные рабочие на одной из космических станций, не понимая, что их безжалостно эксплуатируют некие совсем уж реликтовые мафиози из той же матрасной «Спэйс Пёрл». Местный комиссар венгерский коммунист Барабаш

впадает было в панику и требует от возглавляющего космический патруль Юрковского «полномочий расстреливать гадов». Выстрелы гремят, но до расстрелов дело не доходит. Юрковский поступает в духе классических образцов: демонстрирует железную выдержку и заодно дает небольшой урок политграмоты, объясняя жаждащим стать бизнесменами западным пролетариям, что «коммунисты совсем за других рабочих. За рабочих, а не за хозяйчиков».

Но, как уже говорилось, герои «Стажеров» не только действуют и изрекают лозунги — они и размышляют над коренными вопросами жизни. Постаревший, вышедший в запас космолетчик Дауге упрекает свою бывшую, все еще любимую жену в мещанстве и выстраивает цепочку аргументов, кажущихся ему неотразимыми: «Человек — это уже не животное. Природа дала ему разум. Разум этот неизбежно должен развиваться. А ты гасишь в себе разум... И есть еще очень много людей на Планете, которые гасят свой разум. Они называются мещанами». Однако эта замечательная нотация пропадает зря. Беспечная дама уходит, судя по всему, с твердым намерением и дальше «гасить свой разум», а ветеран космоса, глядя ей вслед и отмечая достоинства ее фигуры, думает «с тоскливой злобой»: «Вот. Вот и вся ее жизнь. Затянуть телеса в дорогое и красивое и привлекать взоры. И много их, и живучи же они».

Бичуя устами своих героев мещан XXI века, Стругацкие, конечно, действовали в духе времени, в духе общего антимещанского пафоса литературы 60-х. В тот период переоценки если и не всех, то многих прежних «ценностей» неприятие бездуховности обывательского существования стало мотивом, определившим не одну творческую судьбу. Но от этой начальной точки дороги вели, как мы теперь видим, совершенно различные. В броне иронии вступали в мир, заполненный мещанами, герои В. Аксенова, ярчайшего представителя отечественного варианта прозы «рассерженных молодых людей»; мучались, пытаясь выстоять перед всепобеждающей формулой «жить, чтобы жить», персонажи «городских повестей» Ю. Трифонова; искала путь к подлинным истокам и неразменным ценностям деревенская проза.

Для Стругацких, непосредственно занятых образом «светлого будущего», критика мещанства в первую очередь связывалась с утопическим идеалом вышеупомянутого «нового человека». В «Стажерах» мещане — это те, кто упорно не желает посвятить се-

бя благородной миссии служения будущему, не хочет быть «стажером». Сами «стажеры» вынуждены постоянно думать и говорить о мещанах, но сколь бы изощренными ни были иногда их рассуждения, по сути они мало чем отличаются от простенькой схемы вышеупомянутого космолетчика. Мещане для героев всегда «другие» — некая аморфная масса, с трудом поддающаяся воспитанию и, к сожалению, многочисленная. Проявляя «гуманизм», комиссар Барабаш признает, что «мещанин — это все-таки тоже человек, хотя в то же время и скотина», и выражает надежду, что через «поколение, другое» они наконец исчезнут. Стажер Юра с юношеским максимализмом зачисляет в мещанское сословие всех, кто его раздражает, а раздражают его многие: бармен-иностранец, трогательно-вежливо беседующий с «русским мальчиком», характеризуется им как «тупой и самодовольный»; особую нелюбовь вызывают «скупные», которые все делают, «как люди», — «скудно работают», ходят «по грибы» и к тому же много «бормочут что-то про свои права»; даже героический космолетчик Быков кажется Юре подозрительно «скупноватым». Впрочем, романтический экстремизм юного коммунара незамедлительно получает отпор. Старший товарищ Иван Жилин произносит речь в защиту «маленьких скупных людей», которые «честно работают там, где поставила их жизнь», и держат (в основном, уточняет Жилин) «на своих плечах дворец Мысли и Духа». Жилин учит Юру терпимости и доброжелательности к полезным и безобидным «маленьким людям», учит отличать их от «войнствующих мещан», и вся эта происходящая в космосе беседа очень напоминает диалог двух «полубогов», особенно когда старший и более мудрый из них провозглашает: «Раньше главным было дать человеку свободу стать тем, чем ему хочется быть. А теперь главное — показать человеку, каким надо стать для того, чтобы быть по-человечески счастливым. Вот это сейчас главное».

Тени, как известно, исчезают в полдень лишь на экваторе. Переживающая свой «полдень» Утопия Стругацких расположена вроде бы в наших широтах, но даже намек на «тень» здесь обнаружить невозможно. Полные сил герои («Не было глубоких стариков. Вообще не было дряхлых и болезненных») катаются под полуденным солнцем на «самодвижущихся дорогах», возвращаются на Землю из космоса и вновь улетают совершать подвиги на Марс и в места гораздо более отдаленные. Прогноз комиссара Барабаша, судя по всему, ока-

зался верным: вместе с «дряхлыми и болезненными» исчезли наконец ненавистные «стажерам» XXI века мещане. Может быть, поэтому поскущнели разговоры героев, вся их философия сводится к обмену лозунгами типа: «От первобытного коммунизма нищих через голод, кровь, войны, через сумасшедшие несправедливости — к коммунизму неисчислимых духовных и материальных богатств». С «материальными богатствами» в Утопии, кажется, действительно все в порядке, но где, в каком спецхране содержится «неисчислимые духовные», мы так и не узнаем. О прошлом культуры герои вспоминают, если не ошибаюсь, всего лишь дважды: когда истолковывают в только что процитированном отрывке поражающую их воображение ленинскую идею спирали и когда видят памятник вождю на вершине «гигантской глыбы серого гранита».

Впрочем, новый и знаменательный для творчества Стругацких мотив возникает в «Далекой Радуге». Опять XXII век, космический коммунизм, практически те же герои. Но ситуация уже далеко не столь безоблачная. Оказывается, что прогресс требует жертв не только в отдаленном прошлом, в «темные времена», когда царили «сумасшедшие несправедливости» и когда, как замечает один из ведущих персонажей Горбовский, «человечество еще стояло на четырехеньках» («Три века назад», — говорит герой, то есть в XIX веке!). В веке XXII «служение будущему» тоже не обходится без кровавой дани. Гибнет планета, отданная физикам под полигон для испытаний новых способов покорения пространства. Положение драматическое, и в поведении героев преобладают жертвенность и благородство. Однако не все оказываются способными к этому. Молодой физик, совершающий чуда героизма, в то же время идет на преступление ради спасения жизни возлюбленной. Не может расстаться с сыном женщина, предпочитая «дезертировать» вместе с ним с гибнущей планеты. На фоне сомневающегося и борющегося (не всегда успешно) со «слишком человеческим» в себе героя появляется символическая фигура Камилла, олицетворяющего, по словам Горбовского, идею «нового человека, который уже не будет человеком». Этот бессмертный и гениальный сверхчеловек-полуробот своим существованием как бы искушает жителей Утопии, вчерашних «стажеров», вдруг осознавших собственную человеческую слабость, подталкивая их на очередной, решительный и уже необратимый, шаг по пути прогресса. Бессмертный Камилл навсегда останется на погибающей плане-

те — в качестве отвергнутого на сей раз «соблазна». Но идея сверхчеловека не исчезнет так легко, и читателю предстоит в будущем не раз следить за ее разнообразными перевоплощениями. Зерно, брошенное Стругацкими на утопическую почву «Далекой Радуги», еще принесет свои плоды.

Между утопией и антиутопией

Критики обычно оценивают популярнейшие «Хищные вещи века» (1965) как очевидную антиутопию. И в самом деле кажется, что в этой повести (ставшей, на мой взгляд, первой настоящей удачей писателей) Стругацкие совершили в своем творчестве поворот на сто восемьдесят градусов, перейдя от исключительно идиллического описания утопического будущего к его тотальной критике. Мещанское царство, воплотившее в жизнь мечты об «обществе всеобщего изобилия», показано как отвратительная клоака всех возможных социальных пороков, как символ духовного и физического вырождения человека. Имеется здесь и свой пророк-идеолог, доктор философии Опир, который претендует именно на роль наследника и продолжателя утопической традиции и вон из кожи лезет, доказывая, что на его родине идеи великих мечтателей прошлого осуществились окончательно и бесповоротно. Но дело в том, что для главного героя Ивана Жилина этот самозабвенный демагог — фигура гротескно-карикатурная, очевидный лжепророк и лжеутопист. Носителем настоящих утопических идеалов выступает в повести сам Жилин, который к тому же оказывается посланцем подлинной и могущественной Утопии. Стругацкие вполне недвусмысленно противопоставляют критикуемой ими утопии-фикции и ее мещанской апологии идеи, отстаиваемые Жилиным. Так что утопическое сознание и в «Хищных вещах века», несмотря на общую мрачно-сатирическую тональность повести, свои права сохраняет.

Бичуя вецизм, Стругацкие стремились показать его наиболее законченные, предельные формы. Для этих целей как нельзя лучше подходил условный Запад XXI века: все новые и новые типы наркотиков, доведенный до idiotизма культ успеха, профессионализма и «здоровой» эротика, запуганные «некрофильской» литературой дети, интеллектуалы-террористы, коррупция, бесконечные телесериалы, одуряющая в своих — предсказанных писателями — дискотеках («дрожжках») молодежь и многое другое. Тем не менее многочисленные кри-

тики заподозрили писателей в том, в чем привычно подозревали многих: в попытке с помощью хитроумного камуфляжа «бросить тень», провести параллели и т. п. Но Стругацкие отнюдь и не скрывали, что верят в реальность общечеловеческого зла, для которого, увы, различия в «классовой структуре» непреодолимой преграды не составляют. Вселенская природа зла ярко воплощена ими в образе того же доктора Опира. Казалось бы, этот заигрывающий с молодежью жизнерадостный сексолог, легко скреживающий в своей философии «неоптимизма» фрейдизм с марксизмом, — очевидный карикатурный портрет идеолога типа Г. Маркузе, апостола молодежной культуры 60-х годов. Но без всяких намеков, открытым текстом писатели устами Жилина говорят об универсальной природе опиров: «Он был мне ясен, этот доктор философии. Всегда и во все времена существовали такие люди, абсолютно довольные своим положением в обществе и потому абсолютно довольные положением общества. Превосходно подвешенный язык и бойкое перо, великолепные зубы... отлично функционирующий половой аппарат». По поводу точности физических характеристик идеолога-конъюнктурищика возможны сомнения, но то, что речь идет о «бесе», явно не признающем государственных и временных границ, совершенно очевидно.

Не скрывали Стругацкие и того, что их положительный герой Жилин при всей своей преданности утопическим идеалам весьма далек от ясного понимания путей их осуществления. Правда, размышляя о Человеке Невоспитанном, он приходит к выводу о необходимости некоей «научной педагогики», внедрение которой «должно стать основной задачей развития человечества на ближайшую эпоху». Но в этой глобальной программе воспитания нет, в сущности, ничего, кроме «просвещенческих» надежд, подкрепленных изречениями типа: «Если во имя идеала человеку приходится делать подлости, то цена этому идеалу — дерьмо». Герой старается поступать в соответствии с этой максимой, и, в общем, ему это удается, но как обратить других в свою рационалистическую веру, он явно не знает. И поэтому в вопросе, который Жилин адресует обитателям Страны Дураков, звучит едва ли не отчаяние: «Почему вы вечно слушаете... демагогов, дураков опиров?... Почему вы так не хотите думать? Как вы не можете понять, что мир огромен, сложен и увлекателен?» В поисках выхода герой все чаще обращается в своих мыслях к детям, которым, как он надеется,

предстоит в будущем снять «проклятие» мещанства. О том, каковы здесь могут быть пути и какая на них взимается пошлина, предстоит узнать героям последующих произведений Стругацких.

Попытка выхода

Может быть, наиболее суровому испытанию утопические идеи были подвергнуты Стругацкими в «Улитке на склоне» (1966), безусловно одной из их лучших книг, в полном и цельном варианте только теперь пробившейся в большую печать. Как они сами писали, «главным в повести является трудное осознание Кандидом (героем одной из ее линий.— В. С.) происходящего... окончательный его выбор». Что же понимает и на что решаете герой?

Перед читателем предстает мир, неуклонно теряющий всякую целостность, в котором законы дробления и отчуждения действуют неотвратимо и беспощадно. Речь идет о распаде мира человека. Деятельность людей ограничена в «Улитке...» тремя областями: это некое расположенное на Чертовых Скалах Управление, Деревни, затерянные в океане Леса, и Город Женщин. (Правда, предполагается, что Управление — часть более обширного социума, но о нем мы узнаем крайне мало и, в общем, ничего хорошего.) Кажется, единственное, что как-то связывает три замкнутых, поглощенных собой мира, это неизменный лесной ландшафт и не прекращающиеся, отнюдь не безуспешные усилия Города и Управления стереть Деревню с лица земли. Бескрайний же Лес, никак не желая становиться парком, остается «вещью в себе», равнодушным и к познавательной агрессии человека, и к его надеждам и призывам («Приснись... Неужели тебе никто из нас не нужен?.. Мы растеряли все... но ты-то ведь другой», — с мольбой обращается к нему еще один главный персонаж, Перец). Что касается Города и Управления, то эти две агрессивные силы друг о друге имеют смутное представление: служащие Управления лишь со страхом и любопытством прислушиваются к историям о лесных русалках, а сами эти русалки изредка вспоминают о существовании какого-то реликтового образования на Чертовых Скалах, которое неплохо было бы окончательно извести. Перед нами системы «закрытого типа»: безуспешно бьется в силках бюрократической машины Управления «командированный» Перец; вновь и вновь ищет выход из затягивающей его трясины «деревенской жизни» Кандид. Перцу найти выход так и не удается. Оказавшись волею абсурда на

самом верху Системы, в кресле Директора, этот нонконформист и реформатор решает: «Управление я, конечно, распустить не буду, глупо, зачем распустить готовую, хорошо сколоченную организацию? Ее нужно просто повернуть, направить на настоящее дело». Но машина легко подминает преобразователя под себя.

Другая судьба у Кандида. В отличие от Перца он отнюдь не инакомыслящий и не аутсайдер. Но во время своего долгого и безнадёжного путешествия из Деревни в Город «нормальный» Кандид начинает понимать некую общую логику происходящего безумия. Он обнаруживает, что существующие на фоне Леса миры вовсе не так далеки друг от друга, как это представляется их обитателям. «Жуткие бабы-амазонки, жрицы партеногенеза» (то есть однополого размножения), с их роботами-мертвяками, преследующими несчастных крестьян, оказываются более чем вероятным будущим того мира, к которому принадлежит сам Кандид. «Гигантская возня в джунглях», начавшаяся с утопических лозунгов Разрыхления и Слияния, оборачивается со временем последовательным заблачиванием и уничтожением деревень. Между тем новые амазонки наконец решила мучившую утопистов всех времен проблему разумных и справедливых отношений между полами в идеальном обществе, кастрировав своих мужчин. Оскопление — последний завершающий шаг в процессе «героического» покорения природы, ведущий к окончательному обезличиванию человека. То, что будущее уже, что называется, не за горами, очевидно. Оно вызревает в самом Управлении: постепенно превращается в русалку некая эмансипированная Рита, имеется здесь и практически готовая «подруга» на руководящем посту — Беатриса Вах, «начальница группы Помощи местному населению», мечтающая о «специальных машинах» для отлавливания детей деревенских жителей.

Все это понимает Кандид, обычный «маленький человек», которому удалось все-таки увидеть Управление «сверху», потому что в своих блужданиях он нашел верную точку обзора: «Какое мне дело до их прогресса, это не мой прогресс... Здесь не голова выбирает. Здесь выбирает сердце. Закономерности... вне морали. Но я-то не вне морали! Идеалы... Великие цели... законы природы... И ради этого уничтожается половина населения!» Кандид делает свой выбор: возвращается к людям, несовершенным, слабым, но живым, таким же, как он сам. Возвращается, чтобы жить их жизнью, сражаться с «мертвяками» и, не обращая

внимания на утопические прожекты, в меру своих сил, возможно, помочь медленно ползущей «улитке» человеческого прогресса.

В сущности, этот герой совершает то, что по канонам морали, исповедуемой «новыми людьми» Струтацких, считалось, как мы помним, едва ли не самым тяжким грехом: он не пожелал примкнуть к «стажерам», не приемля их безоговорочное и фанатичное «служение» будущему. Однако отступничество одиночки Кандида на общем положении дел в межгалактических просторах Утопии никак не сказалось.

Космическая олигархия

...Впрочем, основная тема космического цикла была задана уже в ранней повести «Попытка к бегству», а затем ее различные вариации мы обнаруживаем в повестях «Трудно быть богом», «Обитаемый остров», «Жук в муравейнике» и «Парень из преисподней». В «Попытке к бегству» герои, отправившись в космос из своего безоблачного утопического мира, внезапно оказываются в «темном и забитом» прошлом и безуспешно пытаются нести «свет разума» несчастным, погрязшим в заблуждениях и бессмысленной жестокости гуманоидным братьям. В последующих произведениях они занимаются этим уже вполне осознанно и целенаправленно, становясь «прогрессорами» (прогрессор — это «человек Земли, деятельность которого направлена на ускорение прогресса отсталых гуманоидных цивилизаций»). Из «Попытки к бегству» мы узнаем и об основном противоречии в утопической программе будущих прогрессоров. О нем юным посланцам XXII века Антону и Вадиму сообщает некто Саул, «дезертир в коммунизм» из века XX. «Как жаль, что нельзя уничтожить одним махом всю тупость и жестокость, не уничтожив при этом человека». В дальнейшем и повзрослевшему Антону в «Трудно быть богом», и Максиму Каммереру в «Обитаемом острове», и другим героям придется еще не раз «пожалеть» о несовместимости гуманистических запретов с эффективной и молниеносной «помощью».

Уже не одно поколение подростков успело вырасти, сопереживая страданиям Антона, благородного дона Руматы Эсторского, которому так трудно было быть богом в захлестнутом волной средневекового фашизма королевстве Арканар. Трудно ему было прежде всего не взяться за меч в защиту униженных и оскорбленных арканарских интеллектуалов, преследуемых бандами окончательно озверевшей местной «серой» и «черной» нечисти. И читатели уз-

нали, что колебался он не даром. Когда дон Румата вынужден был все же взяться за дело, пострадал не только мерзкий тиран-фашист дон Рэба — за спиной героя остались горы трупов. Что ж, как благосклонно выразился один из критиков, «здесь его по-человечески понять можно», ибо, идя навстречу ожиданиям юных читателей, он наконец отомстил «злодеям» за все сразу, и в первую очередь за гибель возлюбленной.

Сложнее понять некоторые другие поступки «бога» Руматы... Ему пришлось потрудней классических героев-разведчиков, вынужденных в «тылу врага» постоянно оберегать собственное целомудрие. В арканарском «тылу» аборигены и особенно аборигенки вызывают исключительное отвращение землянина не столько даже своими нравами, сколько физической нечистоплотностью. В отчаянии герой твердит: «Грязь лучше крови, но это гораздо хуже грязи!» Однако долг повелевает ему вступить в непосредственный контакт с «неумытым» средневековым. И в конце концов несчастный Румата отправляется в альков выведывать государственные секреты, чтобы затем, так и не сумев преодолеть божественную брезгливость и не выполнив задание, сбежать, забыв и о грязнулке доне Окане, и об ожидающей ее неизбежной гибели от руки ревнивого и могущественного покровителя.

«Новые люди» Струтацких изо всех сил стараются справиться с трудной ролью справедливых и милосердных богов, спасающих немногочисленных местных праведников, носителей «искры разума», тех, кто в будущем сможет способствовать, как мечтает Антон, созданию «Арканарской Коммунистической Республики». Им очень хочется не нарушать гуманистические табу, что так просто в идеальном мире Утопии и так сложно за ее пределами, в мире, об обитателях которого благородный дон Румата говорит, что «все они почти без исключения были еще не людьми в современном смысле слова, а заготовками, болванками, из которых только кровавые века истории выточат когда-нибудь настоящего гордого и свободного человека... Психологически почти все они были рабами — рабами веры, рабами себе подобных, рабами страстишек, рабами корыстолюбия». О том, что сам он в данном случае оказывается рабом двойной морали, делящей мир на своих и чужих, следуя которой «богом» быть легко, а остаться человеком крайне трудно, Антон-Румата не задумывается. И неудивительно, что «в своих горя-

чечных снах землянина, прожившего пять лет в крови и вони, он часто видел себя именно таким вот Аратой (предводитель восставших.— В. С.), прошедшим все ады вселенной и получившим за это высокое право убивать убийц, пытать палачей и предавать предателей». Романтический герой и не заметил, что, так и не став Аратой он оказался способным на предательство, не «своих», конечно, а всего лишь «похотливой кошки» — доны Оканы. Право же на убийство ему было предоставлено вполне буднично — высшим земным начальством в лице дона Кондора: «Убить, физически убрать... При чрезвычайных обстоятельствах действены только чрезвычайные меры».

Хотя очевидная недостижимость утопических целей гуманными средствами и заставляет колебаться юного супермена, но подлинный выбор для него, в сущности, невозможен. Отсутствие элементарной независимости мысли неотвратимо оборачивается для героя подчинением, самым что ни на есть прямым и грубым. Полубог Румата — почти уже идеальный винтик набравшего космические обороты механизма Утопии.

С отчаянием и недоумением наблюдает Максим Каммерер («Жук в муравейнике») за результатами действия «двойной морали» уже не на чужой территории, а внутри самого «прекрасного нового мира». Профессиональный убийца, шеф службы безопасности Рудольф Сикорски («...никогда не обнажал оружия для того, чтобы пугать, грозить или вообще производить впечатление,— только для того, чтобы убивать») уничтожает «своего», Льва Абакина, подзревая в нем опасного и враждебного чужака. Прогрессоры, судя по всему, уже решили все моральные проблемы — это особая каста людей, умеющих действовать решительно и эффективно в любой ситуации и любыми средствами. Дисциплинированный и преданный сотрудник той же системы Максим не любит прогрессоров, не удовлетворен положением дел в Утопии, ему по-человечески жаль Абакина, такого же, как он в прошлом (в «Обитаемом острове»), одиночку, но выхода герой не видит.

Утопия прошла цикл своего развития, и время одиноких и сомневающихся героев осталось далеко позади. В жизни утопического мира Стругацких решительно утвердилась рационалистическая программа, и целесообразность стала его высшим законом. Судя по всему, архаичным и нерациональным оказался и институт демокра-

тии. В расширенном заседании Мирового Совета участвуют 18 человек, а характер глобальных, касающихся будущего всей Утопии решений фактически определяют двое-трое из них, и в первую очередь тот же контрразведчик Сикорски.

Магические грани утопии

Размышляя о магических сюжетах у Стругацких, в первую очередь вспоминаешь сатирические повести «Понедельник начинается в субботу» (1965) и «Сказка о Тройке» (1968). Прочитав эти книги, мы смогли убедиться, что «серьезные» фантасты обладают отличным чувством юмора. Поглощенные своей белой магией, работающие без воскресений чародеи окидывают окружающих взглядом хотя и не лишенным сарказма, но, во всяком случае, не столь мрачно-испепеляющим, как это было свойственно космическим стажерам и богам-суперменам. И, продолжая враждовать с мещанами, смеются от души не над «маленькими», «скучными» людьми, а над отечественными «научными» шарлатанами-опирами, профессорами Выбегалло, старательно и последовательно материалистически выращиваемыми в своих идеологических колбах «нового человека» — суперпотребителя.

И все же увлечение магией не было для персонажей Стругацких лишь способом отвлечься от «прозы будней», научной рутины и псевдонаучной демагогии. Интерес к чародейству имел и более глубокие корни. Об этом уже вполне серьезно рассуждает главный герой «Понедельника...» и «Сказки...» программист и начинающий маг Привалов: «Все мы наивные материалисты и рационалисты. Наука, в которую мы верим (и зачастую слепо)... заранее готовит нас к грядущим чудесам... шок возникает тогда, когда мы сталкиваемся с непредсказанным». Действительно, и сам Привалов и его друзья хотя и чародеи по своей етой профессии, но как были изначально, так и остались рационалистами. Жажда же чуда — это своего рода «несчастье» рационалистического сознания, стремящегося все рассчитать и все измерить, открыть все двери. Когда обычные «ключи» оказываются непригодными (а это, увы, случается на каждом шагу: необъяснимых явлений всегда legion), возникает искушение, часто непреодолимое, прорваться к заветному, «сокровенному» знанию любой ценой, обрести наконец универсальную и вечную отмычку.

В истории рационалистический культ знания никогда еще не служил гарантией от

магическо-окультирных исканий, зато часто их провоцировал. Вспомним: преобладание рационализма в позднеантичной культуре сопровождалось становлением и расцветом идеологий оккультного типа; в эпоху Возрождения Европу захлестывает новая мощная волна учений о «сокровенном знании»; в век Просвещения культ Разума сочетался с повсеместным распространением оккультного мистицизма. В XX столетии совпадение этих «противоположностей» стало едва ли не нормой, обнаруживая себя в формах, вполне соответствующих духу космического века. Уже начало его ознаменовалось рождением рационалистическо-мистических гибридов — теософских и антропософских наукообразных конструкций Е. Блаватской, А. Безант, Р. Штейнера и прочих. Вторая же, собственно «космическая» половина столетия вызвала к жизни новые и еще более массовые формы оккультизма. Что же касается шока, о котором упоминает герой Стругацких и который действительно, несмотря на «научную подготовку», как свидетельствуют факты, сопутствует обращению современных рационалистов в «религию НЛО» (неопознанные летающие объекты, в просторечии — тарелки) или в иные виды модернизированного оккультизма, то тут нет ничего удивительного. Вступление на «сверхчеловеческий», магический путь во все времена не обходилось без потрясений: через очень многое «слишком человеческое» в себе приходилось в таких случаях переступать.

Взаимоотношения научной фантастики и современных форм оккультной идеологии² — тема, заслуживающая особого разговора. Братья Стругацкие не только художники, но и своеобразные исследователи фантастико-утопического жанра, чутко реагирующие на знамения времени. И было бы удивительно, если бы они не провели серию экспериментов в области «магической» утопии. Один из таких опытов — приключения «белых магов» «Понедельника...». Но эти герои, заставляющие и чу-

деса служить прогрессу, с особыми трудностями не сталкиваются. Они уверены в своих силах, «идут по жизни смеясь», и магия им нужна для того только, чтобы как можно скорее разделаться с последними, совсем уже заплесневелыми мешанами, как сказали бы сейчас, «врагами перестройки». Гораздо драматичнее проходят магические эксперименты в тех произведениях писателей, в которых повествуется о встречах землян с космическими братьями по разуму.

Для героев-рационалистов книг Стругацких серьезный, жизненный интерес представляют два типа контакта. Прежде всего это столкновение со «слаборазвитыми» инопланетянами, обитателями некоммунистических и тоталитарных миров, так или иначе препятствующими космическому прогрессу. О контакте утопических героев на земле и в космосе с таким живым и враждебным для них прошлым речь уже шла. Ясно, что, в сущности, никакого контакта не получилось. Язык разума не был услышан ни в Стране Дураков, ни в средневековом Арканаре, ни на тоталитарном Обитаемом Острове. «Новым людям» пришлось взять на себя выполнение «божественной» функции отделения зерна от плевел, а попросту говоря, заняться отбором и спасением немногих себе подобных. Выполнение этой миссии стало жестоким испытанием для их изначальной гуманистической веры. Последняя все чаще кажется им пережитком, то есть слабостью, причем слабостью непростительной на фоне стоящих перед Утопией грандиозных задач.

Постепенно зарождается и крепнет мечта о контакте другого рода, надежда на встречу с иным, уже действительно нечеловеческим и подлинно могущественным разумом. Начинается бесконечная погоня по следам таинственных и неуловимых Странников, космических богов высшей категории, далеко опередивших земных и, судя по всему, не склонных к установлению с ними братских связей. Перспектива подобной встречи одновременно и манит и пугает граждан Утопии. Гибнет по первому подозрению, что он агент Странников, Лев Абалкин («Жук в муравейнике»); исповедующий веру в человечество Горбовский останавливает Комова («Мальш»), готового ради реализации своей теории «вертикального прогресса» («Земной человек выполнил все поставленные им перед собой задачи и становится человеком галактическим... С иными законами существования, с иными целями существования») идти на подобный контакт любой ценой, пользуясь

² Сама по себе оккультная тема никогда не была чужда научной фантастике, особенно ее утопической ветви. Чтобы в этом убедиться, нет нужды обращаться к бесконечным сериалам «черных» триллеров, повествующих о кознях нечистой силы на земле и в космосе. Достаточно прочесть раннюю книгу (недавно изданную у нас) одного из самых «научных» западных фантастов, А. Кларка, «Конец детства». Очевидна идейная близость романа английского писателя и повести Стругацких «Гадкие лебеди» (журнальный вариант — «Время дождя»): спасение человечества космическими пришельцами, дьявольская личина «спасителя» и пр.

при этом любимы средствами. Но похоже, что за адептами «новой веры» будущее, тот же Комов — один из признанных молодых лидеров Утопии, и он не одинок.

Только в одной книге («За миллиард лет до конца света»), действие которой происходит в наше время, герои-рационалисты лишены и последней надежды. Торможение представляется им ни больше ни меньше как законом самого мироздания, действующим неотвратимо и тотально и пресекающим все попытки человека создать «сверхчеловеческую цивилизацию». Молодые интеллектуалы, остро ощущающие свою оторванность от «человеческого стада» и допускающие возможность вновь «стать в его ряды» лишь в случае «ужасной космической агрессии», могут рассчитывать в борьбе с этим глобальным тормозом исключительно на себя. И у героя повести, рыцаря прогресса, действительно не остается иного достойного выбора кроме как забраться на мистический Памир и продолжить там свои запрещенные «механизм торможения» исследования. Другой путь избрал в не менее безнадежной, пожалуй, ситуации, как мы помним, Кандид, но это уже не был путь Утопии.

И все же контакт с космическим сверхразумом происходит. В «Хромой судьбе» писатель-фантаст Сорокин сообщает о том, что написанная им книга «Современные сказки» — это «Марсианские хроники» Брэбери «навыворот», рассказ о том, «как осваивали нашу Землю» «чужаки», «пришельцы». Я менее всего склонен видеть в данном герое некий совокупный автопортрет писателей, даже несмотря на то, что его биография вроде бы соответствует анкетным данным старшего из братьев, а в своей любимой «синей папке» он хранит их роман «Град обреченный». Но не перестаю удивляться, как рано Стругацкие нашли свои основные темы. Подтверждение этому повесть «Извне», опубликованная в 1960 году.

Стругацкие обратились в ней к сюжету, тогда (как, впрочем, и сейчас) сенсационному: встречам с НЛО. Вся повесть — нечто вроде документального отчета о подобном происшествии с различными группами советских граждан, и дополняет «отчет» исповедь одного из них, пережившего более тесный контакт, который в международных исследованиях НЛО обычно именуют «близким контактом третьего рода».

Единственным трофеем героя, инженера Лозовского, доставшимся ему после контакта с «высшим разумом», оказывается металлический идол: «С оскаленным кри-

воватым ртом, с тупым коротким носом», лицо «странно и дико глядело на нас выпуклыми... глазами... На голой спине человека громадными буграми выдавались угловатые лопатки, колени были острые, а кисти кончались тремя скрюченными когтистыми пальцами». И не мудрено, что наиболее глубоко погрузившемуся в зловещую магически-окультную атмосферу «визита» Лозовскому начинает казаться, что он находится «на борту исполнинского межпланетного «Летучего голландца», что Пришельцы — это механические призраки своих давно умерших Хозяев, некогда проклятых за какое-то чудовищное преступление».

Проще всего упрекнуть писателей, воспользовавшись известной присказкой классика: «Пугают, а нам не страшно». Но дело в том, что и в данной повести и в более поздних книгах Стругацких «чертовщине», всем этим черным спутникам, таинственным странникам и прочим фантомам земного и космического происхождения, отводится роль в духе вполне традиционной «демонологии»: они не столько наводят ужас, сколько провоцируют и ищущают героев. Если же что-то и должно здесь пугать, так это готовность трезвых, отнюдь не мистически, а скорее даже суперрационалистически настроенных героев идти на контакт с кем и с чем угодно, будь то очевидно безразличная к добру и злу космическая сила или сатана собственной персоной. Что там слегка помешавшийся на НЛО инженер Лозовский, которому и черные собаки-роботы не смогли помешать проникнуть в «летающую тарелку». Лучший писатель-бард державы Банев («Гадкие лебеди»), «с некрасивым, но мужественным лицом бойца, с квадратным подбородком», млеет от похвалы «мокреца» Зурзмансора, склоняющего его к сотрудничеству, хотя прекрасно видит, кто перед ним («Тьфу... Изыди, нечистый дух», — мысленно говорит герой, наблюдая за «страшными» превращениями с лицом собеседника). Обман зрения, легко успокаивает себя «прекрасный утенок» Виктор Банев, оказываясь ничуть не лучше откровенного конформиста Аполлона из «Второго нашествия марсиан», также не пожелавшего заметить зеленых марсианских щупалец.

Впрочем, для Лозовского, Комова и им подобных никаких приманок не требуется, жажда контакта сама заставляет их идти к цели, а преграды только усиливают стремление к встрече со «сверхразумом». Со своей стороны, ускользающие от пря-

мых встреч космические Странники не прочь предъявить сторающим от любопытства землянам многочисленные знаки собственного могущества.

В «Пикнике на обочине» Стругацкие рисуют впечатляющую картину того, что получилось из попыток найти применение космическим «подаркам», всем этим «ведьминим студням» и прочему. Бледной тенью прошлого кажется вечно пьяный негр-проповедник Гуталин с его апокалипсическими пророчествами и призывами «растоптать дьявольские бирюльки». Вес имеет только голос «высокопобого» интеллектуала-циника Пильмана, пренебрежительно рассуждающего о «массовом человеке», «так называемом здравом смысле», примитивности «гипотезы о божестве» и т. д. Хотя, в сущности, этот рационалист, иронизирующий по поводу «колдовства», «призраков» и «вурдалаков», ничуть не меньше мага Привалова из «Понедельника...» жаждет именно чуда, только, естественно, не в архаических «пещерных» формах, а в современно-научнообразном обличье «нарушения принципа причинности». Кажется, что главному герою повести симпатичному сталкеру Рэдрику Шухарту все же удалось выдержать все испытания, когда он в финале просит у Золотого шара «счастья для всех даром». Но приходит сталкер на поклон к этому главному «подарку» пришельцев, потребовавшему от него кровавой жертвы (как и полагается в таких случаях — невинного отрока), с мыслями вполне определенными: «И опять поползли по сознанию, как по экрану, рыла, рыла, рыла... Надо было менять все. Не одну жизнь и не две жизни, не одну судьбу и не две судьбы — каждый винтик этого смрадного мира надо было менять». Чем ответит шар на призыв измученного и отчаявшегося героя и каким будет это дармовое счастье для всех, мы не знаем, но в «Гадких лебедях» пришельцы откликнулись на мольбы вконец разуверившихся в собственных силах землян и занялись устройством человеческой жизни уже вплотную.

Утопическая программа, которую реализуют мокрецы и помогающие им таинственные земляне-«архитекторы» вроде Голема и эмансипированной сексапильной красавицы Дианы, буквально содрогающей от отвращения к нашему «лучшему из миров» и его обитателям («Все люди — медузы, и ничего в них такого не замешано... Медузы... черви в сортире»), — программа эта отнюдь не веземного происхождения. Мокрецы, соблазняющие и похищающие детей Земли, лишь осуществля-

ют в жутковато-магических формах старую утопическую мечту о чистых¹ юных строителях «нового мира». Эта идея, как мы помним, навязчиво преследовала еще Ивана Жилина в Стране Дураков, а затем обрела у Стругацких новую жизнь в символических образах другой мрачной легенды — о гаммельнском Крысолове, уводящем вместе с крысами и детей из обреченного града; это не только мокрецы с аккордеонами, но и Странники («Жук в муравейнике»), выманивающие детей с гибнущей планеты с помощью кукол-муляжей, и, наконец, в «Мальше» — история космического маугли, ребенка, воспитанного «в некотором смысле спрутами» на «некротической Планете» и вознагражденного за утрату человеческих черт сверхспособностями (суперинтеллект, левитация и пр.). Стругацкие вводят оккультные мотивы в традиционные для НФ сюжеты, конечно, не случайно и не для пушного эффекта. Они изображают утопический рационализм в роковые для него минуты, когда сомнения в возможности осуществления утопических идеалов достигают предела и любая помощь «извне» (все равно откуда — из космоса или из преисподней) начинает казаться благом².

Центральный герой «Гадких лебедей» «свободный художник» Банев все же колеблется, ему начинает мерещиться, что новый мир, обещанный мокрецами, не так уж далек от «нового порядка», за который ратует в повести фашист-интеллектуал Павор. Но иного выбора как поверить на слово «архитектору», «глиняному роботу» Голему, что будущее станет исключительно гуманным, у него нет. Вокруг он замечает лишь мешан, барахтающихся под дождем, залившим город «вторым потоком». А наедине с собой неуверенно припоминает давно уже не безусловные для него аргументы в пользу «слишком человеческого»: «Неужели... гадко все, что в человеке от животного? Даже материнство, даже улыбка мадонн, их ласковые мягкие руки, подносящие младенца к груди...» Естественно, что этому путающему зверя с мадонной писателю было нетрудно убедить себя, что в лице Зурзмансора он имел дело с вестником спасения, а не со «злым духом».

«Гадкие лебеди» завершаются уже откровенной утопической сказкой: по омытому дождем, преображенному миру шест-

¹ Русский религиозный философ Г. Флоровский, размышляя о природе утопизма, писал о «космической одержимости» утопического сознания, связанной с «чувством безусловной зависимости, всецелой определенности извне».

вуют юные «люди как боги». Грезят ли герои, или перед нами всамделишный «земной рай», возникший по мановению космических волшебников, не так уж, собственно, и важно. Стругацкие изобразили в «Гадких лебедях» не утопию, а мечту о ней, утопизм, в своих претензиях на будущее окончательно теряющий человеческие черты, взирающий на человечество как на досадную помеху, еще более равнодушно и зло, чем это могли бы сделать сами иноприродные чужаки-пришельцы.

Конец Эксперимента?

В одном из недавних интервью («Литературное обозрение», 1988, № 9) Стругацкие с присущей им откровенностью рассказывают о трудном периоде в их творчестве, о том, что работа уже не является, как это было прежде, надежным и постоянным источником радости. Сами же они и ставят диагноз: естественный ход вещей, стареют авторы, «стареют» герои. Мнение очень личное, и оспаривать его я не берусь, но, с другой стороны, вполне определенная жизненная философия писателей дает право предложить и иные, не столь бесперспективные объяснения. Идеи и темы, которыми они оставались верны на протяжении трех десятилетий, оказались практически исчерпанными. Антимещанский пафос молодых героев ранней прозы, так и не найдя другого основания, кроме утопических программ «переделки» человека, вылился у их «наследников» в отрицание прошлого человечества и его ценностей. И трудно предположить, что между творческим спадом, о котором сообщают Стругацкие, и безрадостным положением дел в созданном ими утопическом мире нет никакой связи. Не случайно же они говорят в интервью об идейном вакууме, «пустоте», угрожающей их героям. Если же идеи, служившие ориентиром в блужданиях по утопическим дорогам, столь очевидно завели в тупик, то, видимо, требуются другие.

И в последних своих сочинениях, в повести «Хромая судьба» и в романе «Отягощенные злом», Стругацкие явно стремятся сойти с проторенных путей Утопии. Более того, тема традиции становится здесь едва ли не ведущей. Однако сам подход, как мне кажется, во многом остался тем же, что и раньше, — «утопическим»: прошлое осмысливается и оценивается как пролог к «просвещенному» и «прогрессивному» будущему. В такой перспективе и традиция оказывается лишь пьедесталом к грядущему совершенству. И Стругацкие, судя по всему, не сомневаются в своем праве и

своих возможностях судить о прошлом культуры с некой «высшей» точки и быть на «ты» с ее творцами. То, что на их последних книгах лежит тень знаменитого романа М. Булгакова, доказывать нет нужды. Стругацкие ведут переключку с любимым ими автором и его произведением, что называется, впрямую. В «Хромой судьбе» некто Михаил Афанасьевич возникает перед главным героем писателем Сорокиным, в частности, и для того, чтобы прямо и недвусмысленно оспорить мысли, изложенные в «Мастере и Маргарите». Этот Михаил Афанасьевич уверяет: «Мертвые умирают навсегда... Это так же верно, как и то, что рукописи сгорают дотла. Сколько бы Он ни утверждал обратное». В дальнейшем «дух» Булгакова, окончательно перевоплотившись в Воланда, конфиденциально сообщает бедному Сорокину: «Не ждите вы для себя ни света, ни покоя. Никогда не будет вам ни покоя, ни света». Стругацкие явно недооценили дистанцию и слишком решительно вступили на чужой творческий берег как на свой собственный («О Булгакове уже и говорить нечего, это такое наше», — сообщает А. Стругацкий на страницах «Даугавы», 1987, № 8). Их сверхсерьезный Михаил Афанасьевич, подправляющий героев Булгакова, потому и воспринимается как пародия, что напоминает самоуверенного чужака, пытающегося действовать в мире, для него неблизком и малознакомом.

Начатый в «Хромой судьбе» опыт прямого контакта с булгаковским романом был продолжен (хочется сказать: к сожалению) Стругацкими в «Отягощенных злом». Михаила Афанасьевича собственной персоной здесь уже нет, зато Воланд действует весьма активно, обретя статус всекосмического и всеязыческого Демиурга (Ильмаринен, Вишвакарман, Птах и прочие). Претензии у Демиурга в романе соответствуют его громким титулам, но сквозь всю «божественную» атрибутику легко просматриваются знакомые «рога и копыта»... пришельцев-провокаторов многих книг Стругацких. А главное, зря Стругацкие пошли навстречу своему герою, писателю-барду Баневу из «Гадких лебедей», осуществив вынашиваемый им во время «второго потопы» замысел: «А вообще интересно было бы написать, как Христос приходит на Землю сегодня, не так, как писал Достоевский, а так, как писали эти Лука и компания».

Братья отнесли к этой задаче увлеченно, однако результат был, в сущности, predetermined самой идеей, пришедшей из

их «утопического» фонда. Апокриф от одноухого Агасфера Лукича в романе «Отягощенные злом» — пока, вероятно, самая большая творческая неудача писателей. Да и как иначе оценить все эти разухабистые и претенциозные истории о похождениях евангельских героев, изначально «сущих сукиных сынов» и «кобелей-разбойников» (речь идет об Иоанне Богослове, имя которого традиция сделала символом целомудрия, и его брате Иакове), а в дальнейшем (уже после голгофской трагедии) убийц («...Дельце было пустяковое, они зарезали поддатого горожанина»). Упоминается в досье, составленном тут на псевдо-Иоанна, и скотоложство. Очевидно, что писатели не ставили цель — создать еще одно из серии «забавных евангелий», однако история псевдо-Иоанна в их романе и по духу и по характерному стилю близка к тому, чтобы занять место именно в этом ряду.

То, что «апокриф» «Отягощенных злом» не идет ни в какое сравнение с историей Иешуа Га-Ноцири в смысле художественности, оспорить вряд ли кто решится. Вероятно, и сами писатели на это не рассчитывали. Но есть и другое принципиальное отличие. Булгаков вообще не создавал апокрифа, его рассказ о событиях в Ершалаиме не версия событий евангельских и тем более не их рационалистическая трактовка — это литературный вымысел, не оспаривающий традицию, но сохраняющий дистанцию по отношению к ней и благодаря своей непретенциозности в подлинном смысле свободный. Рукопись Мастера содержит правду, которая не горит в любом огне. Так, во всяком случае в отличие от Михаила Афанасьевича из «Хромой судьбы», считал сам Булгаков.

Что же касается «современных» событий, описанных в романе Стругацких (наши дни и XXI век), то интересно, что здесь впервые писатели вполне определенно предложили альтернативный вариант развития своей Утопии. Мир XXI века, раздираемый конфликтом молодых «неформалов» с чиновниками и мешанами, в котором ищут свое место интеллигентные воспитанники спецагентов, — это уже явно не мир «стажеров». Однако в самом рассказе подлинной новизны не так уж и много. Описывая наше сегодня и прогнозируя вероятное завтра, Стругацкие много и охотно цитируют самих себя: ничего существенного не привнес роман в традиционную для них мешанскую тему; утопическая идея воспи-

тания, по сути, та же, что и прежде, а образ положительного героя — учителя спецлицей хотя и претендует на очень многое, тем не менее слишком напоминает «наставников», гуманистов-просветителей из прежних сочинений. Воланд-Демидур, «ищущий человека», фактически занимается привычным для «пришельцев» из прежних книг Стругацких делом, провоцирует и ищет с помощью неугомонного Агасфера Лукича, он же Иоанн, все тех же слабых, вконец замордованных бытом землян. Относительно нова разве что тема «неформалов» — «флоры», «дикобразов», «птеродактилей» и других молодежных групп «XXI века», лишь позаимствованными из животного и растительного царства наименованиями отличающихся от нынешних хиппи, панков, металлистов и прочих. Но то, что говорится о них в романе, при всем желании трудно счесть оригинальным. Перечитывая книгу, написанную более двадцати лет назад («Хищные вещи века»), отдаешь должное проницательности мыслей писателей о судьбах молодежи; сейчас же, читая новый роман («Отягощенные злом» — последняя из прочитанных мною книг Стругацких, «Град обреченный», когда писалась эта статья, еще не был издан полностью), чувствуешь лишь дух времени, и вряд ли его сравнительно верное воспроизведение можно считать успехом.

Само творчество Стругацких заставляет подойти и к их последним опытам с мерками отнюдь не фантастико-приключенческого жанра. Социальных экспериментов за последние десятилетия у нас было более чем достаточно. Стругацкие относятся к немногим, кто всерьез и упрямо в так называемый застойный период экспериментировал с утопическими идеями не на колхозных полях и грандиозных стройках, а в своей интеллектуальной писательской лаборатории. И братьям удалось многое прояснить в современном утопизме, желая того или нет, они показали читателям сумрачную пустоту, скрывающуюся за привычным фасадом броских лозунгов и благих пожеланий. Возможно, эрозия коснулась и центральной идеи — идеи Эксперимента, и предстоит подлинный прорыв за пределы Утопии? Что ж, по крайней мере одному из их персонажей, Кандиду, такая «попытка к бегству» удалась. Может быть, и для жителей «обреченного града» еще не все потеряно. Впрочем, шанс на спасение есть всегда, и уже от мысли и воли авторов зависит предоставить его своим героям.

ЖИЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Андрей Зорин. Пригородный поезд дальнего следования. — Г. Померанц. Человек без маски на маскараде истории.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Петр Чернасов. Три цвета времени.

Литература и искусство

ПРИГОРОДНЫЙ ПОЕЗД ДАЛЬНОГО СЛЕДОВАНИЯ

Венедикт Ерофеев. Москва—Петушки. «Трезвость и культура», 1988, № 12—1989, № 1—3; альманах «Весть». М. «Книжная палата». 1989.

Для того чтобы опубликовать эту повесть, или, по авторскому определению, поэму, Венедикту Ерофееву потребовалось чуть менее двадцати лет — срок, по российским понятиям вполне умеренный. За эти годы книга, как водится, вышла за рубежом на всех мыслимых и некоторых немислимых языках, а ее машинописные копии разошлись по отечеству в количествах, сопоставимых с нынешними печатными тиражами. Теперь бездомная поэма официально прописана в литературе, уже давно ощущающей ее присутствие. Однако ликовать преждевременно. Даже если отвлечься от купюр, сделанных в журнальном тексте, самый выбор мест публикации свидетельствует, что ерофеевская проза все еще обжигает руки, и, вынося ее на свет божий, приходится то гримировать автора под борца с алкоголизмом, то прятать в малотиражных экспериментальных изданиях.

Между тем манера Вен. Ерофеева равно чужда дидактическому пафосу и стилистическому радикализму. Его Веничка, повествователь, главный герой и alter ego автора, более всего выглядит старательным жизнеописателем, стремящимся быть верным действительности вплоть до мелких подробностей, непоправимо ушедших из нашего быта и придающих поэме характерный оттенок исторической экзотики. В самом деле, без реального комментария сегодняшнему чи-

тателю будет уже нелегко вспомнить, кто такой, скажем, Абба Эбанн и что такое «розовое крепкое за руль тридцать семь».

Впрочем, атмосфера 1969 года отразилась в поэме отнюдь не только в предметном слое повествования. По словам Белинского, «поэзия всегда верна истории, потому что история есть почва поэзии», и, если нас интересуют общественные умонастроения после краха шестидесятилетних иллюзий, «Москва — Петушки» окажется неоценимым источником.

Следя за историей Веничкиных бедствий, трудно не почувствовать твердой убежденности автора в том, что господство несвободы и лжи есть непреложная данность, элементарная и неустраняемая среда обитания, в которой человек обречен существовать в лучшем случае вплоть до смерти. Естественно, ключевыми при таком мироощущении становятся вопросы выживания и самосохранения, которые каждому приходится решать для себя самому, что начисто обесмысливает любую дидактику. Показательно, что, по собственному признанию, Вен. Ерофеев первоначально предназначал «Москву — Петушки» исключительно узкому кругу приятелей.

Любопытной приметой интеллектуального климата тех лет стала беспрецедентная популярность у часто весьма далеких от филологии людей сугубо филологического тру-

да — книги М. М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса». Развитая здесь концепция карнавального смеха, противостоящего авторитарной серьезности официальной культуры, пришлась по сердцу интеллигентному читателю, искавшему отдушину в монолите казенной догматики. Многие медиевисты склонны сегодня полагать, что ученый сильно преувеличил оппозиционность карнавала, но именно это преувеличение и привлекало к нему поклонников.

В августе прошлого года в интервью «Пятому колесу» Вен. Ерофеев назвал Рабле в числе своих литературных учителей. Думаю, что в конце 60-х годов это мог быть только Рабле, прочитанный по-бахтински. И хотя отшумевшая мода искать карнавализацию где ни попадя успела уже породить скептицизм по отношению к любым разговорам на эту тему, я все же рискну признаться, что воздействие на «Москву — Петушки» некоторых идей Бахтина представляется мне несомненным.

Своего рода современным заменителем карнавала оказывается в поэме алкоголь. Вырывая героя из всех социальных структур, водка бросает его в почти ирреальный, деформированный его пьяным сознанием «гротескный» мир подмосковной электрички, где царит карнавальная вольность, подчиняющая себе даже представителя власти контролера Семеныча. Раблезианские масштабы питейных подвигов персонажей, их дикие рассказы о «любви», почти ритуальное сквернословие и постоянное пародийное обыгрывание идеологических штампов создают на страницах поэмы стихию универсального, свободного и связанного с «неофициальной народной правдой» смеха, которую так выразительно описал Бахтин.

Очевидно, однако, что произведение, иллюстрирующее ту или иную литературоведческую концепцию, не могло бы претендовать на долгую жизнь. В «Москве — Петушках» квазикарнавальным упованиям общественности начала 70-х годов учинена суровая проверка, итоги которой оказываются более чем неутешительны.

В уже упомянутом телеинтервью Вен. Ерофеев назвал «Москву — Петушки» «очень русской книгой» и в то же время затруднился указать на ее непосредственные источники в отечественной словесности. Тем не менее такие источники существуют, и в первую очередь это, конечно, «Путешествие...» Радищева. (Сколько раз мне пришлось слышать, как самые разные люди, одинаково оговариваясь, называли ерофеев-

скую поэму «Путешествие из Москвы в Петушки».) И дело здесь не в чисто композиционном принципе членения повествования на главы, условно соответствующие проезжаемым отрезкам пути, — этот прием у обоих писателей восходит к «Сентиментальному путешествию» Л. Стерна. Куда важнее то, что действие «Москвы — Петушков» развертывается в смысловом поле двух классических радищевских цитат.

Первая из них — хрестоматийная строка «Чудище обло, озорно, огромно, стозебно и лайя!» — стих Тредиаковского, переделанный Радищевым и вынесенный им в эпиграф к «Путешествию из Петербурга в Москву». Образ радищевского «чудища» возникает уже в первых фразах «Москвы — Петушков» в рассказе Венички о некоей фатальной закономерности его московских блужданий: «Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышу про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмельюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало — и ни разу не видел Кремля!». Прекраснодушный Веничка полагает, что овладевшая им мистика алкоголя гарантирует его от столкновения с главным символом государственной мощи. Он, однако, жестоко заблуждается.

Как понятно уже из заглавия книги, цель путешествия героя — Петушки, подмосковная станция, где его ждет возлюбленная, и одновременно Эдем художественного пространства поэмы, «место, где не умолкают птицы ни днем, ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин». Но попасть туда Веничке не суждено — проспав спьяну нужную станцию, он, не зная того, возвращается в Москву, где в ночи, спасаясь от гонящихся за ним убийц, случайно выбегает на Красную площадь и впервые в жизни видит Кремлевскую стену, чтобы через несколько минут принять мученическую смерть в темном парадном. Карнавальное, или алкогольное, преодоление действительности оказывается обманчивым; не случайно в композиционном центре поэмы в Орехове-Зуеве описывается сон героя (вспомним «Спасскую Полесть» Радищева), в котором победоносная революция, овладевающая всеми винными магазинами района, погибает оттого, что на нее решительно никто не обращает ни малейшего внимания.

Не менее значима для ерофеевской поэмы и другая прославленная фраза из «Путешествия из Петербурга в Москву»: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Более всего личность повествователя «Моск-

вы — Петушков» определяется его способностью к безграничному состраданию, жалостью «ко плоду всякого чрева». Парадоксальным образом эта книга, где создана чудовищно-гротескная картина спившейся страны, начисто лишена сатирического начала, более того, она сочетает в себе все-сокрушающий юмор с глубокой настороженностью к смеху, по крайней мере к смеху громкому и коллективному (хочется сказать — карнавальному).

Взрывы хохота, раздающиеся в вагоне после каждого из «рассказов о любви», заглушают косноязычный лепет живых человеческих душ, не способных от пьянства и тупости выразить себя в слове. Но даже дикий гогот толпы оказывается для автора предпочтительней радостного смеха ангелов. Эти небесные существа, с которыми весь день ведет беседу герой поэмы, жестоко издеваются над доверчивым Веничкой, ранним утром отправляя его на унижения в привокзальный ресторан за отсутствующим хересом, затем обещая встретить его на петушкинском перроне, куда ему не суждено добраться, и, наконец, ночью перед финалом весело заливаясь над жалким ужасом настигаемой жертвы.

Неспособные к состраданию, чистые ангелы, смеющиеся над страдающим, грязным человеком, оказываются на поверку в своей невинности циническими демонами, напоминая герою поэмы некогда виденных им детей, потешавшихся над обрубок раздавленного поездом тела. И эти детские образы, возникающие на последней странице книги, отчетливей всего показывают глубочайший пессимизм писателя по отношению к природе человека.

Такое умонастроение отнюдь не противоречит величайшей жалости к людям. Скорее наоборот. Для автора «Москвы — Петушков» вполне очевидна логическая и историческая связь между учениями, требующими от человека совершенства, и идеологией и практикой тоталитарных систем. «Я согласился бы жить на земле целую вечность, если прежде мне показали бы уголок, где не всегда есть место подвигу», — меланхолически замечает по этому поводу повествователь.

И все же главным полем битвы, на котором подмосковный донкихот сражается со своим чудищем, становится в поэме язык. Стратегия лжи в борьбе с человеком, вообще говоря, элементарна и эффективна. Пользуясь огромным количественным перевесом, ложь постоянным употреблением захватывает слово за словом, оставляя вне сферы

своего влияния разве что обширную область вульгарного просторечия и элитарные зоны специальных отраслей знания. В трудную пору крайности эти иногда сближаются. Специалист по Древнекитайской философии, сидящий в бойлерной, служит, по сути дела, социальной проекцией этого лингвистического механизма.

Вен. Ерофеев не только сочетает в своей поэме культурную изощренность с вызывающей грубостью. Он торит дорогу между двумя очагами сопротивления сквозь мертвые пласты изгаженной и оболганной лексики, разбивая их ударами иронии. Возьмем, например, нормальные русские слова «полностью» и «окончательно», превратившиеся в 60-е годы в нерасчленимую и бессмысленную комбинацию звуков «полностьюокончательно», почему-то фиксировавшую меру исторической осуществленности самого передового общественного проекта. Своей шокотерапией писатель разгоняет чары этого языкового гипноза: «А надо вам заметить, что гомосексуализм в нашей стране изжит хоть и окончательно, но не целиком. Вернее целиком, но не полностью. А вернее даже так: целиком и полностью, но не окончательно». Следя в начале 70-х годов за ажурным плетением Веничкиных словес, мы начинали робко надеяться, что традиция сказового слова жива в русской литературе. Сегодня мы знаем это совершенно точно.

Поколение, к которому принадлежит автор этих строк, обречено на особое отношение к «Москве — Петушкам». Человеку свойственно ностальгически вспоминать пору своей юности, будь то эпоха массового голода, террора или войны. Подобно этому те, кому теперь за тридцать, будут чем дальше, тем сильнее ловить кайф от словосочетаний типа «новая историческая общность» или «личный вклад». Им-то, а верней нам-то, и погружаться в поэму Вен. Ерофеева, чтобы заново почувствовать аромат лучшего времени жизни, которое ушло и никогда не вернется.

И все же я думаю, что книга эта останется не только литературным памятником недавно почившей эпохи. Сегодня, когда наша вышедшая из глубокого анабиоза общественная мысль лихорадочно продолжает дискуссии четвертьвековой давности, а не успевшее перевести дух искусство само рвется на службу к идеологии, перечитать «Москву — Петушки» значит радостно убедиться в возможности творческой свободы и непрерывности литературного процесса.

Андрей ЗОРИН.



ЧЕЛОВЕК БЕЗ МАСКИ НА МАСКАРАДЕ ИСТОРИИ

Марк Харитонов. День в феврале. Повести. М. «Советский писатель», 1988. 512 стр.

Слепец поет хвалу грозному царю; а поводярь плачет: язык его вырезан, пальцы обрублены. «Закрыв глаза, он и сейчас видел, как поскакали по снегу, точно живые, скрюченные обрубки пальцев,— их отсекли ему не по суставу, а по кости, чтоб дольше не заживало. И теперь он не мог даже удушить этого слепца, гордившегося своим знанием страны, и не совсем напрасно: людей, подобранных из-под копыт грошник царской милостыни, было, может, не больше, чем убитых им,— зато они продолжали жить и могли вещать неповрежденными языками, могли писать, ибо им сохранены были пальцы».

Из повести «Два Ивана» — стержневой для книги — можно выбрать еще несколько таких цитат, за которые ухватывается глаз, привыкший к современной публицистике. Легко складывается притча о страшном мире, где дети «восхищенно и завистливо смотрели... на лихих молодцов с взправдашними саблями и секирами, обсуждали, как знатоки, достоинства и красоту оружия, а сами могли разве что отрывать лапки мухам и тараканам да еще играть в палачей». А взрослые? «Почему и в человеке пожившем, ученом, трепаном отзывается облегчением и надеждой ужас чужой смерти? Словно вот эта подачка жестокой судьбы, насыщая ее на время, отодвигала срок вносить свою долю. Но вот засмеялся в толпе юрод Ивашка Нагой, предвкушая себе добычу, и смех его вдруг скреб кожу новым сомнением...»

При таком чтении смех Ивашки Нагого нечто вроде смеха самой смерти, и сам он — только один из ликов черной бездны, в которую погружается Россия. И нет ничего более далекого от тональности харитоновской прозы. Это не сатира и не роман ужасов (и не исторический роман в обычном смысле слова), а сквозь историю и ее ужасы утверждение смысла сказки, старой доброй сказки об Иванушке-дурачке. Все обычные слова, которыми принято оценивать новую книгу, как-то нейдут к делу. И жанр не поймешь какой, с какими-то своими индивидуальными условностями, и герой не поймешь кто. Как-то неловко прилагать к дураку слова «положительный герой». Когда доктор Живаго занимает позицию дурака, то это позиция: «Время не считается со мной и навязывает мне что хочет. Позвольте и мне игнорировать факты. Вы говорите, мои слова не сходятся с действительностью. А

есть ли сейчас в России действительность?» Можно все это назвать учеными словами «пиррационализм», «экзистенциализм», «эскапизм». А Иван беспамятный не занимает позицию дурака, он просто дурак; и не утверждает он, что опричина есть пробел в разумении, и не говорит: кто хочет быть мудрым в веке сем, тот будь безумным,— нет, он натурально безумен и именно в безумии своем остается человеком. Автор, беспощадный к умникам, с любовью следит за духовным ростом своего дурака. Так что выходит отчасти роман воспитания, дорастания дурака до порога святости.

Впрочем, и в первых повестях видно становление того же взгляда. Кого бы Харитонов ни рисовал — Гоголя на парижском карнавале («День в феврале»), актера-неудачника, попытавшегося довести жизнь до законченности сказки о Золушке («Прохор Меньшутин»), интеллектуалов, прячущихся за масками народности и духовности («Этнод о масках»), Ивана-царя и Ивана-дурака («Два Ивана»), — это один мир с одними и теми же сквозными проблемами, с одним и тем же противоборством иронии и жалости. Только в ранних повестях мы прятались от истории за шумом карнавала или в тишине заштатного Нечайска, а в «Двух Иванях» спрятались некуда и надо быть или с Иваном-царем, или с Иваном-дураком, Иваном Беспамятным, Иваном Собакиным (за ним свора бездомных псов), Иваном Нагим (подбирающим, чтобы похоронить, трупы казненных). И дело не в том, что это эпизоды истории XVI века. В каждом веке были свои средние века, и XVI век просто легче погружить в сказку, в притчу (так, как это впоследствии сделал в XX веке Абуладзе), легче отбросить все лишнее и оставить только две роли: исторического величия и глупой доброты.

Можно составить длинный список, чего и кого в этой картине нет (князя Курбского, митрополита Филиппа...). И нет обычной условности исторического романа, Айвенго или князя Серебряного, которого автор, переодев, мог бы пригласить к ужину. Харитонов не из просвещенного времени смотрит, скорее из мрака в мрак, на бесовщину XVI века сквозь кафкианский мир XX, и князю Серебряному неоткуда взяться, он вышел бы сусальным. Разум для Харитонова не укоренен во времени автора, он витает невесть где. В фантастическом эпизоде носителем здравого смысла выведен Агасфер,

спорящий с исповедником идей исторического величия. В реплике Агасфера проступает мечта Иванов-дураков, чтобы ничего не происходило, чтобы летописец мог записать в свои кровавые скрижали только два слова: «быть тишина». Агасфер тоже дурак.

Читатель, вероятно, удивится: откуда он взялся в романе? Место ему скорее в поэме. Но «Два Ивана» и по ритму близки к поэме (об этом ниже). И тут персонажи легенды и сказки на месте. Вплоть до птицы Феникс, вылупившейся из колпака юродиво-го. А сказка живет до истории (или вне истории). Судьба человека «заложена внутри» (по мнению одного из персонажей, задана именем), и обстоятельства только выявляют то, что с самого начала дано. Все остальное — маски или (другой образ в «Этюде о масках») размалеванный исторический задник, куда люди вставляют свои головы. Любимые герои Харитоновы не хотят вставлять свои головы в исторический фон, не подчиняются правилам игры в маски. И для тех, кто играет по правилам, они чудаки, дураки, юродивые. Да, они дураки, соглашается автор. Им по-дурацки не хватает инстинкта самосохранения. Но они лучше умных.

На первый взгляд здесь не хватает катарсиса. Но его дает ритм. Ритм, вырываясь из цепей сюжета, выносит на своих волнах к чему-то более высшему, чем все нерешенные вопросы. Лучшие страницы «Дня в феврале» — финал, когда Гоголь, забыв все свои (и авторские) проблемы, просто отдается ритму карнавала. Все любимые герои автора прислушиваются к таинственному лепету жизни, к ритму тишины. Из этого прислушивания рождается их тихое обаяние. Глеб, один из антигероев «Этюда о масках», не может понять, каким образом Нина, его любовница, «которая никак не оспаривала его превосходства, но оставалась сама по себе, в то время как он рядом с ней необъяснимо менялся», — каким образом она способна в снах своих «ходить среди неба». Харитонов создал целую галерею таких женщин. Зоя, дочь Меньшутина, в детской игре «могла поддаться соперникам нарочно, чтобы избавить их от огорчения. У нее как-то вылетало из головы, что тем самым она приводит в бешенство собственную команду»; Олена, дочь окольного Бутурлина, «слыла душой. Догадались про это не сразу: до поры казалась девка просто жалостливой не в меру...». Примерно как крестьянка, поившая раненого карателя, в «Жизни и судьбе» В. Гроссмана. Бессмысленная, дурацкая доброта выше умного блага, ради которого бьют кнутом.

На земле нет правды, кроме сказочной. А что выше? Этого никто не знает.

Реальная духовная жизнь и XIX, и XVI, и всякого века богаче возможностями. Но истинный художник не может изображать то, что он внутренне не пережил. Бог в мире Харитоновы только тот, который подсказывает поступки. Бога созерцательного нет, и нет прорыва в созерцаемое. Юродивые Харитоновы не поминуют ни Христа, ни Богоматери. Их юродство чисто нравственное, от нестерпимой, дошедшей до безумия и страсти жалости. Перед лицом великой жестокости непременно появляются люди великой жалости. Герой Харитоновы, сумевший, так сказать, спрятаться от Медного всадника, — чудак. Попавший в фарватер истории — юродивый.

Человек без маски все равно что человек без кожи, урод, и нормальные, надевшие маску участники исторического процесса считают себя в полном праве его затапывать. Тем более что позиция юродивого в наш просвещенный век не признана и таких, как Зоя, можно запереть в сумасшедший дом. Маска — лицо цивилизации. Безответные женщины, не сопротивляясь, не говоря ни слова, «всей собой» (как сказала бы Марина Цветаева) кричат: «Король гол!» В этом их вина, их безумие. По сути дела, такое же, как в словах Ивана-дурака (Ивану-царю, с которого слон сдул шапку): «Ивашка! Ивашка!. Не поднимай шапки! Зачем взял ее у меня? Бедный, ах, бедный!»

Душа харитоновского мира — сказочница. Прохор Меньшутин ностальгически вспоминает «ряженных, колады...». В самом своем имени он видит перст судьбы: «Это все-таки не актер, не деятель сцены, я убеждаюсь. Это был участник древнейшего действия... Не спектакль, не искусство — эпизод жизни, возведенной в степень искусства, — вот его сфера. Когда нет отдельно зрителей и актеров, нет рампы и сцены, люди не играют — они живут по законам игры, по мифической схеме...»

Автор с иронией следит, как Меньшутин становится маньяком своей идеи, как он после смерти жены отказывается от душевно близкой ему Светланы Леонидовны и женится на гардеробщице с двумя дочерьми, чтобы его Зоюшка (Золушка) в самой жизни сыграла свою роль, и накануне решающего события (спектакля-феерии, втягивающего весь городок) приказывает запереть двери и оставить открытыми окна — пусть Зоюшка-Золушка не пойдет, а убежит на бал и там найдет своего принца (местного механика Кайсто). Эта ирония не обличает — скорее стыдливо возвышает, и смерть Мень-

шутина в апогее праздника — апофеоз чудака.

Из сказки вырос мир, в котором укоренен Иван-дурак, по-дурацки уверенный, что он-то и есть подлинный царь, а не тот Ивашка, постоянно примеривающий к себе маски царского достоинства, справедливого суда, рядящийся в платье монаха, палача, шута...

С самого начала романа нарастает ожидание, что Иван-царь и Иван-дурак встретятся и вопрос — кто из них взаправду царь — решится. Эта уверенность коренится не в сюжете, скорее в разрушении сюжета и в освобождении ритма прозы, чередующей фрагменты жизни царя и бездомного бродяги. Единицей текста становится абзац, внутри которого сохраняется логическая связь, но между абзацами пустота, как между строфами, разрыв частных связей между событиями, окошко в целостность, из которой вырастает самый дух жизни. Иван-царь и Иван-дурак идут каждый своим путем, сюжетной необходимости встречи нет, но духовно-ритмически она есть. И вот две жизни пересеклись. Иван-царь надевает шапку Мономаха на Ивана Беспамятного и натягивает на свою голову шутовской колпак. На миг обнажается истина. Разве Иван Васильевич не был шутком на троне? Разве Иван-дурак не был просто человеком, царем природы, на острове с Оленой? Не так ли встречаются на карнавале Гоголь и три самозванца, каждый из которых уверяет, что он и есть Гоголь? Не в том ли загадка жизни, чтобы понять свою действительную роль?

Но истина не может надолго воплотиться. За кульминацией наступает катастрофа. Опричники громят монастырь. Мгновение истины тонет в разгуле. Иван-дурак, обгорев в пожаре, обретает себя как юрода. В последних главах романа ритм абзацев-строф окончательно вырывается из обычных рамок прозы. Гул копыт татарской конницы, обошедшей Серпухов, переходит в гул пожара, и сквозь горящую Москву шагает Иван Нагой спасти из огня ребенка Олены:

«Дым от подоженных посадов еще только летел через реку многоглавым растекающимся чудищем, плюясь искрами, а прозрачный жар спешил впереди. Он сушил весеннюю грязь, с посвистом и улюлюканьем подталкивал в спины людское стадо к дальним воротам. Цеплялись осями в тесноте улиц возы и телеги с добром, кони вздымались на дыбы, рвали постромки, топтали бегущих. Красное пламя ужаса одинаково отражалось во всех глазах. Упавшие уже не вставали, затоптанные, избавленные от страшной судьбы стореть заживо... Сами

собой звонили колокола...» «А навстречу дыму, поперек редющей толпе бежал, ковыляя, по-рыбы разинув рот, ногой юродивый. Рыжая облезлая сука с торчащими ребрами, скуля, последняя оставила его в этом непонятном, невозможном беге. Улицы схватывались неравномерно. Иван выбирал дорогу с уверенностью и вдохновением безумца, как будто его испытанное огнем тело было неуязвимо и нечувствительно».

А Иван-царь «убегал дальше на север; на телегах вслед за ним тряслись сорок коробов с казной. Прекрасная ширь поворачивалась вокруг. Несмотря на конец мая, здесь еще не изо всех оврагов ушел снег... Какое преимущество — владеть страной столь простой, что неделями не доберешься до края. Никакая потеря здесь не пугала окончательностью. Здесь все было — мелочь, поражения не значили ничего, пожарища можно было застроить вновь, а погибшие? — они погибли бы все равно. Важно было лишь то, что связано с ним, а значит, с судьбой державы, с ее будущим. Что мог поделаться враг с такой страной, пока она изнутри едина, пока его власть остается несомненной? Пускай поживятся малость татары, пускай потешатся. Авось заодно прикончат и тех, до кого у самого пока руки не дошли».

В шапке Ивана Накого, согретой пожаром, между тем вылутился птенчик — Феникс (последняя глава так и называется — «Феникс»). Сын, спасенный ослепшим юродом, станет его поводырем. «Он еще пройдет по русской земле, наращивая на вегру кожу стойкости, переживет смерть царя и гибель его сыновей, поражение, смуту и подвиг, которым страна сумеет спастись и воспрянуть, а однажды услышит долгую сказку про дурака Ивана, прозванного Беспамятным: как он явился из дыма и гари, жил в келье книжника и в тюрьме, был ничтожен и сидел на троне, убивал и был убит — не созданный, не способный для жизни обыденной, но для какого-то служения избранный и проведенный сквозь времена».

Конец романа и по силе напора и по мысли перекликается с «Северо-востоком» Волошина, с «Размахом» Даниила Андреева. Жестокость и жалость доведены до невыносимой пронзительности, разведены напротив, как створки подъемного моста, торчат оборванными краями из каждой паузы, через которую повесть Ивана-царя переходит в повесть Ивана-дурака. И все это мучительно нераздельно — как в самой жизни, где Иван Васильевич рядом с Федором Ивановичем, Гордей Торцов — с Любимом Торцовым, Рогожин — с Мышкиным. Где из самих разрывов, не снимая их, рождается гармония

и из противоположных характеров — единый образ народа.

Форма романа органически связана с его мыслью и музыкально соединяет логически расколотое. Господствует текучая, темная, как ночь, все объемлющая сказочная стихия. Каждый эпизод как бы заново рождается из мглы и требует отгадки: что это, откуда взялось. Ничего не разжевывается. Причинные связи едва намечены. И именно это открывает ворота ритму.

Пастернак упрекал классический роман XIX века, в особенности французский, за

чрезмерный детерминизм. Железная цепь причин и следствий, связывая частность с частностью, не давала прорваться дыханию целого, «того, что было надо мной и подо мной... единства всего, что есть» (письмо Жаклин де Пруайяр от 20 мая 1959 года). В «Двух Иванах» эта цепь прорвана, «действительность изображается как воплощенное живое дыхание» (там же), исторически рациональное и иррациональное сплетаются неведомо как, но сплетаются, минуя все идеологические схемы.

Г. ПОМЕРАНЦ.



Политика и наука

ТРИ ЦВЕТА ВРЕМЕНИ

В. П. Смирнов. Франция: страна, люди, традиции. М. «Мысль». 1988. 287 стр.

До недавнего времени со страниц газет, журналов и книг нашему читателю настойчиво внушали, что жизнь в развитых странах сводится исключительно к забастовкам, демонстрациям и другим формам классовых борьбы, что народ там буквально стонет под игмом ненавистного, уже почти столетие разлагающегося капитализма, с надеждой взирая на общество «развитого социализма».

Книга профессора В. Смирнова выгодно отличается от легковесной журналистской скорописи, подменявшей объективную информацию идеологическими штампами. Перед нами не справочник и не монография, хотя книга предельно насыщена уникальным фактическим материалом. (К слову сказать, необъективность и предвзятость свойственны и нашим энциклопедическим изданиям, в которых факты нередко приносятся в жертву сиюминутным политическим оценкам. Не по этой ли причине специалисты-обществоведы предпочитают пользоваться иностранными энциклопедиями и словарями?) Перед нами — серьезные, глубокие размышления историка о стране, изучению которой отдано несколько десятилетий. Автору приходилось многократно бывать во Франции, личный опыт существенно обогащает его повествование, основанное на обширном документальном материале, но при этом В. Смирнов предельно деликатен по части своего «я».

Как понять другой мир, другую страну, ее народ, понять без предвзятости и идеализации? Наверное, следует начать, как это и делает автор, с истории народа, попытавшись оценить его вклад в мировую цивилизацию, в материальную и духовную культуру.

Корни французской истории уходят в античность, когда Галлия в течение пятисот лет являлась частью Римской империи. Уже один этот факт значит многое. На всем протяжении средневековья и нового времени Франция уверенно шла в авангарде европейской культуры и цивилизации. В XVII веке она добилась политической гегемонии в Европе, в XVIII — гегемонии идейной благодаря своим философам-просветителям, которые, как писал Ф. Энгельс, «несмотря на все победы, одержанные немцами и англичанами на суше и на море над французами, сделали XVIII век преимущественно французским веком...». Вольтер и Дидро, Руссо и Мабли были подлинными властителями дум передового человечества. Не случайно крушение старого порядка на Европейском континенте началось с Великой французской революции, идейно подготовленной философами-просветителями. «Весь XIX век, тот век, который дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под знаком французской революции», — отмечал В. И. Ленин в 1919 году.

Революция обновила облик древней Франции, заложив основы буржуазного общества, государства и права. Она изменила и лицо Европы. Сейчас, спустя двести лет после Великой французской и семьдесят с лишним лет после Великой Октябрьской революций, советские историки получили наконец возможность сопоставить и по-новому оценить обе эти революции. Не подлежит сомнению, что революционный опыт Франции сыграл важнейшую роль в судьбе нашей страны, отразившись в его героическом и трагическом прошлом. Револю-

пионеры 1917-го очень много заимствовали у революционеров 1793-го...

Со сталинской (а быть может, с еще более ранней) поры наши представления о Великой французской революции были сведены к жестким схемам, обеднявшим, а во многом и искажавшим ее глубокий смысл и значение. Высшим достижением революции была объявлена якобинская диктатура с ее массовым террором. Вплоть до последнего времени окончание революции датировалось в нашей литературе падением якобинцев в 1794 году, после чего согласно все той же схеме начиналась черная полоса контрреволюции. В результате мы мало что знали о предыстории революции, ее начальных (либеральном и жирондистском) и послеякобинском периодах, которые, по существу, не изучались, но освещались неизменно в пренебрежительно-негативных тонах. Галерея исторических деятелей революции сводилась в нашей историографии к отлакированным портретам Марата, Робеспьера, Сен-Жюста и прочих «друзей народа», виновных в истреблении во имя светлого будущего десятков тысяч человек. Не случайно апология революционного фанатизма достигла у нас пика в годы сталинских репрессий, когда изобретенный во Франции 1793 года политический ярлык «враг народа» обрекал на смерть или лагерную каторгу сотни тысяч, если не миллионы советских людей.

Сталин любил исторические аналогии, но он брал из революционного опыта Франции только то, что ему было нужно. Все «внутреннее» отбрасывалось или объявлялось контрреволюционным. И даже после смерти диктатора в советской историографии продолжалось безудержное восхваление якобинской диктатуры и ее вождей. 1793 год все еще заслоняет год 1789.

Любое заимствование содержит в себе определенный риск, особенно если оно не критично. Думаю, нашим политологам еще предстоит в связи с осуществляемой реформой политической системы вернуться к переоценке использования нами после Октября 1917 года опыта Парижской коммуны в государственном строительстве. Многое оказалось опровергнутым жизнью.

Но вот чему неплохо было бы поучиться у французов, так это их уважительному отношению к национальной истории и культуре. Патриотизм, чувство высокой гражданской ответственности составляют важнейшие, непреходящие черты французского национального характера, подвергну-

того обстоятельному разбору в книге В. Смирнова.

Да, французы, наверное, первыми в Европе после 1789 года начали закрывать храмы, превращая их в гражданские учреждения. Но они не разрушали их с нашими энтузиазмом и методичностью, достойными лучшего применения. Да, они первыми пытались осуществить насильственную дехристианизацию страны и заменить католицизм сначала культом «Разума», а затем — «Верховного существа». Они первыми меняли старый календарь, провозглашая наступление новой эры. Они много преуспели по части неоправданных и поспешных новаций... Но в конечном счете природный, воспитанный веками здравый смысл французского народа оказался сильнее навязываемого ему узкого доктринерства. Робеспьера победили не термидорианский Конвент, не Баррас и Тальен — его победили Монтень и Декарт.

Приятно смотреть на современную карту Франции, на ней практически нет следов варварского произвола. Не случайно жаны, не помнящие родства, не посмели изуродовать ее названиями в свою честь. Историк, изучающий Францию нового времени или даже средних веков, может быть уверен, что на современной карте он найдет неизменными практически все географические названия тех эпох. Конечно, исторические потрясения — войны и революции — не могли не оставить следов. В Париже да и в других французских городах в названиях улиц и площадей представлена вся история страны в ее последовательности и непрерывности. Помню, какой во Франции поднялся шум, когда после смерти генерала де Голя (весьма уважаемого там) было решено переименовать площадь Звезды — знаменитую пляс Этуаль — в площадь де Голя. Парижане решительно отказались признать новое название и с трудом согласились на двойное: площадь Звезды — Шарль де Голль.

Когда победившая в 1789 году революция выбирала новый государственный флаг, она оставила на нем белую полосу — символ не столько древней монархии, сколько тысячелетней национальной истории, от которой французские революционеры благоразумно предпочли не отречься. Выбор, сделанный двести лет назад, оказался правильным. Преемственность и обновление — таков общий смысл трехцветного флага Французской Республики.

Ну а сама страна, ее ландшафты? Тот, кто хоть раз путешествовал по Франции, не мог не обратить внимание на уходя-

ность, я бы даже сказал — благолешие, ее провинциальных городков и деревень. Во всем чувствуется забота современных французов о внешнем облике своей «малой родины». В течение прошлых веков здесь безжалостно истреблялись леса, покрывавшие некогда практически всю территорию древней Галлии. К началу XIX века во Франции осталось всего 8 миллионов гектаров леса, и у французов, на что обращает внимание В. Смирнов, хватало все того же здравого смысла и решимости положить конец хищническому разбазариванию этого национального богатства. Вот уже почти двести лет они занимаются восстановлением лесных массивов. Теперь лесами покрыто 14 миллионов гектаров — около четверти территории страны. Их площадь равна площади лесов остальных 11 стран Европейского сообщества, что позволяет Франции торговать лесом. Между прочим, в стране нет проблемы нехватки бумаги при необычайно развитых полиграфической промышленности и издательском деле.

У каждой нации есть собственное представление о себе, чаще всего не совпадающее с посторонним мнением. Блестящая история и выдающиеся достижения Франции в материальной и духовной культуре дали французам основание считать себя «благословенной нацией», воплощающей высшие человеческие идеалы. Еще Денис Иванович Фонвизин двести лет назад с иронией отмечал: «Жители парижские почитают свой город столицей света, а свет — своею провинцией... По их мнению, имеют они не только наилучшие в свеге обычаи, но и наилучший вид лица, осанку и ухватки...» А крупный французский историк XIX века Жюль Мишле писал уже безо всякой иронии: «Если бы нагромоздить в одну кучу все, что каждая нация бескорыстно принесла в жертву ради общего блага всех народов — золото, кровь, всевозможные труды и свершения, — то из вложенного Францией получилась бы пирамида высотой до самых небес. А вклад всех других наций, сколько бы их ни было, образовал бы кучку, не доходящую до колен ребенка».

Наивное чувство превосходства над другими народами стало ослабевать у французов лишь после второй мировой войны, когда в мире произошли крупные перемены в соотношении сил, а Франция заняла промежуточное положение между сверхдержавами и так называемыми средними державами. И все же своеобразный франкоцентризм продолжает еще сохраняться в сознании большинства французов, хотя

теперь это чувство, как считает В. Смирнов, связано не столько с военными или политическими успехами, сколько с представлениями о преимуществах французского стиля жизни, гармоничности природы Франции, хорошем вине, искусном труде ее жителей.

Всякие оценки национального характера обычно весьма условны, а часто и спорны. Общепринятых научных критериев здесь пока не существует. И тем не менее общепризнано, что французам как нации свойственны такие черты и качества, как рационализм и легкомысленность, остроумие и скептицизм, общественная активность и нелюбовь к дисциплине, склонность к фрондерству и противодействию властям, отвага, не чуждая некоторой театральности, природное изящество. На формирование национального характера огромное влияние оказали политическая культура и традиции Франции. В истории страны можно найти немало страниц деспотического произвола, но в ней же издревле существовали свободы и вольности, за которые народ нередко сражался с оружием в руках. Еще за четыреста лет до Великой революции французское крестьянство освободилось от крепостной зависимости. Это факт первостепенного исторического значения.

Королевская власть всегда вынуждена была считаться с древними вольностями своего народа. Русский посол Андрей Матвеев, отправленный во Францию Петром I в 1705 году, с изумлением писал в своих записках: «Ни король, кроме общих податей (хотя самодержавной государь), никаким насильствием не может особливо ни с кого взять ничего». Уже во времена Ришелье, несмотря на запреты, существовала обширная оппозиционная памфлетная литература. Одновременно с укреплением абсолютизма и вопреки ему во Франции происходило становление гражданского общества. Лучшие умы Франции рано осознали ту истину, что сосредоточение всей ответственности, то есть бесконтрольной власти, в руках государственного монстра ведет к полной безответственности его перед гражданами, чреват произволом и другими тяжелыми последствиями для страны.

Французы привыкли к свободе слова и печати, к участию в выборах и к многопартийной системе. Давней традицией французской общественно-политической жизни является защита жертв произвола и несправедливости. Уважительное отношение к интеллигенции и интеллектуальному труду и нескрываемая неприязнь к буржуазии и бюрократии — тоже специфически французская политическая традиция.

Еще одна давняя традиция — дружественные связи Франции и России, зародившиеся почти тысячу лет назад, когда дочь Ярослава Мудрого Анна была выдана замуж за Генриха I, короля Франции. Разное бывало в длительной истории русско-французских отношений. Периоды сближения сменялись размолвками и даже откровенной враждой, а затем новым обретением друг друга. Параллельно с официальными контактами, а зачастую и опережая их, происходил не менее сложный процесс культурно-духовного взаимодействия.

В XVIII веке часть французских просветителей во главе с Руссо резко критически относилась к России и петровским преобразованиям. «Русские,— категорично утверждал автор «Общественного договора»,— никогда не будут народом истинно цивилизованным, потому что их цивилизовали слишком рано. Петр имел только подражательный гений; истинного гения, который создает и делает все из ничего, у него не было. Некоторые из проведенных им реформ были сделаны хорошо, большая же часть была неуместна». С аналогичных позиций оценивал Россию французский социалист-утопист Мабли, обличавший Петра за сохранение крепостного права. По мнению Мабли, Петр многому научил русских: торговать, воевать, строить и так далее,— но он не научил их прежде самому главному: быть гражданами. Именно в XVIII веке родился миф о захватнических устремлениях России в Европе. И хотя Фонтенель, Вольтер и некоторые другие французские философы положительно оценивали усилия Петра по преодолению вековой отсталости России, преобладающим для французского общественного сознания долгое время было недоверчиво-критическое отношение к стране «деспотизма и рабства».

Столь же неоднозначным было и отношение в России к Франции. С одной стороны, наблюдалось унижающее национальное достоинство подражание всему французскому, доходившее до отказа значительной части дворянства от родного языка; с другой же — приверженцы «исконного»

русского пути исторического развития России, а их было немало, видели во Франции, как и в Западе в целом, источник зла...

Если весь XVIII век и первую половину XIX в русско-французских идейно-культурных связях преобладало французское влияние на Россию, то в последующий период происходило обратное мощное движение благодаря бурному расцвету русской национальной культуры и революционным событиям в России.

Дважды в истекающем столетии наши страны и народы сражались в одной коалиции против общего противника. «Для Франции и России,— говорил генерал де Голль в 1944 году,— быть объединенными — значит быть сильными, быть разьединенными — значит находиться в опасности». Спустя двадцать лет, во время своего памятного визита в СССР, ставшего исходным моментом в процессе международной разрядки, президент де Голль заявил: «Мы считаем, что более непосредственное и обширное сотрудничество между нами должно помочь Европе встать на путь единения, а миру — на путь равновесия, прогресса и мира». Эти слова не утратили своей актуальности и в наши дни.

В. Смирнов не разделяет пессимизма тех (а таких немало и в самой Франции), кто говорит об упадке современной Франции, об ослаблении ее экономического, политического и идейного влияния в мире. Он напоминает, что разговоры об упадке Франции не новы, они периодически возникают начиная с Великой французской революции, которую кое-кто считал самым очевидным признаком упадка. Несомненно, Франция конца нынешнего века существенно отличается от Франции его начала и даже середины. Но при всех исторических переменах голос Франции не потерялся в многоголосом ансамбле мирового сообщества. Франция продолжает играть видную роль в мировой экономике и политике, в развитии мировой культуры.

Петр ЧЕРКАСОВ,
доктор исторических наук.

КОРОТКО О КНИГАХ



НИКОЛАЙ ОЛЕЙНИКОВ. Перемена фамилии. Составитель Владимир Глоцер. М. «Правда». 1988. 47 стр.

ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ. Николай Олейников. «Юность», 1988, № 1.

В «Библиотеке «Крокодила» вышла тоненькая книжечка Николая Макаровича Олейникова (1898—1942, дата смерти, как у всех людей его судьбы, сомнительна) — не то что первое посмертное, а вообще первое отдельное издание его взрослой поэзии. Взрослой, потому что он писал и для детей (не стихи), редактировал популярные в свое время детские журналы «Чиж», «Еж». Он примыкал к существовавшему в конце 20-х годов Объединению реального искусства (ОБЕРИУ, или ОБЭРИУ), в которое входили Заболоцкий, Введенский, Хармс и другие. Их творчество переживает ныне подлинное возрождение. Составил книгу авторитетный популяризатор обэриутского наследия Владимир Глоцер (см., например, его публикации Хармса и Введенского в «Новом мире» — № 4, 1988; № 5, 1987).

Олейников для меня притягателен и загадочен. Казалось, я знал его всегда; трудно вспомнить, когда я впервые услышал передаваемую из уст в уста эпиграмму о неблагоприятном пайщике:

Когда ему выдали сахар и мыло,
Ножку выжую сосет.
Он попался. Он в напкане.
И теперь он казни
(от виссекторов! — А. В.) ждет...
В его голове небольшой,—

или когда мне впервые попала в руки машинопись знаменитого «Таракана» с программным эпиграфом из капитана Лебядкина, которого обэриуты признавали своим учителем, — «Таракан попался в стакан», эпиграф этот лукаво приписан самому Достоевскому.

Таракан сидит в стакане,
Ножку выжую сосет.
Он попался. Он в напкане.
И теперь он казни
(от виссекторов! — А. В.) ждет...
.

Он бы смерти не боялся,
Если б знал, что есть душа.
Но наука доказала,
Что души не существует,
Что печенка, кости, сало —
Вот что душу образует.
Есть лишь только сочлененья,
А потом соединенья.

Стихи эти не укладываются в традиционные рамки сатиры и юмора. Считать же это серьезной, тем более высокой поэзией как-то неловко, непривычно. И трудность не в том, чтобы сказать, хорошие стихи или

Гонорар за эту публикацию я передаю на Мемориал жертвам репрессий 20—50-х годов (счет № 700454 в Жилсоцбанке СССР). — А. В.

плохие, а в том, чтобы определить систему координат, в которой эти стихи живут. Многие испытывали подобное замешательство. «Вкус Анны Андреевны (Ахматовой. — А. В.) имеет пределом Мандельштама, Пастернака. Обэриуты уже вне предела, — записала Лидия Гинзбург в дневнике 1933 года. — Она думает, что Олейников — шутка, что вообще так шутят». Но это не шутка, «это настоящая тоска, и принадлежит она настоящему поэту. Но это уже не та тоска и не тот поэт, какие завещаны нам поэтической традицией», — пишет сегодня Л. Гинзбург. В ее статье в «Юности» (и в других ее работах) дается ключ к правильному пониманию Олейникова, со стихами которого ныне встречается массовый читатель; исследовательница, впрочем, несколько преувеличивает именно отрицающее начало в творчестве Олейникова, которому уже не было нужды в специальном «разрушении идолов», скажем символизма, — это было сделано до него, до обэриутов. Он не то что сам не желает быть хранителем «наследственных сокровищ» (выражение Л. Гинзбург), он знает, что это ему уже не дано, и от этого тоже — его «настоящая тоска».

Олейников не ограничивался отрицанием уже «скомпрометированной» к 20-м годам символистской традиции, но и неожиданно подхватывал мотивы, рождавшиеся некогда на периферии классического символизма; это утверждение может показаться надуманным, но вот строки, написанные в 1913 году: «Съевший в науках собаку нам говорит свысока, что философии всякой ценнее слепая кишка, что благоденствие наше и ума плодотворный полет только одна простокваша нам несомненно дает. Разве же можно верить в эту слепую кишку? Разве же можно измерить кишкою всю нашу тоску?» Нет, это не Саша Черный, не Петр Потемкин, никто из «сатириконцев» — написал эти строки один из метров символизма Федор Сологуб. Он не шутил, такие у него вышли серьезные стихи. Сологуб был крайне раздражен проповедью биолога И. И. Мечникова, который пропагандировал молочнокислые продукты как средство против старения и пессимизма; сам предмет раздражения требовал выхода за пределы рафинированного символистского словаря, Сологуб вышел... и тут же впал в самую настоящую «oleyниковщину».

Олейников в отличие от упомянутых здесь Саши Черного и Петра Потемкина никогда не равен сам себе. Он гораздо ближе к Зоценко, который, по замечательному определению М. Чудаковой, обрел новое литературное право: говорить от себя, то есть без посредства рассказчика, но «не своим» голосом. «Это стихи, за которыми можно скрыться», — признавался поэт. Ошибочно видеть в олейниковской

иронии покушение на основополагающие ценности человеческого существования. Как свидетельствует Л. Гинзбург, Олейников выражал существовавший в 20-е годы «тип застенчивого человека, боявшегося возвышенной фразеологии, и официальной, и пережиточно-интеллигентской», он выражает сознание тех, кто чувствует «неадекватность больших ценностей и больших слов, не оплаченных по строгому социальному и нравственному счету». Казалось бы, такое сознание и поныне актуально, но, как мне представляется, современные подражатели и продолжатели Олейникова (скажем, остроумный Игорь Иргенев) выражают как раз сознание без застенчивого человека, и в самом деле не причастного к «большим ценностям».

Наследие Олейникова не покрывается архивной пылью, оно живет, оно достойно более полно и серьезного издания. Тем более что люди, выпускавшие рецензируемый сборник, так и не поняли (за исключением В. Глоцера), с чем они имеют дело: книжечка основательно испорчена художником В. Чижиковым, который не увидел в стихах Олейникова ничего кроме хохмы и отозвался на них соответствующими иллюстрациями, убогими даже на «крокодиальском» уровне, а в послесловии радуется Алексей Пьянов: это «первая поэтическая ласточка Макара Свирепого (псевдоним поэта.— А. В.), приветствующая нашу сегодняшнюю весну, сборник ершистый, веселый, молодой». Вот это и называется пошлостью. Николай Макарович Олейников, «человек трагического мироощущения и трагической участи» (определение Лидии Гинзбург), такого отношения к себе не заслужил.

Андрей Василевский.



ЮРИЙ ПОРОЙКОВ. «Ехали медведя на велосипеде...». Повесть. «Октябрь», 1988, № 7.

В повести Юрия Поройкова — середина 50-х. Место действия — деревня, русский Север. Герой повести — молодой учитель, горожанин — открывает для себя деревню: нищета, серая убогость — колхоз не успевал убирать все, что засевал, не хватало ни машин, ни людей, ни умения, ни желаний, собранное зерно сдавали до последнего зернышка, трудодни закрывались копейками и так далее, об этой, материальной стороне жизни уже много писалось. Поройков концентрирует наше внимание на том, что нравственно давило людей. Вот уполномоченный из района, сердитый дядя в темно-зеленом кителе — одежда еще под вождем! — требующий поддержать единогласно патристическую инициативу дьярка из соседнего колхоза, подписавшейся на заем на триста процентов. Вспомним: так оно и было.

А вот владыка местного масштаба — председатель колхоза, «всем тут и царь, и бог, и отец родной. Слово и Советской власти нет уже вовсе, не сомневающийся в том, что народ надо загонять к светлым вершинам железной рукой».

Отношения людей в деревне далеки от патриархальных. Большинство подавлено, озлоблено. Пьяницы и хулиганы — тракторист Мишка да механик Коляка, — укрываясь под крылом милиции, терроризируют деревню, идут на преступление, убийство — такова трагическая развязка повести.

Среда, в которой назревает основной сюжетный конфликт, болевая точка произведения — сельская школа. В ней та же показуха, то же угодничество перед всеильным председателем колхоза, перед проверяющими из района.

И здесь, мне кажется, мы подошли к тому, что можно считать в повести новым поворотом темы.

Как, на какой почве, каким образом вырос и созрел тот тип руководителя, который в годы застоя запятнал себя коррупцией и другими пороками своего времени, — вот что исследует автор. Тогда, в 50-х, этот будущий руководитель — еще переросток-десятиклассник. Рыжий драчун, которого боются и дети и учителя, постепенно становится хозяином округа. Первое усвоенное им жизненное правило — в этой жизни нужно иметь только силу, силу и больше ничего: если ты хотя бы племянник председателя колхоза, можешь чувствовать себя безнаказанным. Знания? Грамотность? «Не в ентом счастье!» — отвечал мальчишка учителю. Смысл жизни он уже со школьной скамьи видит в том, чтобы «жрать досыту и пить допьяну» — так он написал в школьном сочинении. Весь уклад школы — как в городе, так и в деревне — формирует подрастающего дикаря: из школы был изгнан не он, а взбунтовавшийся учитель.

Именно перед этим лишенным нравственных устоев неучем и лентяем, открыто и смело след за своим покровителем презирающим интеллигенцию, открыты все пути. Один из немногих в деревне, он поступает в сельскохозяйственный институт — первый шаг к светлому завтра. В будущем готовится стать директором. Не важно — чего, лишь бы руководителем. И никто — в том числе и мы, читатели, — не сомневается: так оно и будет. Ибо не раз уже было.

Очень важны для понимания повести ее начало и заключительный эпизод. Письмо, пришедшее в редакцию газеты уже в наши дни, сообщает: человек мог бы жить, но ему не помогли, и он умер из-за преступного равнодушия, подлости местного руководителя. Сотрудник газеты, бывший когда-то тем самым школьным учителем, по стилю поведения этого руководителя узнает своего давнего воспитанника-недруга. И не важно, что хозяином кабинета, в который журналиста привело письмо, оказывается не прежний его знакомец, а другой — с жестким и равнодушным лицом, — у этого другого те же нравственные правила, те же корни.

Жесткость, публицистическая открытость авторской мысли определили и компактную динамичную форму повести. Автор сталкивает разные временные пласты, сводит в конфликтной ситуации героев с противоположными, чуть ли не взаимоисключающими жизненными установками (правда, публицистическая заостренность повествования излишне выпрямляет характеры некоторых

героев Поройкова). Писатель стремится сказать многое на малом пространстве прозы. И ему это удается.

Ксения Бродер.



ЛЕОНИД ГРИГОРЬЯН. Вечернее чудо. Стихи разных лет. Ереван. «Советакан грох». 1988. 181 стр.

Стихи, вошедшие в «Вечернее чудо», писались на протяжении четверти века. В них людно: тут друзья, недруги, женщины, студенты, коллеги, наконец, просто прохожие — все те, кого Григорьян величает «сограждане мои, согорожане».

Обстоятельства, диктуемые поэту стихи, будничны, герои негероичны, отношение к собственной персоне окрашено иронией, интонация подчас шутейна («смягчим повествование юморком») и никогда не надрына — стихи между тем пронизаны серьезной мыслью и вопреки внешней непритязательности глубоко: «Если бы испытать пониманьем, бытованье войдет в бытие!» Намерения поэта двояки: с одной стороны, «все снизить, заземлить», чтобы, накрепко повязанный с бытом и обиходом, стих не витал в эмпириях, с другой — поднять будничную жизнь до уровня судьбы, жребия: «Оттого не смолкает небесная арфа — возышает, взыскует, влечет, что в убогом углу хлопотливая Марфа подметаает, стирает, печет».

Когда поэт уверенно стоит на почве реальности, ему дается не только острота зрения, но и точность прозрения. В том числе и социального. Лет двадцать назад ростовчанин Л. Григорьян напечатал в «Литературной Армении» стихотворение, содержавшее неоднозначную формулу тогдашних — достаточно прикровенных — общественно-политических перемен: «Смещение жизни в сторону зимы». Затяжная эта зима лишь недавно пошла на потепление. Странная все ж таки вещь стихи. Звучат отвлеченно, а на поверку — конкретнее и не сказать. Когда-то Григорьян написал о чужой крови, недобро волнующей ульрей всех времен: «Так повелось: сначала душу вынем, а там пускаяй докажет, что невинен». Теперь, после Сумгаита, это стихотворение внезапно обнажило свою горькую и несомненную злободневность.

«Вечернее чудо» рисует нам облик скромного и улыбчивого ростовчанина, тянущегося к армянским корням и дорожающего российским духовным родством. Но трезвость взгляда неизбежно требует от этого мягкого и услужливого человека: или — или. Сознавая, что к чему на грешной этой земле, можно приспособиться и подловчиться — примеров тому несть числа, — а можно жестко определить для себя нравственный кодекс, в котором на первое место выходит одиннадцатая заповедь: не предавай! Не предавай, когда изменить принципам уже не считают зазорным, храни внутреннюю обособленность и свободу, делей и оберегай ее, тверди про себя: «Стыдно, оттого что стадно». Так — у Григорьяна. При этом его готовность не поступаться честью и платить за свой выбор любую цену давно и до конца осмыслена. «Я знаю, — говорит

он, и пауза между соседними строками исполнена убежденности и потому весома, — за что собою заплачу».

Но нельзя же в самом деле жить, поминутно видя перед глазами Голгофу. Что ж, учи студентов латыни, бегай в столовку, пиши письма, принимай в небогатом своем доме друзей... Последнее выделим особо. Друг, дружба — особая у Григорьяна статья. Он безжалостен, когда выставляет себе отметки за то, как жил и что сделал: «В общем, нуды, максимум — тройки». Однако есть на мрачноватом этом фоне отдушина, и автор, право слово, не льстит себе, констатируя: «Но по дружеству — твердое пять». У него нет деклараций или проповедей о дружбе, говоря строго, у него нет даже стихов о друзьях, но без этого неизбежного, всюду и во всем разлитого мотива книга разом утратила бы свою одушевленность. Что такое для Григорьяна дружество — об этом маленький и воистину берущий за душу цикл, обращенный к незабвенному Виталию Семину, ближайшему на протяжении десятилетия другу поэта.

Коль скоро зашла речь об отдушинах, упомянем напоследок еще одну — надежду, которой автор никогда, кажется, не терял и которая отозвалась в названии его книги. «Вечернее чудо» не что иное, как встреча с ангелом-хранителем. Если тебе на долю выпали арест отца, оккупация, наветы, травля, смерть друга и еще много чего, а ты и в пору беспроблемного безвременья ни единой строкой или жестом не уронил себя, так, может статься, он и впрямь не выдумка, небесный твой страж. Поэт надеется. На то он и поэт.

Георгий Кубатьян.



ИСТОРИКО-АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Выпуск XX. Минувшее, современность, прогнозы. Ответственный редактор А. А. Гуриштейн. М. «Наука». 1988. 416 стр.

Вселенная и человек... На этой вековой проблеме сфокусированы статья, эссе, заметки авторов сборника. Органическая включенность пишущих в предмет исследования придает многим помещенным здесь материалам не только философскую глубину, но и своеобразный, я бы сказал, поэтический аромат.

Вот, к примеру, интереснейшая подборка материалов, посвященных выдающемуся советскому ученому Кириллу Павловичу Флоренскому (1915—1982). Мне приходилось многократно встречаться с К. П. Флоренским на протяжении нескольких последних лет его жизни, и могу засвидетельствовать, что не только удивительной для нашего времени широтой научных интересов (геология, геохимия, биогеохимия, метеоритика, космохимия, планетология, история науки...), но даже внешне он очень походил на своего великого учителя академика В. И. Вернадского. А в особенности — чертами своего характера: мягким, дружелюбным отношением к людям, терпимостью к чужому мнению (чего нам временами теперь так недостает) и, конечно же, безоглядной

влюбленностью в науку. Как и его учитель, Флоренский питал склонность к разнообразным гуманитарным вопросам. Стоит напомнить здесь, в частности, сколько усилий приложил он к сохранению памятников культуры. Об этой сравнительно малоизвестной стороне деятельности Флоренского рассказываете в очерке Л. В. Балаждиной. В статьях и очерках академика А. Л. Яншина, доктора геолого-минералогических наук В. П. Волкова и других авторов рассказывается о жизненном и творческом пути Флоренского, вкладе его в разрешение проблемы тунгусского метеорита, в создание нового научного направления — сравнительной планетологии. В очерке доктора геолого-минералогических наук П. В. Флоренского (племянника К. П. Флоренского) «На пути к ноосфере» широко используются интереснейшие материалы из семейного архива Флоренских — письма Кирилла Павловича и его отца, выдающегося русского ученого-энциклопедиста и философа-космиста П. А. Флоренского, В. И. Вернадскому.

Читатель найдет много интересного в очерках и статьях сборника, рассматривающих те или иные вопросы на стыках наук. Но и на этом богатом и разнообразном фоне выделяется, на мой взгляд, сравнительно небольшое по объему, но оригинальное по замыслу и исполнению исследование кандидата исторических наук О. М. Рапова «Комета Галлея и датировка крещения Руси». Опираясь на византийские, русские, арабские и армянские источники и привлекая астрономические сведения о комете Галлея 989 года, автор устанавливает хронологическую последовательность событий: 988 год — крещение князя Владимира; 989 год — осада Владимиром Херсонеса; 990 год (1 августа) — массовое крещение киевлян...

За более чем семидесятилетний период своего существования советская астрономия прошла славный путь. Но были, к сожалению, в истории отечественной астрономии страницы, которые иначе как черными не назовешь. Долгое время в нашей печати замалчивались факты репрессий в отношении многих ученых-астрономов. «Фигура умолчания» наложила свою печать, к примеру, на статью академика А. А. Михайлова (1888—1983) и члена-корреспондента АН СССР О. А. Мельникова (1912—1982), подготовленную авторами в застойные 70-е годы и впервые частично опубликованную в рецензируемой книге.

Припоминая, как около двух десятилетий назад меня познакомили с хранящейся в Архиве АН СССР копией письма, направленного учеными Г. А. Шайном и С. И. Вавиловым в 1938 году генпрокурору СССР А. Я. Вышинскому по «делу» большой (несколько десятков человек) группы советских астрономов, главным образом сотрудников Пулковской обсерватории, репрессированных в 1936—1937 годах. Авторы письма отмечали, что несправедливому аресту подверглись ученые, далекие от политики, в большинстве своем получившие широкое признание в мировой научной среде, что их искусственное изъятие из сообщества советских астрономов тяжелейшим образом скажется как на развитии отечественной астрономии, так и на ее международном ав-

торитете. В письме действия властей квалифицировались как подлинный разгром советской астрономической науки. А начиналось все с вещей на первый взгляд совсем (или почти совсем) безобидных — об этом рассказывает помещенная в сборнике статья кандидата физико-математических наук В. А. Бронштэна «Журнал «Мироведение» в московский период (1930—1937 гг.)». Как справедливо отмечается в кратком редакционном предисловии к статье, «отдельные этапы развития советской астрономии остаются исследованными еще совершенно недостаточно. Подобные пробелы должны быть восполнены... в условиях гласности не должно быть места умолчанию о моментах в истории науки, трудных и противоречивых. Серьезный анализ многих из них, нуждающийся в обращении к архивам и документам, потребует времени и явится делом будущего».

Серия «Историко-астрономические исследования» давно и по праву завоевала себе признание, прежде всего среди специалистов: астрономов и космологов, историков науки... Думается, что двадцатый выпуск серии привлечет особенно широкий круг читателей.

И. Мочалов,
доктор философских наук.



О. Л. ДУБОВИК, А. Э. ЖАЛИНСКИЙ.
Причины экологических преступлений. М.
«Наука». 1988. 240 стр.

С позиций общечеловеческой морали (но пока отнюдь не права) неконтролируемое, чреватое катастрофами развитие цивилизации квалифицируется теперь во всем мире как безнравственное и преступное. Такие сдвиги в общественном сознании достигнуты в последние годы благодаря самоотверженным усилиям прогрессивно мыслящих ученых, литераторов, политических деятелей.

Где искать истоки экологической преступности, в чем заключаются и как взаимодействуют причины экологических преступлений, по каким направлениям следует проводить профилактику эколого-правовых нарушений — всем этим вопросам посвящена монография О. Л. Дубовик и А. Э. Жалинского.

Книга, как, впрочем, и большинство других публикаций по охране природы, наводит на грустные размышления.

Напылили кругом. Накопытили.
И пропали под дьявольский свист...

Увы, не только не пропали, но и продолжают усердно пылить и копытить в масштабах, не сопоставимых с мерками есенинской поры. Можно ли перечислить поселки, города и целые регионы страны, в которых сложилась обстановка, расцениваемая как экологически криминальная? Несколькими десятилетиями назад высказывал тревогу за судьбу русского леса Леонид Леонов, а многое ли изменилось с тех пор в системе заготовок древесины и охраны леса, и если изменилось, то в какую сторону — к лучшему

или к худшему? Ответит ли кто-нибудь за запланированное уничтожение Арала, Кара-Богаз-Гола, Ладоги?

Главной причиной должностных экологических преступлений является, по мнению авторов книги, «ориентация на ложные цели и приоритеты в сфере взаимодействия общества и природы», усугубляемая «ведомственной ответственностью механизма реализации права собственности на природные ресурсы», низким уровнем экологической культуры и нравственности.

Пора наконец признать, что экологическую обстановку в стране не удастся улучшить коренным образом, если не будут устранены деформации целей и структуры нашей экономики. Мы добываем железной руды в пять раз больше, чем США, выплавляем примерно в два раза больше стали, но по-прежнему ощущаем нехватку металла. Большая часть стали используется для производства в громадных количествах экскаваторов, бульдозеров и мощных самосвалов с целью расширения добычи железной руды и каменного угля, которые идут на выплавку новой стали. Образуется замкнутый цикл производства ради производства, в котором жизненные потребности человека удовлетворяются по остаточному принципу.

В нашем социалистическом государстве земля, недра, леса и воды принадлежат всем, а значит, никому. Они бесхозны и потому не имеют цены. Нам нужны не абстрактные хозяева «необъятной родины своей», а конкретные владельцы конкретных земельных угодий, лесных массивов, водоемов, месторождений полезных ископаемых. Такими владельцами могут и должны стать местные Советы народных депутатов. За определенную плату они будут сдавать землю в аренду промышленным и сельскохозяйственным предприятиям на достаточно большой срок. Фонды, образующиеся за счет арендных отчислений, местные Советы смогут использовать на благоустройство городов и деревень, развитие инфраструктуры, организацию экологического мониторинга.

Вряд ли можно согласиться с осторожным заявлением авторов, что у нас профилактика экологических преступлений «в ряде случаев» ограничивается мерами агитационно-пропагандистского характера. Точнее было бы сказать — сплошь и рядом. В многочисленных министерствах и НИИ существуют и преуспевают так называемые группы экологического риска, то есть подразделения, разрабатывающие проекты на основе заведомо ложной или заведомо недостаточной информации. Сейчас уже поименно названы и даже морально осуждены авторы печально известного «поворота». И что же? Кто-то из них с почетом ушел на «заслуженный» отдых, другие ищут и находят новые объекты для материализации своих «преобразующих» идей...

Книга, как сказано в аннотации, предназначена «для юристов-практиков, экологов и широкого круга читателей». Последним будет, пожалуй, непросто освоиться с узкоспециальной терминологией первой главы книги, в которой рассматриваются детерминанты экологического поведения с гносеологической, онтологической и генетической точек зрения. Зато остальные пять глав, посвященных исследованию причин должност-

ных, корыстных и других видов экологических преступлений, представляют несомненный интерес для всех.

К сожалению, авторы сосредоточили свое внимание исключительно на внутрисоюзных экологических проблемах. О том, как решаются аналогичные проблемы за рубежом, в данной работе ни слова...

Л. Каманн.



А. А. ФОРМОЗОВ. Следопыты земли московской. М. «Московский рабочий». 1988. 142 стр.

В последнее время все больше и больше обнаруживается, что национальные традиции, вопросы родовой памяти, культурное наследие дореволюционной России интересуют не узкий круг знатоков и специалистов, а самые широкие слои населения. Не просто злободневной, а политически острой стала борьба за сохранение памятников истории и культуры. Мы наконец-то осознали, что непрерывная культурная традиция в литературе, науке, искусстве — это огромная ценность. Поэтому так нужны сегодня книги, дающие широкий ретроспективный обзор развития той или иной области культуры, свободный от мелочной фактографии и устаревших догм.

Именно такова книга А. А. Формозова «Следопыты земли московской». Автор ее, известный специалист по истории русской археологии, любит обращаться к темам нетрафаретным, неканоническим. Весьма популярна такая, например, его книга, как «Пушкин и древности. Наблюдения археолога» (М. «Наука». 1979). А труд Формозова об историке И. Е. Забелине, изданный не так давно «Московским рабочим», я бы назвал лучшей из всех современных биографических работ о русских историках XVIII—XX веков... Увы, при изобилии популярной литературы у нас очень мало добротных профессиональных книг в этой области.

Сильная сторона рецензируемой книги, как и других работ А. А. Формозова по истории науки, — личный подход. Автор живо и интересно, не отрываясь от контекста культурной жизни эпохи, рассказывает о людях, которые с 20-х годов XIX до середины XX века вели археологические раскопки на московской земле. Это, конечно же, не научная монография, а живая, увлекательная (хотя и несколько конспективная) археология в лицах. З. Ходаковский (чья биография — готовый материал для исторического детектива), К. Калайдович, А. Богданов, В. Сизов, Д. Анучин, Ю. Готье, А. Спицын... Эти имена мало что говорят даже москвичу. Но историк убеждает нас, что без живых людей нет и живого дела. Отмечу трезвый и взвешенный подход автора к своим персонажам, позволяющий раскрыть многообразие людских характеров, избежать чрезмерной восторженности и комплиментарности. Вот замечания А. А. Формозова о своем учителе А. В. Ардиховском: «Он обладал феноменальной, почти патологической памятью

и без особого напряжения запоминал имена, отчества и фамилии всех студентов истфака, сдававших экзамен по археологии на первом курсе. Уже тогда он составлял о каждом определенное представление (надо признать, не всегда верное)... Чарльз Сноу заметил в одном из своих романов, что холостякам свойствен повышенный интерес к людям. Артемий Владимирович служил подтверждением этому наблюдению». Чтобы так писать, мало изучить документы, нужно уметь восстановить атмосферу времени, богатство связей человека со временем. Автору это удалось. Он сообщает сведения о десятках людей (причем не только об археологах). Особенно интересными для меня, например, стали главы, посвященные 20—40-м годам нашего века. Подъем краеведения в 20-х годах и его последующий разгром, раскопки, связанные с прокладкой метро, полемика в 30-е годы — здесь тайн, на мой взгляд, больше, чем в истории многолетних поисков биб-

лиотеки Ивана Грозного. Автор дает точную и честную (хотя, увы, неполную) информацию.

Тут, наверное, к месту будет сказать, что воскрешение высоких нравственных, этических, общекультурных требований к личности историка — дело насущное и необходимое. наших историков десятилетиями отучали от личной точки зрения, оригинальности мышления, уважения к достижениям предшественников. Широта кругозора и высокая культура мышления прямо мешали одаренному студенту пройти сквозь угольное ушко академической науки. Вот почему обращение к личностям передовых, демократически настроенных ученых XIX—XX веков необычайно плодотворно. В этом я вижу одно из главных достоинств новой книги А. А. Формозова.

Виктор Бердинских,
кандидат исторических наук.

Киров.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Историки спорт. Тринадцать бесед. 510 стр. Цена 1 р. 50 к.

Л. Крейдлина. Большевик драгоценной пробы. Документальное повествование о Н. К. Крупской. 256 стр. Цена 70 к.

Марксизм-ленинизм и реалии конца XX столетия. 399 стр. Цена 1 р. 70 к.

Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. 352 стр. Цена 85 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Р. Блауман. У счастья за пазухой. Повести. Рассказы. Перевод с латышского. 367 стр. Цена 2 р.

М. Булганов. Записки на манжетах. Ранняя автобиографическая проза. 206 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Мариненгоф. Роман без вранья. Циники. Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги. 480 стр. Цена 3 р. 50 к.

А. Радищев. Сочинения. 687 стр. Цена 3 р. 20 к.

Русская историческая повесть. В 2-х тт. Т. 2. 815 стр. Цена 4 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Песни русских поэтов. В 2-х тт. («Библиотека поэта. Большая серия») Л. Т. 1. 663 стр. Цена 2 р. 50 к. Т. 2. 623 стр. Цена 2 р. 70 к.

Русская эпиграмма. XVIII — начало XX в. («Библиотека поэта. Большая серия») Л. 783 стр. Цена 2 р. 80 к.

Б. Слуцкий. Стихи разных лет. Из неизданного. 271 стр. Цена 85 к.

А. Цветаева. Моя Сибирь. Повести-воспоминания. 287 стр. Цена 1 р.

«РАДУГА»

Б. Вонгар. Каран. Роман. Перевод с английского. 235 стр. Цена 1 р. 50 к.

Магический кристалл. Новеллы. Повести. Эссе писателей ГДР. Перевод с немецкого. 544 стр. Цена 3 р.

Н. Морару. Короткое замыкание. Роман. Перевод с румынского. 335 стр. Цена 2 р. 10 к.

У. Сароян. Человеческая комедия. Роман. Избранные рассказы. Вот пришел, вот ушел сам знаешь кто. Из автобиографии. Д. Хеллер. Поправка-22. Роман. Перевод с английского. («Библиотека литературы США»). 765 стр. Цена 5 р. 50 к.

«ПРОГРЕСС»

Ж. Бернаос. Сохранять достоинство. Художественная публицистика. Перевод с французского. 436 стр., с илл. Цена 2 р.

Г. Вальраф. Репортер обвиняет. Художественная публицистика. Перевод с немецкого. («Зарубежная художественная публицистика и документальная проза») 399 стр., с илл. Цена 1 р.

И. Галушна. Совершенствование управления социалистическим обществом. («Экономические аспекты») 336 стр. Цена 2 р. 30 к.

Э. Хемингуэй. Райский сад. Опасное лето. Роман. Повесть. Перевод с английского. 317 стр. Цена 2 р. 20 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Ахматова. Дыхание песни. Книга переводов. 318 стр. Цена 1 р. 40 к.

М. Волошин. Избранные стихотворения. 383 стр., с илл. Цена 1 р. 30 к.

Русские волшебные сказки. 215 стр., с илл. Цена 2 р. 30 к.

И. Тургенев. Песнь души. Стихотворения. Поэмы. Стихотворения в прозе. 430 стр., с илл. Цена 7 р.

«ИСКУССТВО»

О. Берггольц. Пьесы и сценарии. Л. 367 стр., с илл. Цена 2 р. 30 к.

И. Дедков. Обновленное зрение. Из шестидесятых — в восьмидесятые. 318 стр. Цена 1 р. 80 к.

Русские иконы XII—XIX веков. Из собрания музеев Советского Союза. 79 стр., с илл. Цена 3 р.

Эстрада: что? где? зачем? Статьи. Интервью. Публикации. 351 стр. Цена 1 р. 50 к.

Японская драматургия. Перевод с японского. 461 стр. Цена 2 р.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Детектив и политика. Вып. 1. М. Издательство АПН. 367 стр. Цена 7 р.

П. Кротких. Записки революционера. М. «Московский рабочий». 544 стр. Цена 2 р. 60 к.

Реабилитирован посмертно. («Возвращение к правде») М. «Юридическая литература». Вып. 1. 511 стр. Цена 80 к. Вып. 2. 367 стр. Цена 80 к.

А. Чайнов. Краткий курс кооперации. (Переиздание) Томск. Книжное издательство. 71 стр. Цена 50 к.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), Р. Г. Гамзатов, Д. А. Гранин, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров (зам. главного редактора), В. Н. Крупин, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко (ответственный секретарь), И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, О. Г. Чухонцев, В. А. Ярошенко

Адрес редакции: 103806. ГСП. Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 17.02.89. Подписано к печати 06.04.89 г. А 13300.

Формат бумаги 70x108^{1/16}. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.). 27,02 уч.-изд. л.

Тираж 1.629.000 экз. (4-й завод 699.001—1.049.000 экз.). Зак. 4726 Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798, Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», 103798, Москва, Пушкинская пл., 5. Отпечатано в типографии ордена Ленина «Красный пролетарий», 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

Цена 1 р. 20 к.

70636

ISSN 0130-7673 Новый мир, 1989, № 5, 1—272.